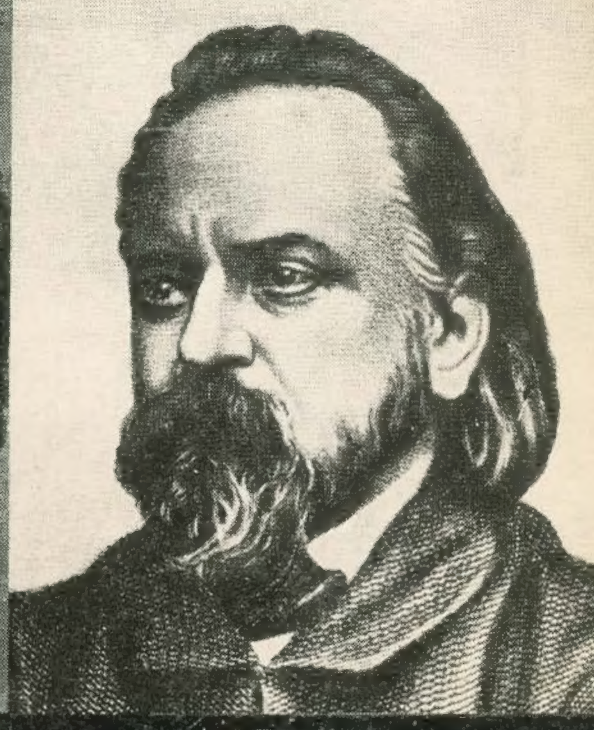
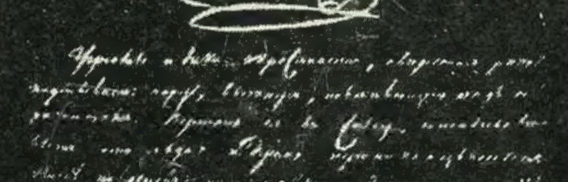
ГЕРЦЕН







В. Прокофьев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь
замечательных
людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 8

(596)

В. Прокофьев

ГЕРЦЕН



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 87.3
П 80

2-е ИЗДАНИЕ

Прокофьев В. А.

П 80 Герцен. — 2-е изд. — М. : Мол. гвардия, 1987. — 400 с., ил. — (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 8 (596)).

В пер.: 1 р. 80 к. 150 000 экз.

Деятельность А. И. Герцена охватывала политику, философию и эстетику, художественное творчество и публицистику, критику и историю общественной мысли и литературы. Автор знакомит читателя с Герценом-философом, Герценом-политиком, литератором, издателем и в то же время показывает русскую общественную жизнь 40—60-х годов революцию 1848 года в Европе, духовную драму этого, по словам современника, «самого русского из всех русских», много потрудившегося во имя России.

П $\frac{4702010200—182}{078(02)—87}$ КБ—064—034—86 ББК 87.3



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

К началу XIX века, за семь столетий своего существования, Москва выгорала семь раз: 14 июля 1445 года, 28 июля 1493 года, 21 июня 1547 года, 24 мая 1571 года, 3 мая 1626 года, 29 мая 1737 года.

И 8 сентября 1812 года.

А 7 сентября московский пожар еще не исчерпал свои силы. В разгульном реве кроваво-аспидного пламени глохли людские крики. И в Тронную залу Кремлевского дворца проникали утробные отзвуки пожара. Кирпично-красное зарево, завесившее все окна, обесцветило лампадные светлячки масляных жирондолей.

Наполеон, одетый по-походному, тяжелыми шагами мерил залу от окна до окна. Вглядывался, вслушивался. Сумрачный, злой и... растерянный. Эта гамма чувств написана на сером его лице. И как странно звучат слова императора. Наполеон негодует и... жалуется? Победители говорят иначе.

Посредине залы стоит пожилой человек. Поношенный охотничий полуфрак с бронзовыми пуговицами, грязные сапоги, небритая борода. Как это не вяжется с Тронной залой, сочным славянским орнаментом на ее стенах. Да и Наполеоном тоже. Ведь это Московский Кремль!

Наполеон круто отвернулся от окна.

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня?

«...— Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, — говаривал я, потягиваясь на своей кроватке...» Этими словами начинаются знаменитые «Былое и думы» Александра Ивановича Герцена.

Так уж совпало: Герцен родился в «годину 12-го». К моменту вступления наполеоновских войск в Москву Шушке (как его любовно величали в доме) было немногим более пяти месяцев. Войны, пожара он не помнил. К тому же времени, когда он смог понять рассказы няни Веры Артамоновны, отца и его многочисленных знакомых, они уже обрели законченность много раз повторенных, отточенных сюжетов, подобно тому повествованию, которым обычно потчевал своих гостей Иван Алексеевич

Яковлев, отец Герцена, как бы и себя приобщая к славной когорте участников великой войны. Речь шла о его свидании с Наполеоном. Ведь он и был тем небритым, пропахшим гарью собеседником французского императора, его «фельдъегерем» с письмом к русскому царю.

Позже в московском доме Яковлевых бывал граф Михаил Андреевич Милорадович, герой Бородина и Березины. Он командовал русской и прусской гвардиями в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 году и был одним из немногих генералов, кто удостоился ордена Св. Георгия 2-й степени за сражения с Наполеоном. Шушка любил забираться к нему за спину, на диван, слушать, «бредить битвами» и... засыпать. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей». «Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк». Измайловцам, старым сослуживцам Ивана Алексеевича, тоже было о чем рассказать. Ведь недаром же на Георгиевском знамени полка красовалась надпись: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России. 1812 г.».

Отечественная война 1812 года канула в прошлое. Русские войска вернулись из заграничных походов. Отгремели «100 дней» Наполеона, а Москва, Яковлевы продолжали жить воспоминаниями, «Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто».

Действительно, война круто обошлась с Яковлевыми. Дом княжны Анны Борисовны Мещерской, родной сестры бабушки Герцена, во флигельке которого приютилась семья Яковлевых, загорелся, и они с трудом вместе с дворней и грудным Шушкой сквозь огонь, охвативший деревья Тверского бульвара, добрались до дома дяди Герцена — Павла Ивановича Голохвастова. Но и здесь полыхал огонь. Кое-как разместились в саду, но тут их обнаружили пьяные французские солдаты. Начался грабеж. В конце концов Яковлевы и их дворня очутились на Тверской площади, «так просто на улице».

Ивана Алексеевича французы заставили тушить пожары вокруг генерал-губернаторского дома. Доведенный до отчаяния Яковлев обратился к офицеру-итальянцу и рассказал ему (по-итальянски) о бедственном положении

своей семьи. Офицер обещал доложить о Яковлеве маршалу Мортье, герцогу Тревизскому, губернатору пылающей Москвы. Мортье вспомнил Яковлева по парижским встречам и сообщил о нем Наполеону. Так и оказался на следующий день отец Герцена у Наполеона.

И тут уместно сказать несколько слов о Яковлевых, иначе трудно понять, почему Наполеон только под честное слово отпустил из Москвы Ивана Алексеевича, да еще с письмом к русскому императору в кармане охотничьего полуфрака.

А. С. Пушкин, пристально интересовавшийся генеалогией и, в частности, происхождением своего рода, с гордостью говорил, что он происходит от предков, коих имя встречается «поминутно» на страницах истории нашей. Герцен подобного интереса к своему происхождению ни в «Былом и думах», ни в письмах не проявил. Ведь он был «незаконнорожденный», и даже выслуженное им дворянство не давало ему права на родовой герб Яковлевых. А между тем и его предки со стороны отца встречаются на каждой странице истории — Сухово-Кобылины, Романовы, Колычевы, Шереметевы. Герб Яковлевых, внесен во II часть «Общего Гербовника Всероссийской Империи». И последним представителем фамилии Яковлевых, кто имел право на этот герб, был Алексей Александрович Яковлев, «Химик» из «Былого и дум» — двоюродный брат Герцена.

Род Яковлевых не титулованный, но старинный, знатный. Его основатель Яков Захарьевич (умер в 1530 году) был боярином при великом князе московском Иване III. В 1500 году он присоединил к Москве Брянск и Путивль, в 1508-м взял в плен Богдана Глинского. Сыновья Якова Захарьевича получили прозвище Захарьиных, а внуки писались Яковлевыми-Захарьиными. Это было в обычае XV—XVII веков, когда многие фамилии дворян и бояр образовывались от отчеств или прозвищ их отцов. И Романовы, начавшие в XVII веке новую династию русских царей, тоже вели свою фамилию от Никиты Романыча Захарьина-Юрьева-Кошкина. Внуки Якова Захарьевича были внучатыми братьями царицы, первой жены Ивана IV Грозного — Анастасии Романовны Захарьиной.

Если просмотреть «Русскую родословную книгу» (издание «Русской старины», т. 1, Спб., 1873), куда был занесен и род Яковлевых, то окажется, что многие, очень многие русские дворянские фамилии, составляя в XVIII веке свои родословные, всячески старались «породниться» с домом Романовых. Вполне вероятно, что и Яковлевы, предки Ивана Алексеевича, также не отказали себе в родстве с домом Романовых. Среди Яковлевых в XVII веке — воеводы и дьяки приказа Большой казны, Поместного. В XVIII — докладчики при императрице Екатерине I, генерал-поручики, члены Военной коллегии, оберпрокуроры Святейшего синода.

Отец Ивана Алексеевича — Алексей Александрович — был женат на княжне Наталье Борисовне Мещерской. У них было четверо сыновей и три дочери. Родители скончались, когда старшему едва минуло шестнадцать, остальные дети были еще малы, и их воспитывала тетка, княжна Анна Борисовна Мещерская. Петр и его братья — Лев, Александр и Иван служили в полках: Петр в лейб-гвардии гусарском, младшие в лейб-гвардии Измайловском. Александр Алексеевич, отец будущей жены Герцена, после дипломатической службы был сделан оберпрокурором синода, но вскоре отстранен от должности с запретом въезжать в Петербург.

Иван Алексеевич в большие чины не вышел и гвардии капитаном уволился в отставку, как только скончалась императрица Екатерина II, ко двору которой он был принят. Более десяти лет он провел за границей, свободный от служебных дел, с большими деньгами, путешествуя из страны в страну, из города в город. В Париже познакомился с виднейшими деятелями наполеоновского режима, и, в частности, с маршалом Мортье, который в 1812 году в оккупированной Москве занимал должность военного губернатора.

Мортье знал, с кем имеет дело, и без колебаний рекомендовал Ивана Алексеевича Наполеону в качестве посланца с «мирными» предложениями к Александру I. А Ивану Алексеевичу, стремившемуся во что бы то ни стало выбраться из первопрестольной, оказаться в расположении русских войск, не было выбора, он вынужден был принять предложение Наполеона.

Иван Алексеевич, связанный словом, выполнил свою нелегкую миссию. А она могла для него кончиться не только месячным арестом в доме Аракчеева, а гораздо более серьезным наказанием. Но царь Александр объявил свою милость, велел освободить и не ставить Яковлеву в вину то, что он взял пропуск из рук неприятеля,

так как — и царь не преминул это подчеркнуть — непатриотический поступок был продиктован «крайностью, в которой он находился». Вместе с Яковлевыми под видом их дворни, родных из Москвы выбралось еще около 500 человек.

Герцен в «Былом и думах» подробно рассказывает о пожаре Москвы, свидании отца с Наполеоном. И это не только потому, что он родился в 1812 году и как бы «принимал участие в войне».

Отечественная война пробудила национальное самосознание русского народа. Позже Герцен очень точно определит значение этой войны в последующей истории отчизны: «Вся Россия вступила в новую фазу». Война 1812 года была отправной вехой на пути первых русских *революционеров-дворян*, будущих декабристов. А ведь Герцен по праву считал себя продолжателем дела героев Сенатской площади и никогда не забывал слов декабриста Бестужева: «Мы все дети 1812 года». Да, Герцен в прямом и переносном смысле был дитя 12-го. И впоследствии он всегда подчеркивал, что пушками 1812 года была пробуждена «мысль русского освобождения». Гордился Герцен и тем, что он москвич, что именно Москва, столица «без императора», принесла себя в жертву России, «кровно» с ней «обвенчалась», «сплавилась с нею огнем».

Нет, не случайно Герцен начал свои мемуары с 1812 года.

Как складывалась жизнь маленького Шушки после того, как несколько улеглись потрясения 1812 года? Об этом наряду с мемуарами Герцена рассказывает и очевидец его детства, юности, молодости — двоюродная племянница Герцена, «корчевская кузина» Татьяна Петровна Кучина (Пассек) в своих воспоминаниях «Из дальних лет».

Год или более того семья Яковлевых провела в Тверской и Ярославской губерниях — в имениях, а затем вернулась в Москву. Иван Алексеевич и брат его Лев сняли огромный дом на Путинках — не дом, а целое поместье, с обширным садом, службами. В этом доме Герцен провел десять лет. На всю жизнь запомнился ему голубой пол в детской и множество ворон в саду, кучер Моисей, на которого Шушка смотрел с каким-то подобострастием,

как на конюшенное сверхбожество. Нижний этаж дома был густо заселен слугами. Только взрослой дворни было более шестидесяти душ, ребятишек же никто не считал. Дворня перемешалась, и только слуги — камердинеры, няня, гувернантки, повара, непосредственно соприкасавшиеся с господами, считались собственностью или Ивана Алексеевича, или брата Льва.

Лев Алексеевич, в прошлом дипломат, а потом сенатор (его так и называли в доме Яковлевых), действительный камергер в Москве (где нет двора), член Опекунского совета, управляющий Мариинской больницей и член советов Александровского и Екатерининского институтов, был редким гостем в собственном доме. Он ревностно исполнял свои многочисленные службы, «заезжал в день две четверки здоровых лошадей», мимоходом баловал племянника, шумел и исчезал. Человек с легким характером, он любил «рассеяния», обедал в Английском клубе, вечер заканчивал где-либо на балу, торжественном приеме. Иван Алексеевич к своим 45 годам, когда родился Саша, стал законченным педантом ипохондрического склада, вежливым, но умевшим довести до крайности ехидными замечаниями, мелкими придирками по пустякам и капризами, предугадать которые никто не мог. В «Былом и думах» Герцен писал: «Стены, мебель, слуги — все смотрело с неудовольствием, исподлобья, само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх... В спальной и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почистить стен».

Собственные наблюдения Пассек, воспоминания об атмосфере, быте и нравах яковлевского дома как бы вторят герценовским. Пассек рассказывает, например, о поразивших ее часах. Они были расставлены по всем комнатам, должны были идти минута в минуту и каждый час оглашать дом одновременно мелодичным и хриплым боем. Иван Алексеевич вечно болел, вечно лечился и раза три в год непременно созывал консилиум врачей. Пуще всего он боялся простуды, поэтому неизменно носил «халат на белых мерлушках», и даже утренние газеты подавались ему предварительно подогретыми.

Те же картины вспоминаются и Марии Каспаровне

Рейхель. Мария Каспаровна девочкой была привезена в дом Яковлевых из Вятки, где Герцен отбывал ссылку. Яковлевы помогли устроить ее в пансион, а по его окончании Мария Каспаровна так и осталась жить в этом семействе и вместе с Герценом в 1847 году покинула Россию.

Мария Каспаровна познакомилась с отцом Герцена, когда Яковлеву было уже 68—70 лет. Но, видимо, она права, когда говорит, что Иван Алексеевич «никогда не менял привычек» — «даже всегда по одной и той же дороге ходил умываться в туалетную и точно так же, но уже в другом направлении, приходил здороваться с нами». «Он был умный человек, — пишет Рейхель, — и не мог не понимать новых идей и стремлений, но они не согласовывались с его воззрениями, а мириться с новыми не позволяла косность воспитания».

Иван Алексеевич благоволил к Марии Каспаровне, и она, говоря обо всех тяжелых для окружающих свойствах характера отца Герцена, отмечает и то, что «он не был злым человеком». Но его «длинные нотации», «тяжеловесные выражения» могли хоть кого довести до потери власти над собой. Превыше всего Иван Алексеевич ставил внешние приличия. Вольтерьянец по воспитанию, по духу, он неукоснительно требовал от домашних в положенные дни посещать церковь. Но сам «по болезни» из комнат не выходил.

Николай Огарев, ставший вскоре «неизменным другом» Герцена и выросший примерно в той же обстановке, в автобиографическом сочинении «Моя исповедь» дает точное определение такого семейного деспотизма: «Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его (отца Огарева. — *В. П.)* века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно... Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой».

Иное дело мать — Генриетта Луиза Гааг, а по-русски просто Луиза Ивановна. Она родилась в Штутгарте в 1795 году. Отец ее — мелкий служащий, мать — из семьи простого ремесленника. Отец умер в 1805 году. В доме, где трое детей и мать, оставшиеся почти без средств, жизнь была нерадостной. Луиза убежала в русское консульство, а

затем уехала в Россию с человеком почти на 30 лет старше ее. История эта, конечно, романтическая, с переодеваниями в мужское платье, но Герцен не любил о ней вспоминать.

Иван Алексеевич по-своему был привязан к Луизе Ивановне, но не венчался с ней, как не венчался и с матерью старшего сына — Егора. Видно, это был заурядный случай в помещичьем быту. Ведь и у Льва Алексеевича был сын, но не было жены, а у Александра Алексеевича была куча детей, и только под конец жизни он оформил брак с матерью сына Алексея — «Химика», и то затем только, чтобы братья не разделили его наследства. Но Шушка был любимец отца. Пассек говорит даже о «безмерной любви к нему Ивана Алексеевича». Безмерно любимого Шушку нарекли Герценом, «подразумевая, что он *дитя сердца,* и желая этим ознаменовать свою любовь к новорожденному», уверяет Пассек. Но и Егор Иванович тоже носил фамилию Герцен, а он не был любимцем отца, относившегося к нему «больше чем холодно». Шушка официально, для посторонних, числился «воспитанником».

Луиза Ивановна, по свидетельству Марии Каспаровны Рейхель, жила в большой зависимости от капризов Ивана Алексеевича. Она не могла по своему усмотрению выбирать себе знакомых, и их у нее почти не было. Даже поездки за город или, что реже, в театр Луиза Ивановна старалась скрыть от Ивана Алексеевича. «Слабая натура», «женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли», говорит Герцен о матери. Доброту Луизы Ивановны, как главное свойство ее характера, отмечают все, кто с ней сталкивался. Но эта доброта несла в себе огромный заряд выдержки, что позволяло Луизе Ивановне не без успеха заступаться за дворовых людей, она опекала и Егора. Луиза Ивановна научилась говорить по-русски, но писала только по-немецки и то с ошибками. Зато Шушка с малых лет знал язык матери.

Герцен в «Былом и думах» говорит, что Луиза Ивановна, может быть, сама того не сознавая, «заразила» сына и физическим и нравственным здоровьем. Она была лишена причуд и предрассудков Ивана Алексеевича. Татьяна Пассек свидетельствует, что в противоположность Ивану Алексеевичу и Сенатору, «на все руки» баловавшим маленького Сашку, Луиза Ивановна была к нему требовательна и не поощряла капризов. На чуткого от природы ребенка доброта и гуманность матери, оставшей-

ся отзывчивой и справедливой, несмотря «на эгоистическую, полную деспотизма среду», в которой они жили, «сказались благотворно».

Дети всегда дети, в какой бы семье они ни родились — в боярских чертогах или в покосившейся избе. В барских комнатах заливистый смех кажется даже более естественным, в избе дети рано познают нужду, неволю, и им уже не до смеха. Но в доме Ивана Алексеевича громко смеяться считалось неприличным. Можно было улыбаться. Сам Яковлев всегда насмешничал, но никогда не смеялся. Сына своего, Александра, Иван Алексеевич хотя и «любил безмерно», но мера была — сын должен оставаться почтительным, послушным, вести себя строго в рамках этикета. И не дай бог, если шаловливому, пылкому, непоседливому мальчишке захочется по-детски пооткровенничать — немедля детская шалость, взволнованная речь прерывались холодным поучением. В раннем детстве эти нотации порождали страх, позже — возмущение.

Герцен не стал сухарем, рабом этикета, а вот Егор Иванович был сломлен отцом. «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка, — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность». Это слова Николая Огарева, это его приговор своему детству. Но они целиком применимы и к Герцену.

«Корчевская кузина» сохранила для нас портрет и чутко схваченные черты характера расстающегося с детством Герцена. «Это был ребенок худой, бледный, с редкими, длинными белокурыми волосами, с большими темно-серыми глазами, в которых порой блестели искры и рано засветилась мысль. Невзирая на его чрезмерную живость, он редко улыбался, шалил, ломал, шумел серьезно, как бы делая дело. Часто, бросивши игрушки, он останавливал взор на одном предмете и как бы вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны отца своего, несмотря на их видимое внимание, он и сам их не любил и старался избегать их присутствия». «Все видели в Шушке только баловня, — пишет та же Пассек, — из которого не будет никакого толка, но никто не умел из-за баловства рассмотреть, сколько ума, добродушного юмора и нежности было в этом ребенке. Никто не обратил внимания на врожденные ему чувства деликатности и человечности, которые, невзирая на эгоистическую, полную деспотизма среду, в которой он рос и развивался и в которой мог быть первым деспотом, были в нем так сильны, что он рано почувствовал, а вскоре и понял все отталкивающее окружавшего его мира, сочувствовал всему угнетенному, до слез возмущался несправедливостью, постоянно нуждался в сердечном привете и страстно, беззаветно отдавался чувству дружбы и любви...»

По обычаю, бытовавшему в богатых дворянских семьях, у подрастающего «барчонка» не было недостатка в мамушках, нянюшках, гувернерах и гувернантках, домашних учителях. В первой четверти XIX века преподавание во вновь открывшихся по закону 1803 года гимназиях только начинало налаживаться. Случайные учителя, отсутствие единых учебников, многопредметность не способствовали тому, чтобы дворяне помещали своих недорослей в эти учебные заведения. Домашнее образование стало основной формой получения знаний.

Герцен запомнил немногих из своих учителей. Вернее, не о многих вспоминал впоследствии с теплым чувством. Разве что француз Бушо, якобинец времен Великой французской революции, и, конечно же, студент-медик Иван Евдокимович Протопопов.

Саше повезло с французским. Бушо был для своего времени человек достаточно сведущий, приверженец якобинской диктатуры, оставшийся до конца своих дней таковым. И если Герцен поразил впоследствии Огарева знанием фактов истории французской революции, то он почерпнул их у Бушо. Заметив симпатии Шушки к своим «цареубийственным» идеям, Бушо рассказывал эпизоды 93-го года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты взяли верх». И Саше, так же как и его учителю, было ясно: «поделом казнили короля», изменившего отечеству. Бушо, недолюбливавший своего ученика, на этом смягчался и неизменно замечал: «Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас».

Герцен поначалу не отличался прилежанием. Не столько лень, сколько негодные учителя, не умевшие заинтересовать ребенка, были повинны в этом. Шушку упрашивали, Шушку бранили, пытались затронуть его самолюбие, расхваливая за прилежание ту же Татьяну, занимавшуюся вместе с ним, — напрасно. «Саша был не завистлив». Но он был необыкновенно способен. И все,

что ему преподал Бушо, не пропало втуне. Он рано научился и писать и говорить по-французски.

Учителя часто сменяли один другого. Иван Алексеевич требовал от них немногого — «умеренного вознаграждения», приходить вовремя и отбывать свой час неукоснительно. Остальное его мало заботило. Однажды решив, что Шушке нужно учиться декламации, он пригласил актера — француза Далеса. Заметив, что сыну не хватает «развязности», Иван Алексеевич предложил тому же Далесу учить Александра танцам. Со стороны эти уроки выглядели очень комично, и Герцену на всю жизнь запомнилась маленькая комната, промороженные окна, с подоконников по веревочке в банки каплями стекает вода, запомнились коптящие сальные свечи и его учитель, читающий нараспев Расина и каждую цезуру энергично подчеркивающий взмахом руки, напоминая в этот момент человека, «попавшего в воду и не умеющего плавать». Затем следовал урок танцев с дамой «о четырех точеных ножках из красного дерева». Далес умер от угара. И Герцен не тосковал по поводу утраты учителя.

Неудачной оказалась и попытка Ивана Алексеевича приставить к сыну «немца при детях». Обязанности подобных немцев были оригинальные: они не учили и не одевали своих подопечных, а только следили за тем, чтобы те учились, были одеты, пеклись об их здоровье, гуляли и болтали всякий вздор, но для Ивана Алексеевича важным было то, что болтали они этот вздор по-немецки. Одного такого наставника, «брауншвейг-вольфенбюттельского» воина (беглого, как предполагал Герцен), Александр всячески третировал и в конце концов пожаловался отцу на непроходимую тупость Федора Карловича. «Вольфенбюттельского солдата» прогнали со двора.

Не донимал Яковлев сына и уроками богословия, считая, что «излишняя набожность» идет только старухам, а для мужчины она даже «неприлична». Сам он верил «по привычке, из приличия и на всякий случай». Евангелие Герцен взял в руки уже после Вольтера, естественно, что, хотя он всю жизнь потом с удовольствием перечитывал Евангелие и чувствовал к этой книге «искреннее и глубокое уважение», церковные обряды его не увлекали. Посещая с матерью лютеранскую церковь, Саша приобрел артистическое умение «передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие». Священник, который преподавал ему богословие, так и остался в воспоминаниях Саши безликим.

Зато учитель русской грамматики, словесности, истории, географии и арифметики — Иван Евдокимович Протопопов — прочертил заметный след в сердце и в голове своего ученика. Студент медицинского факультета Московского университета, он олицетворял всем своим видом, манерой держаться «студенческую вольницу», если можно говорить о вольнице применительно к 20-м годам XIX века. Длинноволосый, не в меру небрежно одетый, он, по словам Пассек, все делал как-то неуклюже, шумно: оглушительно хлопал дверьми, снимал галоши руками, топал, словно слон, по комнатам и в довершение всего приводил в ужас и вызывал непременные насмешки Ивана Алексеевича своим жутким произношением иностранных слов с дикими ударениями и обязательным «еры» на конце любого французского слова.

Поначалу и с этим учителем занятия у Александра не шли. Скучая на уроках, Саша вырезал на столе иероглифы, глазел в окно. Иван Евдокимович приходил в отчаяние, отказывался от платы за уроки. Но потом понял, что с Александром нельзя все сводить к зубрежке от сих до сих, как это практиковалось от века. И ему удалось возбудить живой интерес ученика сначала к истории, затем к словесности. Протопопов «обладал широким, современным взглядом на литературу» — «ученик усваивал его себе», и «как преподаватель был в восторге от новой литературы, так и ученик, бравши книгу, прежде всего справлялся, в котором году она печатана, и, ежели она была печатана больше пяти лет тому назад, то, кто бы ни был ее автор, бросал в сторону», вспоминала Татьяна Кучина, учившаяся у Протопопова вместе с Сашей.

Пушкин властвовал над сердцами. «Горе от ума» сводило всех с ума, волновало всю Москву, «Думы» Рылеева, «Войнаровский» «возбуждали дух гражданственности». А тут еще переводы из Байрона, романтика Шиллера и, конечно, только что изданная отдельной книжечкой первая глава «Евгения Онегина». Саша носил ее в кармане и «вытвердил на память».

Но это увлечение литературой пришло несколько позже. А читать, и читать все подряд, без разбора, пропуская непонятное, Саша начал рано. У Ивана Алексеевича и Сенатора была обширнейшая библиотека, ключи от книжных шкафов хранились у друга Шушки — камердинера Сенатора Кало. Конечно, трудно восстановить хотя бы примерный перечень книг, имевшихся в этой библио-

теке. Но по названиям книг, упоминаемых Герценом в «Былом и думах», в письмах к Татьяне Кучиной (а переписка между ними завязалась рано, когда Саше едва минуло девять лет), можно утверждать, что в этой библиотеке преимущественно были французские книги, книги французских просветителей. Иван Алексеевич не следил за чтением сына, предоставляя ему самому разбираться в прочитанном.

Отсутствие товарищей и «рассеяний» влекло Шушку не только к книгам, но и в переднюю, девичью. Они «сделались для него единственными живыми удовольствиями». Близкое соприкосновение с прислугой усилило в нем ненависть к рабству и произволу.

Лет до десяти Герцен не догадывался о своем положении незаконнорожденного и ссоры отца с матерью принимал как должное, как следствие дурного характера Ивана Алексеевича, которого в доме боялись все, не исключая и Сенатора. Шушка знал, что на половине отца нужно держать себя «чинно», а на другой половине, у матери, «я кричу и шалю, сколько душе угодно». Но дети отличаются проницательностью и чутьем, о которых взрослые, занятые собой, часто и не догадываются. И Шушка, однажды заподозрив неладное, вскоре, никого, впрочем, не расспрашивая, узнал все. И с того времени у него укоренилась мысль, что он «гораздо меньше» зависит от отца, «нежели вообще дети», и это ему нравилось.

Зато теперь он приблизился к передней, к девичьей. «В странном аббатстве родительского дома», без товарищей Герцен часами оставался в помещениях для слуг. Друг «из передней», камердинер Сенатора — Кало был не только хранителем ключей от заветных шкафов с книгами. Он казался Шушке чудесником из сказки. Кало умел делать такие игрушки, такой затейливый фейерверк в день именин или на рождество, что никакие покупные подарки Сенатора не шли в сравнение. Герцен очень рано если не понял, то догадался, что для родителей, их знакомых — он ребенок, а вот для слуг — лицо. И в девичьей от него не было секретов, он судил и рядил, мирил ссорившихся, в общем, чувствовал себя здесь взрослым.

Татьяна Пассек уверяет, что Яковлевы «содержали прислугу довольно хорошо, делом не обременяли». Телесные наказания были явлением редким. И уж если и прибегали к услугам «частного дома», то об этом событии потом целый месяц толковали. И более всех за наказуе-

мого переживал Шушка. А если сдавали в рекруты, что случалось чаще, то Саша «отдавал несчастному все, чем только мог распорядиться».

Подлинным «временем воскресенья» казались Саше летние выезды в деревню. «Я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново...» Запомнились отъезды в село Васильевское Рузского уезда Московской губернии. Оно досталось Ивану Алексеевичу после раздела с братьями. Чего стоили одни только сборы! Они начинались ранней весной и были столь обстоятельны, что порой, когда наконец завершались, то оказывалось, что и ехать-то поздно, лето на исходе.

Подмосковная деревня, подмосковная природа на всю жизнь остались для Герцена поэтическим символом России. Еще не сознавая умом, он сердцем открывал внутренний мир простого русского человека, а русской природе посвящены самые проникновенные, самые поэтические страницы в герценовских мемуарах, романе, повестях и письмах тоже. Не случайно ценители пейзажной живописи в русской литературе сравнивают страницы «Былого и дум», посвященные Васильевскому, с лучшими элегиями Тургенева.

Шушка подрастал. Детские забавы, «зайцы и векши», уступили место раздумьям. На них толкала прежде всего вся атмосфера отчего дома. И хотя со временем дом в Путинках сменили на дом в Большом Власьевском, в домашнем укладе, в давно сложившемся быту ничего не менялось.

Николай Огарев в «Моей исповеди» очень точно определяет, когда и почему у него на смену детским сказкам пришли размышления. Он считает, что произошло это на пороге девятилетия и побуждала к этой ранней замкнутой работе «в самом себе» удушливая атмосфера их, огаревского, дома. Да иначе и быть не могло. Ни Герцен, ни Огарев в детские годы не имели друзей-сверстников, шумных игр, которые могли бы отвлечь их от внутренней работы мысли. Если передняя и девичья заставляли задумываться над неравенством людей, неравенством необъяснимым, непонятным для открытых детских душ, то разговоры взрослых побуждали искать ответы, пусть еще наивные, на вопросы, которые невольно ставила вся русская действительность.

Герцен в «Былом и думах» больше уделяет внимания рассказу о том, *что* он наблюдал в передней. Огарев в «Исповеди» говорит о том, *как* могли запасть в его девятилетнюю голову мысли, которые не приходили на ум и более взрослым.

Мы уже несколько раз обращались к «Моей исповеди» Николая Огарева, настала пора рассказать и о его доме, столь схожем с домом Яковлевых. Яковлевы и Огаревы были дальними родственниками. Но не только родство связывало эти два дома. Герцен и Николай Огарев выросли, сформировались в схожих условиях, их умственное развитие шло буквально «след в след». Поэтому, когда встретились эти два юноши, то они (при всем различии темпераментов и характеров) были уже готовы к тому, чтобы стать друзьями на всю жизнь. И не случайно Огарев потом очень кратко, но точно сказал, что «путь наш был один...». Поэтому-то и рассказ Огарева о своем детстве как бы подсвечивает повествование Герцена, воспоминания Пассек, Рейхель.

Ник родился в семье одного из самых богатых помещиков России — Платона Богдановича Огарева. Свое детство Николай Огарев называет «страдальческим». Ник фактически не знал матери, она умерла, когда ему было полтора года. До четырех лет Огарев не ходил. Он в противоположность Герцену родился болезненным, слабым, нервным. Гулять его не пускали, боясь простуды, лечили «домашним заключением». Платон Богданович в семье был деспотом, «детская веселость смолкала при его появлении». Через всю жизнь Огарев пронес воспоминание детских лет о селе Старое Акшено под Пензой. Трехлетним ребенком он там учился ходить. Позже семилетнему мальчику запомнился Муромский лес, холодная дымная изба. И в старости он сохранил теплую память о крепостном дядьке Булатове, который научил его читать и писать, и крепостном же капельмейстере Василии Ивановиче Немвродове, преподававшем баричу начатки музыки. Бабушка Ника, умирая, через внука просила Огарева-старшего отпустить на волю Булатова, но Платон Богданович не отпустил, и это поразило Ника.

В доме Огаревых частой гостьей была единственная подруга матери Ника — Елизавета Евгеньевна Кашкина. «Я упоминаю о ней, — пишет Огарев, — потому, что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря». Действительно, племянник Елизаветы Евгеньевны — Сергей Николаевич Кашкин впоследствии стал видным деятелем движения декабристов. Но, быть может, не столько племянник «воспитал» тетку в духе вольнолюбивых идей, сколько тетя идейно сформировала своего племянника. И Анна Егоровна, гувернантка Огарева, которую Ник очень любил, также была «выученицей» Кашкиной. Именно ей Огарев обязан если не пониманием, то «первым чувством человеческого и гражданского благородства».

Герцен еще до знакомства с Огаревым, до восстания 14 декабря знал вольнолюбивые стихи Пушкина и Рылеева. Запрещенного Пушкина, Рылеева, «мелко переписанные и очень затертые тетради стихов» принес Герцену Протопопов, — «я их переписывал тайком»... Но в доме Яковлевых шли такие же беседы взрослых, как и у Огаревых. Трудно, правда, заподозрить Ивана Алексеевича в сочувствии идеям декабризма, но среди его сослуживцев по Измайловскому полку таковых было немало. Да и сам Яковлев, насквозь пропитанный вольтерьянским духом, никогда впоследствии не произносил в адрес участников восстания слова «злодей». А ведь их с легкой руки императора Николая I его «верноподданные» иначе и не называли.

В 1873 году Николай Огарев по просьбе Татьяны Пассек начал набрасывать «Записки русского помещика», произведение чисто автобиографическое. Рассказывая о детстве, Огарев как бы мимоходом характеризует общественные настроения конца 10-х — начала 20-х годов: «Время около 1820 года было странное время, время общественной разладицы, она подвигалась медленно, медленно и не знала, куда придет. Большинство торжествовало победу над французами, меньшинство начинало верить в возможность военного переворота. Крестьянство после спасения отечества, ограбленное и забитое чиновниками и некоторыми помещиками, в страхе молчало».

Да, «общественная разладица» была уже заметна. И прежде всего заметна для тех, кто вместе со всем народом «торжествовал победу», но в отличие от большинства чиновников, помещиков не мог не видеть, что народ-победитель, тот самый «лапотный» крестьянин, который сражался за родину и верил, что его подвиг, его жертвы принесут после победы освобождение от крепостного гне-

та, вновь оказался в том же ярме. Немудрено, что для этого меньшинства чувство патриотизма было неотделимо от сознания необходимости дать свободу, свободу своему народу. А она не придет сама, ее нужно завоевать.

Тяжелые годы переживала Россия. По свидетельству министерства финансов, население России понесло 200 миллионов рублей убытка. И львиная доля этой суммы падала на крестьянство. В полосе военных действий стояли пепелища тысяч сожженных сел и деревень, у крестьян не осталось фуража, пропал, сгорел и нехитрый крестьянский инвентарь. Следы войны были заметны повсюду. И в Москве в начале 20-х годов еще не зарубцевались раны, нанесенные первопрестольной французскими захватчиками. Но обгорелые остовы домов и печные трубы на пустырях в иных городах вызывали бы грустные мысли и воспоминания, а в Москве эти следы пожара гляделись как памятники славной године 12-го, подвигу народному. Обгорелых скелетов оставалось еще много, ведь в Москве пожар уничтожил 7632 здания из 9151, бывших к моменту вступления французов в Белокаменную.

Сколько раз за эти годы старая яковлевская карета, запряженная четверкой ожиревших, обленившихся, разномастных лошадей, вывозила Луизу Ивановну с Шушкой и нянькой на прогулку. Из Путинок они чаще всего ехали на Яузу в дворцовый сад, не пострадавший от пожара. А рядом, за оградой сада, все еще горбились останки Бутурлинского музея с оранжереями, да и самого дома графа Дмитрия Петровича. И не раз подрастающий Саша слышал от взрослых тяжелые вздохи, когда они вспоминали о погибшей в московском пожаре уникальной графской библиотеке, где были собраны реликвии первых типографов от 1470 года до конца XVI столетия. Известный английский путешественник и писатель, профессор минералогии и коллекционер мраморных скульптур Эдвард Кларк, побывав еще до войны в Бутурлинском «заповеднике», воскликнул: «Библиотека, ботанический сад и музей графа Бутурлина замечательны не только в России, но и в Европе».

Среди людей образованных в эти годы наблюдался повышенный интерес ко всему отечественному, к прошлому России и особливо к героическим страницам ее истории. Дилетанты рыскали по книжным лавкам в надежде набрести на какие-нибудь древние рукописи. Бывало, и находили, но не знали, что с ними делать, не умея прочесть. Кое-кто из помещиков, заслышав, что на его землях некогда стояли славянские городища или гремели битвы, на свой страх и риск начинали археологические поиски.

Отечественная война 1812 года и патриотический подъем отразились и на русской журналистике как военных, так и послевоенных лет. Созданный в 12-м году журнал «Сын Отечества» сразу же взял как бы за свою программную основу статью профессора Царскосельского лицея А. П. Куницына «Послание к русским». В этой статье Куницын призывает соотечественников хранить «единую только свободу и все бедствия прекратятся». И что знаменательно: автор употребил такие непривычные для русского уха слова, как «сограждане», «свободное отечество». Через несколько лет о «свободном отечестве» будут говорить декабристы. На страницах этого журнала печатались патриотические басни Крылова, которые заучивались наизусть солдатами и офицерами. «В необычайный год и под пером баснописца нашего Крылова живые басни превращались в живую историю», — говорил ратник Глинка. Со страниц журнала, зло высмеивая претензии Наполеона на мировое господство, «стреляли по врагу» патриотические карикатуры А. Г. Венецианова, таких крупнейших художников, как И. Теребенев, А. Иванов. В последующие годы «Сын Отечества», а также возникшие вновь журналы «Соревнователь просвещения и благотворения», «Невский зритель», альманахи «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская старина» стали той трибуной, с которой декабристы-литераторы и идейно близкие к ним писатели могли с оговорками, далекими обходными тропами, дабы миновать цензурные рогатки, пропагандировать свободу, равенство, осуждать полицейские порядки, помещичий произвол.

Именно патриотический взрыв, вызванный Отечественной войной, пробудил повышенный интерес в кругах просвещенных к общественным и социально-политическим проблемам. Александр Бестужев в записке о причинах возникновения движения декабристов с болью говорит о положении всех социальных слоев русского общества: «Крестьяне, обнищавшие от злоупотреблений и непосильных поборов, мещане и ремесленники, обнищавшие от упадка торговли и обременения налогами, купечество, стесненное гильдиями, солдаты, истомленные уче-

ниями и караулами, — все были недовольны, все стремились к изменению жизни: все элементы были в брожении».

Меньшинство начинало верить в возможность переворота и собирало силы. Брожение умов привело к созданию в 1816 году и первого тайного общества дворян-революционеров — «Союза спасения», или «Общества истинных и верных сынов отечества». Их было всего около 30 человек, связанных личной дружбой, общностью военной судьбы, пониманием необходимости изменения «существующего у нас порядка вещей». Причем изменения путем революционного переворота. Ведь эпоха, в которую жили эти люди, «познакомила умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить» (П. Пестель). Все члены «Союза» были согласны с необходимостью изменений, но о способах переворота мнения разделялись. Общество в 1818 году было распущено, чтобы возродиться в новом и тоже тайном «Союзе благоденствия».

«Союз благоденствия» насчитывал уже около 200 человек и имел свои филиалы. «Союзом» руководила «Коренная управа». «Побочной» его управой было тайное литературное общество «Зеленая лампа», членом которой был и Пушкин. Воздействие на различные социальные слои России с целью создания в стране передового «общественного мнения» — вот главная задача «Союза благоденствия» в деле подготовки переворота. Но этот план, изложенный в «Зеленой книге» (название ей дано по цвету переплета), был общеизвестным для всех членов «Союза», его же руководящий центр составил вчерне иной план, в котором формулировались политические цели общества.

«Союз благоденствия» возник в тревожное для России время. Николай Огарев ошибся, говоря, что «крестьянство... в страхе молчало». Понятно, что пятилетний Ник и шестилетний Шушка не знали о крестьянских восстаниях. А вот одно из них, на Дону в 1818—1820 годах, было крупным, в нем участвовало 45 тысяч крестьян. Но волнения в армии и, в частности, возмущения в старейшем гвардейском полку — Семеновском 16 октября 1820 года не могли пройти незамеченными в семействе Яковлевых, так тесно связанном и традициями, и просто приятельскими отношениями с русской гвардией.

В 1820-м на совещании «Коренной управы» Павел Иванович Пестель высказался за свержение монархии и установление в России республиканского строя. В том же 1820 году будущие декабристы, люди военные, обдумывали уже способы военного натиска на самодержавие. Их к этому как бы подталкивали и успехи военных революций в Испании, Неаполе, Пьемонте, и ход восстания в Греции, и крестьянские волнения. Да и отечественный пример был перед глазами: солдаты-семеновцы сумели сами организованно выступить против палочных порядков в армии.

В 1821 году «Союз благоденствия» был объявлен распущенным, но роспуск «Союза» был только прикрытием, способом избавиться от колеблющихся и просто ненадежных членов общества. Втайне же возникли два новых общества дворян-революционеров: Северное и Южное, а несколько позже на юге сформировалось и третье общество — «Соединенных славян», слившееся с Южным.

Как Северное, так и Южное общества, создавая свои программы — конституционной монархии (Северное — «Конституция» Никиты Муравьева) или республики (Южное — «Русская правда» Павла Пестеля), — исходили из того, что они будут действовать во имя народа, для народа, но без народа. В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена», разрабатывая периодизацию русского революционного движения и говоря о его зачинателях, дворянах-революционерах, декабристах, отметил, что они были «страшно далеки» от народа.

Свержение самодержавия и ликвидация крепостничества — вот программа дворян-революционеров. Их проекты построения русского общества после переворота объективно расчистили бы дорогу буржуазному развитию России. Герцен позже называл Павла Пестеля первым социалистом. Но он ошибался, идеи социалистические были чужды декабристам.

В конце ноября 1825 года в Москву пришло известие о кончине царя Александра I. «Дней Александровых прекрасное начало» давно уже кануло в вечность. После 1814 года русский император управлял Россией «из окна дорожной кареты». Он, как фактический глава «Священного союза» — этого заговора европейских монархов против революции, по словам К. Маркса, метался по Европе с конгресса на конгресс, а конгрессы созывались

почти ежегодно, так как ежегодно в Европе возникали революции, и «Священный союз» напрягал все силы, чтобы им противостоять. «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге», — едко откликнулся на смерть Александра I Пушкин.

Смерть царя влекла за собой целый ряд административных мероприятий и, конечно, вызвала много толков и треволнений. Не успела улечься суматоха, поднятая известием о кончине императора, не успела Москва приготовиться к принятию присяги новому царю, Константину, как по первопрестольной прошелестел слух, что цесаревич Константин от престола отказался и Мономахова шапка переходит к его младшему брату Николаю. О Николае никто толком, кроме гвардейских офицеров, сказать ничего не мог. Великий князь командовал гвардией, гвардейцы же отзывались о его высочестве столь нелестно и с такой открытой злобой, что Шушке просто не хотелось им верить.

Перемены на престоле? Ну и что? Герцен к своим тринадцати годам был уже достаточно сведущ в истории. И если цари — помазанники божьи, то все равно они тоже смертны. Ему было жалко императора Александра. Совсем недавно, гуляя за Тверской заставой, он встретился с его величеством, возвращавшимся с Ходынки. Поравнявшись с венценосцем, Саша поднял шляпу, и... Александр I поклонился. Поклонился ему, мальчишке! А ведь Николай — брат Александра!

Вечером 15 декабря, когда в доме Яковлевых уже готовились отойти ко сну, приехал взволнованный Лев Алексеевич и заперся с Иваном Алексеевичем в кабинете. Саша поспешил в переднюю — нужно немедленно найти лакея Сенатора, этот пролаза всегда все знает. В горничной шушукались. Вера Артамоновна жалобно причитала и то и дело всплескивала руками. Лакей Сенатора оказался на месте и доверительно сообщил молодому барину, что в Петербурге был бунт и по Галерной стреляли «в пушки».

На следующий день подробности о «бунте» поведал Ивану Алексеевичу жандармский генерал граф Комаровский. Подробности эти Александр не знал, но сегодня днем его не выпустили гулять. И он сам видел в окно, как по улицам ходят патрули. Прислуге тоже приказали не отлучаться со двора. Но приказ приказом, а в лавку

за молоком нужно сходить, и к зеленщику тоже, по дороге же можно и в кабак заглянуть. И вот уже в передней слышно: «Будет революция». «Слово «революция» звонкое, но нерусское, «бунт» — вот это ясно, это по-русски.

Николай Огарев в «Моей исповеди» так рассказывал об этих днях и настроениях, царивших в их доме. «На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их; Волков (учитель Огарева. — *В. П.*) не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла... к заговорщикам и постепенно вырабатывалась в их пользу. Отец мой, после первого ужаса, видимо, избегал говорить об этом предмете, так что от него мало приходилось слышать даже об арестах того времени; зато как же усердно ловилось каждое слово, кем другим сказанное. Кроме имени Рылеева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись вследствие близости Елизаветы Евгеньевны с нашим домом и Анной Егоровной. Да еще Аллер (тоже учитель Огарева. — *В. П.*) мне сказывал, что Владимир Одоевский, товарищ Кюхельбекера по изданию «Мнемозины», бывший его ученик, держит наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут.

Спустя месяц около навестила бабушку старуха Челищева, которая произносила *чек* вместо человек. Я случайно был в гостиной. Старуха долго толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные *приверженцы* отечества. Как это вошло в голову старухе — не знаю; у нее из родни едва ли кто был взят. Но ее слова произвели сильное впечатление на бабушку».

Москва питалась слухами, ожидали нападения «черни». Около домов аристократов денно и нощно стояли охранники, купцы закрыли лавки, уехали из города, попрятались по бедным родственникам. Московский полицейский агент доносил начальству 2 февраля 1826 года: «Все умы жителей столицы нижнего класса заняты ожидаемыми событиями... есть люди, питающие себя надеждою на бунт... По Москве вновь ходят слухи. На сей раз поговаривают о том, что в Петербурге раскрыт новый заговор, только правительство не говорит о том».

Но эти слухи о новом заговоре скоро заглохли. И снова открыли свои лавки немного оправившиеся от испуга и вернувшиеся по домам торговцы. Но тревога не улег-

лась. Запоздало пришло известие о восстании Черниговского полка в Малороссии. И в Москве решили: до Петербурга восставшим идти далеко, на Киев не имеет смысла, значит, остается Москва. Уже поговаривали о том, что с Кавказа на помощь черниговцам спешит со своим войском генерал Ермолов, «известный бунтовщик».

Господ дворян тревожила не кончина императора, и даже бунтовщики-декабристы казались теперь не столь уж страшными. Озноб пробирал их от разговоров, которые шли в людских барских особняках. И в доме Яковлевых тоже уже в открытую поговаривают, что «едва ли не отберут на весну всех крестьян от господ», а помещиков-де отзовут в столицу и крестьянам дадут вольность.

Саше запретили бывать в людской, и это еще больше разжигало желание послушать, о чем шепчутся дворовые. В этой атмосфере нервозного ожидания чего-то важного, грозного для мальчишеской фантазии, подогретой к тому же только что открытым Шиллером, был огромный простор. Мысленно Саша уносился в холодный Петербург, в Петропавловскую крепость, куда заперли всех участников восстания. Он храбро пробирается в казематы, освобождает узников... Или нет, он погибнет вместе с ними... Почему-то героические грезы всегда кончались гибелью.

Все симпатии Александра, весь пыл и вся непосредственность отрочества на стороне тех, кого сейчас подвергают изнурительным допросам. Саше всего тринадцать лет, но он, конечно же, не поверил правительственному сообщению, которое тайно прочел в «Прибавлениях» к «Санкт-Петербургским ведомостям». Даже мальчик понял, что это не «бунт горстки безумцев, над которыми начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединились несколько человек гнусного вида во фраках. А их пособниками были несколько пьяных солдат и немного людей из черни, также пьяных». Саша теперь много знает о тех, кто с оружием в руках вышел на Сенатскую площадь в тот памятный декабрьский день. Герой Бородина Павел Пестель — разве это пьяный обер-офицер? А Кондратий Рылеев? «Гнусного вида человек во фраке»? Стыдно, противно, хочется плакать и драться... Словно что-то перевернулось в душе у мальчика. Может быть, именно в эти зимние дни 1825/26 года кончилось отрочество.

«Мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи».

Герцен в «Былом и думах» относит свое знакомство с Николаем Огаревым ко времени появления в доме Яковлевых фигуры одиозной, «немца при детях» — Карла Ивановича Зонненберга. «Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни... лицо, которое тонет для того, чтобы меня познакомить с Огаревым...» Да, Зонненберг действительно на протяжении более чем двадцати лет, вплоть до отъезда Герцена за границу, находится рядом с ним и по большей части именно на «перепутьях».

Но Саша познакомился с Ником ранее того злосчастного дня, когда Зонненберг тонул в Москве-реке близ переправы у Лужников. Видимо, предшествовавшие встречи с тихим, замкнутым мальчиком не запали в память Герцена или были стерты драматической сценой спасения Зонненберга, ведь все это происходило на глазах Саши. «...А не странно ли подумать, что, умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником...»

Так или иначе, но они встретились. И, наверное, первое их знакомство произошло до восстания декабристов. Ведь Зонненберг тонул летом, а в феврале 1826 года настал знаменательный день сближения, после которого друзья уже и не мыслили жизни друг без друга.

Иван Алексеевич, наблюдавший вместе с Сашей, как уральский казак вытащил из воды тщедушного человека и потом откачал его, ходатайствовал перед Петром Кирилловичем Эссеном, своим другом и бывшим оренбургским, а затем и петербургским генерал-губернатором, о награждении казака. Казака произвели в урядники, и он явился вместе с «утопленником» благодарить Ивана Алексеевича. «С тех пор он стал бывать у нас». Всегда надушенный не в меру, «рябой, лысый, в завитой белокурой накладке», Зонненберг переходил из одного помещичьего дома в другой, занимаясь физическим воспитанием и постановкой германского произношения дворянских недорослей. По рекомендации Ивана Алексеевича

он попал к Огаревым. Герцен вспоминает о Зонненберге с иронией, Николай Огарев с ненавистью.

Зонненберг являлся к Яковлевым не один, а непременно приводил и своего воспитанника. «Мальчик... которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить».

Один февральский день 1826 года стал поворотным. У Ника умерла бабушка. Приготовления к похоронам были тягостными для впечатлительного мальчика, и Зонненберг привел Ника к Яковлевым и оставил у них. Огарев был грустен, испуган. Саша не знал, как развеять его грусть, отвлечь от тяжелых мыслей. «...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию... Через месяц мы не могли провести двух дней, чтобы не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня».

Говорят, противоположности сходятся — это был именно тот случай. Порывистый, непоседливый, «исполненный живого огня» Шушка и тихий, молчаливый, немного печальный Ник. «Мы разны, очень разны... Меня раз увидишь и отчасти знаешь, тебя можно знать год и не знать... Я деятелен, ты лентяй, но твоя лень — деятельность для души. И при всем этом симпатия дивная, какой нет ни с кем решительно, но симпатия и не требует тождества». Этому признанию Герцена вторит Огарев: «Какая нужда до наших характеров, пусть они разны: у нас есть высшее тождество — тождество душ». Сродство душ скреплялось книгами, одними и теми же, как теми, которые были прочитаны до знакомства, так и теми, которые они потом читали совместно.

А читали Саша с Ником много и достаточно беспорядочно. В тринадцать лет они увлеклись историческими сочинениями Карамзина, а затем «влюбились» в Шиллера. И он надолго стал их учителем, суфлером жизни. Шиллер звал к мечте, окутывал романтическим флером грядущее. И это было так созвучно героическому настрою их душ после 14 декабря. Потом, не без влияния того же

Шиллера, пришло увлечение античной историей. Гордые цезари Рима и братья Гракхи, Плутарх, зачитанный до ветхости страниц...

Была у Саши кузина, с которой впервые он познакомился, когда той минуло годика три-четыре. Эта-то кузина станет женой Герцена, человеком, который осветит всю его жизнь, несмотря на то, что она же будет и частичной виновницей «семейной драмы» Герцена.

Наташа росла и воспитывалась в совершенно иной обстановке, нежели ее будущий муж. Отцом Наташи был отставной обер-прокурор синода, старший брат Ивана Алексеевича — Александр Алексеевич. Камергер имел много незаконных детей. Он скончался, когда Наташе пошел седьмой год. У Александра Алексеевича имелся и «привенчанный» сын Алексей, которому и досталось все огромное наследство отца вместе с незаконнорожденными братьями и сестрами. Наследник не знал, что с ними делать; недолго думая, он их и их матерей отправил в одно из своих имений в Шацком уезде. «Табор» родственников, перебираясь из Петербурга, застрял в Москве на отдых, а если бы не это, неизвестно, что было бы с Наташей. В Москве родная сестра Яковлевых, вдовая княгиня Мария Алексеевна Хованская, взяла «из милости» девочку «на воспитание».

И началась нелегкая полоса жизни Наташи в доме вздорной, капризной княгини, в доме, где всеми делами, мнениями заправляла приживалка-компаньонка Мария Степановна Макашина. Впоследствии Наталья Александровна с неизжитой горечью вспоминала: «Мне все казалось, что я попала ошибкой в эту жизнь и что скоро ворочусь домой — но где же был мой дом?.. Уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб снега на могиле моего отца; моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге... Я горячо плакала и молила бога взять меня скорее домой».

Княгиня была скупа на деньги, на ласку, на человеческие чувства. «У меня не было той забавы или игрушки, которая заняла бы меня и утешила, потому что ежели и давали что-нибудь, то с упреком и с непременным прибавлением: «Ты этого не стоишь». Каждый лоскут, получаемый от них, был мною оплакан; потом я становилась выше этого. Стремление к науке душило меня, я ничему больше не завидовала в других детях, как учению.

Многие меня хвалили, находили во мне способности и с состраданием говорили: «Если бы приложить руки к этому ребенку!» — «Он дивил бы свет!» — договаривала я мысленно, и щеки мои горели, я спешила идти куда-то, мне виделись мои картины, мои ученики — а мне не давали клочка бумаги, карандаша. ...Стремление выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее, и с тем вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым».

Различны были судьба и детство кузенов Саши и Наташи. Но в одном они были сходны — незаконнорожденные. И об этом они оба узнали рано и рано поняли, что это накладывает на них не только «пятно», но и известную независимость от этой «школы рабства», в которой они росли. А школа была суровой. Был у родственника Ивана Алексеевича крепостной, талантливейший скульптор, сумевший скопить денег и за деньги упрашивавший барина дать ему вольную, чтобы можно было съездить в Италию. Но вольной он не получил, не у каждого помещика есть свой скульптор, слепивший бюст государя императора. Скульптор запил, схватил чахотку и умер. Сенатор гордился своим, тоже не бесталанным человеком — крепостным фельдшером. И он не вынес неволи, наложил на себя руки, отравился, при этом долго мучился, пока не умер. «И игрушки и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет! огонь!».

На исходе уже февраль, вот-вот масленица, а зима лютует, метели хороводят по целым неделям, из ближних лесов в Москву набегают волки — в городе теплее, да и найдется чем поживиться.

Иван Алексеевич стал и вовсе несносен. Куда девался его насмешливый сарказм, с утра до ночи ворчит, поучает, жалуется на все новые и новые недуги. Саша спасается в библиотеке. Но как изменился круг его чтения! После восстания в Петербурге он стал «ярым политиком». Политические мечты занимают его день и ночь. Поэтому в сторону «Полное собрание всех российских театральных сочинений». Сумарокова и Озерова, Хераскова и Лафонтена он тоже перечитывать не будет. Разве что Бомарше! Его «Свадьбу Фигаро». И, конечно, Гёте, «Вертера». Они прочитаны не менее двадцати раз. Да что там,

Саша знает их на память. Раньше читал «Вертера», пропуская страницы, которые не понимал, торопился скорее дойти до страшной развязки, потом «плакал, как сумасшедший». Теперь непонятных мест в этой книге нет и читается она по-иному.

Во дворе залаял Макбет, загремела цепь. Саша кинулся к окошку, да разве что увидишь через морозные чеканы. В передней загомонила прислуга, скрипнула дверь гостиной, по певучему паркету засеменили мелкие шажки Веры Артамоновны. Саша вскочил, отшвырнул в сторону книги. Так и есть, обоз из Керенского имения прибыл и оброчные крестьяне тоже. Они каждый год приезжают к масленой.

Со двора уже слышен скрип полозьев и покрикиванье противного Шкуна, басок писаря Епифаныча. Саша мигом накинул шубу, схватил шапку и во двор — спасать оброчных от домогательств Шкуна, иначе он их взятками оберет как липку. Шкун, завидев молодого барина, даже лицом полинял. Но Саша не обратил на него внимания, словно и нет приказчика. Он ходит между санями и внушает крестьянам, что они не должны ничего давать ни Шкуну, ни Епифанычу, никому иному. Крестьяне кланяются, благодарят и с опаской поглядывают на приказчика. Но вот оброк наконец сдан, и керенский староста, осенив себя крестным знамением, дрожа от страха, долго топчется у дверей барского кабинета. Ему нужно квитанцию о сдаче получить и приказания.

Разговор со старостой — отдушина для ипохондрии Ивана Алексеевича. Он длится час, два, три. И все это время Саша настороже. Заступается, когда Иван Алексеевич грозит старосте за возможные провинности бороду обрить. Ободряет несчастного, доведенного до истомы мужика. В этом году Саша «заступничает» с особым настоянием. И, гордый, покидает кабинет отца.

Незаметно пролетела зима, за ней — весна, лето. Все эти месяцы прошли под «знаком Ника». Ныне они неразлучны.

13 июля 1826 года. Петербург. Пять часов утра. Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Михаил Бестужев-Рюмин повешены на кронверке Петропавловской крепости. Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались с виселицы. Их повесили вновь вопреки обычаям, бытовавшим на Руси. Повесили,

не уведомив императора, чтобы не нарушать царского спокойствия. А Николай ночью в канун казни не спал и истово молился, без устали вымерял саженными шагами Царскосельский дворец. Под утро он заперся в кабинете и почти в панике написал начальнику генерального штаба Дибичу: «Прошу вас соблюдать сегодня величайшую осторожность и в особенности передать Бенкендорфу, чтобы он удвоил свою бдительность и деятельность, то же следует предписать и войскам».

Если следовать за Огаревым, «Моей исповедью», то день этот начинался так: Саша спал, спал безмятежно, как спят в четырнадцать лет. И проснулся мгновенно, разбуженный шелестом песка, осыпающегося с окна. Раньше бы и не проснулся, но после знакомства с Ником они именно так, горстью песка, брошенного в окно, давали друг другу знать, что нужно тихонько выбраться из теплой постели, никого не разбудив, выйти во двор. Горсть песка в окно — значит, свершилось что-то необыкновенное.

Сегодня флегматичный, уравновешенный Ник необычайно возбужден. Герцен распахнул окно. Ник что-то быстро-быстро тараторил. Разобрать в этом потоке слов ничего невозможно. Саша свесился с подоконника: «...коронация...», «...обманутый Константин...». Еще какие-то междометия. Нику нужно забраться в комнату, да, да, только через окно, а не то, не дай бог, разбудим папеньку.

Разговор бессвязный. Говорили о декабристах, о Константине. И тогда, в это утро, показалось, что «Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы». И тут же, с лета, Саша предложил присягнуть Константину и «пожертвовать всем для его восстановления». Огарев не ожидал подобного и столь быстрого поворота событий, но с готовностью взял лист бумаги и перо. Присяга написана и подписана. А перо, которым они ее подписали, стало «историческим». Перо тщательно вытерли и торжественно решили хранить как святыню.

Правда, вера в Константина, а точнее иллюзия, прожила недолго, около года. Хотелось думать, что цесаревич действительно был намерен скостить рекрутам срок службы. Ведь недаром же солдаты на Сенатской площади кричали: «Ура! Константин и Конституция!» Когда же

Саша узнал, что солдаты были уверены: «Конституция» — жена Константина, образ цесаревича померк. А перо? Через несколько лет его выкинули, хотя и не без сожаления.

22 августа 1826 года. День коронации.

С восьми утра в Успенском соборе молебен и благовест. Как только смолкнут колокола, ударит пушка — это значит, что специально приглашенные на церемониал должны поспешить в Кремль. Ивану Алексеевичу московские власти настоятельно напомнили, что быть на коронации он должен неукоснительно.

До Красной площади рукой подать, но Иван Алексеевич распорядился заложить экипаж. Все уже в сборе, а Саши нет, задержался в библиотеке. Кало, камердинер Сенатора, торопит: папенька серчать будет. Саша наспех дочитывает описание коронационного ритуала, впрочем, не за этим он обратился к книгам. Ник сказал, что в прошлые коронации новоявленные помазанники божьи оказывали милости своим верноподданным. Верно, например, Александр I манифестом, извещавшим о коронации, обнародовал и милости: освобождение на год от рекрутского набора, 25 копеек скидки с души в подушной подати за 1802 год, невзыскание штрафов, прощение беглых и проч. и проч. А может быть?..

...Красная площадь, Кремль в блеске эполетов, золоченых пуговиц, орденов, лент, ментиков, долменов. От Успенского собора к Красному крыльцу, а от Красного крыльца к Архангельскому собору протянулись помосты с перилами, покрытые красным сукном.

Как только Саша увидел эту красную дорожку, ему чуть плохо не стало. Красная дорожка — ведь это кровь декабристов, хотя Николай I заявил, что не признает кровавых казней. Не признает? Не признал он четвертование, уготованное судьями пятерым, но не признал только потому, *что* скажут в Европе? А забитые насмерть шпицрутенами солдаты из Московского полка? Разве они не изошли кровью? А разодранные картечью на Сенатской площади? Весь вечер кровь засыпали песком... Палач! Тюремщик! Вот кто сейчас мажется миром через клапан парадного мундира.

Месяц назад, 19 июля, на этой же площади митропо-

лит Филарет служил молебствие «за избавление от крамолы». И Саша, вынужденный тогда стоять на коленях перед алтарем, «оскверненным кровавой молитвой», сквозь слезы про себя шептал иную молитву. Она звучала как клятва. Он клялся «отомстить казненных», он обрекал себя на борьбу «с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками». И это была клятва уже не мальчика, не отрока — это была клятва, которой он оставался верен всю жизнь...

...Чья-то нежная, но крепкая рука легла на Сашино плечо. Он обернулся — Таня Кучина, он совсем забыл о ней. Как хорошо, что хотя бы она с ним в этот страшный, отвратительный день! Она все понимает. Он еще раньше почувствовал, что в его «келейное отрочество» кузина внесла какой-то «теплый элемент». «Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, — и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я — будущий Брут или Фабриций».

После коронации на многие явления российской действительности Герцен посмотрел глазами, с которых словно бы спала пелена. И этому во многом способствовали Руссо и Пушкин. Но подлинный смысл «Оды на свободу», «Кинжала», «Деревни» раскрылся Герцену только сейчас. Взглянуть по-новому на поэзию властителя дум помог Герцену Иван Евдокимович Протопопов, заметивший склонность своего ученика к политическим вопросам. Протопопов изобрел своего рода отрицательную педагогику, доказывая, например, что десять строк «Кавказского пленника» лучше всех и всяческих образцовых сочинений Капниста, Муравьева и прочих. Герцен не был одинок в своем преклонении перед Пушкиным. Иван Сергеевич Тургенев, младший современник и впоследствии человек, близкий семье Герцена, вспоминал, имея в виду и себя и всех своих однолеток: «Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога, мы действительно ему поклонялись».

Пушкин стал для Герцена не только гениальным поэтом, чудотворцем муз, но и глашатаем идей гражданственности, свободы, справедливости. Если юный Герцен еще не понимал умом, но чувствовал, достигал интуитивно, что Пушкин — это не только эпоха литературы, то более старшие его современники в одном из адресов

очень точно назвали Пушкина «могучим провозвестником русского возрождения». Конечно, известие о том, что Пушкин остановится в Москве проездом из своего михайловского заточения в столицу, куда его призвал новый император, взбудоражило импульсивного Герцена. Он непременно должен видеть поэта! И он его увидел. Если быть точным, то видел Герцен всего лишь курчавую голову Александра Сергеевича. С хоров Благородного собрания невозможно было разглядеть что-либо еще. Но при богатой фантазии Саши нетрудно домыслить лицо, улыбку и даже слова, сказанные при встрече. Потом, через много лет, в самые трагические дни июньской революции 1848 года в Париже, когда нельзя было выходить из дома, открывать окна, Герцен не расставался с томиком Пушкина.

И всякий раз, обращаясь к его стихам, он вновь видел курчавую голову поэта, его печальные глаза. Впрочем, глаза — это уже от портрета Кипренского.

Воробьевы горы. Здесь, на правом берегу реки Москвы, расположились два села — Воробьево и Троицкое-Голенищево. Отсюда открывалась панорама Лужников, разграфленных правильными квадратами огородов. За ними — Новодевичий монастырь и маковки московских сорока сороков, белые коробочки дворянских гнезд в густой садовой оправе. Воробьевы горы издавна стали излюбленным местом дальних прогулок москвичей.

На этих горах и закладывался храм-памятник Отечественной войне 1812 года. Грандиозный замысел молодого гения — Витберга — так и не обрел своих законченных контуров, но глыбы мрамора, в беспорядке сваленные на месте предполагаемой постройки, напоминали о чем-то величественном, героическом, античном.

Сюда, на Воробьевы горы, нечасто, но все же выбирался даже Иван Алексеевич. Что же касается Герцена и Огарева, то им казалось, что на горах они знают все тропинки, обшарили все кусты, заглянули во все гроты. Ведь не раз и не два они отправлялись в длительные прогулки с неизменным Зонненбергом.

...В тот знаменательный день они ехали на Воробьевы горы вместе с Иваном Алексеевичем, Луизой Ивановной, Зонненбергом. Было невыносимо душно в деревянном рассохшемся ящике тяжелого рыдвана с поднятыми окна-

ми, с кислым запахом плохо дубленной кожи, которой была обита карета. Дорога казалась бесконечной. И когда стали лошади, когда медлительный паром причалил к берегу, Саша и Ник, не обращая внимания на окрики старших, ринулись вверх, туда, откуда открывался вид на Москву — к Витбергову храму.

«Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» «...Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли».

Это был летний день 1827 года.

Огарев посвятил ему стихотворение в прозе «Три мгновения». «На высоком берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля ненадолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по душам их, и сердца их забились с одинаковой силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: «Вместе идем, вместе идем!»

«С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни».

Герцен в «Былом и думах», рассказывая об этой знаменитой клятве, не называет ни числа, ни месяца, ни года, когда она была произнесена. Она врывается в идиллическое описание летнего вечера, вида на Москву с высоты Воробьевых гор. Клятва зрела исподволь, и вот настал момент, когда юношеская экзальтация вылилась в слова. «Не могу выразить всей восторженности того времени», — восклицал Герцен, уже убеленный сединами. «Жизнь раскрывалась перед нами торжественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству; чертили себе будущность несбыточную, без малейшей примеси самолюбия, личных видов. Светлые дни юношеских мечтаний и симпатий».

Кончилось детство, промелькнуло отрочество. И если в те прошедшие годы Герцен, увлекаемый Шиллером,

охотно «сражался» в «богемских лесах» бок о бок с моровскими разбойниками, то теперь, после событий 1825—1826 годов, клятвы на Воробьевых горах, пришла пора не только раздумий, но и решений — а что же дальше? Пришло время выбирать поприще будущей деятельности.

«Выбирать» — именно так был настроен Герцен. Но иначе думал Иван Алексеевич. Он уже все давно решил, решил, когда Шушке только еще исполнилось восемь лет. Иван Алексеевич хотел видеть сына на дипломатической службе или военным. Сенатор прошел искус дипломатии и достиг почестей, сам Иван Алексеевич служил в Измайловском полку. Правда, почести принесла ему не служба, а родовитость и богатство, но о полковой жизни Яковлев всегда вспоминал с удовольствием, может быть, потому, что это были милые всем годы молодости. Помнил Иван Алексеевич и о том, что военная служба открывает возможность быстрого продвижения по лестнице чинов, чины прикроют «пятно» — незаконнорожденность — Шушки. Как бы там ни было, но еще тогда, когда восьмилетний ребенок с серьезным видом ломал замысловатые игрушки, чтобы добраться до их начинки, Иван Алексеевич, накинув сыну несколько лет, зачислил Александра «в ведомство экспедиции кремлевского строения».

Но Герцен решил по-своему. И настоял на своем. Он пойдет в университет. Напрасно отец упорствовал в чиновничьей карьере и даже показал сыну бумагу, которой одиннадцатилетний Шушка был отмечен как рачительный чиновник. Александр к семнадцати годам уже научился противиться воле Ивана Алексеевича. И когда тот смирился, когда от кремлевского начальства было получено «служебное» разрешение, оставалось последнее — выбрать факультет. Выбор удивил всех, кто знал Сашу с детства. Александр подал прошение на физико-математическое отделение Московского университета. Казалось, те превосходные рефераты по литературе, которые до слез умиляли Протопопова, свидетельствовали о тяге Шушки к изящной словесности. Его политические симпатии, искания после 14 декабря 1825 года могли бы привести на этико-политическое отделение. Но физико-математический?!

Дома немногие знали, что незадолго до того, как у Александра окрепло желание поступить в университет, он сблизился со своим двоюродным братом Алексеем Александровичем Яковлевым — «Химиком» (как его на-

смешливо прозвали в семейном кругу). «Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит».

Герцен стал время от времени навещать брата. Все поражало Александра в доме Химика. Почерневшие канделябры, причудливая мебель, часы, будто бы купленные Петром I в Амстердаме, драные кресла, будто бы принадлежавшие польскому королю Станиславу Лещинскому. И маленькая, до одури натопленная комната — кабинет. Комната, в которой в 1812 году родился он, Герцен. Ведь Иван Алексеевич, вернувшись из чужих земель, остановился в этом доме на Тверском бульваре. Дом принадлежал его старшему брату Александру — отцу Химика и будущей жены Герцена.

С самого начала знакомства Химик увидел, что Александр думает серьезно об университете, его влекут естественные науки, но он еще не знает, а может быть, всетаки филология? Химик стал уговаривать Сашу бросить пустые занятия литературой и «опасные, без всякой пользы — политикой», а взяться за науки естественные. Химик дал Герцену сочинения Кювье и «Растительную органографию» де Кандоля, показал ему свои превосходные гербарии, химическую аппаратуру. Он интересовался всем — «от камней до орангутанга».

2

После разгрома восстания декабристов, после воцарения Николая I Петербург на какое-то время потерял значение центра умственной жизни России. Таким центром становится Москва. А в Москве подъем общественной мысли, свободолюбивых идей шел прежде всего в стенах и вокруг Московского университета. Если несколько позже Малый театр сравнивали по своему значению с Московским университетом, то это была дань уважения не только театру, а университету.

Будущий друг Герцена Николай Сазонов писал:

«...Почитание цивилизации, привязанность к истинно народным традициям и современные свободолюбивые идеи нашли себе в этом учреждении последнее пристанище». Да и Герцен в «Былом и думах» говорит, что в годы его учебы в университете «научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг». Это «необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов». «Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства...» И «опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».

Герцен точно указывает, что Московский университет был «опальным», впрочем, как и остальные русские университеты. Наверное, не последнюю роль в этом сыграло то, что из Московского университета вышли виднейшие декабристы — Иван Якушкин, Никита Муравьев, Петр Каховский, Николай Тургенев, Михаил Фонвизин.

После восстания декабристов Николай I взял под неусыпный контроль всю идеологическую жизнь России. В 1825 году генерал-майор А. А. Писарев вместе с назначением на должность попечителя Московского учебного округа получил от министерства просвещения инструкцию, в которой требовалось прежде всего обращать внимание «на нравственное направление преподаваний, наблюдая строго, чтобы в руках профессоров и учителей ничего колеблющего или ослабляющего учение нашей веры не укрывалось». В библиотеках следовало произвести тщательную ревизию, дабы «не было книг, противных вере, правительству и нравственности».

Задача университетского образования заключалась в том, чтобы поставить на службу самодержавию образованных чиновников, во всем послушных властям. Потому так горько звучат слова Белинского, учившегося в Московском университете одновременно с Герценом: «Невежество, запоздалость, мелкость, недобросовестность, явное искажение истины (в лекциях профессоров. — *В. П.*)

так ярко бросались в глаза... Не слишком много ума и проницательности нужно для того, чтобы знать, что ни в одном русском университете нельзя положить молодому человеку *прочного основания* для будущих его занятий наукой и что для человека, посвящающего всю жизнь свою знанию, время, проведенное в университете, есть потерянное, погубленное время...»

Противоречивые на первый взгляд оценки. Но это только кажущееся противоречие. Белинский был слушателем словесного отделения, Герцен — физико-математического. Уровень преподавания на этих отделениях был различным с точки зрения и подготовленности профессуры, и направленности преподавания. Белинский несколько сгустил краски, Герцен же рассказал о другом — об атмосфере, царившей в среде студенчества.

Константин Аксаков, учившийся в то же время, что и Герцен, Огарев, Белинский, Гончаров, Станкевич, Лермонтов, писал: «В наше время профессорское слово было часто бедно, но студенческая жизнь и умственная деятельность, неразрывно с нею связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды». Аксаков продолжает: «Не знаю, как теперь (это написано в 1862 г. — *В. П.*), но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшиеся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость».

Можно представить нетерпение Александра в первый день начала занятий в университете. Герцен назвал этот день «великим».

Каковы же были профессора, которых слушал Герцен? Тот же Константин Аксаков говорит, что «солнце истины» светило им «тускло и холодно». Оглядываясь на прошлое уже в зрелом возрасте, и Герцен многим своим учителям дает нелестные оценки. И все же стоит с известной осторожностью отнестись к этим суждениям людей недюжинных, для которых узки рамки любого учебного заведения. Тем более остро воспринимались ими иные из их наставников — рутинеры и невежды, — которые словно бы сами просились в анекдот.

К примеру, такое «ископаемое», как лектор по курсу математики Чумаков. Федор Иванович Чумаков подгонял формулы «с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и х за известное». Или другая диковинка университета — Гавриил Мягков, преподававший «самую жесткую науку в мире — тактику». Профессор не читал, а «командовал свои лекции». «Господа! — кричал он, — на поле! *Об артиллерии!»* Понять сию тираду поначалу было трудно, потом студенты приноровились. Оказывается, профессор просто выкрикивал подзаголовки книги, по которой он читал свой курс. А эти заголовки по обычаю того времени печатались на полях страниц.

Но не эти профессора определяли лицо университета. Наряду с рутинерами здесь трудились ученые, которые действительно могли научить своих воспитанников методике самостоятельной работы. И Герцен оценил эти старания учителей, еще будучи студентом. В конце марта — начале апреля 1833 года, незадолго до окончания курса, он писал Носкову: «Многим, очень многим обязан я ему (университету. — *В. П.*); науками, сколько в состоянии был принять и сколько он в состоянии был мне дать. Но главное — методу я там приобрел, а метода важнее всякой суммы познаний».

И этим он обязан в первую очередь таким учителям, как профессор физики Михаил Григорьевич Павлов. В автобиографической повести «О себе» Герцен характеризует М. Г. Павлова как человека, «от природы одаренного сильной логикой и убедительною речью». «Он своим преподаванием начал новую эпоху в жизни университета. В Германии Павлов сроднился с натурфилософией, с многообъемлющими взглядами на науку и в особенности с ее динамической физикой. Он открыл студентам сокровищницу германского мышления и направил их ум на несравненно высший способ исследования и познания природы... но, что еще важнее, Павлов своей методой навел на самую философию. Вследствие этого многие принялись за Шеллинга и за Окена, и с тех пор московское юношество стало все больше и больше заниматься философией...»

На физико-математическом отделении преподавал и такой выдающийся ученый, будущий куратор кандидатской диссертации Герцена — профессор Дмитрий Матвеевич Перевощиков. Огарев писал о нем: «Отменно даровитый человек с хорошими убеждениями, имел на нас превосходное влияние». Перевощиков был и даровитым педагогом. Он занимал должности декана, проректора, а

затем и ректора Московского университета. В 1851 году избирается действительным членом Академии наук.

Посещал Герцен лекции и на других факультетах. Слушал курс отечественной истории у профессора Михаила Трофимовича Каченовского. Герцен считал, что университет «не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à même (дать ему возможность. — *В. П.*) продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать». На лекциях Каченовского, последователя скептической школы Шлецера, вопросы возникали сами собой.

Ивана Алексеевича Двигубского Герцен называет «допожарным» профессором, вкладывая в это определение смысл иронический. Он прав только наполовину в своей иронии. Действительно, как ректор университета Двигубский был не на месте. Большой ученый, он мало подходил к деятельности административной. Все его помыслы были в науке, естествознании. Двигубский написал около 40 научных статей и книг. В течение десяти лет он был издателем журнала «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических», журнала, в котором были напечатаны и первые реферативные статьи Герцена.

О некоторых профессорах Александр Иванович только едва упоминает в «Былом и думах», повести «О себе». Щепкин — лучший математик, «он имел хороший дар изложения». Иван Иванович Давыдов был оригиналом, совмещал знания философа, историка, критика, латиниста, эллиниста и математика. О прочих не стоило говорить.

«...Неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней». Вот первые надежды, связанные с первыми университетскими знакомствами.

Живой, импульсивный Герцен после лет своего домашнего затворничества и одиночества с неподдельной искренностью бросался на шею чуть ли не каждому, любил всех без разбору... Это не могло не вызвать ответной реакции у юношей, однолеток, так же как и Герцен вы-

рвавшихся на свободу из домашних застенков. Именно в эти годы (1830—1831) вокруг Герцена и Огарева складывается кружок друзей и единомышленников.

Кто же были эти друзья, «кружковцы», единомышленники? Помимо, конечно, Огарева, Герцен в первые годы своего пребывания в университете ближе всего сошелся с Николаем Сазоновым. По отзыву К. Аксакова, «Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер». Фразерство Сазонова подчас коробило Герцена. Через несколько лет, набрасывая портрет Николая Ивановича в автобиографической повести «О себе», Герцен подчеркнул, что этот молодой человек «с опухшими глазами и выразительным лицом» представлял собой одну из тех эксцентрических личностей, «которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитавший в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности». Не хватало Сазонову веры, преданности идеалам, от которых до конца дней так и не отступился Герцен. Но в первые годы в университете Сазонов был одним из самых близких к Александру человеком. Впоследствии, за границей, они разошлись, но Сазонов оставил глубокий след в жизни Герцена. «Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть».

Как и где Александр Иванович познакомился с Николаем Михайловичем Сатиным — неизвестно. Сын незнатного дворянина Тамбовской губернии, он рано увлекся поэзией и переводами. Впоследствии стал сотрудником «Отечественных записок» и «Современника». Переводил Байрона и Шекспира (особую известность получили его переводы «Бури» и «Сна в летнюю ночь»). Сатин был женат на старшей сестре Н. Тучковой-Огаревой и прочно вошел в жизнь и Герцена и Огарева.

В «Былом и думах» Герцен говорит, что вначале их было пятеро, то есть сам Герцен, Огарев, Сазонов, Сатин и Алексей Николаевич Савич. Савич был старше Герцена на два года и уже в 1829 году успел окончить физико-математическое отделение Харьковского университета. С Герценом и Огаревым он знакомится не ранее 1830 года. Савич недолго пробыл среди «кружковцев», в 1833 году, после защиты магистерской диссертации, он был направлен в так называемый профессорский институт при Дерптском университете. Затем несколько лет провел в командировках на Кавказе, измерял разницу уровней Черного и Каспийского морей. В 1839 году, защитив док-

торскую диссертацию, Савич обосновался в Петербургском университете. Герцен встречался с ним во время своего недолгого пребывания в столице в 1840—1841 годах, во всяком случае, в письмах Герцена и Огарева мелькает имя Савича. За его дальнейшей ученой карьерой Герцен следил и за границей, ведь Савич стал академиком, его работы в области астрономии получили мировое признание.

Шестым членом вошел в кружок Герцена и Огарева Вадим Васильевич Пассек. В обширных воспоминаниях Т. Кучиной, вскоре ставшей женой В. Пассека, много страниц отведено ее мужу. Но наиболее точный его портрет нарисовал Герцен в «Былом и думах», недаром же И. С. Тургенев считал Герцена непревзойденным мастером характеристик, сжатых, ярких, исчерпывающих: «Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш провинциальный; он далеко не так пошл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастия развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири... Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге».

У Вадима Пассека Герцен познакомился с фигурой во многом одиозной, но этот человек — Николай Христофорович Кетчер, «упсальский барон» — занимает значительную часть жизни молодого Герцена. Однако Николай Христофорович был не бароном, а сыном шведа — начальника московского инструментального завода. На три года старше Герцена. Учился в московской Медико-хирургической академии, стал штадт-физиком, инспектором московской медицинской конторы, а впоследствии начальником московского врачебного управления. Герцен и Кетчер познакомились осенью 1831 года. Герцен еще студент, а Кетчер уже заявил о себе как переводчик Шиллера. В 1828 году вышли в его переводе «Разбойники», а

в 1830-м — «Заговор Фиеска в Генуе». За долгую свою жизнь (он умер в 1886 году) Кетчер перевел все драматические произведения Шекспира.

Все, кто знал Николая Христофоровича — И. И. Панаев, А. Н. Пыпин, — неизменно подчеркивали его гуманность и отзывчивость. А между тем, когда Татьяна Петровна Пассек в 1872 году разыскала Кетчера и попросила его передать ей письма Герцена и вообще все бумаги, которые сохранились и имели отношение к Герцену, тот отказался. Более того, Кетчер был в ярости от страниц «Былого и дум», где Герцен рассказал о нем. Кетчер к этому времени забыл все свои «увлечения молодости» и даже выступал в печати против Герцена. Но до этого превращения еще далеко, и пока он непременный член кружка Герцена и Огарева.

Позже других в кружок Герцена вошел Алексей Кузьмич Лахтин. Герцен вспоминает его только в связи с их арестом и судом. Огарев же вел с Лахтиным «сложную переписку» о философии истории. Лахтин умер в 1838 году в ссылке. Татьяна Пассек называет еще и М. П. Носкова. Он был курсом старше Герцена по физико-математическому отделению. Михаил Павлович окончил университет в 1832 году и почти сразу же уехал в Петербург.

В «Былом и думах» Герцен говорит, что кружок его и Огарева вел пропаганду, выходившую за стены университета. Что же они «пропагандировали»? «Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу».

Признание Герцена в том, что «идеи были смутны», очень точно отражает брожение умов в последекабристский период жизни русского общества. Проповедь декабристов, о которой говорит Герцен, это отнюдь не развитие их социально-политических программ, а именно проповедь ненависти «к всякому насилью, к всякому правительственному произволу». Уже в те годы Герцен мог бы сказать, как сказал позже: дворянство подарило России Аракчеевых и Маниловых, «пьяных офицеров, за-

бияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников». Но «именно между ними развились люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

Именно в таком духе и шла пропаганда декабристов. Что же касается социально-политической программы кружка, то Герцена по праву называют первым проповедником идей социализма в России. Уже в конце 1832 года Герцен пишет статью «О месте человека в природе» и предпосылает ей эпиграф из Эжена Родрига, последователя учения социалиста-утописта Сен-Симона. Герцен считает, что школа сенсимонистов вполне соответствует духу времени, и называет ее великой.

Отвечая на вопросные пункты следственной комиссии, Герцен в 1834 году напишет: «Теория Сен-Симона, читанная мною в журналах и разных отрывках, мне нравилась в некоторых частях, особенно в историческом смысле. Я видел в нем дальнейшее развитие учения о совершенствовании рода человеческого...» Скорее всего Герцен не захотел перед следственной комиссией говорить о социальной стороне учения Сен-Симона, о которой он, бесспорно, был осведомлен.

Со временем для Герцена расширится круг проблем, затрагиваемых учением французских социалистов-утопистов, а пока — все люди равны, любите друг друга. На этом зиждется христианское учение. Но Герцену кажется, что люди не поняли Христа. И он говорит, что ныне начинается новая фаза христианства — *«истинная, человеческая,* фаланстерская (может быть, сен-симонизм??)...». Пока еще ощупью Герцен ищет новые этические и моральные критерии общечеловеческого общежития. Ищет не один. Рядом — друзья. Они проповедуют в кругу своих. И эта проповедь зачастую проявляется не только в словах — в поступках, в одежде, песнопениях.

Проповедовали декабристов — и ни одна сходка не обходилась без запрещенных стихов Рылеева и Пушкина. Проповедовали французскую революцию — и не очень стройный мужской хор распевает наполеоновские песенки Беранже, зимой натягивают «черные бархатные береты à la Карл Занд и теплые платки трех французских цветов». Так писал Николай Сазонов в 1860 году в статье «Литература и писатели в России».

Сазонов вслед за Герценом, оглядываясь на прошлое, отмечал недостаточную политическую зрелость кружковцев, «странное смешение», что особенно было заметно на круге чтения друзей: «Книги, которые мы читали, были еще того разнообразнее; мы с одинаковым пылом разыскивали редкие еще в то время книги о французской революции и натурфилософские сочинения Шеллинга и Окена. Все, начиная с мистических измышлений Якоба Беме и кончая «Ямбами» г. Барьбье и «Шагреневой кожей» Бальзака, все волновало, захватывало и приводило нас в восторг, подчас несколько однообразный и бесплодный, но зато всегда искренний».

Декабристы зародили в умах этих молодых людей мечты о политическом освобождении родины, Сен-Симон подсказал и идею ее социального переустройства. Герцен говорит, что его и его товарищей в социально-политических теориях Сен-Симона, в частности, привлекли идеи «освобождения женщины, призвания ее на общий труд, отдания ее судеб в ее руки, союз с нею, как с ровным». Это было, по мнению Герцена, «великими словами, заключающими в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый».

Но юные русские последователи Сен-Симона не были просто подражателями французского утописта, они критически воспринимали его учение, равно как и учения других социалистов-утопистов, и прежде всего Шарля Фурье, о котором упоминает Герцен в письмах к Огареву. И Сен-Симон, и особенно Фурье были противниками революций. Развитие промышленности, мирные реформы — вот путь перестройки общества. И не случайно Огарев в «Исповеди лишнего человека» называет себя и друзей своих детьми декабристов и учениками Фурье и Сен-Симона. Иными словами, становясь последователями Сен-Симона, они не переставали быть революционерами, непримиримыми врагами абсолютизма.

...Ученики Фурье и Сен-Симона, —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь

Народу и его освобожденью,
Основою положим соцьялизм...

В. И. Ленин, говоря о «социализме» Герцена, подчеркивал: «В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою *тогдашнюю* революционность буржуазная демократия...»

Немного позже через Сатина Герцен познакомился с преподавателем математики Николаем Астраковым, а потом и со всем этим незаурядным семейством. Если Сазонов, Огарев, Сатин были дворянами по происхождению, людьми более чем обеспеченными и учились науки ради, то Николай Астраков — сын вольноотпущенника, мелкого чиновника-кописта Московского уездного правления питейного сбора. Учился он на медные гроши и окончил в 1831 году физико-математическое отделение Московского университета со званием кандидата. Он давал уроки Сатину, и тот ввел его в кружок Герцена. Николай Иванович был человеком самых разнообразных и обширных познаний. В его дипломе стояли записи, что он прослушал большинство дисциплин словесного и нравственно-политического отделений университета.

Двоюродная сестра Астракова — Татьяна Алексеевна, ставшая его женой, вскоре сделалась близким другом Герцена, как и младший брат Николая, изобретатель, оригинальный математик, агроном — Сергей.

Приглашать друзей к себе на угол Сивцева Вражка и Малого Власьевского переулка, в дом, который Иван Алексеевич приобрел осенью 1830 года, Герцен не хотел. Чего стоили бы эти сборища, замороженные мелочной опекой Яковлева?

«Запорожская сечь» предпочитала огаревскую обитель. Отец Ника перебрался на житье в пензенское имение, и младший Огарев поселился в нижнем этаже особняка у Никитских ворот. «Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство». В светлой веселой комнате с красными обоями в золотую полоску не рассеивался дым сигар, запах жженки и других яств и питий...» Правда, яства не отличались изысканностью — «кроме сыру, редко что было». В этом приюте Огарева «спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили...» Но «шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание». Сущность их жизни составляли два начала — «наука и симпатия».

Кружок Герцена и Огарева не был исключением, не стоял в одиночестве. Гончаров пишет, что «...все студенты делились на группы близких между собой товарищей». Эти кружки не составляли каких-либо противоборствующих идейных группировок в отличие от литературных обществ 20-х годов. В 30-е годы кружки молодежи мало отличались друг от друга, хотя каждый из них — своя особая группа, связанная узами дружбы, общностью мировоззрения. И все были едины в юношеском стремлении при случае делом заявить о своем неприятии любого проявления деспотизма, да и просто грубости, неуважения человеческой личности.

А университетская аудитория для этого давала поводы. Иные профессора вели себя со студентами так, словно это были их крепостные. И если не позволяли себе рукоприкладства, то на словах давали себе полную волю.

Профессор права на этико-политическом отделении Михаил Яковлевич Малов в Московском университете пробыл всего три года, но стал притчей во языцех — синонимом обскурантизма. Каждая его лекция начиналась с ругани в адрес студентов, которые отвечали профессору свистом или, что чаще, вовсе не ходили на его занятия. Но в марте 1831 года терпение студентов истощилось. Герцен вспоминает: «Малов был глупый, грубый и необразованный профессор... Студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова...» Кончилось дело тем, что Малова не только выгнали из аудитории, но и проводили вон из здания университета, кинув вслед профессору его калоши. Николай I, до которого дошла эта история, отстранил Малова от преподавания, но зачинщики, и в их числе Герцен, оказались в карцере.

Карцер в университете? Да, это было в духе николаевского режима. И Герцен вместе с еще несколькими сту-

дентами угодил в подвал на хлеб, воду и жиденький ректорский супик, от которого они, впрочем, отказались. Как вспоминает Татьяна Пассек, Герцен по возвращении домой рассказал о своем пребывании в карцере во всех подробностях, «из его рассказа мы узнали, что он не был лишен ни приятного общества, ни хорошего продовольствия». «Как только наступала ночь, — рассказывал он, — Ник и еще четверо товарищей, с помощию четвертаков и полтинников, являлись к нам: у кого в кармане ликер aux quatre fruit's (четырех плодов. — *В. П.*), у кого паштет, у кого рябчики, у кого под шинелью бутылка клико. Разумеется, мы встречали с восторгом и друзей, и их съестные знаки дружбы. Свечей зажигать нам не позволялось. Опрокинувши стулья, мы делали около них юрту из шинелей, высекали огонь, зажигали принесенную свечу и ставили ее под стул таким образом, чтобы из окон нельзя было ее видеть, потом ложились на каменный пол, и начинался пир до позднего вечера, тут, кажется, и засыпали, а ночью опять праздник. И так — все семь дней».

И, что главное, Яковлев, конечно, добился у начальства, чтобы его Шушку, слабого здоровьем, освободили досрочно, но Герцен отказался покинуть карцер ранее своих товарищей. Это стало известно всем студентам. «С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией».

Наряду с кружком Герцена и Огарева образовался кружок Виссариона Григорьевича Белинского, известный как «Литературное общество 11 нумера». Белинский в отличие от Герцена и Огарева не принадлежал к столбовому дворянству. Сын сначала флотского, а затем уездного лекаря, выслужившего себе дворянство, и внук священника села Белынь Пензенской губернии, Виссарион Григорьевич был одним из родоначальников блестящей плеяды разночинцев, так громко заявивших о себе в 50—60-х годах XIX столетия. Не было у Белинского имений, не было у родителей и денег, чтобы содержать сына — студента Московского университета. И Виссарион Григорьевич стал казеннокоштным студентом, поселившимся в 11-м номере казеннокоштного общежития.

«Литературное общество 11 нумера» собрало таких же, как и Белинский, разночинцев, детей мелких чиновников, сельских священников, врачей, учителей. Белинский в письме к родным очень сочно описал казеннокоштное житье. В каждой комнате жило по 15, а то и

19 студентов. В комнатах для занятий столики стояли так плотно, что «можно читать книгу, лежащую на столе своего соседа...» «Теснота, толкотня, крик, шум, споры; один ходит, другой играет на гитаре, третий на скрипке, четвертый читает вслух — словом, кто во что горазд! Извольте тут заниматься!.. Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть. Я удивляюсь, каким образом мы уцелели от холеры, питаясь пакостною падалью, стервятиной и супом с червями». С горечью сравнивает Белинский жизнь казеннокоштных и своекоштных студентов. Своекоштные совсем не знают начальства, казеннокоштные всегда у него на виду, своекоштные могут сидеть всю ночь или весь день спать, и никто не потребует у них отчета.

Конечно, казеннокоштные и своекоштные не были отгорожены друг от друга глухой стеной. Московский университет в те годы еще был подлинной «ученой республикой». Но все же сословный частокол имел место, и его возводили не разночинцы и даже не дворянские отпрыски, а их почтенные родители. Но студенты как умели ломали эти барьеры. Вне зависимости от сословной принадлежности они занимались не исканием абстракта, им хотелось, по словам Огарева, «пальцем дотронуться до действительного общества и указать ложь, указать рану, указать страдание». И если кружок Герцена и Огарева не принимал участия в заседаниях «Литературного общества 11 нумера», а Белинский и его друзья не бывали в огаревском доме на углу Никитской, то идеи, искания, помыслы были у них общие.

Был ли Герцен в университетские годы знаком с Белинским? Прямых свидетельств этого знакомства нет. Но в письмах к родителям Белинский с восторгом описывает «маловскую историю», в которой такую заметную роль сыграл Герцен. Яков Костенецкий, соученик Герцена, был одинаково близок и к Герцену с Огаревым, и к Белинскому.

Еще до поступления Герцена в Московский университет, в 1827 году, Николай I расправился с университетским кружком братьев Критских, составивших «тайное общество» и задавшихся мыслью продолжить дело декабристов. В соответствии с высочайшей резолюцией два брата Критских были отправлены в Соловецкий монастырь, третий — в Швартгольмскую крепость.

Уже в бытность свою студентом Герцен не только по рассказам, а, что называется, воочию был свидетелем расправы III жандармского отделения над кружком, или, как его именовали власти предержащие, «тайным обществом Сунгурова».

Летом 1831 года по доносу студента Полоника Сунгуров и его товарищи — Яков Костенецкий, Антонович, Юлий Кольрейф — были арестованы. На следствии выяснилось, что они мечтали о конституции для России, хотели организовать поход на Тулу, с тем чтобы овладеть арсеналом, раздать оружие народу и призвать его к восстанию. И Герцен и Огарев, равно как и Белинский с товарищами, знали о планах сунгуровцев от Якова Костенецкого. Так что идейной разобщенности между студентами не было. Но, конечно, каждый кружок своими путями искал выход на более широкую общественную арену деятельности, искал «свою истину», по словам Якова Костенецкого.

Вызревание революционных идей проходило в среде университетских товарищей Герцена отнюдь не изолированно от событий, так или иначе потрясавших устои самодержавия и крепостничества. Военные поселения, введенные еще «благословенным» Александром I до Отечественной войны, после ее окончания, в годы аракчеевской реакции, стали «хуже каторги», «хуже рудников».

Поселяне, доведенные до крайности непосильными сельскими работами, восстали и под Новгородом, и в Старой Руссе. Они шли походом на Петербург и... были разбиты. Погибли тысячи, и не столько от пуль, сколько от шпицрутенов. В Севастополе — бунт моряков — первое выступление войск после Сенатской площади. Оно послужило примером для жителей этой базы Черноморского флота, и те тоже восстали. Поражение восставших было предрешено...

И, наконец, холерные бунты. Холера, эта «единственная верная союзница Николая I», на сей раз добралась и до севера. Шла она по Волге, шла неторопливо, с остановками и к осени 1830 года пожаловала в Москву. 27 сентября по случаю эпидемии закрыли университет. Студенты разошлись по домам, где их встречали «уксусом четырех разбойников» — вонючей хлористой известью. Но, «странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях», — писал Герцен в «Былом и думах». «Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь...»

Платон Богданович Огарев, впрочем, как и многие московские жители, еще до карантина уехал к себе в деревню и увез сына. Это было первое серьезное расставание друзей. Никто из них не знал, встретятся ли они когда-нибудь еще — от холеры нет гарантии.

Сначала холера устрашала Герцена «немного издали». Он воспринимал ее зрительно, видел, как она «ходила по университетскому коридору, таскалась по улицам, ездила в каретах в больницы, а в фурах из больницы». Но страха, настоящего, панического, Герцен так и не испытал. Он много в эти дни гуляет, оставшись без друзей, ходит смотреть, как за заставами греются у тщедушных костров пикеты оцепления.

И не нарадуется на Москву. На средства купцов были открыты 20 больниц «с какой-то роскошью, с избытком удобства». Все медицинское отделение университета, студенты и лекари «привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы». Герцен смотрел на своих однокашников как на героев и через всю жизнь пронес чувство восхищения самоотверженностью русского человека. «Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно... когда над Русью гремит гроза», как в 1612 и 1812 годах. «Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!» Именно в этом и видел Герцен проявление «публичности», так поразившее его...

Холера холерой, но лето и осень 1830 года и почти весь 1831 год Герцена и его друзей будоражили известия о событиях, всколыхнувших Западную Европу и эхом отозвавшихся в Российской империи.

Начало августа. Обычно летом семейство Яковлевых проживало в имении Васильевское. Не так уж и далеко, менее 40 верст, но ездили туда обязательно с остановкой в Перхушкове у родственников — Голохвастовых. Так было и на сей раз. Уже лошади запряжены, уже все расселись по местам в старом рыдване, как вдруг прискакал форейтор Сенатора и подал Ивану Алексеевичу французскую газету. Во Франции революция! В Париже баррика-

ды. Карл X бежал в Англию. Герцен ликовал. Позже он узнал о революционных волнениях в Бельгии... Но ликование Герцена было недолгим. Дополз слух, что Николай готовит поход на Париж. Идеи «Священного союза», его кровавые дела не забыты преемником Александра I. Тайная радость сменилась страшной тревогой...

И вдруг новая, оглушительная весть — Николай двинул свои войска не на Париж, а на Варшаву. В Польше восстание. Не где-то за тысячи лье, а здесь, дома. Это было восхитительно! Впоследствии, ратуя за крестьянскую революцию, Герцен с горечью вспоминал, что в 1830 году польские крестьяне в большинстве своем остались в стороне от «шляхетской революции», но тогда к «иконостасу» своих «святых» он прибавил портрет Фаддея Костюшки.

Утро для Герцена начиналось с нетерпеливого ожидания столичных газет. Он не находил себе места, пока газеты не прибывали. Потом, забыв о завтраке и не обращая внимания на хмурый вид отца, впивался в строки. Увы, в русских газетах только победные реляции. Победа за победой. Но 115-тысячная армия под командованием фельдмаршала Дибича не только наступает? Этого газеты скрыть не могли. Неожиданно Дибич скончался. Паскевич, его сменивший, был более удачлив. Варшава пала.

Во Франции революция... возвела на трон нового короля — Луи-Филиппа. А Герцен рассчитывал на республику. На республику рассчитывал и парижский пролетариат. Но Луи-Филиппа поддержали «мещане» — так Герцен назвал и впредь именовал буржуазию.

Париж не увидел нового восстания. Восстание же ткачей в Лионе было подавлено «революционным Парижем». И в России «потеряли веру в политику», веру в то, что Франция «подаст пароль», готовое решение всех назревших социальных проблем. Дождались «мещанского хлева» во главе с королем торгашей Луи-Филиппом. Все это вызвало глубочайшее разочарование у Герцена и его друзей. И в то же время укрепило веру в предсказания утопистов, что мир стоит на пороге коренных переустройств. И к ним нужно готовиться. А это означает: нужно как следует вникнуть во все науки, все теории. Тогда, быть может, и утвердится правильный взгляд на природу, общество, пути и законы его развития. Герцен серьезнее

стал относиться к философским учениям, сблизился с Михаилом Александровичем Максимовичем. Это был выдающийся ученый своего времени.

Михаил Александрович соединял как бы две на первый взгляд несовместимые научные дисциплины, он учился на словесном отделении Московского университета, а затем на естественном. Его магистерская диссертация была естественнонаучная — «О системах растительного царства». Через несколько лет он становится профессором ботаники Московского университета, но это было уже в 1833 году, когда Герцен завершил свою учебу. Лекции же Максимовича он слушал в ту пору, когда Михаил Александрович был еще адъюнктом. Максимовича отличал самый широкий круг научных интересов. Он был последователем натурфилософии и ярым врагом теологии и метафизики. Впоследствии, став ректором Киевского университета, а затем и вовсе оставив преподавание, Максимович занялся, помимо наук естественных, изучением древних актов, этнографическими изысканиями, особенно интересуясь малороссийскими песнями. Сборник этих песен он издал еще в 1827 году. Им широко пользовались Пушкин и Гоголь. Лингвистика и история южнорусской словесности, история политическая, археология — вот далеко не полный перечень научных занятий Максимовича. И в каждой отрасли науки он оставил заметный след. Естественно, что Герцен с его помощью сумел значительно пополнить багаж собственных знаний, тем более что они встречались и вне университетской аудитории.

Еще до поступления в университет Герцен публикует в «Вестнике естественных наук и медицины» статью «О чуме и причинах, производящих оную, барона Паризета». Это был реферат работы известного французского врача-эпидемиолога Э. Паризе. Будучи студентом первого курса, Александр Иванович уже в 1830 году становится «учеником» Московского общества испытателей природы. «Ученик» сразу заявляет о себе публикацией в первом номере журнала «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических» статьи «О неделимом в растительном царстве». Пока это не самостоятельная работа, а перевод одной главы «Растительной органографии» де Кандоля. Но характерен выбор книги для перевода. Естественная история неизменно привлекает Герцена. Вскоре, еще будучи студентом, Александр

избирается «действительным членом» общества испытателей природы.

Как расширялся, разнообразился круг чтения Александра. Не только естественная история, но и история гражданская, философия, эстетика привлекают внимание Герцена. И книги, чем-то его поразившие, он спешит рекомендовать своим друзьям и знакомым. То и дело в его письмах встречаются упоминания о прочитанном. Огареву он пишет о книге А. Мюрата «Письма гражданина Соединенных Штатов к одному из его друзей в Европе» и тут же упоминает, что работает над переводами из В. Кузена и К.-Л. Михелета; через несколько недель из ответного письма Огарева явствует, что их переписка стала своеобразной формой реферирования прочитанных книг. Огарев упрекает Герцена, что тот знает работу Ж.-Ф. Дамирона «Очерк истории философии во Франции в девятнадцатом веке», но «не приложил к ней особенного внимания, судя по тому, что ты мне очень мало говорил о ней».

С философским подходом к рассмотрению проблем социальных Герцен по-новому начинает воспринимать историю, да и утопический социализм тоже. Но, даже и обогащенный новыми знаниями, мог ли Герцен заметить тогда все слабые стороны сенсимонизма?

Для этого человечеству нужно было пройти через горнило революции 1848 года и изжить иллюзии мелкобуржуазного социализма. Мечтательность, фантастическая идеализация, следы католических идей — всего этого Герцен не разглядел в новой «религии». Энгельс назвал учение сенсимонистов «социальной поэзией». Но именно эти «поэтические» начала импонировали Герцену и Огареву. Николай Платонович впоследствии писал: «Первая идея, которая запала в нашу голову, когда мы были ребятами, — это социализм. Сперва мы наше *я* прилепили к нему, потом его прилепили к нашему *я*, и главною целью сделалось: мы создадим социализм». Огарев, конечно, оговорился, называя себя и Герцена «ребятами». С сенсимонизмом они познакомились уже в студенческие годы.

Сенсимонизм — главное, но Герцен в это время основательно и достаточно критически знакомится и с другими социальными и философскими системами.

В образованных кругах русского общества 30-х годов большим пиететом пользовалась философия природы Шеллинга. Герцен прочел его труды — и разочаровался. Немецкие идеалисты показались Герцену шарлатанами, которые «всю природу подталкивают под блестящую гипотезу и лучше уродуют ее, нежели мысль свою». Мистический католицизм Шеллинга, равно как и эгоцентризм Фихте, не увлекали Герцена, как увлекли они участников иных кружков студентов Московского университета. У Шеллинга Герцен признавал только его диалектический метод.

Герцену и Огареву было бы значительно проще впоследствии разобраться во взглядах своих оппонентов из лагеря славянофилов, если бы они в университетские годы были бы как-то связаны с еще одним студенческим кружком — тем, что сложился около Николая Владимировича Станкевича. Герцен признается, что из окружения Станкевича «вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский». Но и в университете и по его окончании между кругом Герцена и кругом Станкевича «не было большой симпатии». «Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное». Различен был и сам облик собраний. «Запорожская сечь» Герцена и Огарева любила песни, не чуралась пирушки с вином. Кружок же Станкевича собирался обычно за стаканом чая с сухарями, и ночь освещалась не призрачным огнем жженки, а желтоватыми отблесками сальных свечей, зато «...щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии» — так вспоминал об этих заседаниях Иван Сергеевич Тургенев.

Герцен, конечно, знал о существе исканий и споров в кружке Станкевича, знал он и о том, что не только вопросы трансцендентальной философии занимают Станкевича и его друзей. Станкевич искал пути применения философии к жизни. И он не мог не видеть темных сторон общественного бытия России. Но не шел дальше утверждения необходимости постепенного воспитания человечества, приготовления его к деланию добра и нравственному усовершенствованию. А средством воспитания Станкевич считал религию.

Белинский лишь некоторое время посещал собрания Станкевича. «Но что же мне делать, — писал Белинский Бакунину, ставшему вскоре одним из самых заметных членов кружка Станкевича, а впоследствии и его руково-

дителем, — когда для меня истина существует не в знании, *не в науке, а в жизни»*. В одном из писем Виссарион Григорьевич признавался, что он «эмпирик». То же самое мог бы сказать и Герцен. Но этот кружок много сделал для возбуждения интереса студентов к философии Канта, Шеллинга, Фихте. Станкевич первый в России взялся за изучение Гегеля.

Татьяна Пассек, вне всякого сомнения, со слов Герцена, говорит о взаимоотношениях между кружками: «Кружки эти (Станкевича, Герцена, Сунгурова. — *В. П.*) были юны, страстны и потому исключительны. Они холодно уважали друг друга, но сближаться не могли».

Герцен уже в молодости поражал всех, кто близко знал его, своим умением быстро сходиться с людьми. И в университетские годы круг его знакомств постоянно расширялся. Здесь были разные люди — и малоизвестный поэт Владимир Соколовский, и писатели, журналисты, историки Ксенофонт и Николай Полевые, и опальный поэт Александр Полежаев.

Знакомство Герцена с Александром Полежаевым относится к лету 1833 года. Но о «полежаевской истории» Герцен слышал и раньше. Александра Полежаева сослали, а вернее, «обрили в солдаты» за дерзкую сатиру на императора Александра I «Сашка». В 1833 году Полежаев сумел перевестись в карабинерный полк, стоявший вблизи Москвы. Герцен при встречах подолгу расспрашивал поэта о его армейской службе, побеге, который Полежаев совершил, чтобы лично подать прошение императору, о его ссоре с фельдфебелем и почти годичном пребывании в тюрьме в кандалах.

Ко времени знакомства Герцена с поэтом Полежаев был уже безнадежно болен чахоткой, которая и свела его в могилу в 1838 году.

В ноябре 1832 года Татьяна Кучина вышла замуж за Вадима Пассека. Герцен был шафером на этой свадьбе. Через некоторе время Герцен стал замечать, что Вадим все реже и реже бывает на их холостых пирушках. Вадим увлекся историей России, и радикализм Герцена постепенно становится ему чужд. К тому же непрерывные отлучки, связанные с земельными разделами и судебными процессами, не позволяли ему часто бывать в доме Огарева. После одного ночного бдения, которое Татьяна

Пассек называет «последним праздником дружбы», Вадим сказал жене: «Нет, нет, наши товарищеские сходки не удовлетворяют больше души».

Между тем Вадим Пассек задумал издавать альманах. И конечно, Герцен был готов включиться в работу. В январе 1833 года он пишет статью «Двадцать осьмое января». 28 января 1725 года — день смерти Петра I. Это была примечательная статья, правда, при жизни Герцен ее не опубликовал. В статье Александр Иванович очень верно определяет историческую роль Петра I. В истории «произволу места нет» — исходя из этого тезиса Герцен и рассматривает преобразовательную деятельность Петра. При этом Герцен правильно увидел, что русский народ не был пассивным объектом просветительной работы «развивателя», как он называет Петра. Народ пробуждается. И если пока «Россия еще не имеет голоса», то пройдет время, и Европа его услышит.

Альманах так и не состоялся.

Вспоминая о 30-годах, Александр Иванович писал в «Былом и думах»: «Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси». Герцен называет эти годы удивительным временем «наружного рабства и внутреннего освобождения».

Наружное рабство очень скоро заявило о себе. Завершился процесс сунгуровцев. Их обвинили в намерении составить тайное общество и отправили в солдаты в Оренбург. А Сунгурова, лишенного прав состояния, ссылали в Сибирь. Приговоренные должны были двигаться пешим этапом. У них не было теплой одежды и денег. Огарев и Иван Киреевский сделали подписки, деньги были переданы по назначению.

Когда арестанты прибыли в Оренбург, то двое из них — Костенецкий и Антонович — отправили в Москву письмо, адресованное сразу нескольким студентам — Я. Неверову. Я. Почеке, И. Оболенскому, И. Кольрейфу, Н. Огареву, Н. Станкевичу, Н. Сатину, Н. Кетчеру. Письмо попало в руки жандармов. Связь названных лиц с государственными преступниками была налицо, хотя в письме не было

ничего предосудительного, с точки зрения властей, и только выражалась благодарность за оказанную помощь. Но этого было достаточно, и в июне 1833 года началось следствие. Имя Герцена в письме не упоминалось, поэтому он не был призван к окружному жандармскому генералу Лесовскому.

Обвинение было серьезным. И хотя Лесовский, по словам Герцена, заявил, что «на первый раз государь, *так милосерд, что он вас прощает»*, отныне они будут состоять под полицейским надзором. «Угроза эта, — пишет Герцен, — была чином, посвящением, мощными шпорами».

После допроса Огарев и Сатин у подъезда Малого театра во весь голос распевали «Марсельезу».

Темой кандидатской диссертации Герцен избрал «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника». Его куратором был профессор Д. М. Перевощиков. Текст кандидатской диссертации Герцена сохранился в авторизованной копии и находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Позднее он был опубликован в собраниях сочинений Герцена. Но что примечательно, Татьяна Пассек во втором томе своих воспоминаний довольно точно воспроизводит содержание этого сочинения. Герцен ей его не показывал, в архивах Пассек не рылась. Она имела в руках отрывок из повести Герцена «О себе», где Герцен сам восстановил весь ход своих диссертационных рассуждений. Пассек только приспособила этот отрывок так, чтобы он стилистически вписался в ее воспоминания.

«Саша взял Птоломееву Альмагесту, Коперника и астрономию Бальи. Ему ярко представилась последовательность развития астрономии от бессвязных отдельных замечаний египтян до ее высокого состояния, в котором она является в руках Ньютона...» Судя по всему, Герцен стоял на том, что нельзя рассматривать те или иные научные открытия и достижения вне эпохи, вне ее потребностей. Более того, Герцен попытался философски осмыслить свою историко-естественную тему, доказывая, «что наука развивается по законам, в уровень с человечеством и по одним и тем же законам, как и мышление».

Герцен был уверен, что получит золотую медаль, но получил вторую серебряную. Золотая досталась Александру Драшусову, ставшему вскоре известным астрономом, первая же серебряная была вручена Николаю Сатину.

Выпускной экзамен состоялся 22 июня 1833 года. Через четыре дня Герцен пишет Наталье Захарьиной: «День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера... Но при всем удовольствии самолюбие было задето *тем, что золотая медаль досталась другому»*. А в июле Герцен в письме к Наташе добавил: «Сегодня Акт, но я не был! Ибо не хочу быть вторым при получении награды». Герцен был выпущен кандидатом по физико-математическому отделению.

«Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития...»

Ровно 11 месяцев после окончания университета и до ареста Герцен провел не отягощенный необходимостью посещения лекций и сдачей экзаменов, не зная служебных обязанностей, пользуясь полнейшей свободой, не заботясь об устройстве собственного будущего. Не все его друзья по кружку могли позволить себе такой образ жизни, но те, кто оставался в Москве, продолжали «пир дружбы, обмена идей, вдохновенья»... и «разгула».

Что касается «обмена идей», то в огромном эпистолярном наследии Герцена письма, сохранившиеся от этих месяцев, составляют малоприметную его часть по количеству, но позволяют проследить, в каком направлении шло пополнение интеллектуального багажа Герцена. Он и сам признается: «...Ежели я после выхода из университета немного сделал материального, то много сделал интеллектуального. Я как-то полнее развился, более определенности, даже более поэзии».

И это не было беспорядочным развитием, когда человек хватается за все, не имея точного представления о том, что именно ему надо. Герцен в письме к Николаю Огареву, уехавшему к больному отцу в пензенское имение, оговаривает план своих занятий науками: «Соберу в одно живые, отдельные отличные знания, наполню пустые места и расположу в системе. История и политические науки в первом плане. Естественные науки во втором». Герцен пока еще и сам не знает, начнет ли он с

римской истории Мишле или примется за Вико, но важно желание выработать для себя систему.

В другом письме, отвечая Огареву по поводу сенсимонизма, Герцен пишет: «Ты прав, saint-semonisme *имеет* право нас занять. Мы чувствуем (*я тебе писал это* года два тому назад и писал *оригинально*), что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала — и только, но надобно создать новое, *палингенезическое* (возрождающееся. — *В. П.*) время, надобно другие основания положить обществам Европы; более права, более нравственности, более просвещения... Я теперь крепко занимаюсь политическими науками...»

Это признание, этот план самостоятельной работы мог бы показаться несколько неожиданным, если иметь в виду только то, что Герцен окончил физико-математическое отделение, защищал диссертацию на астрономическую тему. И вдруг «история», «нравственность», «политические науки» на «первом плане»?

Но профессор Перевощиков, куратор Герцена, не оценил диссертации своего ученика на золотую медаль именно потому, что в сочинении Александра Ивановича он нашел «слишком много философии и слишком мало формул». Так оно и было на самом деле.

Достаточно проследить за перепиской Герцена и Огарева за эти годы, чтобы проявить главенствующую цель их интересов. Как и в прошлые годы, в письмах они продолжают реферирование прочитанного, но круг чтения стал целенаправленнее. Сообщая другу о вновь прочитанном, Герцен как бы для себя самого подводит всякий раз итоги («развивать не стану, — я пишу одни результаты»). Результаты очень пристального и очень индивидуального изучения исторических сочинений Мишле, Тьерри, Вико, Гердера, философских работ Шеллинга, Монтескье, Локка, философской поэзии Гёте. Строго следуя своему плану, он не забыл, не отодвинул на второе место политическую экономию Мальтуса и Сэя и римское право по Макелдею. Человеку, пусть даже самому любознательному, но целеустремленно занятому самоусовершенствованием в точных науках, математике, физике, астрономии, такой «разворот» в изучении наук социально-политических — непозволительная роскошь. Значит, составляя свой план занятий, Герцен уже готовил себя к деятельности на поприще, где знания истории и политической экономии, философии и литературы совершенно необходимы.

И действительно, не раз Герцен, заглядывая в будущее, говорит о «поприще». Не о карьере, нет, именно о поприще, понимаемом как служение своему народу, России. Через год, узнав о приговоре — предполагаемой ссылке на Кавказ на пять лет, Герцен напишет Наталье Александровне Захарьиной: «...лучше на Кавказе 5 лет, нежели год в Бобруйске... Я не разлюбил Русь, мне все равно, где б ни было, лишь бы дали поприще, идти по нем я могу; но создать поприще не в силах человека». Надо думать, что уже тогда у Герцена крепла мысль взяться за перо. Но не беллетристом видел себя Герцен в те годы, а публицистом, просветителем, пропагандистом идей социализма. Только этим, а не математикой и астрономией, «чистыми науками» он может быть полезен своему народу. И не случайно он восклицает: «Во Франции, в конце прошлого столетия, некогда было писать и читать романы; там занимались эпопеею».

Герцен не лишен противоречий, известной непоследовательности. «Страсть деятельности» захватила его еще в университете, он все время и после его окончания ищет поприща. Это так отчетливо проступает в его письмах уже из ссылки. В 1836 году Герцен признается, что «страсть деятельности снова кипит и жжет меня». Снова! Как и до ареста. И опять: «Люди, люди, дайте мне поприще, и более ничего не хочу от вас...» «Мышление без действования — мечта!» Казалось бы, еще до ареста Герцен нащупал это поприще — литературная деятельность. Ведь не случайно он так увлечен планом создания журнала совместно с Вадимом Пассеком. А в 1834 году, отвечая на «дополнительный вопросный пункт» следственной комиссии относительно переписки с «пребывающими в Одессе» лицами, Герцен говорит о Михаиле Иваненко, к которому он, по его словам, обращался с просьбой «прислать статью в предполагаемой мною Альманах на 1835 год».

Писать, писательство — вот поприще, вот деятельность. Оказывается, нет, «одной литературной деятельности мало, в ней недостает *плоти,* реальности, практического действия, ибо, право же, человек не создан быть писателем...» И хотя это письмо к Наталье Александровне относится к тому же 1836 году, оно только фиксирует выношенное ранее убеждение.

А между тем в последний год пребывания в университете и по его окончании — до ареста — написал он не

так уже и мало. Иное дело, что впоследствии он признает, что *писал тогда «дурно»*. Статья «Двадцать осьмое января», статья «3 августа 1833 года», аллегория «Неаполь и Везувий», сцены «Из развития христианской религии» (вполне вероятно, это начальный набросок «Из римских сцен», сработанный позже), сокращенный перевод или изложение книги В. Кузена о «состоянии народного просвещения в некоторых странах Германии», отрывок «Несколько слов о лекции г-на Морошкина, помещенной в V № «Ученых записок», статья о книге французского историка Ф.-Ж. Бюше «Введение в науку истории, или Наука о развитии человечества». Совместно с М. П. Носковым он переводит книгу Ф.-С. Бедана «Элементарный курс минералогии», работа над которым была прервана арестом и осталась незавершенной. И наконец, подготовленная для альманаха Вадима Пассека статья «Гофман».

Нет, Герцен не прав, говоря, что за эти месяцы он сделал мало материального. Сделано много, очень много, и не его вина, что большинство статей и переводов при жизни Герцена так и не было опубликовано, а затем затерялось.

Если Вадим. Пассек все реже появлялся у друзей, то Герцен после замужества Татьяны Петровны становится в этом доме своим человеком. Мать Вадима «смотрела на него как на сына, а братья и сестры — как на брата. Холодное *вы* заменилось задушевным *ты»*, — свидетельствует Татьяна Пассек.

В этом семействе была «девушка, белокурая, прелестная, как весенний ландыш...», но «сговоренная невеста». Это свидетельство Татьяны Петровны. Несколько страниц воспоминаний бывшая «корчевская кузина» посвящает истории любви Герцена к младшей из сестер Пассек — Людмиле Васильевне, «Гаетане» из «Былого и дум», о которой он вспоминает через двадцать два года и вспоминает радостно. Эта любовь промелькнула и прошла, и Пассек передает слова, якобы принадлежащие Герцену: «Любовь моя была одностороння и отчасти натянута, тогда я этого не замечал. Чиста была эта любовь, как майское ясное небо...»

Известие было ошеломляющим, неправдоподобным и при всем при том не подлежало сомнению — Огарев арестован. Герцен терялся в догадках и подлинные мотивы ареста друга узнал значительно позже. А они не были ни случайностью, ни роковым совпадением неблагоприятных обстоятельств.

В кругу Яковлевых и Огаревых долгое время были уверены, что если бы не московские пожары, полыхавшие в это лето в первопрестольной, то ничего бы не случилось. Но пожары действительно наводили на мысль, что это не стихийное бедствие, а сознательное проявление недовольства московской черни. Третье отделение всерьез ждало бунтов.

И вот в такое время некий Егор Петрович Машковцев в связи с окончанием университета, как и положено, устроил 24 июня 1834 года пирушку с друзьями. По его приглашению явились чиновник Алексей Уткин, художник Михаил Сорокин, Николай Киндяков, студент Николай Убини, Иван Оболенский и Иван Скаретка — последний был полицейским агентом. Когда пирушка была в самом разгаре, грянули песни. Песни были такие, что Скаретка испугался. За себя, конечно. Присутствовать при таком богохульстве и не донести?.. И Скаретка поспешил к Кашинцову, чиновнику III отделения. Он сообщил, что молодые люди в пьяном виде исполняют песни, «наполненные гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». Кашинцов доложил о сем жандармскому полковнику Шубинскому. Об этом извете стало известно и обер-полицмейстеру Цынскому. Эта троица решила пойти на провокацию. Скаретке были отпущены казенные деньги, на которые тот и должен был, в свою очередь, организовать пирушку и пригласить тех самых людей, которые пели у Машковцева.

Обер-полицмейстер Цынский, как в дурном романе, переодевшись, заранее забрался в комнату, соседствующую той, где проходила пирушка. Долго ждать ему не пришлось, вскоре он услышал, как сначала хозяин дома, а за ним и другие подхватили, мягко говоря, непочтительные по отношению к царствующим особам частушки. Забыв, что на нем партикулярное платье, полицмейстер ворвался в столовую и объявил всех арестованными. И тут же без промедления начал допрос, доискиваясь автора и не без основания полагая, что винные пары, не выветрившиеся еще у пирующих, помогут ему.

Сильно захмелевший Ибаев назвал имя Николая Кин-

дякова. Того немедленно разыскали и арестовали. Кипдяков показал на Ивана Оболенского и Огарева. В тот же вечер Цынский докладывал московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну: «По прибытии туда секретным образом, я застал там трех человек в пьяном виде и сам слышал их пение песен, и тех самых, о коих я был уже предуведомлен. Заключая важность в сборище помянутых людей, удостоверивших меня своими песнями, я в то же время взял их под арест, кои оказались: 1-й — отставной поручик Ибаев, 2-й — чиновник 14-го класса Уткин, 3-й — художник Сорокин».

Огарев в этих пирушках не участвовал, но достаточно было назвать имя человека, состоявшего под надзором полиции, и 9 июля 1834 года Николай Платонович был арестован. При обыске у него нашли письма, в том числе и письма Герцена.

А Герцен метался в поисках людей, которые могли бы помочь попавшему в беду другу. Поначалу бросился к Василию Петровичу Зубкову. Это был влиятельнейший человек, советник Московской палаты уголовного суда и даже либерал в представлении московского света. Но Зубков испугался, и Герцен получил у него решительный отказ. Причем отказ сопровождала благонамереннейшая нотация — сидеть и молчать.

Обескураженный Герцен вернулся домой. А там все вверх дном. Иван Алексеевич негодует; Сенатор роется в бумагах и рвет, сжигает все, что ему кажется подозрительным. Впору бежать бы куда-либо. Но куда? И вдруг Герцен находит у себя на столе записку от Михаила Федоровича Орлова с приглашением на обед. Может быть, Орлов?.. Михаил Федорович Орлов был фигурой заметной. Декабрист, один из основателей «Союза благоденствия», в Сибирь он не попал только благодаря брату Алексею Федоровичу — генерал-адъютанту, командиру лейб-гвардии конного полка, сыгравшему такую заметную и трагическую роль 14 декабря 1825 года при подавлении восстания декабристов.

Орлов по просьбе Герцена написал письмо князю Голицыну. На следующий день Александр узнал неутешительный ответ — Огарев «арестован по высочайшему повелению». Не удалась и попытка получить свидание с другом. Обер-полицмейстер Цынский не разрешил.

Герцен все эти дни словно и не жил. Хватался за перевод книги Ф.-С. Бедана «Элементарный курс минералогии», начатый еще раньше, но тут же бросал. Написал несколько писем, но все это только так, чтобы забыться.

17 июля жандармский полковник Шубинский, разбирая бумаги Огарева, наткнулся на переписку с Герценом и на следующий день отписал шефу жандармов А. X. Бенкендорфу, что переписка эта велась в «конституционном духе». 19 июля московский обер-полицмейстер Цынский обращается к генерал-губернатору князю Голицыну за разрешением на арест Герцена. «При рассмотрении бумаг, принадлежащих... студенту архива Огареву, найдены письма к нему от Герцена, по содержанию коих и признано необходимым взять под арест для снятия показаний и самого Герцена».

20 июля с утра Герцен не знал, куда себя девать. В доме все ходят как будто на столе покойник. И дворовые примолкли. Поехать разве к друзьям? Но это значит — снова разговоры о Нике, снова соль на кровоточащую рану. Кто-то на днях говорил, что сегодня на Ходынском поле большие скачки. Герцен никогда не был любителем тотализатора, хотя спортивный азарт был и ему не чужд. Сегодня состязаются юсуповские, шереметевские, голицынские лошади — самый цвет русского конезаводства. Он бы поехал, одно плохо: на Ходынке соберется весь московский бомонд, а это сотни знакомых и сотни глупых вопросов. Он уже слышал всякие нелепости о Нике и кружке сенсимонистов, которые, оказывается, и есть те самые таинственные московские поджигатели.

Наверное, он бы и не поехал в конце концов, но явился Сенатор, значит, вновь начнется домашний допрос. Тщательно одевшись, Герцен выскользнул из дома. Застоявшиеся лошади мигом домчали до Ходынки. Скачки уже близились к концу. Многие любители, и особенно те, кто бывает на подобных состязаниях только ради того, чтобы на других посмотреть и себя показать, уже уехали. Герцен еще по дороге на Ходынку ругал себя: зачем поехал, а когда заметил, как пыль, поднятая сотнями лошадиных копыт, оседает на шляпы, цилиндры, шляпки присутствующих, и вовсе решил не задерживаться здесь, но в это время его окликнули из старой, екатерининских времен кареты. Он сначала узнал противную приживалку княгини Хованской — Марью Сте-

пановну Макашину, а рядом встревоженно улыбающееся лицо кузины Наташи.

Наташа вышла из кареты, и первый вопрос ее был:

— Что ваш друг?

Именно тот вопрос, который он не хотел бы сегодня услышать. Но кузина спрашивала с таким нежным участием, так взволнованно, что Герцен словно впервые увидел эту девушку, о существовании которой знал всю жизнь, встречался и... никогда не имел для нее достаточно времени.

Скачки кончились. Завсегдатаи разошлись, а они двинулись к близлежащему Ваганьковскому кладбищу, с церковью святого Николая. Подошли к ограде, остановились. Вид кладбища, заунывные удары колокола по покойнику, которого отпевали в церкви, только усугубили и без того мрачное настроение Александра. И он не сдержался:

— Не могу видеть эти золотые купола, эти могилы, а колокол звонит по живым.

— И эта *колокольня ничего больше* не говорит вашему сердцу? Взгляните, куда она указывает. Там утешатся все скорби.

Герцен посмотрел на Наташу с удивлением. Он, конечно же, не знал, что его двоюродная сестра не расстается с Евангелием, что по утрам, когда в доме княгини все спят, она молится, но не перед иконой, а под чистым небом, во дворе, молится даже за княгиню, молится и за него, Александра, который давно уже стал для Наташи средоточием всех ее помыслов, мечтаний и интересов.

— Там... Но Огарев гибнет здесь, гибнет за любовь к людям, гибнет неоцененный, неузнанный.

— Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.

Не слова, тон, которым все это было сказано, сочувствие к его горю, боль за Огарева подействовали на Герцена успокаивающе. Они еще долго говорили об Огареве, «и грусть моя улеглась».

— До завтра, — сказала Наташа и подала руку брату, «улыбаясь сквозь слезы».

— До завтра, — ответил Герцен и потом «долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее»...

Они не знали, что этого «завтра» у них уже нет.

Второй час ночи. Герцен проснулся от того, что кто-то почтительно, но настойчиво тряс его за плечо. Еще не рассвело, и так хорошо спалось. Раздетый и испуганный камердинер Ивана Алексеевича как продолжение дурного сна.

— Вас требует какой-то офицер.

Камердинер не знал какой. Герцен же догадался сразу. И не ошибся — в дверях залы стоял полицмейстер Миллер.

В «частном доме», куда доставили Герцена, арестанту и прилечь было негде — несколько грязных стульев и два стола, заваленных бумагами. Дворецкого, посланного вслед за полицейской каретой с подушкой и шинелью, к Герцену не допустили, дворецкий плакал и кланялся барину, увидев его в окне.

Утром явились невыспавшиеся, полупьяные писарь, унтер-офицер, квартальные и жалобщики. Герцен с удивлением, с интересом и отвращением наблюдал, как содержательница публичного дома жаловалась на сидельца, что тот обругал ее непотребными словами. Крик, гам, квартальный грозил обоим и кричал громче всех, явившийся частный пристав выпроводил «сволочь» с бранью, наорал на квартальных... Герцен через много лет писал: «Для меня эта сцена имела всю прелесть новости, она у меня осталась в памяти навсегда; это был первый патриархальный русский процесс, который я видел».

К вечеру первого дня заключения нашлась для Герцена комната под самой каланчой Пречистенской части. Старенький диван вполне устраивал уставшего, издерганного арестанта.

А потом потянулись дни. Герцен быстро осваивался с тюрьмой. Частный пристав на деньги Герцена купил ему засаленную итальянскую грамматику, обеды привозили из дома, друзья присылали вина, и Герцен с удивлением заметил, что привык «к тишине и совершенной воле в клетке... — никакой заботы, никакого рассеяния». Но, конечно, такая привычка дается человеку только тогда, когда «он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания». К арестанту был приставлен квартальный, маленький, черненький, рябенький. В его обязанности входило сопровождать Герцена на допросы.

Между тем по предписанию московского генерал-губернатора Д. В. Голицына была учреждена следственная комиссия. В нее вошли: московский обер-полицмей-

стер Л. М. Цынский, жандармский полковник И. Ф. Голицын, жандармский полковник Н. П. Шубинский, обер-аудитор Н. Д. Оранский, старший полицмейстер Микулин.

24 июля Герцена вызвали на первый допрос. Большая зала, довольно красивая, но портрет Павла I, нахмуренного, нарушает ее интерьер. Император как напоминание о необузданности властей и свирепости полицейских. Герцен, войдя в залу, прежде всего заметил портрет, а затем уже пятерых в мундирах и одного в рясе. Священник дремал, остальные, развалясь в креслах, курили и весело переговаривались. Обер-полицмейстер Цынский подал Герцену листок, на котором стояло 15 вопросов.

Вопросы были построены так, чтобы выведать знакомства подследственного, его корреспондентов, связи. Александр Иванович был скуп в ответах, все время подчеркивая, что вел домашний образ жизни, «имел больного отца», из знакомых перечислил только тех, кто мог слыть образцом благонадежности, ну и, конечно, Огарева, Пассеков, Сатина, письма которых были найдены в его бумагах. Герцен с чистой совестью отрекся от вопроса о принадлежности к тайному обществу. И только на один вопрос (14) ответил не таясь.

«14-й. Не случалось ли вам в Москве или вне оной быть у кого-либо в таких беседах или сообществах, где бы происходили вольные и даже дерзкие против правительства разговоры; в чем они заключались, кто в них участвовал, не было ли кем вслух читано подобных сочинений или пето таких же песен?

14. ... я редко бывал в многочисленных беседах и никогда в таких, где бы делались бесчинные и дерзкие против правительства разговоры. С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов со стороны господ, обремененьем трудами, и находил, что сие состояние вредит развитию промышленности... Разговоры о крестьянах имел я со многими знакомыми и родными, в том числе мой батюшка, Лев Алексеевич Яковлев, Николай Николаевич Бахметьев, Николаем Платоновичем Огаревым, коего мнения о сем предмете не помню, и др. Они по большей части опровергали меня. Вообще сии разговоры были редки, ибо по большей части мои беседы касались до ученых предметов. Песни знал я Беранжера и некоторые другие, более нечистые, нежели возмутительные. Лет пять тому назад слышал я и получил стихи Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», Полежаева — не помню под каким заглавием, — от г. Паца, кандидата Московского Императорского университета, но, находя неприличным иметь таковые стихи, я их сжег и теперь, кажется, ничего подобного не имею».

Через несколько дней была создана вторая следственная комиссия по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» в составе попечителя Московского учебного округа С. М. Голицына, московского коменданта генерал-лейтенанта К. Г. Стааля, состоящего при Николае I по III отделению камергера князя А. Ф. Голицына, вошли сюда и Н. П. Шубинский, и Н. Д. Оранский, и Л. М. Цынский.

Герцену только показалось, что в тюрьме тишина, а в клетке полная свобода. Как только Александру разрешили открывать окно, в его скворечню под каланчой ворвались крики, вопли, визг. Кричали «поджигатели», которых пытали самым жесточайшим образом. Герцен перестал открывать окно, несмотря на духоту «пожарного» августа. Но теперь он улавливал малейший звук. «Это было ужасно, невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, и я просыпался в исступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе, в цепях, с изодранной, с избитой спиной и наверное без всякой вины».

7 августа после допроса в комиссии Голицына сопровождавший Герцена квартальный поручик Борзов, к неописуемой радости арестанта, завел его домой к Ивану Алексеевичу. Дворня заметила Герцена, когда он только подходил к дому, высыпала на улицу — целовали руки, плечи. В воротах же Герцен увидел плачущего отца. Свидание было кратким, но оно дало силы Герцену еще на несколько недель ужасного пребывания в Пречистенской части. Наконец в конце августа его переводят в Крутицкие жандармские казармы, как бы закрепляя за ним звание политического преступника.

Крутицкий монастырь. Его основал будущий первый московский князь, сын Александра Невского Даниил около 1272 года. За стенами полутораметровой толщины

Герцен и обрел если не покой, то тишину. И иногда такую беспробудную, что хотелось зажать уши. И все же это не шло ни в какое сравнение с Пречистенской частью.

Следствие тянется бесконечно. У следователей почти нет улик, а отзывы о Герцене самые отменные. 6 сентября управляющий Московской дворцовой конторой князь С. И. Гагарин сообщает С. М. Голицыну, что за время службы Герцена он «в образе мыслей, которые были бы противны религии и клонились бы к неповиновению властям, замечен не был, равно так же не был замечен никогда и с невыгодной стороны».

23 ноября у Герцена именины. Яковлев обращается к председательствующему в комиссии князю Голицыну, разрешить сыну провести этот день в отчем доме.

Князь и действительный тайный советник Сергей Михайлович Голицын, «богач, аристократ в полном смысле слова, был человек высокообразованный, гуманный, доброго сердца, характера мягкого... Имя его всеми студентами произносилось с благоговением и каким-то особенным, исключительным уважением», — вспоминает соученик Александра Ивановича по университету П. Вистенгоф.

Иван Алексеевич уже не раз подавал подобные прошения, но получал отказ. Неожиданно Голицын разрешил Луизе Ивановне и Егору Ивановичу посетить узника в канун его именин.

8 сентября князь Голицын доносит Бенкендорфу: «Герцен подвергнут аресту по дружественной связи с Огаревым. Он человек самых молодых лет, с пылким воображением, способностями и хорошим образованием. В пении пасквильных стихов не участвовал, но замечается зараженным духом времени. Это видно из бумаг и ответов его. Впрочем, никаких злоумышлений или связей с людьми неблагонамеренными доселе в нем не обнаружено».

В январе следственная комиссия разрешает всем родственникам Герцена навещать его. Чаще других бывает Луиза Ивановна, гувернантка и приятельница Наташи — Эмилия Аксберг, Николай Сазонов и Кетчер, чудом избегнувшие ареста.

В Крутицких казармах бродят слухи, что лиц, которые не причастны непосредственно к пению «пасквильных песен», сошлют на Кавказ.

23 марта Бенкендорф сообщает С. М. Голицыну приговор Николая I по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни»: А. В. Уткина, Л. К. Ибаева, В. И. Соколовского, автора «пасквильных» песен, заключить в Шлиссельбургскую крепость, а «прочим по назначению комиссии». Бенкендорф извещает министра императорского двора князя П. М. Волконского, что Герцен ссылается в Пермскую губернию.

31 марта все обвиняемые выслушали приговор. Но не это их занимало. «Торжественный, дивный день. Кто не испытал этого, тот никогда не поймет. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти люди под ножом, в большой зале, когда я взошел, и Соколовский, главный преступник, с усами и бородою бросился мне на шею, а тут Сатин; уже долго после меня привезли Огарева; все высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе...»

Здесь, в тесной келье старинного монастыря, Герцен за девять месяцев следствия возмужал более, чем это могло бы быть на свободе, при «рассеянной жизни». Клятва Воробьевых гор как будто начинала исполняться, только не с начала, а с конца. Они были готовы продолжать дело декабристов и, если придется, пострадать за это. Страдать они уже начали, а вот что касается дела?!.

9 апреля 1835 года. Эту дату Герцен и Наталья Александровна почитали всю свою дальнейшую жизнь.

Луиза Ивановна, отправляясь в Крутицы, чтобы, быть может, в последний раз повидать сына перед долгой разлукой, захватила с собой и Наташу. Свидание длилось несколько минут, и сказано было всего несколько слов, из которых самые значительные произнесены на прощание:

— Александр, не забывай же сестры!

В тот момент Наташа ничего не видела, кроме осунувшегося бледного лица Александра. Видеть мешали слезы. А в окно светило яркое солнце, на Александре был зеленый с синим бешмет, на голове красная ермолка, а на ногах красные сапоги. И уже потом вспомнила — камера была насквозь прокурена. Волосы ее весь

день хранили запах табака, а ей не хотелось их помадить.

10 апреля. 9 часов утра. Москва уже проснулась, отзвонили колокола ее церквей — кончается заутреня. На улицах пока пустынно, но на дорогах, ведущих к городу, стоит неумолчный скрип бесчисленных продовольственных обозов, а в воздухе висят забористая брань и стаи галок.

— Сторонись!..

Жандармский возок, обдавая возчиков фонтанами грязи, обгоняет телеги со снедью. Вырвавшись на центральные улицы, возок гремит по булыге, и эхо отскакивает от стен зданий, глухих каменных заборов, лабазов. Герцен вглядывается в знакомые с детства дома, мелькающие лавки, полосатые будки, церкви. Нет, не изменилась родная Москва за девять месяцев его пребывания в узилище. Он вбирает в себя образы Белокаменной, когда-то теперь они встретятся.

Кучер резко осадил лошадей у подъезда. Жандармский офицер жестом пригласил Герцена следовать за ним. Знакомая гардеробная, потом незнакомые коридоры, темные закоулки, внезапные повороты. И в коридорах полно шныряющих из двери в дверь писцов, секретарей и просто шпиков. После светлой, весенней, солнечной улицы контраст разительный. В этой обстановке, «оскорбительной и печальной», он ничего не сможет сказать на прощание родным. А расставание и так сулит слезы.

Луиза Ивановна плакала. Иван Алексеевич бодрился и несколько раз принимался рассказывать, что Карл Иванович Зонненберг собирался поначалу на Ирбитскую ярмарку, но он, Иван Алексеевич, его уговорил «монтировать дом» для Шушки в Перми. Зонненберг уже уехал. А с Шушкой в дороге будет его камердинер Петр Федорович, и нужно приглядывать за возком с припасами... Герцен был почти благодарен жандармскому унтеру, объявившему, что свидание закончено.

3

Теперь все позади. Коляска выкатила на Владимирскую дорогу.

Первая задержка в Покрове. Нет лошадей. Станционный смотритель гордо заявляет, что взяты они «под товарища министра внутренних дел», так что извольте по-

дождать... Владимир, Нижний, «царь Волга» — все это как-то мимо, хотя ведь никогда ранее он не выезжал далее Васильевского. Во Владимире и даже в Нижнем — он еще в Москве, но уже в Чебоксарах «я вымерил всю даль от Москвы». А ведь это только полпути, чуть-чуть не оказавшиеся последними.

В 20-х числах апреля на средней Волге лед уже сошел, но река еще «во всем блеске весеннего разлива». Этак верст на десять-пятнадцать раздалась вширь. От самого Услона до Казани одна дорога — водой на дощанике. День стоял дождливый, ветреный, Герцену даже показалось, что свирепствует буря. И перевоз не работал, значит, действительно разгулялась непогода. И они чуть было и правда не утонули — дощаник дал течь. «Сначала и мне было жутко, к тому же ветер с дождем прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтоб я мог погибнуть, *ничего не сделав*, это юношеское quid timeas? Caesarem vihis! (Чего ты боишься? Ты везешь Цезаря! — *В. П.*) взяло верх, и я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью».

...Уже более полумесяца Герцен в пути. Потом в его жизни будет бесконечно много дорог, встреч, мимолетных и значительных, забавных, трагических и промелькнувших без воспоминаний. Но на этой первой, ссыльной, когда грызет тоска, когда одиночество невольно укрепляет мысль о том, что обратной тропы нет и никогда не будет, каждая встреча, каждый штрих врезаются в память, а многие остаются в ней навсегда. Герцен пережил казнь декабристов, но не видел виселиц, он знал о сосланных в рудники, но не слышал звона их кандалов. Ему в отрочестве всегда казалось, что жизнь его окончится на сибирской каторге, но сейчас он ехал в ссылку, фактически не зная за собой вины.

Однажды, приближаясь к Перми, Герцен проснулся в коляске и увидел «толпы скованных, на телегах и пешком отправляющихся в Сибирь; эти ужасные лица, этот ужасный звук, и резкое освещение рассвета, и холодный утренний ветер — все это наполнило таким холодом и ужасом мою душу, что я с трепетом отвернулся...» А ссыльные все шли и шли, шли не только мужчины, здесь были и женщины, и старики, и даже дети. Неподалеку от того места, где остановилась коляска Герцена, на столбе высился герб Пермской губернии — «медведь,

а на медведе евангелие и крест». Да, крестный путь предстоит этим несчастным... Ссыльный Герцен из рессорной коляски мог увидеть, что существуют и другие способы доставки в ссылку.

Наконец на восемнадцатый день пути — Пермь. Немного оглядевшись, Герцен даст точную формулу этого города на границе Сибири: «Пермь есть присутственное место + несколько домов + несколько семейств; но это не город губернии... решительное отсутствие всякой жизни». А ведь грезилось иное. Вспомнились гордые слова о широком поприще, о славе. Здесь, в Перми, поприща не будет, будет служба под начальством губернатора Селастенника.

Селастенник обещал новому ссыльному «занятие в канцелярии», но, давая это обещание, он уже знал о «высочайшем повелении» отправить Герцена на службу в Вятку «под строгий надзор местного начальства». Сие повеление прибыло одновременно с Герценом. 11 мая Александр Иванович был извещен губернатором, что переводится в Вятку вместо другого ссыльного — товарища Герцена по процессу Ивана Оболенского, который водворяется в Пермь. И выезжать к новому месту ссылки надлежит назавтра.

За эти две недели пребывания в Перми Герцен не то чтобы успел полюбить, нет, на это не было ни времени, ни возможности, но привязаться, восхититься и проникнуться глубоким сочувствием к ссыльному, участнику польского освободительного движения Петру Цехановичу. В июле Герцен писал Сазонову и Кетчеру: «...Я там (в Перми. — *В. П.*) видел в последний раз человека несчастного, убитого обстоятельствами, но живого душою, сильного и возвышенного. Когда-нибудь, где-нибудь, вспоминая эту черную полосу жизни, вспомним и его». Вспомнил Цехановича Александр Иванович сравнительно скоро, в 1836 году. Тогда он написал очерк «Человек в венгерке». Вспомнил и в «Былом и думах». Этот человек уже тем стал близок Герцену, что, побежденный, униженный, разоренный, он продолжал нести свой крест в нищете, вдали от родины, но гордо.

Прощание их было мимолетным, но трогательным и немного романтичным. Цеханович подарил Герцену на память несколько звеньев железной цепочки. Герцен — запонку от рубашки. А на следующий день снова в дорогу. Взмах руки Цехановича, и «глазами, полными

слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы пожалеть в Перми!»

19 мая 1835 года Герцен добрался до Вятки. В отличие от пермского губернатора вятский, Кирилл Яковлевич Тюфяев, не пожелал тут же принять ссыльного, повелев ему явиться на следующий день. Герцен, усталый, измученный дорогой, предоставил Карлу Ивановичу Зонненбергу «монтировать» квартиру. Карл Иванович, когда Герцена перевели в Вятку, счел долгом последовать за своим подопечным, благо Яковлев положил ему «за преданность» сто рублей в месяц. Квартиру Карл Иванович снял на Казанской улице в доме Д. Чарушина. Чарушин был владельцем трех соседних домов, объединенных общим садом.

Уже первое знакомство с губернатором, чиновниками, в среде которых поневоле придется вращаться, привели Александра Ивановича в ужас. «Вот вход в чужой город, который запрется для меня», — писал он Наташе.

Вятской губернией правил щедринский помпадур — «плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога, большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались; старое и с тем вместе преапатическое выражение лица, небольшие, быстрые, серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление».

Тюфяев при первом знакомстве с Герценом учинил кандидату Московского университета издевательский экзамен. Его не интересовали познания молодого ссыльного, нет, только почерк. Почерк же губернатору не понравился: «Ну, к государю переписывать вы не будете». Герцен внутренне содрогнулся: ужели этот бульдог решил сделать его писцом, бездушным переписчиком казенных бумаг? Но Герцена определили на должность переводчика губернской канцелярии, что было немногим лучше, и только потому, что должность переводчика была фиктивной. Языков тех национальностей, которые населяли губернию, Герцен не знал. И в результате «переводчик» стал простым канцеляристом. Канцелярист — это уже само по себе тюрьма, а ведь Герцен был к тому же еще и поднадзорным. *«Быть под надзором* не есть очень худое состояние; но и отнюдь не веселое. Оно похоже на состояние жены у ревнивого мужа. «Сюда, сударь-

ня, не смотрите, сюда не ходите; на кого вы вчера, сударыня, смотрели, с кем танцевали?..» — писал Герцен Сазонову и Кетчеру.

В тот же день, 20 мая, Герцен в приемной Тюфяева познакомился с вятским исправником С. Орловым, полицмейстером М. Катани, правителем канцелярии П. Аленицыным, советником В. Сипягиным и чиновником для особых поручений Г. Эрном. Естественно, что среди чиновников Герцена поначалу более всего интересовали двое — Тюфяев и Аленицын. Тюфяев только потому, что он губернатор и от его произвола зависит положение ссыльного. Аленицын же был непосредственным начальником Герцена и если не мог коренным образом влиять на судьбу «несчастненького», как здесь в простонародье величали ссыльных, то был все же в состоянии отравить жизнь подчиненного ему по канцелярии переводчика.

О Тюфяеве Герцен наслушался еще в Перми. Тюфяева там знали. В этом городе незадолго до появления Герцена сей сатрап пребывал в качестве губернатора. Пермский доктор Чеботарев, сделавший своим занятием насмешки над чиновниками, очень серьезно говорил Александру Ивановичу: «Вы едете к страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь, как можно более. Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация; если же возненавидит, так уж он вас доедет, клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет...»

Однако из числа российских губернаторов Тюфяев выделялся не столько своим сатрапством, сколько происхождением и карьерой. Отец его, чуть ли не ссыльнопоселенец Тобольска, мелкий мещанин из беднейших. Сын мальчиком убежал из дома, пристал к ватаге комедиантов и прошел с ними, кривляясь, танцуя, балансируя на канате, от Тобольска до польских губерний, где и был арестован, а затем пешим этапом препровожден в Тобольск. Там он пристроился писцом в магистрате, почерк у него был отменный. Ловкач и пройдоха, Тюфяев сумел втереться в доверие к какому-то заезжему ревизору, и тот увез его в Петербург. И вот Тюфяев — глава экспедиции в канцелярии всесильного Аракчеева. С Аракчеевым Тюфяев попал в Париж. Но ему не нужна была «столица мира», за канцелярскими бумагами не видно Елисейских полей. Такие люди как нельзя более подходили Аракчееву. Тюфяев был награжден вице-губернаторством, а через

несколько лет получил «в удел» Пермскую губернию — губернию, «по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке». Затем последовала Вятка, куда он въезжал в роскошной коляске с форейтором на запятках. Он был деятелен в том роде, что требовал от чиновников непрерывных докладов, предложений, ревизий, разъяснений и прочее. На это у него употреблялось всякое утро. Но это только деловая проза, «поэзия жизни начиналась с трех часов». «Обед для него был вещь не шуточная».

Герцен одно время был непременно приглашенным к губернаторскому столу. «...Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой...»

С канцелярией же Герцену пришлось поначалу дружить. А она была «без всякого сравнения хуже тюрьмы». «Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой». В канцелярии за одним столом по четыре-пять человек сидели писцы, люди без образования, вступившие в должность по наследству, так как были сыновьями таких же писцов и секретарей. Службу они считали только средством для приобретения; крали, врали, продавали за двугривенный фальшивые справки, за стакан вина делали всякие подлости. Герцен задыхался. «Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие». «Я смотрю, как на блаженное время, на прошлые 9 месяцев тюрьмы. Там возвышалась моя душа, там прах земной слетал с нее...»

Герцен пытался завязать какие-то, пусть даже только по видимости, дружеские связи вне чиновничьего мира. В Вятке было довольно ссыльных и поднадзорных, но большинство их составляли поляки, участники восстания 1831 года, офицеры ныне уже не существовавших полков, католические ксендзы, монахи. Эти люди, зачастую терпя страшную нужду на грани нищеты, держали себя достаточно недоступно. Русских они в большинстве своем чурались. Герцен вспоминает, как в 1837 году старик офицер из войск Понятовского, получив разрешение вернуться

в свои литовские владенья, созвал на прощальный обед нескольких ссыльных поляков, пригласил и поднадзорного Александра Ивановича. Изрядно подвыпивший кавалерист после обеда с военным прямодушием шепнул Герцену: *«Да зачем же вы русский?»* И Герцен с горечью заметил, что *«этому* поколению нельзя было освободить Польшу».

Что же касается остальной части ссыльных, то все они, за редким исключением, отбывали сроки по делам, далеким от политики. Продажа поддельных карт, слишком уж дерзкое ябедничество, растрата и просто ограбление Опекунского совета — вот что стояло за их спиной. И с первых же вятских дней Герцен жалуется Наталье Александровне на одиночество, пустоту, никчемность жизни в этой провинциальной глухомани. «Как пусто все вокруг меня, пусто и в душе... Отчаявшись найти человека, я сначала выдумал себе разные занятия, где было бы много всего, но мало людей».

Эта жалоба не поза, не перепевы байронизма. Герцену вообще чужда была поза. Занятия же, где «много всего, но мало людей», выдумал не Герцен и даже не Тюфяев, а российское министерство внутренних дел. По его распоряжению во всех губерниях открывались статистические комитеты. На обзаведение и регулярную работу этих комитетов денег не отводилось, зато министерство не поскупилось на обширнейшие программы. При этом от комитетов требовали, чтобы отчеты составлялись по данным за текущий год и за прошедшее пятилетие, хотя за год до этого нововведения никаких сведений, которые требовало министерство, в губернских канцеляриях не имелось. «Все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию, и приводить в порядок в губернаторской канцелярии», — иронизирует Герцен.

Тюфяев, а за ним и Аленицын пришли в ужас. В распоряжении вятского губернатора не было ни одного человека, сколько-нибудь способного составить статистический отчет. И тут вспомнили о кандидате Московского университета, математике. Кому же иному писать эти отчеты? Герцен понял, что для него выпадает, может быть, единственный шанс освободиться от канцелярской рутины. «Я обещал Аленицыну приготовить введение и начало, очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами — если он разрешит мне этим тяжелым трудом

заниматься дома, а не в канцелярии». Разрешение было получено. Введение Герцен написал мастерски — так, что тронул Аленицына до глубины душевной. Но Герцен понимал, что этот отчет не более чем «ловкость рук». Составить сколько-нибудь серьезные таблицы по тем сведениям, которые поступали в губернскую канцелярию, было попросту невозможно.

14 октября 1836 года Тюфяев, наконец, решивший, что место Герцена именно в статистическом комитете, запросил министра внутренних дел о разрешении поднадзорному объехать города Вятской губернии, с тем чтобы самому собрать необходимые сведения. Министр не разрешил. И Герцен потерял вкус к работе. Но он регулярно просматривал прибывавшие в комитет статистические материалы. В них содержались не только цифровые данные, но и кое-какие этнографические сведения. А они очень интересовали Александра Ивановича.

Герцен оставался заведующим статистическим отделом, в канцелярию же только заходил, чтобы отметиться. Но и это недолгое пребывание в «собачьем гроте» портило настроение на целый день, а заходить приходилось ежедневно, таково распоряжение губернатора. «...Что такое за гадкая жизнь в маленьком городе, вдали от столицы, где все трепещут одного, где этот один распоряжается, как турецкий паша», — подобными жалобами полны письма Герцена к московским друзьям, но имен он уже не называет.

Приобщение к окружающей реальности, начатое в тюрьме и по дороге в ссылку, завершилось в Вятке. Именно здесь, «после шиллеровских гуманистических мечтаний и сен-симонистских утопий, началось реальное, практическое знакомство с жизнью». Но еще пройдет много недель, месяцев, прежде чем провинциальная действительность излечит Герцена от романтических иллюзий.

Никогда ранее Герцену не доводилось непосредственно сталкиваться с практикой управления отдельными губерниями. Теперь же он находится «в центре оного». И признается, «что управление губернское *в интеграле* идет несравненно лучше, нежели я думал». Он готов признать, что министерство внутренних дел сообщает и «прогрессивное начало», которое «гораздо выше понятий и требований». Беда только, пишет он Кетчеру и Сазонову, что все его усилия на местах по большей части глохнут втуне. «Сколько журналов присылают оттуда (из ми-

нистерства. — *В. П.*), сколько подтверждений о составлении библиотек для чтения, и кто же виноват, ежели журналы лежат неразрезанные до тех пор, пока какой-нибудь Герцен вздумает их разрезать?» Герцен готов отметить малейший успех в деле просвещения. Пусть в Вятке, «отдаленной от всего», его гомеопатическая доза, но и она радует ссыльного. «Вот еще что. Духовные заведения идут несравненно лучше: я здесь был на всех экзаменах... — отчитывается Герцен перед московскими друзьями. — В семинарии мало преподают, но знают то, что преподают; латынь знает самый маленький, преподавание философии бедно; но богословие в объеме высшем философском. Преподаватели по большей части из петербургской академии, и еще теперь все ученики времени Библейского общества и Филарета. Итак, духовенство доселе еще не лишилось своего истинного и высокого призвания — просвещать... Повторяю, жаль, что оно так недеятельно».

В начале своего пребывания в Вятке молодой, образованный, богатый москвич привлекал внимание провинциалов постольку, поскольку был для них своего рода экзотикой, да и к тому же не вор какой-нибудь, а политик, пострадавший за свои убеждения. Вятским кумушкам дела до сути этих убеждений не было. И Герцен на первых порах подыгрывал любопытствующей толпе. Тройка лошадей, купленная Карлом Ивановичем с тайной надеждой «произвести впечатление», впечатление действительно произвела. «Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества». Двери гостиных распахнулись шире. Томимый скукой, одиночеством, привыкший к шумной дружеской ватаге в Москве, Герцен не мог устоять.

Быть первым на вятских «великосветских подмостках» было не столь уж сложно для острослова, признанного первым в стенах Московского университета. Вятские гостиные — это прежде всего карты и флирт. Герцен не сторонился ни того, ни другого. «...Играю в карты — очень неудачно, — и куртизирую *кой-кому* — гораздо удачнее. Здесь мне большой шаг над всеми кавалерами, кто же не воспользуется таким случаем?»

В Вятке ярко вспыхнул и быстро прогорел, оставив тяжелые воспоминания и угрызения совести, роман Герцена с Прасковьей Петровной Медведевой. Впоследствии в письме к Наталье Александровне Герцен называет роман с Медведевой «грехом», «падением» — «я запятнал свою совесть». Это, конечно, преувеличение. Герцен был всегда и во всем искренен до конца, и в своих отношениях с Медведевой тоже.

Свое увлечение Герцен называет страстью. А от природы Александр был действительно человеком страстным. Одной увлеченности ему было мало во всем. И пока эта страсть горела, Герцен ни о чем не думал, ни о чем не сожалел... Ведь еще не было написано знаменитое письмо к Наташе, в котором Герцен говорит, что не верит слову «дружба», которым они обозначили свои отношения. Он еще не разобрался в своих чувствах, не сказал «люблю». Поэтому страсть Герцена в продолжение всего романа с Медведевой была чиста. Но у Медведевой был муж, чиновник лет пятидесяти (Медведевой было двадцать пять). Болезненный, подолгу прикованный к постели. Герцен знал, что Прасковью Петровну насильно выдали замуж чуть ли не пятнадцатилетней девочкой за человека много старше ее, ни о какой любви между супругами не могло быть и речи. Но Медведева была хорошей матерью и... сиделкой у постели больного мужа. В ее безрадостной жизни Александр Герцен показался чуть ли не божеством. Да и Медведева была молода, красива, безрадостное замужество накопило в ее душе осадок горечи и желание встретить человека, которому она могла бы отдать всю полноту неистраченной нежности.

Медведевы занимали третий, пустовавший дом Чарушина. У всех трех домов был общий сад, и Герцен довольно часто проводил летние вечера в прогулках по его аллеям. Их знакомство состоялось. Вскоре Герцен был принят в дом Медведевых. А еще через некоторое время между ним и Прасковьей Петровной возникла первая тайна. Она состояла в том, что Медведева записочкой предупредила Герцена, что не сможет писать его портрет, поскольку муж против, но предлагала это сделать вне поля зрения супруга. Медведева недурно рисовала, в чем Герцен убедился, разглядывая ее альбом.

Близость наступила быстро, и целый месяц Герцен в угаре. Затем такое же быстрое протрезвление и укоры совести. Герцен искренне страдал. И, почти не имея друзей в Вятке, не мог облегчить свои мучения исповедью, а возможно, и просьбой совета, участия. Почти не имел друзей... И все же несколько друзей у него было, друзей, которых он не забыл и через двадцать лет.

Была у Герцена «задушевная подруга» — Полина Тромпетер, дальняя родственница жены аптекаря Фердинанда Рулковиуса. И жена аптекаря, и ее родственница были немками из Ревеля, ни слова не знали по-русски. Очутившись в неведомой Вятке, они «пропадали от скуки», так как в этом городе вряд ли нашлось хотя бы несколько человек, говоривших на немецком, даже учитель немецкого в местной гимназии оказался по специальности математиком. Конечно, появление Герцена, бегло говорившего на родном языке аптекарши, было для них праздником.

Вскоре Герцен стал частым гостем у аптекаря. Паулина, или Полина, смуглая брюнетка небольшого роста, существо энергичное, умеющее постоять и за себя и за других, вскоре стала наперсницей Герцена. Ей он поведал и о романе с Медведевой, ей переводил письма Наташи. Здесь, в доме аптекаря, за чашкой кофе или стаканом прохладительного калтешале, Александр Иванович отдыхал от канцелярии, здесь он находил убежище, малодушно скрываясь от Медведевой.

26 октября 1835 года в Вятку прибыл ссыльный архитектор и художник Александр Лаврентьевич Витберг. Фигура колоссальная! Он стоял в одном ряду с Росси, Захаровым, Баженовым, хотя и не успел, подобно своим знаменитым коллегам, воздвигнуть что-либо монументальное.

Витберг был по происхождению швед. Татьяна Пассек называет его отца шведским дворянином, дореволюционный исследователь жизни и творчества Витберга В. В. Чуйко склонен считать его сыном шведского бюргера, обосновавшегося в России. Витберг родился в 1787 году, получил имя Карл, но впоследствии, приняв православие, стал Александром.

Александр Лаврентьевич начинал учебу в горном корпусе, но по слабому состоянию здоровья не мог его закончить и был определен в так называемую «Анненскую школу» — школу с пансионом при лютеранской церкви св. Анны в Петербурге. Родители хотели видеть сына врачом, сам же Александр Лаврентьевич пристрастился к живописи, перешел в Академию художеств и был несколько раз удостоен золотых медалей за картины на исторические и библейские темы. Академию окончил в 1809 году.

В 1813 году Витберг побывал в Москве, был принят графом Федором Ростопчиным, московским главнокомандующим, с которым познакомился раньше, еще в столице. Ростопчин предложил художнику взяться за создание виньеток и портретов лиц, особенно отличившихся в Отечественной войне. Ростопчин задумал роскошное издание: описания патриотических подвигов этой войны. Издание так и не состоялось, но Витберг встретился со многими видными участниками войны 1812 года. И, естественно, у него созрела мысль включиться в конкурс на проект храма Христа Спасителя. Этот конкурс был объявлен по высочайшей воле императора.

Царь Александр I, считавший, что победа над двунадесятиязыцей армией Боунапарта была дарована богом, позаботился о том, чтобы и памятник этой победе был непосредственно обращен ко всевышнему. Витберг к тому времени проникся идеями мистицизма, и храм ему мыслился не только как памятник доблестным подвигам, но и как «храм Христу, храм христианству, — храм человечеству». Забросив все, Витберг изучает архитектуру и в срок представляет свой проект. Проект был действительно исполнен религиозной поэзии. Александр I призвал к себе художника и обнаружил в нем «мистический колорит» убеждений. Царь же и сам был мистиком, но лишенным каких-либо художественных талантов. Проект был утвержден, а Витберг назначен строителем храма и директором комиссии по его сооружению.

Местом воздвижения храма были избраны столь памятные Герцену Воробьевы горы. Это их «обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление. Можно ли было найти лучше место для храма в память 1812 года?..» Еще отроком Герцен видел, гуляя по Воробьевым горам, беломраморные колонны, плиты, в беспорядке раскиданные среди травы и деревьев. И дома Шушка слышал, что в имении отца в Рузском уезде нашли мрамор, что Иван Алексеевич жаловался в сенат на испорченные крестьянские поля, собирался судиться с Витбергом. И вот перед ним теперь тот самый Витберг.

Проект Витберга «был гениален, страшен, безумен — оттого-то Александр его выбрал», утверждает Герцен. В 1817 году храм был заложен. Но шло время, постройка обрастала ворами, взяточниками, честолюбцами, члены комиссии втайне были недовольны тем, что над ними по-

ставлен юнец. Витберга обвинили в «дерзости», в том, что у него воруют. Пока Александр был жив, он покровительствовал Витбергу. Но Александр умер. Всемогущий Аракчеев отдал художника под суд, следствие тянулось десять лет. В конце концов Николай I отрешает Витберга от службы «за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне». Ущерб приравняли к миллиону, забрали имения, продали с молотка, а архитектора император услал в ссылку в Вятку без каких-либо средств к существованию.

Герцену Александр Лаврентьевич показался очень старым, между тем в 1835 году ему было всего 48 лет. Он сломался, однажды поняв, что его проект никогда не будет осуществлен. Но фанатично продолжал над ним работу даже под следствием, в ссылке — всю жизнь. Суровый, седой, со следами мученичества на лице, но очень торжественный, когда говорит, — таков был Витберг.

Архитектор скоро очаровал Герцена: два Александра сошлись накоротке. Их объединила и общность судеб. Оба ссыльные. Правда, Герцен терпел ссылку, но не терпел в ссылке материальных невзгод. К тому же политический ссыльный даже в глазах захолустного вятского общества в известной мере только страдалец. Витберг же прибыл в ссылку с клеймом казнокрада, растратчика, обманувшего доверие самого царя. Это была уже трагедия.

Витберг, пока не переехала в Вятку его жена с детьми, принял предложение Герцена поселиться совместно, чему Александр Иванович был несказанно рад. Они будут сообща столоваться, и это спасет Витберга буквально от голодной смерти. А потом беседы с архитектором — разве они могут идти в сравнение с глупой болтовней вятских «философов». Приезд Витберга сделал ссылку «вполовину легче», признается Герцен в письме к отцу.

Еще раньше, до знакомства с Витбергом, 14 октября, Герцен пишет Наташе: *«Веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба? Я не верю»*. Написал и сам почему-то испугался, назвал свой вопрос «страшным», «безумным». А почему? Сомневался ли он в чувствах Натальи? Конечно, нет. И в своих, окрепших за эти месяцы одиночества, месяцы переписки, открывшей Герцену духовную близость кузины, общность их надежд и мечтаний на будущее, — тоже нет. Герцен

говорит о «дивном действии» писем Натальи Александровны. «Струя теплоты на морозе». Наталья Александровна и была той «симпатией», без которой, как заявил Герцен, «я не могу жить». Значит, дело не в Наташе. Дело было в том, что здесь, рядом, была Медведева, — «большое угрызение».

Сколько тяжелых вечеров провел он в гостиной Медведевой или рядом с ее угасающим мужем! О женитьбе на Прасковье Петровне в случае смерти ее мужа он не мог и подумать без ужаса. И в то же время не мог не думать. А тут еще Наташа в ответ на его признание, на его «страшный» вопрос, уверяет, что ее чувство — дружба. Нежная дружба. Неужели он мог так ошибаться?

В полном смятении чувств провел Герцен октябрь и ноябрь 1835 года. Еще и болезнь привязалась. Полный упадок физических сил. Благо мать Гавриила Эрна — Прасковья Андреевна буквально как сына выхаживает Герцена. Герцен отвечает на заботу ответной заботой. Он всячески хлопочет перед своим отцом, чтобы дочь Прасковьи Андреевны — Марию Каспаровну — пристроили в Москве в пансион.

Как ни терзался Герцен сложившимися для него более чем неблагоприятными обстоятельствами, но привычка к систематической умственной работе, выработанная еще в годы университетской учебы, брала свое. И напрасно Александр Иванович жалуется своим московским корреспондентам, что он «не занимался... душа устала», что единственно, чем он заполняет день, — это «пасквилями и эпиграммами» на здешнюю публику. Герцен не раз повторял, что только труд писателя, ученая карьера не смогут его удовлетворить. Но именно в Вятке он задумывает и частично осуществляет несколько литературных работ и пишет ряд статей. Какая-либо иная, так сказать, практическая деятельность была недоступна для политического ссыльного.

Александр Иванович в Вятке отчетливей, чем где-либо и когда-либо, почувствовал и попытался осмыслить соотношение личного и общественного начал в его жизни. «...У меня никогда не было жизни так сосредоточенной в личных отношениях, чтоб хоть на время забыть всеобщие интересы; напротив, я со всем огнем любви жил в сфере общечеловеческих, современных вопросов, придавая им субъективно-мечтательный свет». Проблема

взаимоотношений личного и общественного нашла свое отражение и в его повестях.

Именно в Вятке Герцен возвращается к литературно-художественным опытам, начатым еще в тюрьме. И нет ничего удивительного, что попытки создать художественные произведения были сделаны в неволе, а затем продолжены в ссылке, «что хуже камеры». В тюрьме в распоряжении Герцена фактически не было книг, кроме грамматики итальянского языка. Не оказалось необходимых книг и в Вятке, для того чтобы продолжить прерванное самообразование в области наук социально-политических и философии. Поступления нужных изданий из Москвы от друзей были нерегулярными. Оставалась только переписка с Натальей Александровной. И он писал Наташе чуть не каждый день, а то и по два раза в день. В Вятке Александр Иванович еще не предполагал, что эпистолярный жанр станет впоследствии формой, в которую выльется целый ряд его выдающихся сочинений. Это потом, когда писались «Былое и думы», Герцен даст оценку письмам: «Письма — больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это самое прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

Наташа заменила Герцену аудиторию, в которой он нуждался всегда. И все же письма письмами, а мысли, настроения, наблюдения и размышления над жизнью, над самим собою, идеи, возникшие от соприкосновения с идеями иных людей, искали своего воплощения и оформления в произведениях законченных, не сиюминутных, как письма.

И, лишенный возможности вести серьезные научные занятия, Герцен обращается к иной, художественной форме выражения своих мыслей и идей, выражения с помощью образов. Эта тяга к воссозданию идей средствами искусства была присуща Герцену с самого начала его самостоятельного творчества.

Позже, в 1859 году, он писал сыну Александру: «Чтением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги». Герцен сам признавался, что в нем одновременно и параллельно был сильно развит и научный и художественный интерес. В тюрьме Герцен написал «Первую встречу» («Германский путешественник») и «Легенду». В Вятке он продолжил работу над этими двумя произведениями беллетристическими, а также заново перебелил написанную еще до ареста статью «Гофман».

Герцен тщательно отделывал свои статьи, очерки, повести, поэтому и работа над ними продолжалась по многу месяцев. Он часто прерывал написание одной вещи, захваченный новыми идеями и замыслами. Этим и объясняется, что многое из того, что Герцен начал писать в Вятке, так и не было завершено, а позже или потеряло для него интерес, или было признано несовершенным. А «дурно написанное» он не хранил, и впоследствии большая часть литературного наследия молодого Герцена пропала. Но если судить по письмам к Наталье Александровне, то можно согласиться с утверждением тонкого знатока литературных свершений своего времени, впоследствии человека, близко стоявшего к кружку Герцена, — Павла Васильевича Анненкова, что вся жизнь Герцена была заполнена «пожирающей» деятельностью воображения. «В портфелях его было заготовлено множество статей; планов, начатков, даже драматических сцен, и притом в стихах».

«Легенда» была начата и завершена еще в Крутицах и переправлена Наталье Александровне. 21 февраля 1835 года Герцен писал ей: «Статью ты получила, слышал я сейчас; прошу обратить внимание на IV главу (разговор игумна, с эпиграфом из Августина), это, может, лучшее, остальное все — гиль... Твое *беспристрастное* мнение о ней...»

Эта начальная редакция остается неизвестной. В Вятке же «Легенда» была значительно переработана. Житие св. Феодоры, евангельская легенда, положенная в основу очерка, стала материалом, аллегорией, с помощью которой Герцен попытался раскрыть противоборствующие мнения вокруг учения социалистов-утопистов. «Легенда» написана достаточно витиеватым языком. И не случайно Герцен опасался, что если его «Легенда» найдет доступ к читателю, то тот не поймет аллегорический смысл слов того же игумена (на которого Герцен просил обратить внимание Наташи): «С живым словом в душе, с пламенною верой, с пламенной любовью ко всему человечеству и к каждому человеку идет он (апостол. — *В. П.*) в общество людей. Для их блага переносит гонения и страдания; в их души, не отверстые истине, зароняет слово веры...»

Аллегория нуждалась в предисловии. А кто его напе-

чатает? И при жизни Герцена она так и не была опубликована. Зато Наталья Александровна долго находилась под обаянием «Легенды». Герцен же к ней вскоре остыл и даже выговаривал Наташе, что она восхищается «не-поправленным» вариантом. «Мысль ее хороша, но выполнение дурно, несмотря на все поправки...»

Через два года Герцен, уже во многом отрешившийся от возвышенно-романтических, мистических настроений, произносит приговор всем аллегориям, написанным ранее. (Впрочем, он после «приговора» снова возьмется за аллегории.) «Аллегорию «Неаполь и Везувий» хоть я и сам писал, но не понимаю, это так-таки просто вздор — вообще я писал аллегории тогда, когда дурно писал».

Но вот «Германский путешественник», или, как потом Герцен переименовал свой очерк, «Первая встреча», также написанный в Крутицах, аллегорией не был. В Вятке в 1836 году он вновь переписывает очерк и посылает его Наталье Александровне. Наташа «в восторге». Да и сам Герцен и через два года, когда он так самокритично отверг «Легенду», считал, что «Германский путешественник» — лучшее из всего им написанного. «Я люблю его...» Николай Сазонов, которому этот очерк посвящался, также высоко отозвался о «Первой встрече». Герцен в письме к Наталье Александровне от 30 января 1838 года приводит его слова: «...эта статья, как заметил Сазонов, невольно заставляет мечтать о будущем».

«Первая встреча» открывается сценой светского разговора в гостиной. Речь идет о французской литературе. Среди собравшихся присутствует «путешественник», который рассказывает о встрече с творцом «Фауста», как он именует Гёте. Не понравился «путешественнику» великий мыслитель. Он вне времени, вне политики, он «пишет комедии в день лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества», а ведь всякий великий писатель, по мысли Герцена, не может, не должен стоять в стороне, оставаться безразличным к политическим событиям. Он не имеет права подсчитывать лишние пары чулок, которые сносил из-за того, что во Франции произошла революция.

«Великий человек живет общею жизнию человечества: он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных...» И это, конечно, не столько упрек в адрес Гёте, сколько политическое кредо самого Герцена. «Германский путешественник» был переименован в Вятке, стал называться «Первая встреча» потому, что уже в марте 1836 года был готов новый очерк — «Вторая встреча» («Человек в венгерке»). Сначала именно этот очерк и был озаглавлен «Первая встреча», но затем Герцен решил соединить два очерка, и «Германский путешественник» стал «Первой встречей», а «Человек в венгерке» — «Второй встречей».

Забегая вперед, нужно сказать, что была задумана и «Третья встреча» («Мысль и откровение»). Но текст «Третьей встречи» утерян, и если судить по упреку Натальи Александровны, которой Герцен обещал прислать его («...а ты не хочешь даже и продолжать»), очерк так и не был дописан.

Как самостоятельные очерки «Встречи» не увидели свет. Но «Первая встреча», ее живой, жизненный материал Герцен широко использовал при создании «Записок одного молодого человека».

Общение в Перми со ссыльным поляком Цехановичем («Вторая встреча»), с тем самым, который подарил на прощание Герцену звено цепи, а Герцен ему — запонки, нашла свое место отдельными фрагментами («большой обед») в «Записках одного молодого человека». Она же в более сжатом виде присутствует еще и в «Былом и думах». И в романе «Кто виноват?» использованы бытовые детали, запечатленные в очерке.

«Вторая встреча» резко отличается по тону от романтической патетики «Легенды», хотя романтические нотки и слышатся порой, когда Герцен рисует облик «человека в венгерке», в глазах которого «было что-то от пламени молний». Но, как только Герцен обращается к бытовым описаниям того же «большого обеда», они наполняются реалистическими деталями, и автор не скрывает своей иронии и сарказма. Это уже не романтизм, не мистика, а подлинно реалистические зарисовки с натуры.

Вернулся Герцен и к еще одному своему ранее написанному очерку — «Гофман». Он готовил его в журнал, задуманный Вадимом Пассеком. Герцен нигде ни словом не обмолвился, почему в ту светлую пору после окончания университета он обратил свой взор к Гофману, романтику и мистику. Если бы этот очерк, или, что вернее, статья, был написан в Вятке, после знакомства с Витбергом и под его влиянием, под влиянием религиозной романтики Натальи Александровны (а Герцен был

в эти годы очень подвержен влияниям, в чем он и сам неоднократно признавался), то это было бы понятно. А между тем в Вятке Герцен не переработал статьи, разве что подправил ее стилистически. Присоединив к статье о Гофмане еще одну, написанную уже здесь, в ссылке, о Вятке, он отправляет их Полевому с просьбой напечатать где тот захочет. Статья была подписана «Искандер». Этим псевдонимом впоследствии Герцен подписывает все свои произведения.

Герцен считал, что Гофман преодолевает «односторонность германских ученых, окопавших себя валом от всего человечества...». Герцену по душе и то, что Гофман отгораживается от аристократии, идет, как кажется Александру Ивановичу, в гущу народной жизни: «...Аристократы скучны; сначала их тон, их пышность, их освещенные залы нравятся; но все одно и то ж надоест донельзя. Гофман бросил аристократов и с паркета, из душных зал бежал все вниз, вниз и остановился в питейном доме».

Герцен потому и вернулся к этой статье, что она вся проникнута авторской симпатией к живой действительности. Да и написана она остроумно, живо. Приятно было в глухой ссылке прикоснуться к творению, созданному где-то там, в иной, светлой поре. В Гофмане Герцену импонировало удивительное искусство сливать чудеса буквально всех времен и всех народов с вымыслом, порою мрачным, болезненным, но чаще трогательным, шаловливым, насмешливым. Сверхъестественное и повседневное, а порой и пошлое. Тут и привидения, которые с гримасой отвращения пьют... желудочные капли, феи, угощающиеся кофе, колдуньи, торгующие яблоками и пирожками. Романтик и реалист, психолог, энтограф — все это было так близко, так понятно Герцену. Гофман так же, как и Герцен, чувствовал *отвращение к чинным* «чайным» обществам. Герцен читал у биографа Гофмана Гитцига, что писатель большую часть вечеров, а порой и ночи, проводил в винных погребах, всегда веселый, остроумный, окруженный веселящимися людьми. И вспомнились «пирушки у Никитских ворот».

«Гофман» увидел свет летом 1836 года в журнале «Телескоп» в 10-й книжке. Эта публикация обидела Н. Полевого, который обвинил Герцена в том, что «серьезные люди не дают одну и ту же статью в два журнала». Но Полевой был не прав в своих подозрениях. Герцен не

посылал статьи в «Телескоп», это сделал Кетчер. Сам же Герцен был недоволен тем, как ее небрежно напечатали.

Новый год начинался для Герцена письмом от Наташи. Он выучил его наизусть. «Да, сам бог водил мою руку, когда я писала тебе, что *у меня ничего нет, кроме тебя.* — Сам бог, мой Александр! Он дал мне *все* в одном тебе, он дал мне душу, способную любить одного тебя. Как хороша я теперь, друг мой, как полно счастья все существо мое, какая музыка в душе моей. Теперь я вся гимн любви, слушай эту музыку: она небесная, она от бога, она твоя!» И прочь все сомнения! Он счастлив безмерно. И вдруг...

18 января 1836 года камердинер Матвей разбудил Герцена словами: «Старик Медведев приказал долго жить». Герцен и Витберг застали Медведеву в каком-то сумеречном состоянии. Кроме них да еще одного чиновника — никого. Некому похлопотать о похоронах, присмотреть за детьми. Вятское общество отвернулось от вдовы, которая это общество избегала. Хлопоты, заботы следующих двух дней поглотили и силы и чувства Герцена. Наконец похороны и унылое возвращение в дом усопшего.

Через некоторое время положение Медведевой еще более усложнилось. Старый развратник губернатор, не привыкший к отпору со стороны вятских дам, обратил на вдову свое «нежное внимание». У Тюфяева был козырь — отец губернии заботился о благополучии попавшей в беду молодой женщины, он готов облагодетельствовать и бедных сирот... Медведева все поняла и выгнала Тюфяева из дома. Униженный паша, конечно же, затаил злобу, и рассчитывать на то, что он оставит в покое несчастную женщину, не приходилось.

А у кого ей искать защиту в чужом и враждебном городе? Естественно, что взоры Прасковьи Петровны невольно были обращены к Герцену. Конечно, она понимала: политический ссыльный — слабая защита. Да и что мог предложить ей Герцен? Медведева была согласна лишь на все, то есть на то, чтобы Герцен предложил ей стать его женой. Но именно такое предложение Герцен не мог, не желал сделать, хотя порой неподкупная совесть требовала — женись. «Бедная, бедная Р.! * Виноват ли я,

* Р. — так Герцен шифровал в «Былом и думах» П. П. Медведеву.

что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?»

Герцен и сам нуждался в защите или хотя бы в участии, в дельном совете. Но у кого его получить? Конечно, Герцен понимал, что рядом есть, может быть, единственный в этом городе человек с жизненным опытом, опытом, которого никто не хотел бы иметь, человек беспредельно честный, неподкупный, человек глубоко к нему привязанный. Этим человеком был Витберг. Но Герцен крепился и до поры до времени ни слова не говорил ему и чуть ли не со слезами наблюдал, как мучается в поисках ответа Медведева. «...Р. страдала, я, с жалкой слабостью, ждал от времени случайных разрешений и длил полуложь». Тюфяев не прекратил своих домогательств, но теперь он пустился на подлости.

Прасковья Петровна после смерти мужа очутилась без всяких средств к существованию, а всевозможные лавочники, хозяин дома по науськиванию губернатора потребовали уплаты за продукты, за квартиру. Медведева не знала, что делать. А тут еще дети. У нее оставалась единственная надежда устроить их в какой-нибудь пансионат на казенный счет, но представление об этом должно было исходить из губернской канцелярии. Тюфяев позаботился о том, чтобы бумага была составлена так, что отказ был неминуем.

Еще в 20-х числах января, сразу же после смерти Медведева, Герцен написал письмо брату Егору Ивановичу с просьбой о займе тысячи рублей. В письме он не объяснил, зачем ему понадобилась эта сумма, но Наташе рассказал довольно-таки туманно и с условием, чтобы она никому не передавала, «пусть думают, что на вздор».

В это тяжелое время Герцен мог найти хоть каплю успокоения только в письмах. В письмах к Наташе, в чтении ее писем. И поток этих писем все возрастал. Впоследствии Александр Иванович назовет их письма «какой-то движущейся, раскрытой исповедью».

Романтически-возвышенный слог этих писем, частое упоминание бога свидетельствуют о религиозно-мистических настроениях, которые овладевали Герценом. Этому способствовало и тесное общение с Витбергом. Не обошлось и без влияния глубоко религиозной Натальи Александровны. И Герцену не хотелось противоборствовать этим влияниям. Тогда они были созвучны его настроениям, о чем свидетельствует и постепенно меняющийся слог герценовских писем к Наташе, и наброски очерков и повестей этого времени.

Герцен еще не признался Наташе целиком в своем увлечении Медведевой. И она — как неотступный укор совести. От Прасковьи Петровны можно на время скрыться, не навестить вечером ее гостиной, но от совести не скроешься, она в тебе.

Двадцать пятого марта в Вятку из Москвы приехала жена Витберга с детьми. Она успела познакомиться с Наташей, привезла от нее письмо. Еще ранее она с благодарностью приняла предложение Герцена не разрушать их с Витбергом дуэт, жить вместе. Но уже на следующий день по приезде жены Витберг заявил, что Прасковья Петровна с детьми также будет жить в их доме. Поспешил ли архитектор с таким решением, если бы знал всю правду об отношениях Герцена и Медведевой? Наверное, он поступил бы точно так же. Иного пути для пресечения назойливых ухаживаний Тюфяева не было. «У него Р. была спасена, такова была нравственная сила этого сосланного. Его непреклонной воли, его благородного вида, его смелой речи, его презрительной улыбки боялся сам вятский Шемяка».

Положение Герцена теперь стало просто невыносимым. «Мы очутились под одной крышей — именно тогда, когда должны были бы быть разделены морями».

Уже минул год с того дня, когда Герцен покинул Крутицкие казармы. Тяжелый год испытаний реальностью. Казалось, Герцен несколько успокоился, пообвыкся, перестал метаться. «...Моя пустая жизнь кончилась, — писал он Наташе в апреле 1836 года, — я опять занимаюсь, хотя не так много, как прежде, но с пользою. Не должно удаляться от людей и действительного мира, это старинный германский предрассудок; в действительном мире есть своя полнота, которая не находится в жизни кабинетной и которая учит многому... Разбитый, больной, печальный явился я сюда и потому искал в ложном шуме утешения; это не могло долго продолжаться; ты ускорила еще мое возвращение к идеальному, и год этот не совсем пропал в жизни моей; он богат опытами, чувствами и более всего любовью к тебе, мой ангел».

А между тем Герцен никак не наберется смелости, чтобы прямо, открыто рассказать Наталье Александровне

о Медведевой. Он пишет о ней намеками, называет Полиной, а в результате Наталья Александровна решила, что Полина — Тромпетер, о которой ей так много говорил Герцен, — влюбилась платонически в ее Александра. Оба страдают, так как Александр не может разделить ее любви. Наталья умоляет Герцена не скрывать от Полины правды. Это было уже выше всяких сил, Александр Иванович не мог далее скрывать правды от Натальи, он написал ей и рассказал все.

В ожидании своего «приговора» Герцен вновь заметался. То он с головой уходит в работу над планом новой статьи, то, отшвырнув бумаги, выскакивает во двор, седлает коня и скачет куда глаза глядят несколько верст, чтобы только не думать, не ворошить тревожных мыслей.

Наступил май. Только в мае можно было вятскую весну назвать весной. Поутру 22 мая Александр Иванович вместе с другими чиновниками и во главе с губернатором уселся на губернаторскую расшиву — плоскодонное судно этак сажень 25 в длину и 5—6 шириной, — всю, от острого носа до плоского транца на корме, укрытую красным сукном, чтобы плыть на Великую реку. Здесь 23 мая каждого года справлялся главный летний праздник в Вятской губернии — явление чудотворной иконы Николая Хлыновского. Это празднество древнее, времен, когда новогородские ушкуйники, двигаясь на северо-восток, основали поселение Хлынов, ставший только при Екатерине II Вяткой. Невдалеке от Хлынова и явилась новогородцам чудотворная. Поселившись в Хлынове, новогородцы прихватили с реки Великой и икону. Но она коварно исчезла и вновь объявилась на Великой. Новогородцы вновь вернули ее и при этом поклялись, что если икона останется в Хлынове, то они будут торжественным ходом носить ее ежегодно на Великую реку.

Герцен во все глаза смотрел, как на богатый дощаник водружают чудотворную, а по бокам иконы чинно устраиваются «архиерей и все вятское духовенство в полном облачении». Плыли целый день и только в два часа ночи 23-го прибыли на место. Герцена всегда привлекали этнографические детали быта, обрядов тех народов, с которыми он сталкивался. Поэтому остается только сожалеть, что письмо, отправленное им по возвращении с реки Великой к отцу, пропало. В «Былом и думах» описание этой поездки очень беглое, ироническое по отношению

к иеромонахам, продажи ими жертвенного мяса. В письме же к Наталье Александровне он сообщает: «Сейчас возвратился я с Великой реки и устал ужасно... Торжественность этого национального праздника удивительна. Я приехал туда ночью, часа в два, но толпы народа уже не спали; везде шум, крик; тут ряд телег делает настоящую крепость, и за ним тысячи мужиков, толпы нищих, уродов, толпы черемис, вотяков, чувашей с их странным, пестрым костюмом, с их наречием. Разумеется, я спать не лег, а бросился в это море людей. Часовня, где образ стоит под крутою горою... Но нет, не хочу в твоем письме писать об этом, возьми папенькино письмо... там найдешь все это». Герцен толкался в этой разноголосой, гомонящей, поющей, молящейся толпе, удивляясь тому, как еще много языческого в христианских праздниках.

Можно только догадываться, почему Тюфяев, давно уже невзлюбивший Герцена, видевший явное его покровительство и поддержку Медведевой, вдруг в донесении от 16 июня 1836 года на имя министра внутренних дел Д. Н. Блудова писал, что «...в продолжение года службы его (Герцена. — *В. П.*) заметил в нем: похвальное поведение, особенное усердие, способности и образование отличное, образ мыслей, свойственный верноподданному», но «таланты его остаются без необходимого для них развития» в масштабах губернии. И далее раздобрившийся губернатор просит министра ходатайствовать перед Николаем I о разрешении Герцену служить в Москве под «особенным надзором» родственников или в Петербурге, где «при его образованности, он особенно может быть полезен и будет на виду у высшего правительства».

Словно сговорившись, на следующий день в далекой Москве хирург И. Ф. Гильтебрандт, добрый знакомый семьи Яковлевых, отправляет письмо лейб-медику, доктору самого императора Н. Ф. Арендту с просьбой похлопотать перед главноначальствующим III отделения и шефом жандармов графом Бенкендорфом за «воспитанника» Ивана Алексеевича. Речь идет опять-таки о возвращении Герцена в Москву. Слухи об этих ходатайствах доходили до Герцена и порождали у него надежды. Увы, пока напрасные.

Ясно, что Тюфяев был бы не прочь сбыть с рук строптивого и столь блистательного ссыльного, как Герцен. Счастливый соперник будет устранен. Без поддержки Гер-

цена ни Медведева, ни Витберги существовать не смогут, и как знать... не станет ли прекрасная вдовушка более уступчивой, когда убедится, что архитектор с семьей гордо голодают.

Надежды на перевод в Москву или Петербург растаяли через месяц. На сей раз неповоротливая бюрократическая машина сработала удивительно быстро. 20 июля граф Бенкендорф отписал министру внутренних дел Блудову по поводу тюфяевского представления, что о переводе Герцена не может быть и речи. «Во-первых, потому, что причиною высылки Герцена из Москвы был обнаруженный им в письмах непозволительный образ мыслей, в котором он в столь короткое время исправиться не мог; и, во-вторых, потому, что прощение его было бы несправедливо в отношении прочих, по одному с Герценом делу подвергнутых наказанию и равно с ним или даже и менее виновных». Конечно, это был удар. И еще неизвестно, как бы отреагировал на него Герцен, но именно в это же время пришел ответ от Наташи на его полное признание относительно Медведевой и отпущение грехов.

«Читая признание твое, ангел мой, я залилась слезами. Далеко от того, чтоб ты пал в душе моей, о, нет, Александр; клянусь тебе, ежели б ты сделал что слишком порочное, — этого не может быть никогда, — но если бы, и тогда я омывала слезами и молитвою грех твой, просила бы Бога, чтоб Он за тебя наказал меня, а чтоб ты унизился в душе моей, чтоб любовь моя умалилась одной каплей?.. Теперь просьба о ней. Ежели ты не можешь прибавить ей счастья, не умножай горя ее, заставь ее разлюбить тебя незаметно ей самой и пуще всего при расставании не давай надежды: не то страдания ее будут тяжки и продолжительны...»

Эта полная амнистия успокоила Герцена, помогла перенести невзгоды продолжающейся ссылки, но и породила поток покаянных писем. Наталья Александровна хотя и дала амнистию, но продолжала терзаться сомнениями. Она даже была готова на то, чтобы Герцен женился на Медведевой, а она была бы только «кузина, любящая тебя без памяти».

За окном уже несколько суток холодный дождь сменяет мокрый снег, а пронизывающий ветер день и ночь стучится в ставни. Вятка нахохлилась, притаилась, на улицах ни души. А у подъезда вдруг позвонили. Оказалось, почтальон принес очередную, 15-ю книжку «Телескопа» на 1836 год. Надо жить в глуши, в ссылке, чтобы понять всю важность такого события, как получение новой книги. В сторону все бумаги, все дела!

К этому журналу у него отношение особое. Его издает Николай Иванович Надеждин, фигура примечательная и противоречивая. Сын сельского священника, семинарист, он окончил две духовные академии (рязанскую и московскую), учительствовал, а затем, после защиты докторской диссертации, стал профессором по теории изящных искусств, археологии и логики в Московском университете. У него учился Николай Огарев, он же рассказывал Герцену, что как-то Николай Станкевич сказал Константину Аксакову, что Надеждин «много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан». Собственно, и Герцен обязан Надеждину тем, что в 10-й книжке «Телескопа» за этот год была напечатана и его статья «Гофман». Правда, это стоило ссоры с Полевым, а вина тут только Кетчера, который *не знал*, что Герцен отослал статью Полевому. А впрочем, вряд ли Кетчер не знал, ведь в середине декабря 1835 года Герцен писал Николаю Христофоровичу: «Я посылаю в Москву две статьи: 1) «Гофмана» и 2) об Вятке, *при письме к Полевому*, — куда он хочет, пусть поместит или велит поместить».

Кетчер иногда, сам того не желая, из самых лучших побуждений доставлял друзьям неприятности. И с Надеждиным у него вышло не совсем ловко. Надеждин был «теоретически» влюблен в одну барышню, хотел жениться. Но родители барышни и слышать об этом не желали. И вот у Кетчера созрел план — устроить «романтический побег». Были оговорены условные знаки, Надеждин и Кетчер замерли на лавочке Рождественского бульвара. А знака нет и нет. Надеждин задремал, просыпаясь, хныкал, уговаривая Кетчера идти спать. И уговорил наконец. Когда же они ушли, появилась девица. И она подавала условные знаки, кто знает, может быть, час, а может, и больше...

Впрочем, когда в руках свежая книжка журнала, воспоминания только мешают. Герцен торопливо разрезает страницы. «Современная летопись», «Критика», «Науки», «Нравы, или Сцены из общественности и частной жизни», «Смесь», «Знаменитые современники». С чего же начать? Начал с «Критики» и «Смеси». Добрался до раздела

«Науки». Почти весь раздел занимает статья: «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-е». Вместо подписи стоит: «Некрополис 1829 г., декабря 17». В примечаниях редакция сообщала, что это письмо — перевод с французского и что в следующих книжках «Телескопа» будут опубликованы еще два письма того же автора.

«Перевод с французского»? Это настораживало, да и отсутствие имени автора тоже. Сколько раз бывало там, в Москве, получая очередные книжки журналов, он второпях разрезал, прочитывал только те статьи, которые его в тот момент интересовали, на остальные не хватало времени, да и охоты тоже. Знал бы Герцен, что на полке в библиотеке Александра Пушкина лежит 10-я книжка «Телескопа» за 1836 год, разрезанная только на страницах статьи «Гофман»... Не знал Герцен и того, что «Философическое письмо», над которым он раздумывал, перевел с французского не кто иной, как все тот же Кетчер.

Но в Москве можно и не читать весь журнал, в ссыльной Вятке это уже непозволительная роскошь. Прочитаны первые страницы, и Герцен уже ничего не видел, не слышал вокруг. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться...» «Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце». Эти слова написаны Герценом через много-много лет, когда создавались «Былое и думы». Но они звучат как сиюминутная реакция на мысли, настроения, тон письма. В переписке Герцена 1836—1837 годов это письмо не называется, есть только упоминание «об одном происшествии в Москве» в письме к Наташе в январе 1837 года.

Герцен останавливался, снова читал, возвращался к прочитанному, находил новые мысли, наконец вскочил, бросился к Витбергу, прочел ему. Вечером на огонек забежал учитель Скворцов, жених Паулины. Прочел и ему. А потом всю ночь напролет без сна, думал, думал. Письмо притягивало, письмо вызывало и возражения. Россия — «Некрополис», «город мертвых»? Ясно, что речь идет о России чиновнично-крепостнической, России, задавленной гнетом. Но где же выход? Неведомый автор его не видит, да и не ищет. «У России нет будущего, как не было и прошлого!» С этим нельзя согласиться. А декабристы? Да, автор вспомнил о них, но для него 14 декабря — огромное несчастье, которое отбросило Россию на полстолетия назад. Нет, нет и нет — он не убедит тех, кто поклялся продолжать дело Пестеля и Рылеева.

И первопричина всех несчастий России, по мнению автора, в процветающем православии. Запад же ушел вперед только потому, что там укоренился в основном католицизм. Неубедительно. Гораздо убедительней звучит убийственная критика российских порядков. В этом вопросе Герцен целиком с автором. «Дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне».

Злодеяние за злодеянием, а не царство ума и благополучия, как утверждают льстивые царедворцы. Убийство за убийством — царский дворец — прибежище уголовных преступников. Герцена не могло не поразить, что подобные утверждения напечатал Надеждин. Надеждину было чуждо пристрастие автора письма к католицизму. И именно Надеждин заявлял, что «вся жизнь, все бытие» русского народа «сосредоточены» в его царях и что «нет истории русского народа», зато есть «история государства русского, история царей русских».

Герцен на стороне автора «Письма». Не история царствований составляет суть истории народа. Историей русского народа можно гордиться. Но автор заявляет, «что у России не было прошлого». Герцен не знал, кто автор «Философического письма», и узнал много позже. Зато Пушкин 19 октября 1836 года обратился к автору, Петру Яковлевичу Чаадаеву, с посланием: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...» (Пушкин это письмо не отослал, узнав о том, как в Москве расправились с Чаадаевым.) Под этими словами Герцен мог бы подписаться.

Герцен не только внутренне протестовал против целого ряда утверждений автора письма, он доказывал Витбергу и Скворцову, что Россия много дала миру, доста-

точно вспомнить деяния Петра и труды Ломоносова, декабристов и Пушкина. Но эти горячие опровержения ни на йоту не умаляли глубокого уважения Герцена к неизвестному автору.

«Заключение, к которому приходит Чаадаев (через несколько месяцев Герцен узнал имя автора и даже, оказывается, один раз мельком видел его на обеде у графа Орлова. — *В. П.*), не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком быстро забываем свое положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах» — так резюмирует Герцен в книге, написанной им в 1850 году, «О развитии революционных идей в России».

Герцен принимал упрек, брошенный Чаадаевым поколению, которое шло сразу следом за декабристами. Идеи декабристов не схоронишь в сибирских рудниках, но где люди, подхватившие их, воплотившие в жизнь? В лучшем случае они в ссылке. А ведь Герцен, его друзья уже шагнули за те пределы дворянской ограниченности, печать которой так отчетливо виделась на планах и проектах героев 14 декабря.

Еще не утихли «тихие споры» вокруг письма, когда до Вятки докатился поразительный слух, право, он стоил «Письма» — Николай I приказал считать Чаадаева сумасшедшим. Ему предписано не выходить из дома, и «сердобольный царь» повелел снабжать «слабоумного» даровыми лекарствами и даровым медицинским пособием врачей. Это было уже открытым глумлением над человеческим достоинством.

Герцен правильно понял «Письмо» Чаадаева, его сильные и слабые стороны, и это при том, что Александр Иванович не знал, не читал других писем Чаадаева. А ведь их было всего восемь. И первое Чаадаев написал еще в 1829 году. С ним был знаком Пушкин. Все восемь были опубликованы только через сто лет после первого. Мыслитель имеет право и на ошибку — Чаадаев ошибается в своих оценках событий 14 декабря. Но он не ошибался в главном: корень всех зол России — крепостничество и самодержавие.

Не все письма Герцена сохранились. Некоторые уничтожались получателями тут же по их прочтении, другие затерялись. Пока же нет письма, которым Герцен откликнулся на смерть любимого поэта. Потом он писал: «...Пушкин был убит на дуэли одним из чужеземных наемных убийц, которые... готовы предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма. Он пал в расцвете сил, не допев своих песен и не досказав того, что мог бы сказать». Это написано в той же работе «О развитии революционных идей в России». Чаадаев и Пушкин — они как вехи развития идей, на которых воспитывался Герцен.

Герцен снова за письменным столом. Еще в июне 1836 года он писал Наташе: «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству». Герцена привлекают автобиографические сюжеты с самого начала его литературной работы. «Яркое», «цветистое» — наверное, в юности было немало запавших в душу, в сердце таких сцен. Но здесь, в Вятке, все это отодвинулось, заслонилось разъедающей и душу и сердце драмой — романом с Медведевой. Это ли не сюжет для романтической повести с трагической развязкой? Повесть называется «Елена». В предисловии к лондонскому изданию романа «Кто виноват?» Герцен вспомнил об этой повести (и ошибся, отнеся ее целиком к 1838 году, повесть в основном писалась в Вятке): «Мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собой и забросить цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез. Разумеется, что я не сладил с своей задачей...» «Елена» даже не повесть, а скорее набросок, отрывок. И его Герцен пытается написать по ранее выработанной формуле: «все вымысел, но основа — истина». Но вымысел увлек его далеко от истины. Только потому, что Герцен в письмах и в «Былом и думах» пояснил замысел «Елены», можно утверждать, что «истина» — это роман с Медведевой. Здесь полный набор романтических аксессуаров — и рок, и карлы, и сумасшествие главного героя — князя, и монастырский хор, возвещающий прощение князю, погубившему своей изменой любимую, и его чудесное исцеление.

Герцен быстро разочаровался в повести. 11 ноября 1836 года он пишет Наташе: «Повесть остановилась. Занятия другие есть». Еще через полгода Герцен приходит к убеждению, что «писать повести, кажется, не мое де-

ло». Текст «Елены» был все же послан с Кетчером Наташе, но и Кетчер, который пытался пристроить повесть в «Сыне Отечества», сделать этого не сумел, а может быть, и не захотел. Но потом долго грозил Герцену, говоря, что, «если ты не напишешь новой статьи, — я напечатаю твою повесть, она — у меня!»

15 января 1837 года был день рождения Витберга. Втайне от новорожденного его друзья во главе с Герценом готовили «живые картины». Герцен на следующий день после празднования писал Наташе: «Я был антрепренер, директор и пр. ...Картины сочинил я, и ты узнаешь в них мою вечную мысль, мысль о Наташе. 1-я представляла Данта, утомленного жизнию, измученного, изнуренного, — он лежит на камне, и тень Виргилия ободряет его и указует туда, к свету; Виргилий послан спасти его Биатричей. Дант был я, и длинные волосы, усы, и борода, и костюм средних времен придал особую выразительность моему лицу».

Когда представление кончилось, Витберг «взошел на сцену и со слезами, долго, долго жал в своих объятиях...», потом подошел к Герцену, из-за спины вытащил что-то, смутно напоминающее хомут. Но при ближайшем рассмотрении это оказался венок, очень неумело сплетенный... из лаврового листа, который хозяйки кладут в суп. Но Герцен был тронут и «жал руки этого дивного человека». Что же, и в Вятке у Александра Ивановича выпадали по-настоящему светлые праздничные минуты. Герцен отписал отцу: «Я могу против 15-го января 1837 года поставить отметку: *от души весело провел время»*.

Герцену пришлось по сердцу амплуа актера, и он с удовольствием согласился участвовать в подготовке любительских спектаклей. Для начала поставили одноактную комедию «Марфа и Угар, или Лакейская война» А. А. Корсакова. Герцен был доволен собой. «Я играл — и притом хорошо вчера, перед всем городом, слышал аплодирование, радовался ему и был в душе актером». Но сцена — это только средство на время отвлечься от давящих мыслей. «Вот тебе во мне новый *талан...* могу идти в бродячие актеры».

За эти два года уже не раз сердце согревалось надеждой на скорое окончание ссылки, мечталось о близком свидании с отцом, матерью, Наташей. Но пока всякий раз эти грезы рассыпались. И тогда Герцен, по его же словам, «глупел», «сердился». Но как только появлялся новый слух, Александр Иванович воскресал, и... «Я теперь ничего не делаю, не могу ни о чем думать, кроме об отъезде», — пишет он Наталье Александровне. Но это было не совсем так. Зимой 1837 года Герцен много думал о будущем. Тяжелые это думы, когда за плечами всего 24 года и вопрос стоит так: *«Писать* или *служить?»* Литературное поприще кажется Герцену неудовлетворительным, так как в нем нет настоящей жизни, «служить — сколько унижения, сколько лет до тех пор, пока моя служба может быть полезна?»

А «полезность» службы Герцен видит прежде всего в том, насколько служебное положение, поле его деятельности будут споспешествовать исполнению «великого дела» — дела освобождения народа. Но об этом в письмах только намеки, и не прямые, а иногда очень своеобразные. Например, отклик Герцена на известие о том, что Ник женился. «Огарев принадлежит *великому делу* (курсив мой. — *В. П.*) еще более, чем мне, а своим друзьям — столько же, сколько и своей возлюбленной». «Великое дело» — так шифруется борьба с тронами и пушками, расстрелявшими декабристов, дело, которому они присягнули на Воробьевых горах.

Наталья Александровна очень близко к сердцу приняла герценовское «писать» или «служить». Она поняла это «или — или» по-гамлетовски. Догадываясь о своем влиянии на Александра, ответила категорически: «...Сколько бы ты ни сделал *службой*, все будешь обыкновенный служивец, каких *много*, потому что тебе указан путь, поставлены границы...

А *писать*... о! тут не проложенная *уже* дорога, не *истоптанная* уже, нет, ты можешь открыть тут себе целое поле и только сам проложишь себе дорогу и только сам пойдешь по ней! И можешь тогда быть несравненно полезнее себе и другим». Эти мысли варьируются в письмах Натальи Александровны, она надеется убедить Александра в своей правоте.

Наследник престола цесаревич Александр Николаевич собрался в поездку по России. Он первый представитель царского рода, кто побывает в Сибири. По пути в Сибирь великий князь заглянет и в Вятку. Весть об этом

повергла Тюфяева в панику и в то же время подхлестнула к административному рвению необычайному. Тюфяев пытался рассуждать здраво. Прежде всего в Вятку цесаревич поедет в экипаже по тем дорогам, которые надлежит губернатору содержать в отменном состоянии. А по вятским проехать без поломки экипажа попросту невозможно. Безрессорная телега, добротно сколоченная, — вот единственный «экипаж», способный преодолеть ухабы, канавы и грязь. Но цесаревича в телеге не повезут. Значит, готовиться к высочайшему посещению нужно начинать с дорог. Их засыпали, кое-как ровняли согнанные из окрестных сел и деревень крестьяне. В вятских городах, которые будет проезжать наследник, заново красились заборы, ремонтировались деревянные тротуары. Заботы об этом переложили на плечи домовладельцев. Каждому вменялось возле своего дома починить или заново выложить тротуар.

Потом в Вятке каламбурили, что Тюфяев споткнулся на вдовьем тротуаре в городе Орлове. Да, и этот тротуар сыграл свою роль в падении Тюфяева. А дело было так: бедная вдова из Орлова заявила, что у нее нет средств для того, чтобы купить доски и починить тротуар. Городничий о сем «вдовьем бунте» донес губернатору. Губернатор думал недолго. Нет средств? Нет досок? Выломать полы в доме вдовы, замостить ими тротуар за казенный счет. А затем взыскать, и если понадобится, то и дом вдовы с торгов продать. Все в духе Калибана, Тюфяев остался верен себе.

Наследник должен был прибыть в Вятку 19 мая. Какая обида! Вот бы потешить его высочество праздничным гуляньем в честь Николая Хлыновского!.. Но празднества 23-го, наследник к тому времени укатит дальше. Тюфяев раздумывал недолго — явление чудотворной в руках человеческих, вернее, губернаторских. А губернатору желательно, чтобы икона явилась не 23-го, а 19-го. Архиерей со смирением благословил сии перемены, и депеша об «угощениях» наследника, приготовленных вятским губернатором, поскакала в Петербург к самому царю.

Тюфяев был уверен в высочайшем утверждении «меню». Но просчитался. «Государь, прочитавши, взбесился и сказал министру внутренних дел: «Губернатор и архиерей дураки, оставить праздник, как был». И вместо высочайшего одобрения Тюфяев получил высочайший нагоняй. Губернатор после этого и вовсе потерял голову.

Ничем иным нельзя объяснить его распоряжение схватить в Орлове всеми там почитаемого купца за то, что он пообещал доложить наследнику о безобразиях с полами бедной вдовы. Купец был доставлен в Вятку городничим, водворен в больницу и «заподозрен в сумасшествии». Что же, Тюфяеву такие трюки не впервой, однажды он объявил уже полоумным доктора Петровского. Да и «высочайший пример» перед глазами — Чаадаев.

Из Петербурга пришло повеление: во всех губерниях, по которым проследует наследник, приготовить выставки всякого рода изделий края. Причем регламентировалось расположить экспонаты «по трем царствам природы». Тюфяев оказался в затруднении: что сие означает? Никто из чиновников пояснить тоже не мог. И тут-то губернатор вспомнил о Герцене. Канули в прошлое дни губернаторского благоволения к ссыльному, но что поделаешь? Герцена призвали на совет. Оказывается, кандидата университета вовсе не затрудняют эти три царства. Он с детства помнил книгу С.-Г. Гмелина «Путешествие по России для исследования трех царств естества». Губернатор скрепя сердце поручает Герцену готовить выставку.

Герцен с интересом распределял по трем царствам присланные с мест «земные произрастания» и «мануфактурные и промышленные изделия из металла и дерева», вотские наряды, чугунные решетки. Его особенно привлекала возможность показать быт вотяков, который он пристально изучал, когда писал статью «О Вятке». Дай Александру Ивановичу волю, он бы выставил летнее жилище вотяка — куа, или куало, — легкую постройку из тонких бревен, без окон, пола, потолка и печи, с дырявой крышей из драни. Пусть полюбуется будущий император всероссийский, как живут его верноподданные.

Но разве Тюфяев разрешит? Да и архиерей заартачился, ему-то известно, что у вотяков куало не только жилище, но и храм, где обитает воршуд, — домовое божество, в куало приносят жертвы и вершат молитвы. Тюфяев, конечно, не разрешил. Зато Герцену удалось раздобыть несколько комплектов вотских национальных одеяний. Вотяцкие женщины достаточно консервативны в отношении одежды, поэтому у них сохранились короткие кафтаны-безрукавки (шот-дерем) синего цвета со множеством оборок на спине. Приобрел Герцен и айшон — своего рода кокошник, он выше старорусских, а

в основе его лежит цилиндрическая коробка, свитая из бересты. Айшон спереди украшали серебряные монеты, свисающие на лоб в виде бахромы.

Герцен очень жалел, что время не позволяет ему съездить в селения бесерменов, расположенные в Глазовском уезде. Ведь бесермены по происхождению монголы, и, конечно, их национальные костюмы, оружие украсили бы выставку.

Подготавливая экспонаты, Герцен настолько увлекся, что совершенно забыл о том, что выставка — это просто показная витрина, на которую то ли взглянет высокий гость, то ли нет, а может быть, и не пожелает даже зайти. Герцена привлекал «аромат этнографии».

Наследник прибыл в город Орлов, и в тот же день к вечеру Тюфяева чуть не хватил удар. Его высочество первым долгом повелело арестовать городничего. «Тюфяев еще на два градуса перекосился». Вдова-то, оказывается, добралась все же до наследника. И когда Александр въехал в Вятку, то, сухо поклонившись губернатору, тут же учредил врачебную комиссию, которая признала, что орловский купец здоров — «Тюфяев был потерян».

18 мая в сумерках наследник удостоил своим посещением выставку. Тюфяев взялся было за роль гида, но после нескольких невразумительных фраз стушевался. Сопровождавшие наследника воспитатель его Василий Андреевич Жуковский и преподаватель адъюнкт-профессор Арсеньев поспешили сгладить неловкую паузу. Жуковский попросил Герцена показать им выставку.

Герцен сделал это с блеском, присущим ему органическим остроумием. Наследник остался доволен и даже соблаговолил произнести в адрес вятского чиновника несколько ласковых слов. Когда Александр уехал, Жуковский и Арсеньев стали расспрашивать Герцена. Они еще при осмотре выставки, слушая объяснения Александра Ивановича, поняли, что этот чиновник не вятского изделия. Еще до ареста Герцен слышал от Полевого, что Жуковский заступался за Пушкина, да и не только за него. Поэтому Александр Иванович был откровенен с гостями. Жуковский и Арсеньев распрощались с Герценом, оставив его в сладком предвкушении, пообещав доложить наследнику о всех его злоключениях. (И обещание было выполнено.)

Некоторое время Герцена мучил вопрос: ну а если он действительно получит «прощение», будет возвращен в Москву?.. Пристойно ли, не запятнает ли это его имя — ведь прощением политический ссыльный будет обязан цесаревичу? Но разве цесаревич его единомышленник? В конце концов после долгих размышлений, отбросив сомнения, он пишет Наташе: «Теперь с поднятым челом я могу принять освобождение. Меня видели — одинок, без опоры, с названием сосланного; увидели меня — и оценили; тут не было просьбы; сперва узнали меня, потом кто я; итак, теперь я возьму премию за талант — есть ли тут хоть пятнышко?»

Прошел месяц со дня отъезда наследника из Вятки, и вдруг указ... Тюфяева скинули с губернаторства. Через некоторое время в Вятке появился новый губернатор — Александр Алексеевич Корнилов. Герцен пишет Наталье: «Этот человек образованный и нашего века, со мною хорош — это естественно. Из свиты наследника ему писали обо мне по воле великого князя... Новый губернатор ужасно много занимается, а поелику он меня приблизил к себе, то и мне достается работы вволю...» Корнилов был письменно предупрежден, что, по всей вероятности, «настоящее положение Герцена изменится к лучшему в непродолжительное время».

Герцену стало известно, что вятский жандармский штаб-офицер А. Г. Замятнин дал самый положительный отзыв о его поведении. Вообще Замятнин оказался человеком порядочным, он всячески защищал Герцена от преследований «Калибана-гиены» — Тюфяева. ...А известия об освобождении все нет и нет.

Но если теперь, при новом губернаторе, Герцен мог быть относительно спокоен и не опасаться, что его ушлют куда-либо «в большую глушь», то невыразимо тревожные вести пришли из Москвы.

Наталья Александровна щадила Герцена, не всегда обо всем ему писала. Всесильная приживалка княгини М. С. Макашина, давно невзлюбившая Наташу, всячески натравливала на нее старуху княгиню. У княгини был и без того скверный, сварливый характер, прихоти ее, никогда не знавшие отказов, превратились в деспотизм. Княгиня однажды заподозрила нежные чувства своей воспитанницы к ее кузену и запретила Наташе писать письма. Затем последовали новые, и уже не чем иным,

как капризом княгини не объяснимые запреты — не играть на фортепьяно и даже не сметь пересесть с кресла на кресло без ее разрешения. Чего стоила Наталье Александровне одна только переписка с Александром!

...Ночь темная, страшная. Холодная гостиная. В углу стул, на нем тлеет огарок свечи. Перед стулом коленями на холодном полу стоит Наталья Александровна и пишет — ведь только в гостиной можно достать перо, чернила, свечу, из ее компаты они унесены, спрятаны. Макашина почему-то не терпела Герцена буквально от рождения. Княгиня же, наоборот, благоволила к юноше, но только до тех пор, пока он не увлекся сенсимонизмом, пока до ушей княгини не долетели сплетни о его кутежах. Конечно же, Макашиной не стоило большого труда настроить старуху против племянника. Герцен изредка, и то по просьбе Наташи, писал княгине, и порой она смягчалась. Но всякий раз Александр Иванович забывал вспомнить Макашину, и княгиня вновь не жаловала племянника.

Макашина с чисто ханжеской изворотливостью придумала, как «осчастливить» Наташу... и предотвратить ее брак с Александром. Пока Александр Иванович отбывал ссылку, Наташу надобно выдать замуж. Наталья Александровна не красавица, в которую можно было бы влюбиться без приданого. Значит, единственный способ быстро выдать Наташу замуж — это сделать из бесприданницы (о чем княгиня не уставала повторять своей воспитаннице) состоятельную невесту. И княгиня расщедрилась. Сто тысяч наличными, а после ее смерти и кое-какая недвижимость. Неудивительно, что как только эта весть достигла ушей московских свах, объявились и женихи.

«Что я вытерпела сегодня, мой друг, — писала 26 октября Наташа, — этого ты не можешь себе представить. Нарядили меня и повезли к Свечиной — дама, которая с детства моего была ко мне милостива чрез меру; я вовсе тут не подозревала ничего, что же вышло? К ним каждый вторник ездит Снаксарев играть в карты; вообрази мое положение: с одной стороны старухи за карточным столом, с другой — разные безобразные фигуры и *он.* В первый раз я в таком обществе: разговор, лица — все это так чуждо, странно, противно, так безжизненно пошло, я сама была похожа более на изваяние, нежели на существо живое, и все происходящее казалось мне тяжким удушительным сном. Я, как малый ребенок, беспрерывно просила ехать домой, меня не слушали. Внимание хозяйки и гостя задавило меня. Он даже написал мелом до половины мой вензель. Боже мой! Существо, обладающее только деньгами, чинами (добротою, может быть), смеет думать соединить свой бред с моею небесною жизнью, исполненною рая, любви, восторгов неземных, исполненною одним тобою... Это величайшая из обид. Защити, Александр, моих сил недостает».

Герцен, получив это письмо, совершенно потерял голову. Как он мог защитить Наташу? Ведь ему самому высочайше не дозволено покидать Вятку. И если при новом губернаторе он ездит с ревизиями, то в сопровождении и под ответственность Корнилова, а до Москвы тысяча верст. Да и если бы их было сто? Он ссыльный, поднадзорный... Его московские друзья слишком мало значат в тех кругах, где свершается «продажа». Отец не защита. Наоборот! Мать? Луиза Ивановна за них, но, увы, она не имеет голоса в хоре Яковлевых — Хованских.

А дом княгини Хованской был наполнен таинственными приготовлениями. Уже заказан подвенечный наряд, куплены кольца. И, может быть, более всех суетился и хлопотал Лев Алексеевич Яковлев. Почему Сенатор так заинтересован в этой свадьбе? Это остается загадкой. Он ведь неплохо относился к Александру и, конечно, знал о его любви к Наташе.

Пока в доме княгини готовились к свадьбе, Снаксарев вдруг охладел к невесте. И в этом повинна не княгиня, а Наташа. Она так откровенно выказывала ему свое отвращение, что он поневоле задумался о будущей семейной жизни с женщиной, которая его не переносит. Если бы за Наташей было бы какое-то необыкновенное приданое — ну тогда иное дело. Правда, Снаксарев сумел выторговать у княгини в придачу к обещанному небольшую подмосковную деревушку. Но это пустяк! Княгиня была шокирована, но все же согласилась на добавку, только бы сбыть Наташу. Но Снаксарев к тому времени понял, что Москва — это ярмарка невест и среди них найдется и более сговорчивая и более богатая. И он перестал бывать у Хованских.

Лишь Наташа отписала, что опасность ее замужества отпала (надолго ли?), Герцен вновь вернулся к занятиям. До получения «страшных вестей» из Москвы Гер-

цен упорно работал над статьей «I Maestri» — («Учителя») и очерком «Симпатия». Обе эти вещи также пропали. И о их содержании можно судить только по достаточно многочисленным упоминаниям, а порой и прямым пересказам отдельных страниц в письмах к Наталье Александровне. «I Maestri» — статья автобиографическая, «воспоминания из моей жизни», воспоминания об учителях. Кого же Герцен называет учителями? Поэта Ивана Ивановича Дмитриева, Витберга и Василия Андреевича Жуковского. Задумана эта статья в мае 1837 года, вскоре после отъезда из Вятки наследника и сопровождавшего его Жуковского.

Остается только гадать, почему Герцен назвал Ивана Ивановича Дмитриева учителем. В «Былом и думах» Герцен почтительно, но с иронией говорит о «патриархе» Дмитриеве, пишет, что и он «езживал к нему студентом, вооруженный романтическими предрассудками, личным знакомством с Н. Полевым и затаенным чувством неудовольствия, что Дмитриев, будучи поэтом, — был министром юстиции». Это сказано так, что можно понять: когда Герцен бывал у поэта и баснописца, тот продолжал занимать министерский пост. Но Дмитриев еще в 1814 году ушел в отставку и никогда не совмещал поэзию с административной деятельностью. В 1805 году, издав полное собрание своих сочинений, он уже больше ничего нового не написал. Министром же юстиции Дмитриев стал в 1810 году.

Получив «I Maestri», Наташа писала Александру: «*Встречу* с Дмитриевым я читала покойно, она хорошо написана, но в ней еще нет *Тебя;* ты встретился с ним, еще не узнанный мною, почти чужим... 35-й же и 37-й годы — тут-то, в этих встречах, ты, мой Александр!» Герцен отвечает Наташе: «Встреча с Дмитриевым показывает, каким я вышел из рук воспитания, две остальные показывают, каким ты меня сделала. Расстояние неизмеримое. В первой встрече есть огонь — но огонь ума, огонь без теплоты, фосфор. Во второй и 3-й все проникнуто теплотою души».

1835 год — год знакомства с Витбергом. Мистицизм Витберга, по мнению Герцена, «лежал долею в его скандинавской крови», в «холодно обдуманной мечтательности», подобной «огненному отражению солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии». Герцен признается, что в годы совместной жизни с Витбергом

он «более, чем когда-нибудь, был расположен к мистицизму. Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния — все это помогало Витбергу. И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака...»

Витберг диктовал Герцену свои записки, которые как бы закрепляли их бесконечные беседы на религиозно-мистические темы. Эти записки были опубликованы «Русской стариной» в 1872 году. Но вот что примечательно. Когда Герцен писал «I Maestri», он уже как бы освобождается от Витберговых чар. В 1837 году они, сохраняя привязанность друг к другу, не всегда уже находили общий язык. Витберг замкнулся в своих бедах, «какая-то лень души овладела им».

И Герцен признается, что «мы дальше, нежели были прежде, одна симпатия страдания и таланта соединяет нас, в силу остальных идей нас делит огромное расстояние XIX века с XVIII». «*Не надгробная ли речь его таланту моя статья* «I Maestri» (курсив мой. — *В. П.*). Но как же тогда с утверждением, что он, Герцен, еще года два был под влиянием идей мистически-социальных? Это очередная непоследовательность, противоречивость гения. Он действительно еще и в 1838 году возвращался к этим настроениям.

И наконец, Жуковский. В «Былом и думах» Герцен хотя и тепло, но мельком, не задерживаясь, говорит о Жуковском. Зато в письмах к Наташе это имя сначала упоминается просто как имя переводчика тех поэтических творений, которые Александр рекомендует прочесть своей кузине. Но после знакомства с Василием Андреевичем Герцен называет Жуковского великим поэтом, «поэтом во всей славе», великим человеком, восхищается юностью его гения. Позже, перечитывая все написанное в Вятке, Герцен посчитал, что все мелко, кроме «I Maestri». Известно, что Жуковский тоже читал эту статью и даже сделал немало пометок на ее листах.

Очерк «Симпатия» — безыскусный рассказ о Полине Тромпетер. Отрывок из этой рукописи сохранился. Никакой беллетризации. Воспоминания для себя и нескольких посвященных. Писался очерк с удовольствием и потому, что это писалось о человеке близком, и потому, что «нет статей, более исполненных жизни и которые бы бы-

ло приятнее писать, как воспоминания. Облекай эти воспоминания во что угодно, в повесть... или другую форму, всегда они для самого себя имеют особый запах, приятный для души. Повесть — лучшая форма, но это не мой род; доселе повести плохо выходят у меня; но рассказ, простой рассказ — это дело мое... итак, я намерен рассказать мое знакомство с Полиной...» Рассказал и тут же отослал Наташе. Об этом рассказе можно было бы и не упоминать, ведь недаром Наталья Александровна сказала, что «для других это галиматья...». Но когда рассказ писался, у Герцена выкристаллизовалось желание, родился план создания обширной автобиографии.

Вот и пришла долгожданная весть — с Вяткой покончено. Нет, Николай I не простил Герцена, не вернул его в Москву, просто сменил место ссылки. Взамен Вятки — Владимир и без права посещения Москвы. Об этой радостной перемене сообщило письмо (от кого — неизвестно) 28 ноября 1837 года. А следующий день был, может быть, самым тяжелым за все годы, прожитые Герценом в Вятке. Состоялся разговор с Медведевой. «Как я провел вчерашний день и сколько пространдал — этого нельзя и сказать. Лишь бы уж кончилось все это скорее. Слушай: Медведева больна с тех пор, как узнала о моем отъезде, и я должен смотреть на ее страдания, как человек, который бы обокрал отца семейства, пропил бы деньги и после должен смотреть, как те умирают с голода. Утешить я не мог и не хотел. Ты мне писала однажды: «При разлуке не подавай ей надежды»... Нет, тяжело, но надобно раз пройти черезо все это, и оно уже будет прошедшее. А до тех пор я еще, может, недели три останусь здесь, и ежели всякий день будет, как вчера, — то я занемогу. Разбойника наказывают раз, а это три недели пытки».

И Герцен действительно заболел. Он почти не выходил из дома, благо теперь жил отдельно от Витберга и Медведевой. Одиночество, а также всепрощающее письмо Медведевой целительно подействовали на Александра Ивановича. Перелом прошел. «Медведева воскресла: в женском сердце есть много силы, ежели достанет только решимости употребить ее». В письме к Наташе, письме, которое писалось трудно, Герцен подвел итог своего пребывания в вятской ссылке, итог, так сказать, внутренней жизни, но отнюдь не проделанной чисто умственной работы. Герцен пишет, что долго с ненавистью смотрел на Вятку, ее стены, но теперь ему хочется расстаться с ней как с добрым другом. «*Здесь* я узнал, что такое унижение, *здесь* я должен был поклониться чудовищному Калибану... Здесь стоял я у изголовья несчастного Витберга, здесь видел поэта во всей славе — Жуковского. *Здесь,* наконец, я встретил лилию (П. П. Медведеву. — *В. П.*), вырастающую на гробу, и сорвал ее для того, чтобы насладиться запахом, и задушил ее... Но *здесь* же пламенно и чисто мечтал я о тебе, *здесь* лилися слезы, которые еще едва обсохли».

В Вятке Герцен не мог осознать, как много значили его беседы в кругу «подснежных друзей» — небольшой группы молодых купцов, гимназистов, учителей. Но Александр Иванович так или иначе способствовал пробуждению у них тяги к знаниям. И не случайно Герцен приводит в «Былом и думах» отрывки из двух писем, полученных им после отъезда из Вятки. Он не называет имен своих корреспондентов. «Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня, помоги мне своим советом. Я *хочу учиться,* назначь мне книги, назначь что хочешь, я употреблю все силы, дай мне ход»... Второй пишет: «Я тебя благословляю, как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву». Автор одного из этих писем все тот же Андрей Ефимович Скворцов, ныне счастливый супруг герценовской «симпатии» — Полины.

6 декабря Герцен блеснул речью в честь открытия в Вятке публичной библиотеки. Герцен утверждал, что в речи его «большого толка нет», но сам факт открытия библиотеки был уже событием незаурядным. А выступление Герцена тем более запало в сердца жителей города, что он как бы «освятил» своей речью приобщение провинциального захолустья к наукам, к чтению.

Последние дни перед отъездом пролетели в хлопотах, визитах, начатых и неоконченных беседах. С вятским обществом, по свидетельству Александра Ивановича, он расстался тепло.

29 декабря вятские друзья провожали Герцена до станции Бахта. Здесь последние тосты, последние поцелуи, и возок скрылся в снежной пыли.

4

Герцен въезжал в древний стольный город Владимир под вечер 2 января 1838 года. На улицах всюду следы новогодних празднеств. Вспомнилось, как вчера в Полянах, что верстах в восьмидесяти от Нижнего, сам встретил год, с которым связано столько надежд на полное освобождение и, конечно же, на вечное соединение с Наташей. Мороз стоял крепчайший. И близ полуночи Герцен замерз окончательно. Благо подвернулась станция, можно было обогреться у станционного смотрителя. Камердинер Матвей, которого Герцен считал не за слугу, а за «меньшего брата», прилип к печке, Герцен же, скинув шубу, ходил по комнате. Его шаги раздавались в такт постукиванию допотопных, целиком деревянных и основательно разбитых часов. Но Герцен не смотрел на них. Зато Матвей заметил — стрелки вот-вот сойдутся на двенадцати. Новый год! И бросился вытаскивать из возка бутылки, какие-то кулечки.

Шампанское замерзло «вгустую», ветчина поддавалась только топору, но «на войне как на войне». Смотритель и ямщик тоже не были забыты. Смотритель сморщился от непривычного шампанского, и Герцен, сжалившись, долил ему в вино полстакана рома. Смесь имела успех. Ямщик распорядился сам, насыпав изрядную толику перца в пенное вино, и даже простонал: «Славно огорчило!» Новый год начинался счастливо.

В Козьмодемьянске Герцен обрадовался, заметив, что его сани запрягли наконец-то по-русски, тройкой в ряд, а не гуськом, как запрягали по дороге от Вятки; и ямщик запел по-русски широко давно знакомую песню, и колокольчики-бубенчики звенят здесь по-иному, так же как в Москве. А во Владимире его уже дожидался *«первый* человек из *наших»* — староста одной из владимирских деревень Ивана Алексеевича.

И утром его будили бубенцы. Это и неудивительно, дом, в котором Герцен поселился после недолгого пребывания в гостинице, затесался между главным въездом в город — Золотыми воротами — и почтой, возле крыльца которой день-деньской останавливаются залетные тройки.

Январь стоит морозный, но и мороз здесь иной, не такой, как в Вятке, он бодрит, он не отпускает с улицы. И Герцен бродит по городу. 12 января 1838 года он

сообщает Наташе: «С самого приезда во Владимир я был очень весел, целых десять дней».

Владимир на Клязьме — это же Мекка для любителей и знатоков восточнославянских древностей, церковной архитектуры. А ведь в Вятке под впечатлением разговоров с Витбергом, записей его воспоминаний Герцен всерьез увлекся историей архитектуры, прочел семитомный труд теоретика архитектуры К.-Ф. Вибекинга «Гражданская архитектура, теоретическая и практическая, дополненная описательной историей самых замечательных старинных и современных сооружений и их точными чертежами». Герцен еще тогда писал Наташе, что каменные массы отнюдь не мертвы — они «живы, говорят, передают тайны».

Теперь перед ним оживал Владимир. Можно подолгу сидеть у окна, если на улице уж очень сильный мороз, и без конца разглядывать Золотые ворота. Когда они построены — бог весть, в летописи о них впервой упоминается под 1164 годом. Огромный полукруглый свод арки поддерживается шестью белокаменными дугами, между ними шесть ниш и снова арки. Ниже главной арки еще одна и тоже из белого камня. Воздушность и монументальность соприсутствуют одновременно в этом превосходно сохранившемся сооружении.

Отправляясь на утреннюю прогулку, Герцен непременно заворачивает к Успенскому собору. Ведь он всего лишь на десять лет моложе самой Москвы, построен Андреем Боголюбским в 1158 году. Дождавшись, когда закончится заутреня, Герцен входит в опустевший кафедральный собор и бредет от иконы к иконе — здесь каждая шедевр, уникум и памятник удивительного гения русского народа. Вот копия, или, как именовали в прошлом, *список* с иконы Владимирской Богородицы. Знатоки утверждают, что писал ее первый московский митрополит, которого из Владимира в Москву переманил Иван Калита, — Петр.

Любопытен и образ Владимирской Богородицы, шитый золотом, серебром и шелками царевной Софьей Алексеевной, она же написала образ святого князя Андрея Боголюбского. Все это было сделано в заключении, в келье Новодевичьего монастыря. Талантливая была царевна. А рядом фрески знаменитых Рублева и Даниила, там, дальше, шлем и три железные стрелы XII века, ле-

жащие при гробе князя Изяслава Андреевича. Как здесь все наполнено Русью и... Москвой!

Герцен чуть ли не через день наведывался в Рождественский монастырь, построенный также в XII веке. Здесь был погребен святой Александр Невский и почивал века, пока его мощи не были перенесены в Санкт-Петербург. А ведь он, Александр Герцен, наречен в честь святого Александра Невского.

27 января 1838 года Герцен писал Наташе: «Я был сегодня в монастыре, в котором погребен был Александр Невский, — и что же — мне вдруг так ясно представилось, что под этими сводами, под которыми стоял святой князь, перед этим черным иконостасом стою я и ты, живо-живо. Вот священник в облачении надевает кольца, вот мы взглянули друг на друга, и горячая слеза молитвой катится из глаз, твоя рука в моей... и я готов был плакать, и сердце билось. Нет, нет, ты должна быть моя, год сроку — не больше». И все соборы, монастыри, иконы — все как будто кричало: «Москва, Москва!» — она здесь, близко, 170 верст.

То, что в Вятке казалось почти несбыточной мечтой, во Владимире обрело реальные возможности — свидание с Наташей. Эта мысль целиком завладела Герценом. И он сразу же начинает готовить это свидание, начинает с губернатора.

Владимирский губернатор Иван Эммануилович Курута, «умный грек», «предобрый старичок», принял Герцена чуть ли не как родного. Александр Иванович сразу же понял, что здесь ему не грозит канцелярское заточение, а предложение губернатора заняться совместно с одним гимназическим учителем «Губернскими ведомостями» пришлось Герцену по душе, да и дело было знакомое, в Вятке приходилось ставить неофициальную часть таких же «Ведомостей», впервые введенных в губерниях в 1837 году.

17 января Герцен попросил губернатора предоставить ему отпуск на 29 дней для поездки в Москву. Курута не возражал, но нужно было получить на это разрешение свыше. Губернатор отписал министру внутренних дел Блудову. Между тем из Москвы приходили радостные вести. Луиза Ивановна писала, что на днях она приедет вместе с Кетчером, Егором Ивановичем и Прасковьей Эрн, давно выбравшейся из Вятки вместе с дочерью Марией и нашедшей приют в семье Яковлевых.

21 января во Владимир приехали Луиза Ивановна и Прасковья Андреевна, Кетчер и Егор Иванович задержались. Это первое свидание с матерью было омрачено известием, что к Наташе вновь сватаются. На сей раз некто Миницкий. Наталья Александровна говорит о нем: «Юноша добрый, откровенный». Да и Иван Алексеевич по-прежнему не желает давать своего благословения, хитрит, предлагает сначала завоевать доверие Хованской.

Но как ни «мрачен», ни «черн» был Герцен, он не прекращает работы над статьями, очерками, над задуманной автобиографией. Вот план ее, посланный в письме к Наташе в январе 1838 года: «Две части: 1-я до 20 июля 1834. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханалии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической,— нашей прогулкой на кладбище (она уже написана). *Вторая* начнется моей фантазией «22 октября». Вообще порядка нет: отдельные статьи, письма, tutti frutti — все входит; за этим «Встреча», «I Maestri» и «Симпатия»; далее — что напишется. В прибавлении к 1-му тому «Германский путешественник», эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июлем... Пожалуй, тут можно включить и мои «Письма к товарищам»: «Пермь, Вятка и Владимир...», «Со временем это будет целая книга».

Герцен долго примеривался, как назвать автобиографию. Он именует ее то «Юность и мечты», то «Моя жизнь» или просто «Юность», но впоследствии все же останавливается на названии «О себе». Текст рукописи «О себе» ныне утерян. Ее содержание, так же как и содержание большинства ранних набросков Герцена, было принято восстанавливать по письмам к Наталье Александровне и ее отзывам. Но сравнительно недавно выяснилось, что Татьяна Пассек в своих воспоминаниях «Из дальних лет» использовала (а отдельные фрагменты даже включила в свой текст) случайно найденную ею «между хлама» «растрепанную тетрадь», содержавшую первую редакцию автобиографических записок «О себе». Тетрадь эту она нашла в старом яковлевском доме предположительно в 1861 году. Но открыла ее лишь в 1872 году, когда приступила к своим воспоминаниям. Тетрадь досталась ей не целиком, отсутствовали многие страницы, но оставшиеся Пассек благоговейно собрала.

Первые шесть глав повести «О себе» Кетчер, гостив-

ший у Герцена в феврале, передал Наталье Александровне в марте. О них мало что известно. В письмах Герцен упоминает только названия некоторых глав: «Дитя», «Огарев», «Деревня», «Пропилеи». Для двух глав нет даже названий. В этих первых главах повествование доведено, видимо, до 1829 года, так как седьмая глава, по замыслу Герцена, должна была называться «Студент». Шесть глав — рассказ о детстве и юности. Причем Татьяна Пассек эти главы, судя по всему, не использовала, она описывает ранние годы жизни Герцена, основываясь на собственной памяти, «Былом и думах» и «Записках одного молодого человека».

Когда Наталья Александровна наконец получила эти главы от Кетчера, она написала Герцену: «Хорошо, Александр, хорошо все: лучшее для меня — Дитя, Огарев и Деревня; где более тебя, тут и лучше, а те лица, конечно, необходимы и хорошо чрезвычайно описаны, но я об них читаю почти так же, как обед в «Встрече»... Как я иду шаг за шагом твоего детства, и непременно берет дрожь, и скатится слеза, глядя на тебя, младенца, среди стольких ужасов 1812 года».

Герцен очень надеялся на свое прошение об отпуске, и в письмах к Наташе он строит планы их свидания. Но ответа на представление Куруты все не было и не было.

Кетчер возвращался в Москву из Владимира. Перед отъездом он уговорил Герцена, чтобы тот разрешил ему посетить Ивана Алексеевича и *«серьезно»* с ним поговорить относительно женитьбы его сына на Наталье Александровне. В «Былом и думах» Герцен писал: «Кетчер, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом». Но тогда Герцену, измученному ожиданиями, метаниями от надежды к отчаянию, это предложение Кетчера показалось хоть каким-то шансом. Кетчер побывал у Яковлева. И ничего хорошего из этого не вышло. «От старика ничего не жди», — написал Николай Христофорович Герцену.

Кетчер гостил у Герцена вместе с Егором Ивановичем. 1 марта последний собирался обратно в Москву. И вот во время обеда, когда дожидались лошадей, Герцен, мысленно представив, что завтра в это же время Егор Иванович будет обедать уже в Москве, вдруг огорошил брата просьбой захватить и его с собою. Герцен

отдавал отчет во всех возможных последствиях этого поступка, и откажи ему в тот момент Егор Иванович, Герцен не стал бы настаивать. Но Егор Иванович, хотя и неуверенно, протянул: «Да я — пожалуй...»

И на следующий день действительно в обеденную пору Герцен уже был у подъезда дома, в котором проживал Кетчер. Изумлению друга не было предела. Всего неделя, как они расстались, но тогда и намека на возможный приезд Герцена в Москву не было. Кетчер разворчался не на шутку, узнав, что Наташа о свидании не предупреждена: «Это из рук вон, это белая горячка!» Николай Христофорович повел Герцена к своему знакомому — гусарскому офицеру (в этот день у матери Кетчера были гости), а когда наступили сумерки, друзья оказались на Поварской возле дома княгини. «Что было со мной, ангел мой: ни говорить, ни дышать не могла». Ночь без сна, легкое забытье. «Мне снилось, иду к тебе, просыпаюсь — светло, хочу идти, — а то был только 2-й час. Каково — ждать еще 4...» Свидание, о котором столько мечталось, свидание, казавшееся тем земным мигом, после которого «два розовых гроба», состоялось рано утром. И Герцен и Наталья Александровна вспоминают о нем как о каком-то смутном сне. Фактически ничего не было сказано.

И снова бешеная скачка, снова Владимир, и снова письма и надежды. 16 апреля Герцен опять в Москве. Он приехал с благословения губернатора Куруты, который дал Герцену отпуск и только посоветовал соблюдать *осторожность.* Заставу Герцен миновал по виду поручика Богданова. 17 апреля он встретился с Наташей.

Герцен предпринимает попытку увезти Наталью Александровну из дома княгини. И в этом ему помогают Николай Иванович Астраков и его жена — Татьяна Алексеевна, у которых он появился 18 апреля. Тогда-то и познакомились Татьяна Алексеевна и Александр Иванович. Это знакомство потом переросло в искреннюю привязанность и сохранялось до самой смерти Герцена. Татьяна Алексеевна оставалась последним могиканином, она не отвернулась от Герцена, как это сделали его московские друзья в конце 40-х годов. В книге Татьяны Пассек приведен отрывок из воспоминаний Астраковой, которые она писала по просьбе Пассек в 70-х годах.

Татьяна Алексеевна была женщиной незаурядной. Незаконная дочь белевского купца и крепостной, куплен-

ной этим купцом «для прислуги». Когда отец разорился, Татьяну отдали на воспитание в помещичью семью, где ее всячески унижали, издевались над ней. Татьяна Алексеевна не получила сколько-нибудь систематического образования, но она обладала природным умом, наблюдательностью, цепкой памятью. У нее были бесспорные литературные способности. В 50-х годах она печаталась в «Современнике», опубликовала в «Московских ведомостях» «Воспоминания о Тропинине», у которого брала уроки живописи. Астракова, по словам А. В. Щепкиной, близко стоявшей впоследствии к кружку Герцена, была поборницей женского равноправия: «Она курила трубку с очень длинным чубуком и любила говорить о правах женщин, требуя для них доступа к науке и другой деятельности и равноправия с мужчинами».

Герцен и Николай Астраков решили с помощью Татьяны Алексеевны вызволить Наташу из дома княгини под предлогом, что ее ожидает в Петербурге брат — Алексей Александрович. План был, конечно, очень наивный, ничего из этого не получилось. Но Герцену удалось дважды повидаться с Наташей. «...Прелестны были два мига в два утра, когда мы, крепко соединенные в объятиях друг друга, наслаждались, вдохновлялись друг другом».

Герцен вернулся во Владимир. Но вернулся теперь уже в твердой уверенности — нужно Наташу похитить. Вторая половина апреля целиком ушла на приготовления похищения Наташи и подготовку свадьбы.

Герцен договорился с местным священником Иоанном Остроумовым, и тот согласился обвенчать Герцена с Наташей, но при условии, если у невесты будет налицо метрическое свидетельство. А его нет. Нужно достать в консистории копию, а для этого необходимы деньги. Но где их взять?

29 апреля Герцен пишет Наташе: «...Мое положение ужасно: все, казалось, было готово, губернатор подписал, вдруг от священника решительный отказ: нет доказательства о твоем совершеннолетии. Нет, довольно страданий, не могу больше, вся моя чугунная твердость раздробилась, я гибну без тебя, гибну, гибну. Ты говорила мне: «спаси меня», теперь я тебе и богу говорю: «спасите меня» — Grâce, Grâce! Я уже одной ногой был в повозке, чтоб скакать в Москву: но tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle s'y casse (повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. — *В. П.*), слишком часто. Фу, какая буря мятется в душе, и как больно, больно... Но кончите же, бога ради, бога ради, кончите! Приезжай *на авось, авось* либо сладим. Страшно, безумно, — ну, слушай, ежели не сладим. Ты, мой ангел, тверда — есть средство, данное богом людям, которым скучно по небу: acidum hydrocianicum (синильная кислота. — *В. П.*), выпьем вместе, ты слабже, ты выпьешь меньше, и тогда в один миг — к богу отцу. Бога ради, свидетельство от того священника, который крестил, и с богом тогда во Владимир, все готово. Ангел мой!»

Чтение не может отвлечь Герцена, равно как и работа, и он бесцельно бродит по Владимиру, побывал и в Боголюбове. «О как прелестны окрестности маленького Владимира, это уже не Вятка, мрачная, суровая, осененная елями и соснами. Владимир спит в садах и горах, разбросанный сам по горам».

Владимирские «Губернские ведомости» изредка печатают статьи Герцена — «Владимирская публичная библиотека», «Святая неделя».

Трудно, просто невозможно пересказать содержание писем Герцена в эти месяцы ожидания его соединения с Наташей. Это сплошной поток неистовства (недаром в одном из писем Герцен говорит о своем «африканском темпераменте»), но это и жалобы на промедления, задержки, необоснованные упреки друзьям, которые взялись помочь влюбленным, и бесконечные молитвы на «святой лик» Натальи днем, вечером, часто ночью, а утро начиналось с языческого обряда целования браслета, лент, со слез над локоном Наташиных волос.

Мысль Герцена все время вращается вокруг одного — он увезет Наташу, это решено. Но, несмотря на обещание священника, духовника Герцена, обвенчать их, есть еще архиепископ Владимирский и Суздальский — Парфений, как-то он отнесется ко всему этому. Герцен принят в доме архиепископа. После взрыва отчаяния, вылившегося в «страшное письмо», Александр Иванович явился к Парфению. «...У архиерея я был хорош: я не просил, я дал волю языку и пламенно, бешено требовал, он обещал *не* препятствовать и прибавил: «Вот огонь-то, и ссылка и тюрьма не вылечили его», — сообщает Наташе Герцен.

Теперь Герцен от жалоб переходит к «бешеной» деятельности. Подгоняет друзей, посылает в Москву верного

Матвея, просит знакомого семейного чиновника К. Смирнова принять Наталью Александровну на несколько часов до венчания, находит шафера — того же поручика Богданова, «который отчасти близок душе», и даже чуть не падает в обморок, увидев в карете... Наташу. Увы, это была незнакомая женщина.

Буквально накануне великого дня, 5 мая, Герцен еще пишет Наталье Александровне: «То улыбка, то слеза, то пот холодный и ужас, то надежда, вера, то сомнение винтит душу».

В устройство брака теперь втянуты почти все московские друзья, мать, владимирские губернатор и архиепископ и чуть ли не все, кто помнит, любит его в Вятке. Поздно ночью 6 мая последнее письмо Наташе: *«Может быть,* этот листок заключенье нашей жизни *в письмах...»* Теперь Герцена уже ничто не может остановить. Из Вятки от купца Кусьмы Васильевича Беляева пришли нужные для венчания деньги. Из Москвы — известие, что метрическое свидетельство для Наташи готово. Значит, завтра, не откладывая, в путь.

Герцен приехал к Астраковым. О том, что произошло дальше, Герцен в «Былом и думах» и Татьяна Астракова в своих воспоминаниях, включенных в книгу Пассек, рассказывают, расходясь только в незначительных деталях (например, кому принадлежала шаль, в которую укутали Наташу).

Кетчер и Николай Астраков отправились на Поварскую. Княгиня в это время была у обедни вместе с Макашиной. И Наташа, не поехавшая к обедне из-за «головной боли», беспрепятственно вышла из дома. Меняя извозчиков, она с Кетчером едет в Перов трактир, а Астраков поспешил домой, чтобы сообщить Герцену об успешном завершении похищения. Герцен в одном сюртуке, на простом извозчике поехал «как бы для прогулки за заставу». Стоял не по-весеннему жаркий день. Только-только отгремела первая гроза, теплый дождь лишь подлакировал еще не окрепшую свежую листву. У Рогожской заставы, как всегда, толпится народ, скрипят возы, покрикивают ямщики почтовых троек. Все было буднично. И только, может быть, один, всего один человек среди множества иных, вел себя необычно. Он так взволнован, что не может стоять на месте, но и не отходит далеко от Перова трактира, оглядывается и снова

ходит. Видно, тех, кого он ждет, нет среди прохожих. А их действительно не было здесь. Но они были рядом. Он увидел бы их, догадайся взглянуть за ограду старого кладбища.

За оградой стояли Кетчер и Наташа. Вид у Натальи был странный: в простеньком домашнем платье и в турецкой шали, а на голове соломенная мужская шляпа. Ее спутник кутался в широченный черный плащ, когда ветер распахивал его полы, на солнце нестерпимо пылала огненно-красная подкладка. Но шляпы у него не было. Несмотря на жаркий день, девушка дрожала и не могла вымолвить ни слова. Зато ее спутник все время ворчал и хмурил свои косматые брови. Он ворчал в адрес молодого человека у Перова трактира, хотя и не видел его.

Кучер наемного экипажа, к которому обратился молодой человек и при этом назвал имя Кетчера, указал на кладбищенскую ограду...

Наташа почти без чувств упала в объятия Александра. Она успела только вымолвить:

— И навсегда!..

— Навсегда, — повторил Герцен.

Кетчер был растроган, но не отказал себе в удовольствии, как истинный поп, соединить руки жениха и невесты.

— Друзья, будьте счастливы!

Прежде чем отправиться в путь, они зашли в трактир, и... пробки в потолок. Через полчаса явился Матвей с коляской. Последний бокал, и снова Владимирка.

На следующий день, 9 мая, под вечер Герцен и Наталья Александровна приехали во Владимир в дом к Смирнову. Оставив Наташу, Герцен поспешил к Богданову, чтобы узнать, все ли готово к венчанию. От Богданова — к Модзолевскому, тот обещал быть шафером, от него — к архиепископу, того не застал, но, может быть, это и к лучшему.

И наконец настал торжественный миг. Герцен и Наталья Александровна вошли в церковь Ямской слободы. Иоанн Остроумов был на месте, пономарь Дмитриевский и дьякон Златовратский тоже. Прибыли и поручители: помощник владимирского гражданского губернатора, губернский секретарь Ломизе и переводчик правления, губернский секретарь Татаринов (со стороны Герцена), советник правления, коллежский асессор Модзолевский и

титулярный советник Петров (со стороны Натальи Александровны).

Воротившись домой, Герцен достал последние, так и неотправленные письма к Наташе и сделал пометку: «Конец переписке».

Шли дни за днями, проходили месяцы. Заброшенные в тихий провинциальный городок, Герцен и Наталья Александровна вели уединенный, замкнутый образ жизни. Им пока хватало для полного счастья только самих себя. «Мы живем как отшельники, ни к нам никто, ни мы никуда, кроме семейства Куруты», — приписывает Наталья Александровна к письму Герцена Астраковым.

Наталью Александровну радушно принял губернатор, и они довольно частые его гости. Еще два-три семейства, и снова они вдвоем, и им хорошо. «Счастье мое так беспредельно, что подчас кружится голова от мысли, заслужил ли я хоть долю того, что имею, или не есть ли это испытание». Единственно, что несколько угнетает Герцена, это «хлопоты домашние», он отталкивает их «обема рукама». Герцену казалось, что они живут стесненно, но ведь он никогда и не испытывал настоящей нужды, той, которую познали многие вятские и московские друзья. Иван Алексеевич в конце концов перестал дуться на ослушника Шушку, об этом сообщила Прасковья Андреевна Эрн.

Собственно, лишь здесь, во Владимире, Герцен смог наконец познать не только сердцем, но и умом то «сокровище», которое до сей поры было призрачной мечтой, видением. Роман в письмах — это далеко не совместная, повседневная жизнь с ее неизбежными огорчениями, мелкими неурядицами и просто различием во вкусах и привычках двух людей, спустившихся с небес на землю. Было полное единство душ, но были и различия во вкусах и привычках. И эти различия стали постепенно проявляться. Наташа с детства сначала по принуждению, а потом и по привычке была затворницей, домоседкой. Александр же всегда любил шум, смех, скопище народа, веселую пирушку. Здесь он такого шумного круга, конечно, не имел и не мог иметь, как не имел и подлинных друзей, таких, как Витберг, Полина, Эрны, окружавшие его в Вятке. Но он внутренне не переменился, как не мог во всю жизнь отучиться от каламбура, анекдотов, иронии. А вот Наташе они были совершенно чужды, она их про-





Л. И. Гааг, мать
А. И. Герцена.

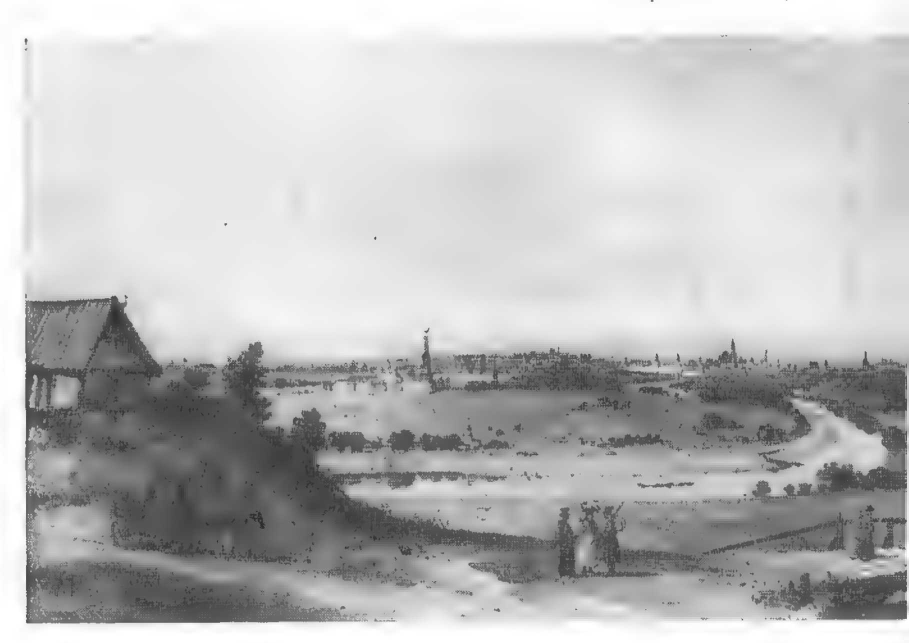


Н. П. Огарев.
1830-е гг.



И. А. Яковлев,
отец
А. И. Герцена.

Вид на Москву
с Воробьевых гор.





Московский университет в середине XIX в.



Н. И. Сазонов.



В. В. Пассек.



Н. Х. Кетчер.
Рис. К. А. Горбунова.



Крутицкий дворец.



А. И. Герцен.
Портрет работы
А. Л. Витберга.
1836 г.

Дом в Вятке, в котором жил А. И. Герцен.





А. Л. Витберг.
Автопортрет.



Владимир. Дом, где в 1838 г. жил А. И. Герцен.



Н. А. Герцен с сыном Сашей. Акварель К. А. Горбунова.



А. И. Герцен с сыном Александром. 1840 г.



М. А. Бакунин.



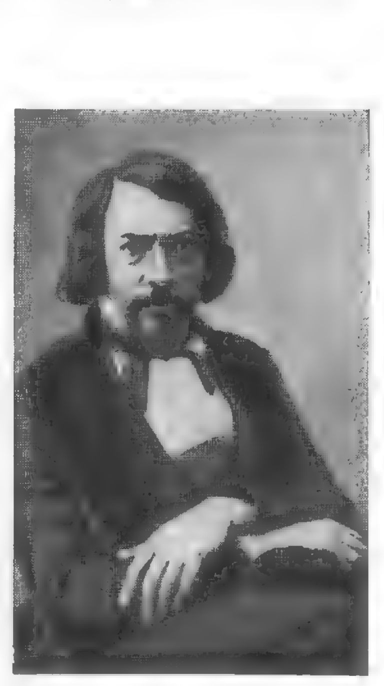
Т. Н. Грановский.



И. В. Киреевский.

В. Г. Белинский.

П. Я. Чаадаев.



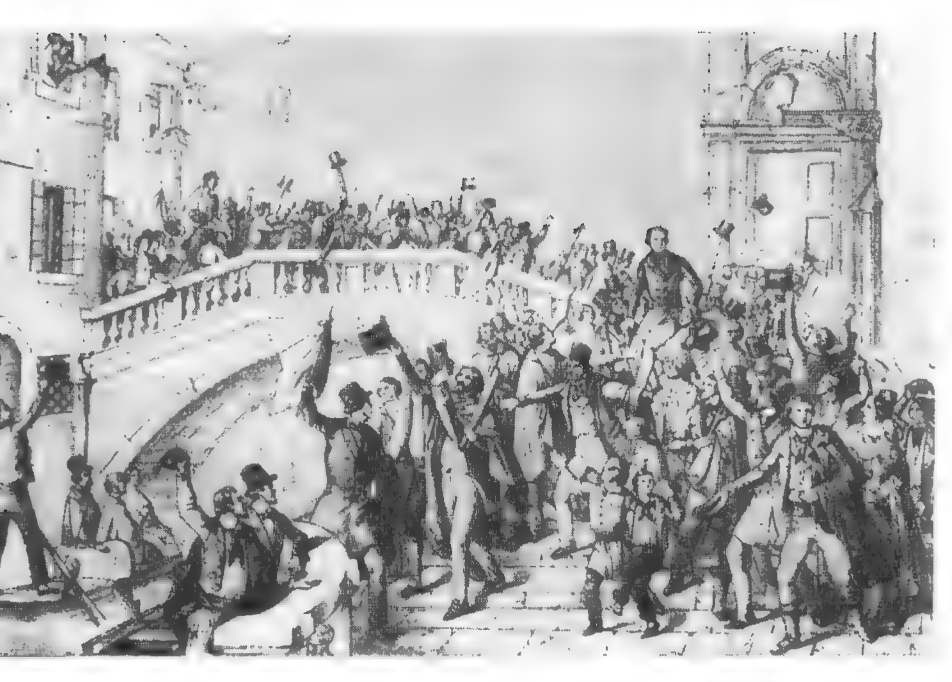

А. С. Хомяков.



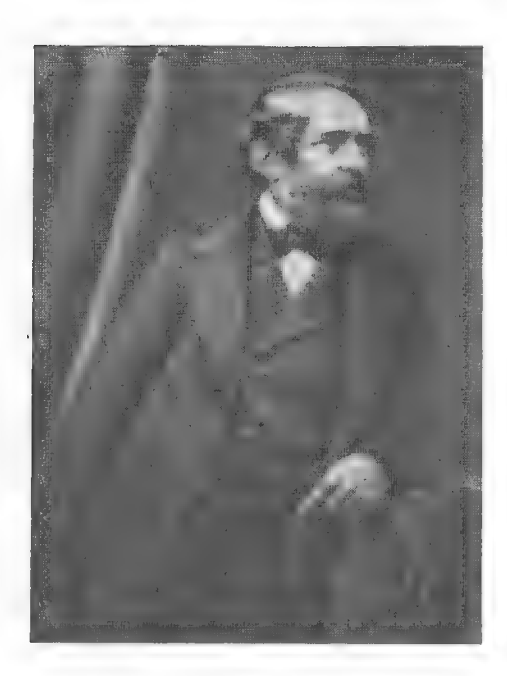
В. П. Боткин.



К. С. Аксаков.



Сцены из французской революции. 1848 г.



Лайош Кошут.



Пьер-Жозеф Прудон.



Джемс Фази.

Георг Гервег.



М. К. Рейхель.

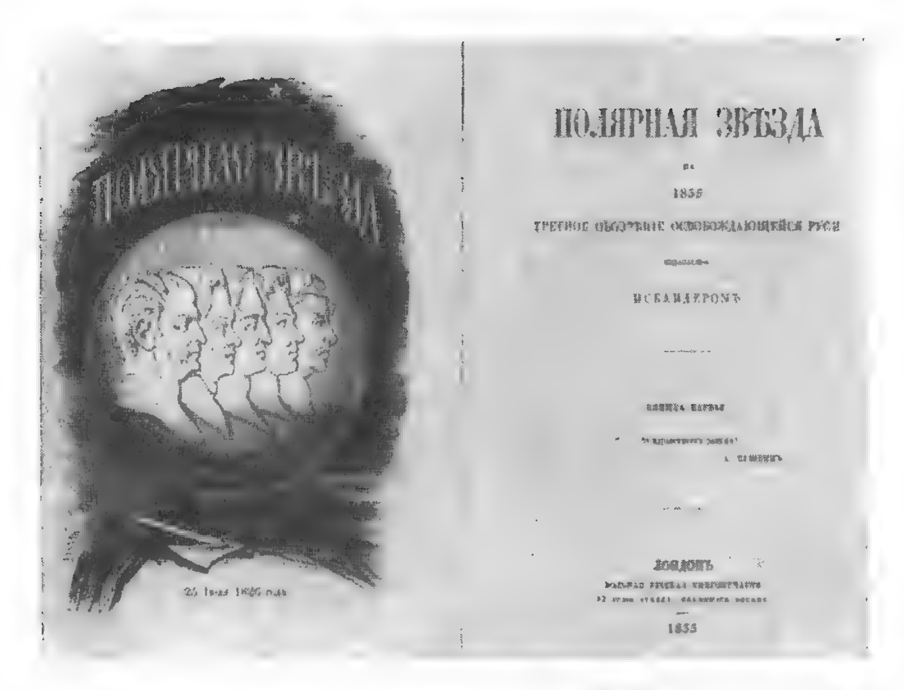


Гиэрские острова.
Место гибели матери
А. И Герцена и сына
Коли во время
кораблекрушения.





Джузеппе Маццини.



Фронтиспис и титульный лист «Полярной звезды».



Н. А. Огарева-Тучкова с детьми А. И. Герцена — Натальей и Ольгой.

сто не принимала, сторонилась, так же как не любила бывшая бедная воспитанница богатой княгини пышных нарядов, драгоценностей. Да их и не было у нее с детства. А Герцен любил. Он с «султанской настойчивостью» требовал, чтобы его жена-дитя носила кольца, колье, которые ее богатый муж мог дарить.

Обаятельнейший образ Натальи Александровны проходит через многие главы мемуаров Герцена. Герцен до конца дней, несмотря ни на что, боготворил Natalie. На пороге пятидесятилетия, в седьмую годовщину смерти Натальи Александровны, он писал сыну: «Вот я доживаю пятый десяток, но веришь ли ты, что такой великой женщины я не видал. У нее ум и сердце, изящество форм и душевное благородство были неразрывны. Да, это был высший идеал женщины!» Но, может быть, Герцен просто идеализировал Наталью Александровну? Нет, если судить по кратким, но очень выразительным отзывам всех, кто когда-либо соприкасался с ней. И Белинский, и Грановский, и Бакунин, и Анненков в один голос и почти одними и теми же словами рисуют облик женщины кроткой, нежной, хрупкой, но обладающей страстью характера, пламенным воображением и очень сильной волей. Это последнее качество Белинский подчеркнул очень решительно в письме к невесте. «Эта женщина... больная, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голоском, но страшно энергичная: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом...» И блестящий, остроумный, иронический скептик Герцен был полонен этой скрытой энергией своей жены.

Скоро стало известно, что Наталья Александровна ожидает ребенка. Это ожидание наполнило новым смыслом жизнь Герцена. Александр решил, что в положении Наташи самое главное — побольше гулять не утомляясь. И чтение книг, которым они усердно занимались, сменяется «скитаниями по полям и горам». Герцен учит Наташу читать природу. Были и дальние прогулки.

В конце июля Герцен и Наталья Александровна ездили на свидание с Иваном Алексеевичем в село Покровское-Засекино и доехали почти до Москвы. Но так как въезд в Москву Герцену был воспрещен, объехали первопрестольную стороной и очутились на Воробьевых горах. Конечно, об этой поездке Герцен поспешил написать Витбергу: «Путь мой лежал около Москвы — он меня

привел на Воробьевы горы... Я велел ямщику остановиться и пошел с Наташею по ужасной грязи на место закладки. Место закладки, как открытая могила, приводило в трепет — камни разбросаны; я прислонился к барьеру, смотрел вдаль, одна серая масса паров и больше ничего, я думал о дальнем друге, о брате Николае, и слеза наливалась в глаза мои и ее, я думал потом об вас...»

Герцены после этой поездки и вовсе засели дома, тем более что долгие поиски квартиры увенчались успехом. Они наняли «прелестный» дом. «Сидим у камина, вспоминаем друзей и наслаждаемся настоящим...» И Наталья Александровна в письме к подруге с удовлетворением отмечает: «мы с Александром расстаемся недели в две на один только час».

Но ему было всего двадцать шесть, а ей едва минуло двадцать, поэтому сидения у камина частенько сменялись веселым ребячеством. В доме, где поселились Герцены, на окраине Владимира, была большая зала. У хозяев не хватало то ли средств, то ли желания ее отмебелировать: несколько стульев по стенам, а на стенах несколько канделябров. И часто зала оглашалась топотом, веселыми криками, это Герцен и Наташа «прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделябрах, прибитых к стене, и, осветив залу a giorno (ярко. — *В. П.*), читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок «не торжёствовал» в нашем доме».

В одном из писем Витбергу Герцен признается, что «все время после нашей разлуки» он «много занимался, особенно историей и философией...». Но не только пополнение собственных знаний заботит Александра Ивановича. Во владимирской тиши он вновь берется за повесть «О себе». И все время раздвигает ее хронологические рамки. Седьмая глава писалась трудно, писалась еще в марте, Герцен, видимо, ее отложил, написав главы VIII и IX. А 1 апреля Герцен извещает Наташу, что почти кончил повесть, «недостает двух отделений: «Университет» и «Студент». Но этих я не могу теперь писать, для этого мне надобно быть очень спокойну и веселу, чтоб игривое воспоминание беззаботных лет всплыло». И оно всплыло, но позже, в начале 1839 года, когда Герцен вернулся к работе над повестью. Хотя главы «Студент» так и нет, зато написаны «Университет» и «Холера», вобравшие в себя материал, предназначавшийся для «Студента». В 1839 году он пишет главу «Вятка», очень близкую, судя по воспоминаниям Пассек, к тому, что было описано в повести «Симпатия». Работая над повестью «О себе», Герцен как бы укрепился в убеждении, что его жанр — автобиография. Ведь не случайно Герцен уже нигде не упрекает себя в том, что пишет «дурно». Он действительно «нашел себя». В этот же владимирский период были написаны и две аллегории (хотя Герцен, казалось бы, отрекся от аллегорий после «Легенды») — «Лициний» и «Вильям Пен». Сцены написаны в виде диалогов, «рубленая проза, на манер стихов» — пятистопный ямб без рифмы. В письме к Кетчеру от 4 октября 1838 года Герцен словно извиняется за эти стихи: «При первой оказии я пришлю тебе первую часть фантазии «Палингенезия». Я написал Сатину, что это драма; нет, просто сцены из умирающего Рима. Это первые стихи, с 1812 года мною писанные; кажется, 5-ти стопный ямб дело человеческое». Отрывок из «Лициния» привела Пассек в своих воспоминаниях, большая же часть текста неизвестна. И «Вильям Пен» сохранился не весь. Герцен в конце концов остался недоволен этими драмами и грозил их сжечь. Несколько позже суровый приговор вынес им и Белинский. Но вне зависимости от формы драматических сцен Герцен обратился в них к проблеме, которая волновала его современников. Драма людей переходного безвременья, не видящих идеала, оторванных от народа, — это драма не только Древнего Рима и эпохи борьбы церкви с английскими квакерами, это драма передовых людей России 30-х годов XIX века, не знающих, не видящих путей в будущее. Два мира — отходящий и только нарождающийся. Отходящий с его язвами, нелепостями, умирающими институтами ясен. А вот каков новый, юный? Каким он должен быть? Таким ли, как это грезится романтикам? Сам Герцен в лондонском издании «Былого и дум» в 1862 году писал по поводу этих сцен: «В них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм». А перерабатывалось оно в ходе критического пересмотра Герценом идей социалистов-утопистов. Трезво мыслящий Герцен только с усмешкой мог читать заявление Шарля Фурье, что, когда исчезнет антагонизм между людьми, исчезнут классы, богачи станут трудящимися, а трудящиеся богачами, на-

ступит гармония. И эта «всеобщая гармония» произведет изумительные превращения в природе. Засияет «северная корона», и она расплавит вечные льды. Появятся пять новых спутников, и мир заселят добрые существа — антильвы, антикиты, антиакулы, и в морях соленая вода заменится лимонадом, а ночи сменит лучезарный день.

Нет, эти фантазии не для Герцена.

В 1838 году после долгой, мучительной болезни скончался отец Огарева. Ник сообщил об этом Герцену и Наташе одновременно со свадебным поздравлением. Огарев сделался обладателем огромного состояния. В его владении оказались и 4 тысячи душ, которые он хотел бы *по возможности «вывести... из полускотского состояния»*. Пять лет томился Огарев в своей домашней ссылке под надзором полиции. Он так же, как и Герцен, «много сделал», «продвинулся вперед» в самообразовании и тоже женился. А вернее, его, богатейшего наследника, довольно-таки ловко женила на себе Мария Львовна Рославлева, племянница пензенского губернатора Панчулидзева. После смерти отца Огарев выхлопотал разрешение объехать свои имения, разбросанные в различных губерниях, чтобы, так сказать, войти в права наследства. Ему этот объезд разрешили, хотя остерегли относительно столиц. И вот, отправляясь в свою рязанскую вотчину Белоомут, Огарев с супругой решили сделать крюк и навестить Герценов. Он знал, что Герцен все эти годы в письмах к друзьям выспрашивал их о нем, но переписывались они крайне редко.

Огаревы приехали во Владимир 15 марта 1839 года. Нагрянули они внезапно, без предупреждения. И в уютной гостиной дома, который снимал Герцен, свершилось «венчанье сочетающихся душ, венчанье дружбы и симпатии». Огарев увидел чугунное распятие на столе, подаренное им Герцену при разлуке.

— На колени, — сказал он, — и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Герцен, Наташа, Огарев, Мария Львовна опустились на колени, обнялись. В неверном отсвете масляной лампады гостиная походила на масонскую ложу. Но коленопреклоненные люди давали не клятву, они обратились к распятию «не с упреком, не с просьбой», а с гимном, с осанной...». Позже Герцен сообщил Кетчеру: «Ну, брат Кетчер, ежели б жизнь моя не имела никакой цели, кроме индивидуальной, знаешь ли, что бы я сделал 18 марта? Принял бы ложку синильной кислоты... Относительно к себе «я все земное совершил!». Только еще и оставалось мне после Наташи желать, и оно сбылось, и как сбылось, четырехдневное, светлое, ясное, святое свиданье!.. Что за дивный, что за высокий Огарев! И она не совсем такова, как ты говорил, по твоим рассказам я только знал, что она умна, а теперь я увидел в ней тьму сердца, душу, раскрытую симпатиям высоким и обширным. Она достойна его».

Венчание дружбы и симпатии было верно относительно таких целостных натур, как Герцен, Огарев, Наташа. Но Мария Львовна была совершенно иным человеком. Женщина взбалмошная, пустая, кокетливая, без каких-либо умственных интересов, недаром Кетчер, ранее Герцена познакомившийся с ней, очень холодно отозвался о Марии Львовне. А потом, по свидетельству Татьяны Астраковой, которой Мария Львовна не понравилась с первой встречи, Кетчер заявлял: «Я давно говорю — дрянь, а Ник — тряпка».

Позже, когда Герцен получил возможность бывать в Москве, он уже иными глазами взглянул на «богом избранную Марию», а затем и вовсе поссорился с ней.

«Лициний» и «Вильям Пен» были Герценом забракованы. Но надолго, если не на всю литературную и публицистическую жизнь Искандера осталась тема двух миров. Старый гибнет, новый выходит из небытия. Потом эта тема в сотнях вариантов повторяется, варьируется в зависимости от быстро меняющихся фактов социальной и политической истории как Европы, так и России.

Во Владимире Герцен очень много и серьезно работает над «Записками одного молодого человека» — этого ростка, из которого развернутся, распустятся «Былое и думы». «Записки одного молодого человека» писались как бы в два приема. Первые разделы «Записок» — это авторская переработка повести «О себе». «Ребячество», «Юность», «Шиллеровский период» — эта часть очень лирична. Первый раздел кончается временем, непосредственно предшествующим поступлению в университет. «Записки» резко отличаются своей художественной основой, языком от ранее написанных отдельных набросков. Они как бы делают заявку на будущий главенствующий

в творчестве Герцена жанр — воспоминаний, автобиографии, наполненных невыдуманными фактами, подлинно существовавшими людьми, и эти факты, эти люди щедро озарены авторской фантазией, так ярко проступающей в «Записках».

Виссарион Белинский, говоря о мемуарах, замечал: «Мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою. Что же общего между вымыслами фантазии и строго историческим изображением того, что было на самом деле? Как что? — Художественность изложения! Недаром же историков называют художниками. Кажется, что бы делать искусству (в смысле художества) там, где писатель связан источниками, фактами и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание». Художественное обобщение исторических фактов, портретов со временем обретет у Герцена такую силу, выразительность, глубину, какой не обладал ни один русский писатель его поры. «Записки» — это подступ к тому, что станет главенствующим в художественном творчестве Герцена, это поиски реализма, но еще заметны остатки романтизма 30-х годов.

Вторая часть «Записок», обычно называемая «малиновской», писалась позже, в 1840—1841 годах.

Во Владимире оборвался поток писем, самый обильный, самый бурный — к Наташе. Теперь этот поток разлился на множество более спокойных ручейков. Письма в Вятку, к Витбергу, Медведевой. Их немного, и они деловые. Пристроены дети Медведевой, Герцен устраивает и саму Прасковью Петровну, она станет воспитательницей в семье владимирского губернатора Куруты. Более оживленно журчит протока, ведущая в Москву, к Кетчеру. Это не просто излияния дружбы, но и профессиональный разговор начинающего литератора с литературным переводчиком. Разговор о прочитанном, о журналах. «Что ты скажешь о редакции «Отечественных записок», 1 № не дурен, особенно разбор Фауста...» Далее следует сжатый и очень выразительный обзор «состояния французской литературы». «Во всем множестве выходящих книг ужасная пустота, я разлюбил даже Гюго, одна G. Sand растет талантом, взглядом, формой... Нынче нет таких огромных банков идей, как Гёте, Лейбниц, их разменяли на мелкое серебро и пустили по рукам...» Герцен все время взывает к Кетчеру — книг, книг, присылай как можно больше. «Романы я на свой счет не принимаю, это для Наташи, а мне достань что-нибудь из гегелистов, да, ежели можно, исторических книг...» Это письмо от 7 февраля 1839 года. 28 февраля — 1 марта Герцен вновь пишет Кетчеру: «Главное, о чем я прошу — это больше исторических и гегелевских...»

15—17 марта Герцен делится своими мыслями по прочтении пяти частей мемуаров Лафайета, «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича. «Я читаю теперь с восторгом «Илиаду» (Гнедича) — вот истинный сын природы, тут человек кажется во всей естественной наготе». Помимо Кетчера, книги Герцену доставляют Астраковы. Он внимательно следит за русскими журналами: «Наши журналы очень дурны, кроме «Отечественных записок». Что же вы плошаете в Москве?»

13 июня 1839 года у Герценов родился сын, нареченный в честь отца Александром. И сразу целый веер писем. Всем! Всем! Родился сын.

27 июня министр внутренних дел граф А. Г. Строганов в связи с ходатайством И. Э. Куруты обратился с донесением к графу А. Х. Бенкендорфу о возможности полного прощения Герцена. А 16 июля Николай на представлении Бенкендорфа начертал: «Согласен».

28 июля Герцен узнает о том, что полицейский надзор над ним снят. И в тот же день отправляется в Москву. Сначала один. Затем возвратился во Владимир и в конце августа всей семьей укатил в первопрестольную.

Герцены приехали в Москву, но это не означало, что они окончательно распрощались с Владимиром. Просто прибыли на более или менее длительную побывку. Герцен рассчитывал, что они смогут прожить в отчем доме во всяком случае до нового, 1840 года. Но в сентябре во «Владимирских губернских ведомостях» было официально объявлено, что титулярный советник Герцен определен «чиновником особых поручений при господине владимирском гражданском губернаторе», а это означа-

ло, что не к Новому году, а уже в октябре нужно обязательно вернуться во Владимир. Но возвращаться не хотелось. Впрочем, первые впечатления от Москвы после пяти лет разлуки достаточно сумбурные. В письме Юлии Федоровне Куруте через три дня по приезде Герцен признается: «Я еще не огляделся, еще не понимаю себя в Москве и потому ничего не могу сказать о себе, слишком много и чувств, и воспоминаний, и мыслей, и знакомых лиц, и знакомых улиц, и пыли, и колокольного звона, и новостей...» Недаром он говорил: «Большие города — это большие поэмы, надобно вчитаться, чтоб постигнуть поэзию Данта, так и Москва — поэма немного водянистая, с большими маржами, с пробелами, но лишь только приживешься, поймешь поэму в 40 квадратных верст». А пока Герцен недоволен Москвой, и его утешает встреча со старым домом: «Одна из самых замечательных статей для меня был наш старый, забытый каменный дом. Я бродил по пустым комнатам его, и сердце билось: в этот дом я переехал ребенком (в 1824 г.) и прожил 9 лет. Тут родилась первая мысль, первый восторг, тут душа распустилась из почки, тут я был юн, неопытен, чист, свеж. Я всматривался в стены: черты карандашом остались, разные нарезки, как было 10 лет тому назад и будто я 1839 года тот юноша 1829 года?.. Примеривая прежние комнатки к душе, вижу, сколько душа переменилась, к лучшему ли? — может; к изящнейшему ли? — не знаю».

10 сентября 1839 года Герцен присутствует на закладке храма Христа Спасителя. По его словам, это «похороны Витберговой славы, колыбель известности Тона». «..Шествие весьма было торжественно — духовенство, гвардия, посланники и тысячи народа на крышах, на заборах, в окнах...» Митрополит Филарет произнес речь. Герцен в письмах к Витбергу только упоминает о закладке храма и добавляет: «В публике вас часто поминают, особенно теперь... и знаете ли, что большая часть за ваш проект — кроме аристократов. Есть даже громогласные партизаны, и в том числе архитектор Мирановский и др.». Но Александр Иванович воздерживается от оценок проекта Тона. Еще раньше, посылая Витбергу из Владимира этот проект, Герцен, описывая храмовую архитектуру Владимира, скептически отзывается о проекте Тона: «Здесь во Владимире есть древний собор, строенный при в[еликом] князе Всеволоде, он не велик, но масса его очень хороша, в нем есть что-то стройное, конченое, и, признаюсь, он для меня в 10 (раз) лучше Тонова». И далее о том, что «Тон не понял» созерцательной идеи Востока, а ей «будущность большая».

Эти месяцы до возвращения во Владимир пролетели бестолково. Витберг из Вятки просил позаботиться о его сохранившемся имуществе, в чем Герцен не преуспел. В Москву приехала Медведева, Герцен, едва устроивший ее во Владимире, теперь хлопотал о ней в Москве. Но пока без особого успеха, так как Медведева хотела стать воспитательницей, хотела учить других, но для этого ей самой не хватало знаний. Виделся Герцен и с Жуковским, который сопровождал наследника на торжества в Москве. Но виделся как-то наспех, «в шуме, в вихре, когда все в Москве торопилось, суетилось, и Василий Андреевич торопился, суетился». Эта суета захватила и Герцена. Недаром Наталья Александровна жаловалась владимирским друзьям: «Александра... почти вовсе не вижу». Но тогда она и думать не могла, что для Герцена друзья, театры, знакомые плюс затворническая работа составляют смысл жизни. Семья, конечно, тоже, но и к жене он относился прежде всего как к другу, самому любимому, самому нежному члену кружка друзей.

Собственно, от старого круга друзей в Москве остались немногие. Огарев приехал в Москву позже Герцена, в середине сентября, и Герцен в письме Юлии Федоровне Куруте восторженно восклицает: «Огарев здесь — Москва расцвела». В Москве были Сатин и Кетчер. Но состоялись и новые знакомства, прежде всего с Виссарионом Григорьевичем Белинским.

Возможно, что Герцен и Белинский знали друг друга в годы учения в университете. Зато наверняка Герцен был знаком с его статьями — они печатались в «Телескопе», в «Московском наблюдателе», «Молве». Белинский и не в меньшей степени Герцен принадлежали к тому немногочисленному кругу «отшельников мысли, схимников науки», которые в конце 30-х — начале 40-х годов ушли в теорию, пытаясь обрести какую-то одну, универсальную идею и с ее помощью объяснить буквально все: и жизнь и науку. 14 ноября 1839 года Герцен писал Огареву из Владимира: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов... не достигли совершеннолетия, мы вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых

бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать. Оттого-то все, что мы пишем (или почти все), неполно, неразвито, шатко, оттого и самые предначертания наши не сбываются, — как иначе может быть?.. Подумай об этом и пойдем в школьники опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля... Пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического». Философию Гегеля изучал не только Герцен. Ее штудировал «за свечкой» бедный студент, о ней спорили «юноши и отроки». И им померещилось, что мир не раздвоен, нет в нем ни зла, ни добра, и жизнь внутренняя — в единстве с жизнью внешней. Все, что живет, — это только «проявление духа». «Дух есть абсолютное знание, абсолютная свобода, абсолютная любовь» — так заявил один из самых рьяных русских гегельянцев той поры, человек, который сыграет в жизни Герцена заметную роль, — Михаил Бакунин. Бакунин уверял, что раз жизнь только проявление духа, то, значит, в действительной жизни нет действительного зла, нет и случайностей. Есть необходимость, разумность, благо. И Бакунин, а за ним и Белинский, и многие, кто прежде группировался вокруг Станкевича, восприняли гегелевскую формулу, сокращенную Бакуниным: «Что действительно — то разумно». Бакунин вслед за гегельянцами взял в то время у Гегеля самую реакционную суть его системы и пошел значительно далее в смысле признания разумности действительности, Гегель — прусской, Бакунин — русской. Он ратовал за примирение с нею, отрицая необходимость, да и возможность революционной борьбы. Несколько позже Бакунин выступил в «Московском наблюдателе» с предисловием к переводу «Гимназических речей» Гегеля, где, в частности, писал: «*Действительный мир* выше его (человека, изучающего философию. — *В. П.*) жалкой и бессильной индивидуальности; он не способен понять истины и блаженства *действительного мира*, конечный рассудок мешает ему видеть, что в жизни все прекрасно, все благо, и что самые страдания в ней необходимы, как очищение духа...» Бакунин, провозгласив действительность разумной, ополчился на французское воспитание русских, которое «образует не крепкого и *действительного* русского человека, преданного Царю и Отечеству, а что-то такое среднее, бесцветное и бесхарактерное».

Белинский недолго находился в плену этой бакунинско-гегелевской формулы, но именно при первом знакомстве с Герценом он пребывал в состоянии «индийского покоя», примирения с действительностью. «Белинский,— вспоминает Герцен, — самая деятельная, порывистая диалектически страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы...» «Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?» — «Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина. Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами...»

Увы, Белинский был не одинок в своем заблуждении относительно разумности действительности. Огарев известил Герцена, что собирается «переработать всю эту массу новых понятий и примириться с миром и собою». «Друг! — писал он Герцену, — я вижу один выход из теперешнего душного воздуха... Право, есть примирение с жизнью, и оно основано на том, что в самом же деле жизнь прекрасна, все в мире прекрасно». Огарев, так же как и Белинский, недолго заблуждался относительно «прекрасной действительности». И никто иной, а Герцен всячески способствовал тому, чтобы «развеять иллюзии». Но для этого нужно было вновь и вновь вчитываться в Гегеля.

С Белинским Герцен расстался холодно. Виссарион Григорьевич переезжал в Петербург, чтобы сотрудничать в «Отечественных записках». Продолжение их споров было еще впереди.

В этот приезд в Москву, очевидно, состоялось знакомство Герцена с Иваном Павловичем Галаховым. Аристократ по воспитанию, Галахов недолго прослужил в Измайловском полку, затем, по словам Герцена, «принялся себя воспитывать в самом деле». «Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпимостью хотел вынудить *истину*, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни». Брался за то, за это, «постучался даже в католическую церковь». Бросив католицизм, обратился к философии, но «ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме». Галахов долго скитался по заграницам, но на всю жизнь сохранил теп-

лую память о Герцене, ведь «в Москве более и ближе всего было с вами»,— писал он Герцену в 1845 году. Да и Герцен говорил, что Галахов «чудный, прекрасный человек; как-то на нем иногда хорошо остановить глаза и душу: так все благородно и чисто в нем». Василий Петрович Боткин, с которым Герцен, судя по всему, также познакомился в это же время, был во многом прямой противоположностью Галахову. Сын богатого купца (Герцен иногда величает его «кулаком»), Боткин, «резонер в музыке и философ в живописи», «был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев». «Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях...» Он, по словам Герцена, возводил «все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое — пережеванным все свежее, словом, не оставляя в своей непосредственности ни одного движения души». Правда, эти отзывы Герцена о Боткине даны уже позже, когда писались «Былое и думы». А по свежим впечатлениям в дневнике он говорит о Боткине наряду с Кетчером: «Какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная». В пору, когда Герцен познакомился с Боткиным, тот был одним из друзей Белинского.

1 октября 1839 года Герценам пришлось возвратиться во Владимир. Но у Ивана Алексеевича в отношении сына были свои планы. Он во что бы то ни стало хотел видеть его в чинах и обязательно преуспевающим не где-нибудь, а в Петербурге. Для Яковлева, имевшего обширнейшие связи, состоявшего в родстве с людьми, которые при Николае I вскарабкались на вершину чиновничьей пирамиды, не доставляло труда пристроить сына. И Герцен готовился к поездке в Петербург, чтобы начать хлопоты по переводе своем в столицу. Отъезд задержала болезнь Натальи Александровны. Герцен не отходил от постели больной; когда же она засыпала, брался за книги. Встреча с новыми людьми, спор с Белинским, гегельянство, так пронзительно окрасившее всю духовную жизнь людей думающих, требовали работы и работы, чтобы не отстать, чтобы выработать общую идею. Герцен хотел встретить неизбежные споры во всеоружии знаний. И прежде всего Гегеля. Его произведения предстояло прочесть от корки до корки, да и не просто прочесть. Без новых знаний человек «не полн, не современен».

Биографы Герцена, радуясь его семейному счастью, с

сожалением отмечают, что переписка Александра Ивановича и Наташи оборвалась. Естественно, что она стала ненужной при «гармонии под одной крышей». А ведь именно эти письма и были той ариадновой нитью, следуя которой ученые и писатели выбирались из лабиринта герценовских творческих замыслов и свершений, — вспомним, что большинство автографов Герцена за эти годы утеряно. Письма из Владимира октября — начала декабря 1839 года немногочисленны, да и часть их (например, все письма домой — Ивану Алексеевичу) не сохранилась. Но, зная Герцена, можно с уверенностью сказать, что и в эти месяцы он, не слишком обремененный делами служебными, помимо интенсивного чтения, о чем он говорит в письме к Огареву от 14 ноября («одно из мощнейших средств для нас теперь чтение» — «я иду вперед, решительно иду»), продолжал работу и над «Записками одного молодого человека».

Тяжелым наследием краткого пребывания в Москве была ссора с Марией Львовной Огаревой. Мария Львовна боялась и ненавидела Герцена. Ее влекли аристократические салоны, и она насильно тащила Огарева в этот мир, где он изнывал от пустоты и скуки. «Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия...» «Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жесток и беспощаден...» Потом, через несколько лет, Герцен казнил себя, нет, не за то, что был беспощаден к Марии Львовне (которая говорила, что даже хотела отравить Герцена), беспощадным был он и его друзья к Огареву. «Его никто не пощадил, ни я, ни другие». А Огарев умолял об одном — «помиритесь», но «мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи».

Герцен снова в Москве. Не заезжая домой — прямо к Огареву. Он так хотел быть у него 6 декабря, в Николин день, но прибыл 7-го. Мария Львовна приняла холодно, сказала, что Огарев у Кетчера. У Кетчера застал и Огарева, и Сазонова, и, что в тот момент важнее, Михаила Семеновича Щепкина, с которым Герцен знаком еще не был. Михаил Семенович был в ту пору уже на вершине своей славы. Сын крепостного, он только в 35 лет смог выкупиться из крепостной неволи при денежной поддержке многих писателей, художников и князя Репнина. Очу-

тившись в Москве, Щепкин скоро стал своим человеком в кругу московских писателей и профессуры, которые, как сам он признавался в своих «Записках», «научили его мыслить и глубоко понимать русское искусство». Пушкин убедил Щепкина вести «Записки» и даже написал в них первые строки.

Им восхищались все. Погодин заявлял, что Щепкин является «достойным помощником, дополнителем и истолкователем великих мастеров сцены, от Шекспира и Мольера до наших отечественных писателей — Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя, Шаховского, Загоскина и Островского». Белинский, пораженный комическим, актерским гением Щепкина, писал: «Щепкин — художник; для него изучить роль не значит один раз приготовиться для нее, а потом повторять себя в ней: для него каждое новое представление есть новое изучение». «Жить для Щепкина, — говорил С. Т. Аксаков, — значило играть на театре; играть — значило жить». И Герцен в этот вечер первого знакомства с великим актером «хохотал, как безумный, от его дара рассказывать анекдоты».

Впрочем, бывший крепостной актер повествовал не только о смешном. Чаще о грустном. Когда Щепкин рассказал Герцену о крепостной актрисе из Орловской труппы, которой владел граф С. М. Каменский, о трагедии, которая произошла, — неизвестно. Но этот рассказ впоследствии лег в основу повести Герцена «Сорока-воровка».

В Москве Александр Иванович задерживаться не собирался, хотя и получил от Куруты отпуск на 28 дней. Но в «московских суетах» замешкался до 11 декабря. Московская суета — это мимолетное свидание с Прасковьей Медведевой, Татьяной Пассек, примирение с Марией Львовной. Огарев был доволен, но Герцен не заблуждался в характере этого примирения. Они пошли на непрочный мир ради Огарева. «Боже мой, какая горькая чаша достанется ему, ежели все останется как есть», — записал Герцен в дневнике.

14 декабря Герцен в Петербурге.

Впечатления от Петербурга у Герцена очень контрастны по оценкам увиденного, услышанного. Ему не хотелось перебираться в столицу, под сень Зимнего, в город, где находится учреждение в здании у Цепного моста, то есть III жандармское отделение. Но не успел он и оглядеться, как в первый же вечер по приезде пишет

Наташе: «Петербург будет для меня великой поэмой...» Зимний дворец до сей поры был для Герцена символом необузданного свирепого «немецкого» своевластия. И вдруг — «лучше я ничего не видывал даже на картинах, он что-то припоминает Эскуриал, впрочем». И Исаакиевская церковь будет «хороша», и «чудно хорош» монумент Петра (сам Петр ему не понравился — хороша лошадь и скала).

Понравились ему столичные театры — «Гамлет» в Александринском: «Велик, необъятен Шекспир... Не токмо слезы лились из глаз моих; но я рыдал... Сцена с Офелией и потом та, когда Гамлет хохочет, после того как король убежал с представления, были превосходно сыграны Каратыгиным; и безумная Офелия была хороша. Что это за сила гения так уловить жизнь во всей необъятности ее от Гамлета до могильщика! А сам Гамлет страшный и великий». И в балете он тоже замечает «избыток грации и изящества». Но с другой стороны, Герцен пишет, что в этом городе шестиэтажных домов и шестимачтовых кораблей свежему человеку страшно жить. Вместо людей ему видится вычищенная и выбеленная лейб-гвардия, казаки, безмолвные бюрократы, «полгорода в мундирах, полгорода, делающий фрунт, и целый город, торопливо снимающий шляпу».

Герцен обратился к министру внутренних дел графу А. Г. Строганову с прошением о зачислении на службу в его, графа, министерство. Он был уверен, что прошение встретят благосклонно, брат Строганова по просьбе Ивана Алексеевича ходатайствовал за Герцена, и Александру Ивановичу оставалось только ждать решения.

В этот приезд он дважды побывал у Жуковского, виделся с Белинским. Познакомился и с Иваном Ивановичем Панаевым, который перетащил Белинского в «Отечественные записки» А. А. Краевского. Иван Иванович в пору, когда Герцен закончил университет, появился на литературном поприще с рядом повестей, написанных в духе Марлинского. В «Былом и думах» Герцен его не очень-то жалует. Между тем они сошлись накоротке.

26 декабря, намотавшись по Петербургу, на ходу завязав нужные и ненужные знакомства («хорошо знакомлюсь, но туго сближаюсь»), Александр Иванович возвращается в Москву. Три дня в Москве — и скорее во Владимир, чтобы Новый год встречать в кругу семьи. И все же за эти три дня произошло знаменательное событие.

Герцен познакомился с Тимофеем Николаевичем Грановским. «Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него, как в будущего близкого человека». И не ошибся. Позже они «сблизились тесно и глубоко».

Недолго пришлось Герцену дослуживать во Владимире. Январь, февраль 1840 года промелькнули незаметно. Уже 29 февраля Герцен был зачислен на службу в министерство внутренних дел, а 13 марта освобожден от полицейского надзора по решению департамента полиции. 22 марта министр внутренних дел граф А. Г. Строганов сделал предписание губернатору И. Э. Куруте о переводе Герцена: «Прошу... приказать ему явиться в С.-Петербург к новой его службе». Герцены отбыли в Москву.

Последнюю неделю марта, весь апрель и половину мая Герцены провели в Москве. Александр Иванович не торопился с отъездом к новому месту службы. Соприкосновение с чиновничьим миром столицы на Неве ничего хорошего в будущем не сулило.

Наталья Александровна вновь жалуется, что Герцен «не живет вовсе дома, сделал много нового знакомства». Видимо, именно тогда и состоялась первая встреча Герцена с Алексеем Степановичем Хомяковым. В переписке этого времени Герцен только один раз упоминает о Хомякове в письме к Похвисневу, владимирскому чиновнику: Он называет Хомякова человеком «эффектов», человеком «совершенно холодным для истины». Потом он отдаст дань даровитости и образованности Хомякова, «обладавшего страшной эрудицией». Но ныне его больше заинтересовал Бакунин, номер один из «молодежи гегельской».

Михаил Александрович Бакунин был сыном тверского помещика Александра Михайловича, человека блестяще образованного, бывшего сотрудника русского посольства в Неаполе, друга В. В. Капниста и Н. А. Львова, члена кружка Державина. Сын пошел в отца. Михаил Александрович закончил артиллерийское училище и даже вышел в гвардию, но поссорился с отцом, и тот настоял, чтобы сына перевели в армию. Заброшенный в глухую белорусскую деревушку, Бакунин совсем не занимался делами служебными, и все кончилось тем, что ему предложили выйти в отставку, на что он с радостью согласился.

Живую, импульсивную натуру Герцена не устраивала бакунинская оторванность от жизни. Ему претило беспочвенное философствование. Эти же настроения Герцена разделил и только что вернувшийся из Берлина Грановский. Он овладевал гегельянством не по расхожим брошюркам, изданным в «губернских и уездных городах немецкой философии», а черпал из первых рук у ближайших учеников Гегеля.

В эти месяцы пребывания в Москве Герцен только знакомился с состоянием умов, но в открытые поединки не вступал. Быть может, поэтому Бакунин, вскоре уехавший в Тверь, принял Герцена за единомышленника и по достоинству оценил его человеческие качества. Он понял, что перед ним честнейший, идеальнейший человек в том смысле, что идея для него все. А ведь Бакунин был нетерпим к людям, и Белинский, ближе, чем кто-либо, знавший его, писал: «Мишель... кроме глубокой натуры и гения требовал еще от удостоиваемых его дружбы одинакового взгляда даже на погоду и одинакового вкуса даже в гречневой каше». Бакунин рвался за границу, его заветной целью стало поехать в Германию и там, на месте, из уст прославленных учителей глубже познать гегельянство. А денег не было. Отец не желал их давать. Из Твери Михаил Александрович пишет Александру Ивановичу: «Хоть наше знакомство началось и недавно, но мне нужно было не много времени для того, чтобы полюбить тебя от души, и для того, чтобы сознать, что в наших духовных и задушевных направлениях есть много общего и что я могу обратиться к тебе, не боясь недоразумений». Обратиться с просьбой одолжить денег на поездку. И немного позже Огарев и Герцен, получивший от отца значительное содержание, предоставили Бакунину необходимую сумму.

5

А между тем время шло. Герцену с Натальей Александровной и маленьким Сашей нужно было наконец отъезжать в Петербург.

12 мая 1840 года они добираются до столицы и останавливаются в гостинице Демута. В письмах к Куруте и Татьяне Астраковой Герцен шутливо описывает эти первые дни пребывания в столице: «Я обзавожусь домом — купил графин и 6 тарелок, остается купить все остальное, и дело кончено (да и деньги кончатся тогда же)». В гостинице Герцены не задержались, переехали на

время к сестре Натальи Александровны, а затем перебрались в дом Лерха на углу Гороховой и Б. Морской. Вместе с Герценами поселился и двоюродный брат Александра Ивановича — Сергей Львович Львов-Львицкий, сын Сенатора. После одно-двухэтажной Москвы, деревянного Владимира шестиэтажная громада, в которой они поселились, действовала на первы. «...В нем нет секунды, когда бы не пилили бы, не звонили бы в колокольчик, не играли бы на гитаре и пр.». В Петербурге стояли белые ночи. И когда маленький Саша засыпал под присмотром няни, Герцены выбирались на улицы опустевшего города, бродили по набережным, «так, без цели». «Нагулявшись, набродившись, мы садимся в лодку и плывем...»

В Петербурге они встретили Витберга. Что Александр Лаврентьевич «прощен», они узнали еще во Владимире, надеялись свидеться по дороге, когда Витберг поедет в столицу. Но увиделись только сейчас. Он частый гость Герценов, и Наталья Александровна пишет Татьяне Астраковой: «...присутствие такого человека — невыразимое наслажденье».

Герцен поначалу признается Юлии Федоровне Куруте: «Я уверен, что в год мне Петербург так надоест, что я буду проситься в Судогду или куда угодно, только вон отсюда...»

Служба у Герцена — это два-три дня в неделю, она «не отяготительна, и не трудна, хотя... в ней нет и особенных агрементов». Герцен предпочел бы министерской «анфиладе длинных столов» место товарища библиотекаря в свите цесаревича, а еще лучше выйти бы в отставку да заняться делами литературными.

Если просмотреть всю переписку Герцена за полгода, с июня 1840 по декабрь, то ни в одном письме никому он и словом не помянул о работе над «Записками одного молодого человека». Только из письма Натальи Александровны к Астраковой известно, что «Александр много работает *(разумеется, не по службе)*» (курсив мой.— *В. П.*). И к Юлии Федоровне Куруте: «Вы спрашиваете о занятиях Ал. «Лициний» его так и остался незаконченным; в «Отечественных записках» скоро будет его статья, знакомая вам, отрывок из «О себе»; мне страшно жаль, что в *печати* она потеряет многое». Значит, не над «Лицинием» трудился Герцен. Надо полагать, что он летом и в начале осени готовил «Записки одного молодого человека» и их продолжение.

«Я недолго служил, всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего. Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным: та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком». В столице чиновники на службу приходили трезвыми, взятки брали не двугривенными и не на виду у всех, но по существу своему были такой же дрянью, с черными, трусливыми душонками. И Герцену показалось, что его столоначальник в Вятке был «больше человеком, чем они».

Герцен умел схватывать на лету главное, существенное, будь то отдельный человек, кружок, город. Попав в столицу, он вполне целенаправленно изучал этот муравейник, в котором половина жителей были военными, вторая — чиновниками. Белинский, несколько раньше приехавший сюда, говорит: «...Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина». Человек только тогда, когда он страдает в этом городе. Герцен страдал.

Герцен помнил о Белинском, но не знал его адреса. А Белинский все еще продолжал сердиться на Герцена. В июне он пишет Боткину, имея в виду Герцена, что «*спекулятивной натуры* не видел, слава богу». «Она справлялась в конторе о моей квартире, но не была — и хорошо сделала: я бы принял ее слишком *теоретически* и даже *эмпирически*».

В Петербург приехал и Бакунин, чтобы отбыть за границу. Герцен считал своим долгом проводить Бакунина до Кронштадта. «Едва только пароход вышел из устья Невы, как на нас обрушилась одна из обычных балтийских бурь... Капитан был вынужден повернуть обратно». Но когда они вернулись в Петербург, то Бакунину суеверно не захотелось сходить на берег, и они распрощались тут же, на палубе. Несколько встреч в Петербурге с семьей Герценов оставили у Бакунина самые теплые воспоминания: «Герцен, а особливо жена его, были моею отрадою в Петербурге; он — прекрасный, умный, благородный человек; а она — святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними». Эти дни в столице сблизили Герцена и Бакунина на долгие годы.

Хотя Белинский и не жаждал встреч с Герценом, но встреча их состоялась. Свидание это произошло на квартире Ивана Ивановича Панаева. «Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «Бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: «Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор...» С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку».

Когда весть о примирении Герцена с Белинским докатилась до Москвы, то там возликовали. Письмо, в котором Герцен описал своим друзьям встречу с Белинским, несколько запоздало, а потом и вовсе пропало. Огарев же, довольный примирением, ворчал: «Интересно бы прочесть встречу Наполеона с Суворовым». Они сумели оценить друг друга. Герцену принадлежит самая глубокая и самая проникновенная по искренности характеристика Белинского: «...В этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»

В столицу приехал Вадим Пассек и почти каждый день обедает у Герценов, они вместе бродят по Петербургу. К тому времени Герцен уже освоился в этом городе. Но если прислушаться к тому, что говорит Герцен, то на первый взгляд покажется — он сам себе противоречит: «Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его...» Он приходит к убеждению, «что не стал бы жить ни в каком другом городе России». Нет, он не разлюбил Москву, но тонус жизни в Петербурге более соответствовал его деятельной натуре.

Если после разгрома декабристов, после казни пятерых, Петербург притаился, приумолк и Москва стала центром интеллектуальной жизни России, то к 40-м годам картина меняется. По словам Белинского, Москва так и не выбралась из «семейственности», «домашности». А в Петербурге «разумная действительность» выглядела совсем иначе. И Белинский это понял очень скоро. Герцен, никогда не заблуждавшийся на сей счет, быстро разглядел, что Петербург 40-х годов стал центром русской культуры, магнитом, к которому тянулись «новые люди», новая, незнакомая России разночинная интеллигенция. Выходцы из кругов мещанства, купечества, крестьянства, дети чиновников стремились в Петербург, чтобы «удовлетворить смутному стремлению к чему-то», чего они не находили «в родной глуши». Этих людей волновали известия о всевозрастающей борьбе крестьян против крепостнического рабства, слухи о заседаниях всевозможных тайных, секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Антикрепостнические настроения способствовали формированию и социалистической идеологии. Герцен контрастно и точно определил своеобразие 40-х годов: «Тайных обществ не было, но *тайное соглашение* понимающих было велико. Круги, составленные из людей, больше или меньше испытавших на себе медвежью лапу правительства, смотрели чутко за своим составом. Всякое другое действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией. Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандой, в главе ее становится в полном разгаре молодых сил, — Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции — в проповеди очеловеченья... Нелепый, уродливый, узкий мир «мертвых душ» не вынес, осел и стал отодвигаться».

5 декабря 1840 года шеф жандармов граф Бенкендорф поручил начальнику штаба отдельного корпуса жандармов и управляющему III отделением генерал-лейтенанту Дубельту разыскать и доставить в III отделение Герцена. По предписанию Дубельта петербургский обер-полицмейстер быстро выяснил, где обитает Герцен, и уже утром 7 декабря квартальный, перепугав чуть ли не до обморока Наталью Александровну, предложил Александру Ивановичу следовать за ним. Сани стояли наготове у подъезда. Бешеная скачка, так напомнившая московскую, из Крутиц... И вот лошади осадили у печально-знаменитого дома у Цепного моста. Канцелярия занимала флигель, до которого нужно было добираться маленькими двориками. Герцена принял худой старик со звездой на груди, с «зловещим лицом». Из разговора с этим «корпусным командиром шпионов» стало ясно, что Александр Иванович обвиняется в разглашении «ложных и вредных слухов». Будочник у Синего моста убил и ограбил прохожего — об этом происшествии толковал весь Петербург, его обсуждали и в канцелярии министерства внутренних дел, где служил Герцен. Александр Иванович описал сей случай отцу. Не то чтобы это было из ряда вон выходящим событием, но Герцен, наверное, поостерегся, если бы знал, что его письма перлюстрируются неукоснительно. На имя императора была подана докладная. Николай I распорядился вернуть Герцена в Вятку.

Герцена душила злоба, бессильная ярость пойманного в клетку зверя. Вернувшись, он застал Наталью Александровну в лихорадке. Саша молчаливо перебирал игрушки. Наступил вечер этого тоскливого дня. В доме Герцена царила непривычная тишина. И внезапно в час, когда уже не ждут гостей или запоздалых визитеров, в передней залился отчаянным дребезжанием звонок, словно возвещая, что в империи «черная смерть» или рушатся троны, гибнет вселенная. Жандармский офицер, гремя шашкой, гремя шпорами, ввалился в гостиную. Увидев даму с ребенком, стал извиняться. И Герцен через много лет с горькой иронией напишет: «Жандармы — цвет учтивости, если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких казарм, где офицер désolé (расстроенный. — *В. П.*) был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах». Жандарм пригласил Герцена к Дубельту тотчас, несмотря на позднее время. И снова та же бешеная скачка мимо Летнего сада, Цепного моста.

Разговор с Дубельтом был почти светским.

— Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

У Герцена нашлись защитники, и прежде всего Ольга Александровна Жеребцова. Она была в известной мере вдохновительницей убийц Павла I. Жеребцова пыталась действовать в пользу Герцена через мужа своей внучки графа А. Ф. Орлова. Министр внутренних дел Строганов был взбешен. Он посчитал, что III отделение не по праву занимается делами и людьми, подведомственными его министерству. В пику Бенкендорфу Строганов заменил далекую Вятку на близкий Новгород и с отъездом не торопил. Более того, чтобы досадить своему недругу, Строганов повысил Герцена «вне очереди» в чине и назначил советником губернского правления. Пожалуй, ни один ссыльный со времен Михаила Михайловича Сперанского не занимал столь высокого поста, а служили в ссылке многие.

Наталья Александровна слегла. Подобные потрясения оказались ей не по силам. Тем более что она была на последнем сроке беременности. Через несколько дней родился сын, его успели наречь Иваном. Но жить ему не было суждено. Герцен поневоле не мог выехать к месту новой ссылки.

Виссарион Григорьевич, вставший во главе журнала «Отечественные записки», вскоре превратил этот журнал в самый популярный в России. Рост влияния «Отечественных записок» был теснейшим образом связан с нарастающей проповедью Белинского. Журнал публикует песни и думы Кольцова, ранние стихотворения Тургенева, повести Соллогуба, Панаева, Галахова, главы «Героя нашего времени» Лермонтова.

В № 12 «Отечественных записок» за 1840 год появляется первая часть «Записок» одного молодого человека, озаглавленная «Из записок одного молодого человека». А в № 8 того же журнала за 1841 год — и вторая часть, которая носила название «Еще из записок одного молодого человека». «Записки» Герцен предварительно пока-

зал Белинскому. И Виссарион Григорьевич всячески содействовал их скорейшему опубликованию, сам носил их цензору, прежде чем официально обратиться в цензуру. Надо полагать, что именно по совету этого цензора были сделаны купюры, о которых сожалела Наталья Александровна. Если первая часть «Записок» — новая редакция повести «О себе», то вторая, «малиновская часть», впитала в себя ранние работы Герцена, «Первую встречу», «Вторую встречу». Германский путешественник в первой встрече уступит место помещику Трензинскому. Его спор с автором о действительности и отношении к ней — отголосок тех споров, которые Герцен слышал вокруг, споров по поводу «плохо понятого Гегеля». И это лишний раз доказывает, что «Еще из записок одного молодого человека» писалось в 1840—1841 годах, когда Герцен еще только чутко прислушивался ко всем разговорам о явлениях повседневной русской общественно-политической жизни. О грустном скептицизме Трензинского Огарев писал Герцену: «Чтоб создать это лицо, надо было пережить его в себе. И ты его в себе пережил, и я тоже». Скептицизм Трензинского сходен со скептицизмом Чаадаева. И недаром Герцен говорил, что хотя он и не написал чаадаевского портрета, но его Трензинский имеет «художественное сходство» с ним. Белинский в письме к Кетчеру от 3 августа 1841 года рукоплещет Герцену: «Статья Герцена — прелесть, объядение». «Давно уж я не читал ничего, чтобы так восхитило меня». Можно только сожалеть о том, что Герцен перед ссылкой в Новгород сжег какие-то куски «Записок», где рассказывалось об университете и университетском кружке.

У Герцена была органическая потребность все время заводить все новые и новые знакомства, и в основном литературные. Он гость Жуковского, и вполне вероятно, что именно в это время он встретился у него с Михаилом Лермонтовым, если, конечно, не был знаком с ним ранее по университету. Герцен непременный участник и всех дискуссий, неизбежно возникавших на подобных вечерах, особенно если на них присутствовал Белинский. Ведь Белинский был боец. После примирения с Герценом Белинский частый его гость. Здесь он отдыхал, набирался сил. Он мог часами лежать на ковре, играя с двухлетним Сашей. «Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная грима-

са пробегала по лицу его и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости». Если же разгорался спор, если Белинского что-то задевало в словах собеседников, он вспыхивал и, преодолевая свою застенчивость, бывал порою резок и беспощаден.

В Петербурге Герцен сошелся и с теми, кто окружал Белинского, близко стоял к редакции журнала «Отечественные записки». Панаев вспоминает, что около Белинского составлялся мало-помалу кружок из тех, кто высоко ценил его как писателя и глубоко уважал как человека. Этот кружок стал как бы «теневой редакцией» «Отечественных записок». Михаил Александрович Языков особенно привлек внимание Герцена. Человек остроумный, веселый, тот не казался чужеродным телом в кругу по преимуществу литераторов. А ведь он одно время занимал должность директора императорского стеклянного завода в Новгороде. В том же городе Языков основал библиотеку. И Герцену, судя по всему, не миновать этого города.

В письме к Огареву 11 февраля 1841 года Герцен упоминает имя князя Владимира Федоровича Одоевского. И надо полагать, что Александр Иванович был с ним знаком довольно тесно. В «Былом и думах» Герцен с юмором описывает сцену новогодней вечеринки в доме князя, когда Белинский облил вином Жуковского и бежал. Эта сцена написана так живо, что, надо думать, она сделана с натуры.

Владимир Федорович Одоевский был и публицистом и детским рассказчиком, музыкальным критиком и автором повестей. Он дружил с Пушкиным и Глинкой, Жуковским и Верстовским, Крыловым и Даргомыжским. На его «субботы» сходились люди всех рангов и званий. Панаев писал: «Одоевский принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружно руку всем вступающим на литературное поприще, без различия сословий и званий». «Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими сузившимися глазками, — писал Михаил Погодин в «Воспоминаниях о кн. В. Ф. Одоевском», — толстый путешественник, тяжелый немец — барон Шиллинг, воротившийся из Сибири, и живая миловидная гр. Ростопчина, Глинка и проф. химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но много знающий археолог Сахаров, Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь впервые явился на сцену

большого света и Гоголь». Иными словами, Герцен завязывал прочные литературные связи, осваивался в той среде, которая во многом определяла направление общественно-политической мысли России.

Вряд ли можно буквально понимать слова Панаева, когда он говорит, что Белинский «часто скучал в своем кружке». Но Белинский неизменно оживал, лишь стоило только появиться Герцену. Виссарион Григорьевич, сблизившись с Герценом, очень быстро распознал в нем человека будущего. «Герцен большой человек в нашей литературе, — писал Белинский, — у него страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько человеку... Он может оказать сильное и благодетельное влияние на современность».

Как близко принял к сердцу Белинский Герцена, свидетельствует любопытный эпизод, рассказанный Виссарионом Григорьевичем в письме: «В одно прекрасное утро, когда в одиннадцать часов утра в комнате было темно, как в погребе, слышу звонок, — кухарка (она же и камердинер) докладывает, что меня спрашивает г. Герц. У меня вздрогнуло сердце: как, Герцен? быть не может — субъект запрещенный, изгнанный из Петербурга за вольные мысли о будочниках, — притом же он оборвал бы звонок, залился бы хохотом и, снимая шубу, отпустил бы... с полсотни острот, — нет, это не он!» Действительно, это был не Герцен.

В апреле Герцен обратился к Бенкендорфу с просьбой ходатайствовать перед царем о разрешении служить там, где потребуют семейные обстоятельства, в том числе и в столицах. Но Николай I ответил кратко: «Рано».

Утверждение Герцена советником при канцелярии Новгородского губернского правления еще не пришло из сената. Сам же Александр Иванович в Новгород не спешит. В это время в Питер приехал Огарев. Николай Платонович и Мария Львовна отправлялись за границу. Снова разлука, и кто знает, когда они опять свидятся. Прощание было «стоическим», по словам Анненкова. Герцен и Огаревы вышли на набережную Невы, миновали Зимний, остановились «в виду крепости», обнялись и разошлись.

Герцены также наносили последние, предотъездные визиты.

Расставание с Белинским было печальным. Белинский

болен. Герцен не заблуждался относительно характера его недуга. Виссарион Григорьевич грустно заметил, что с отъездом Герценов опустеет столица, и тут же написал в Москву Боткину: «Благородная личность — мало таких людей на земле», словно навсегда простился с Герценом.

«Господин Великий Новгород». Давно, очень давно этот «богом и св. Софией хранимый град» не величают ни господином, ни тем более великим. Его слава закатилась еще в конце XV столетия, когда в 1478 году Иван III окончательно присоединил Новгород к Москве, да и символ новгородской вольницы — вечевой колокол — перевез туда же. «...В нем (Новгороде. — *В. П.*) не осталось ничего старинного русского и не привилось ни одной капли европейского; нравы Новгорода представляют уродливую и отвратительную пародию на петербургские».

2 июля 1841 года Герцены прибыли в Новгород и остановились сначала в гостинице купца Гибина, а затем перебрались в дом, стоящий на берегу Волхова, «против самого того кургана, откуда вольтерианцы XII столетия бросили в реку *чудотворную* статую Перуна». «Квартиру мы наняли далеко, в глуши, с огромным садом, — пишет Наталья Александровна Авдотье Витберг, — мимо нет проезда почти и не ходит никто, точно деревня, перед глазами Волхов, грязный, желтый...»

Новгородский военный губернатор Эльпидифор Антиохович Зуров, который в Петербурге делал Герцену всяческие «авансы», зная, что Александр Иванович пользуется благорасположением министра внутренних дел графа Строганова, в Новгороде предстал совсем в ином обличье. Он не терпел, чтобы чиновники его канцелярии имели собственный голос. «Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные». Советники отделений, получая 1200 рублей ассигнациями в год, жили взятками. Герцен взяток не брал, а посему сразу сделался для них «непрошеным гостем и опасным свидетелем». И что курьезнее всего, Герцен оказался сам у себя под надзором. С разрешения губернатора и с согласия советника II отделения Герцен из IV отделения всевозможных финансовых и откупных дел перешел во II, которое ведало паспортами, делами о злоупотреблениях помещичьей вла-

стью, раскольниках... и людях, состоящих под надзором полиции. «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить, — писал позже Герцен, — я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера о *самом себе* как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер, из учтивости, в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: «Занимается государственной службой».

Немного оглядевшись в Новгороде, Герцен поспешил воспользоваться предоставленным ему графом Строгановым правом на отпуск в Москву. Выехали, по всей вероятности, 6 сентября, прибыли, наверное, 7—8-го. Все дело в том, что путешествие было «исполнено происшествий». Недалеко от станции Черная грязь дилижанс опрокинулся, «и ночью мы должны были идти до гостиницы пешком в ужасную стужу, темноту и грязь... Потом на дилижансе у нас разрезали кожу и вынули многое, но не все...» — дает отчет о поездке Наталья Александровна Юлии Федоровне Куруте в приписке к письму Герцена. У Герцена украли сапоги, пришлось отложить ненадолго визиты.

Этот приезд в Москву оставил у Герцена сумбурное впечатление. С одной стороны, Кетчер, Грановский: «С каким истинно полным наслаждением провел я иные часы с Грановским et c^{nie}, о Кетчере и говорить нечего, это типическое лицо, и решительно тот же». Но Герцен в том же письме Белинскому сообщает, что «в Москве я все время ратовал с славянобесием и, несмотря на все, ей богу, люди там лучше, у них есть интересы, из-за которых они рады дни спорить...».

Впервые в письмах Герцена упоминаются славянофилы, или «славяне», как называет он их в «Былом и думах», впервые Герцен говорит о схватках с ними. В письме к Белинскому, упоминая о ратях со славянами, Герцен называет только одно имя — Александра Фомича Вельтмана. Он не принадлежал к славянскому стану, но, судя по его сочинениям, явно им сочувствовал. В том же письме к Белинскому Герцен пишет: «Вельтман доказывал, что род человеческий после разделения Римской империи одной долей сошел с ума, именно Европой, а другой в ум вошел, именно Византией и потом Русью.

Если б татары не повредили, а потом Москва, а потом Петр, то и не то бы было». Думается, что Герцен правильно передал смысл высказываний Вельтмана, а это означает, что они вполне вписываются в схему славянофильского взгляда на историю.

С кем еще ратовал Герцен, можно лишь гадать. Но если вспомнить, что к тому времени он был знаком только с одним «столпом» «раннего славянофильства» — Алексеем Степановичем Хомяковым, то можно предположить, что Хомяков в «ратях» тоже участвовал. Ведь, по словам Герцена, «во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор». К моменту этого приезда Герцена в Москву и первого столкновения со славянофилами у славян уже сложилась своя концепция, изложенная Киреевским и Хомяковым в статьях, которые были опубликованы только после их смерти, но ходили в списках и оживленно обсуждались еще в 1839 году.

Сам термин «славянофилы» не охватывает и не проявляет всей полноты и противоречивости того направления общественно-политической мысли 30—50-х годов XIX столетия, которое скрывается за этим понятием. Ведь славянофильство в переводе означает «любовь к славянам». Но, как писал Николай Гаврилович Чернышевский, «симпатия к славянским племенам не есть существенное начало в убеждениях целой школы, названной этим именем...».

Собственно, «рати» Герцена и его единомышленников, которых окрестили «западниками» (что также очень условно и во многом односторонне), со славянами состоялись позже, когда Герцен вернулся из новгородской ссылки. Но это первое столкновение во время краткого отпуска в Москве во многом определило теоретические, философские и социологические искания Герцена в Новгороде.

Славянофильство как течение общественно-политической мысли России середины XIX века не было однородным. Иван Киреевский не скрывает это: «Во-первых, мы называем себя Славянами, и каждый понимает под этим словом различный смысл. Иной видит в славянизме только язык и единоплеменность, другой понимает в нем противоположность Европеизму, третий — стремление к народности, четвертый — стремление к православию. Каждый выдает свое понятие за единственно законное и исключает все выходящее из другого начала...» Славя-

нофилы корнями своих идей и взглядов уходят в ту же эпоху, из которой выросли и идеи декабристов. Славянофилов так же можно назвать «детьми 1812 года». И так же, как и декабристы, славянофилы по своей социальной принадлежности были дворянами. Но славянофилы в отличие от декабристов и Герцена не принадлежали к дворянским революционерам. Их правильнее всего отнести к «дворянской оппозиции». Николай, III отделение с подозрением относились к «московскому направлению», внимательно следили за деятельностью главных его представителей, считая их взгляды опасными для самодержавия. Власти даже арестовывали и допрашивали некоторых из виднейших славянофилов, таких, как Юрий Самарин, Иван Аксаков. Другим же — Константину Аксакову, Киреевским долго не разрешалось возглавлять журналы, публично высказывать свои идеи. Славяне развивали свои теории в основном в письмах к друзьям, круг которых был достаточно узким, да и переписка велась от случая к случаю, когда была под рукой оказия, — отправлять письма обычным порядком, через почту, они справедливо опасались. П. В. Анненков писал: «В печати, на скромном поприще тогдашней публицистики (имеется в виду именно начало 40-х годов. — *В. П.*), все это (программы, споры. — *В. П.*), разумеется, являлось в смягченном виде, высказывалось не так ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми, всем известными исключениями, несколько принаряженные. На страницах журналов лишь отражались «следы домашних бурь». Письма единомышленников-славянофилов выходили за рамки только личного интимного общения. В доме Аксакова, например, их читали и обсуждали вслух все домочадцы, их друзья и знакомые. Дом Аксаковых был всегда открыт для Герцена. Ему особенно импонировал Константин Аксаков: «Мужающий юноша, он рвался к делу...» «В его убеждениях не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды, а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество». «Он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху». И Герцен заключает: Аксаков до конца жизни оставался «чист сердцем». Герцен написал проникновенные слова и в некрологе Аксакову, напечатал в «Колоколе» и включил часть его в «Былое и думы». Когда в 1844 году между славянами

и западниками произошел окончательный разрыв, Герцен и Аксаков однажды столкнулись на улице. Аксаков ехал в санях, Герцен поздоровался, Аксаков остановил сани:

«— Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить: жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. — Он быстро пошел к саням, — рассказывает Герцен, — но вдруг воротился, я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры».

Эта сцена свидетельствует о глубоком уважении Герцена к людям, преданным идее.

Письма, которыми обменивались славяне, обретали значение произведений публицистических. Писались и открытые послания, нечасто, но печатавшиеся журналами. Такая замкнутость в обмене идеями и программами в кругу славянофилов приводила к тому, что споры с ними подчас не имели гласной точки опоры. Даже в 1847 году Белинский в «Ответе «Москвитянину» жаловался: «До сих пор ни один из них («столпов» славянофильства. — *В. П.)* не потрудился изложить основных начал славянофильского учения, показать, чем оно рознится от известных воззрений». Славянофилы в большинстве своем прошли ту же философскую школу, что и их противники — западники. Хомяков был знаком с Рылеевым и другими декабристами, сотрудничал в декабристской «Полярной звезде», мало этого, он знал о заговоре, но не сочувствовал ему. Хомяков получил блестящее домашнее образование, овладел несколькими иностранными языками, превосходно разбирался в современных философских системах и с особым пиететом относился к отечественной истории, особенно к царствованию Алексея Михайловича — знатока соколиной охоты, автора единственного в своем роде пособия по этому виду охоты. А ведь сокольничим при дворе Алексея Михайловича был предок Хомяковых.

Если Хомяков, по словам Герцена стал Ильей Муромцем славянофильства и как былинный герой стоял на страже «Земли Русской», возлагая надежды на возрождение Древней Руси, то Иван Киреевский к истории относился более с позиций религиозно-нравственных.

Он был не только слушателем лекций по философии профессора Павлова, но в Берлине учился и стал близок Гегелю, Окену, Шеллингу. Но даже и тогда, когда Герцен и Киреевский расходились в идеях и сталкивались в спорах, Герцен не скрывал своей симпатии к человеку, которого он называл «твердым и чистым как сталь».

Оттенки славянофильских идей Герцен, конечно, уловил не сразу. А когда уловил, писал Кетчеру (в 1844 году): «...я вовсе не шутя говорю и прежде говорил, что я со многими очень сочувствую и сердцем и умом, в очень многих сторонах (славянским идеям. — *В. П.)* и во имя этих сторон, а равно и во имя благородства убеждений, я не отворачиваюсь (от славянофилов. — *В. П.)*».

Пройдет много лет после первых стычек со славянофилами, и Герцен по зрелом размышлении скажет, что со славян «начинается *перелом русской мысли».* «Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело;* долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». А Белинский и в пылу схваток, в 1847 году, признавался, что «явление славянофильства — есть факт замечательный до известной степени». И они действительно внесли перелом, они протестовали «против безусловной подражательности», их выступление было свидетельством «потребности русского общества в самостоятельном развитии».

Герцен точно сформулировал то, что сближало его со славянами. Он писал, что у них и у нас была *«одна* любовь, но *неодинакая».* «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно».* Этим и объясняется то, что Герцен называет славянофилов «друзьями врагами», что он долго не мог порвать с ними личных отношений, как это сделал Белинский.

Славянофильство, если оставить в стороне отдельные оттенки его, прежде всего отличала вера в исключительное предназначение России в будущем в противовес Западу, который, по мнению славян, этого будущего не имел. Причем будущее России, ее мессианская роль в жизни народов основана, по мысли славян, на торжестве «единственно верных» идеалов православия. Запад же следует не истинным догмам католичества, за которыми нет будущего. Славянофилы вообще рассматривали все явления русской и западной жизни через призму догм православной веры. Не случайно Юрий Самарин говорил о Хомякове, что «Хомяков жил в церкви».

И славянофильская социология пронизана тем же религиозным духом. Религия и ничто иное — движущая сила всех явлений общественных и бытовых, она определяет государственное устройство и мораль, характер народа и склад его ума. Будущее за Россией и потому, что она в отличие от Запада обладает издревле одной общиной, в которой нет никакой социальной вражды, царит мирское согласие, непричастность и даже равнодушие к политике. Поиски самобытности России неизбежно толкали славянофилов на размышления исторические. Исторические экскурсы в прошлое России занимают большое место и в письмах и в публицистике славян.

И на поприще истории России славянофилами сделано много, очень много. Они обратились к русскому фольклору, они ввели в научный оборот памятники, которыми до них пренебрегали историки. Заслугой славян было то, что они провозгласили народ «постоянным действователем истории». И в соответствии с этим отвергали пристрастие современных им ученых к исследованию царствований, законодательных деяний правителей. Повседневная жизнь народа — вот главный объект исследования, на который, по мнению славян, должны быть устремлены помыслы и усилия ученых. В России народ — это прежде всего крестьянство. Значит, формы земледельческого труда, формы организации поземельной общины, ее устойчивость на этапах закрепощения, ее эволюция — вот проблемы, которые обсуждались славянами, и не только обсуждались, но подчас и глубоко исследовались.

Славяне не были поборниками крепостного права, в чем в пылу полемики зачастую их упрекали «друзья-враги». Славянофилы были его противниками, пожалуй, большими, нежели некоторые из западников. Они счита-

ли, что любые преобразования сверху, идущие вразрез с нравами и обычаями народа, исторического смысла не имеют. Крепостное право сложилось помимо воли народа, значит, оно — зло. Но как от этого зла избавиться? О революции крестьянской они не помышляли, поскольку рассчитывали на отмену крепостничества сверху, революционная борьба ими напрочь отвергалась.

По-разному смотрели славянофилы на государство, истоки его возникновения и роль, которую оно играет в жизни народа. Иван Киреевский считал, что в Европе государственность появилась как результат завоеваний и череды насилий. Именно государство создало «враждебную разграниченность сословий». А вот в России государство только естественное порождение народного быта. На Западе борются партии, происходят насильственные перемены, сопровождаемые «волнениями духа», а в России все идет при «глубокой тишине», «стройным естественным возрастанием». Но так было до Петра I. Начавшаяся при нем европеизация свернула Россию с «истинного пути». Константин Аксаков и вовсе отрицал государство. «Государство, как принцип — зло... государство, как государство, есть ложь». Большинство славян до таких анархистских крайностей не доходили. Киреевский утверждал, что между государством и народом в России до Петра царило равновесие. «Цари не сходили с Русских начал, не изменяли Русского пути». Ныне этот разрыв налицо, как и разрыв между дворянством и народом. Славяне оставались верны монархическому принципу, как бы разделяя веру патриархального крестьянства в царя, защитника народа, стоящего над классами. Но к царю Николаю I конкретно это не относилось. Николая они критиковали, считая, что именно он дошел до крайностей онемечивания России. А между тем, утверждали славяне, Россия разовьется не на немецких, не на западных, а на своих, исконно русских, народных началах.

Герцен возвращался в Новгород в середине октября 1841 года, и ему было над чем задуматься. В Петербурге (да и в Москве) зреют новые идеи, идет усиленное брожение общественной мысли, а ему предстоит жить в городе, забитом монахами и богомольцами, вновь тянуть лямку государственного чиновника. Это не его поприще, не его предназначение. Несколькими месяцами позднее, когда Герцен начал вести дневник, он записал: «Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды. Тихий уголок, полный гармонии и счастия семейной жизни, не наполнеют всего...» Но для трибуны, форума надо прежде всего быть свободным и от службы, и, что еще важнее, от полицейского надзора, иметь свободу передвижения. Герцен пишет письма Бенкендорфу, Дубельту, письма сдержанно-почтительные, но настоятельно напоминающие им, что автор этих посланий не забыл о своей просьбе отставки. Настроение Герцена после возвращения из Москвы мрачное, Белинскому он признается: «Не живу, а поживаю... Впереди покаместь ничего нет». И Кетчеру: «У меня со всяким днем растет отвращение от пера». А между тем Герцен в декабре 1841 года заканчивает первую часть повести «Кто виноват?».

22 декабря у Герценов родилась дочь, которую нарекли Натальей. Но 24 декабря она умерла. Через три недели Наталья Александровна, несколько оправившись от удара, писала Юлии Федоровне Куруте: «Я ожидала умножения семейства своего в феврале и ошиблась двумя месяцами, вдруг неожиданно 22-е декабря бог дал нам дочку — боже мой, до сих пор сама не верю тому, что говорю... безмерна была наша радость, нам так хотелось дочь...» В день похорон малютки проездом в Москву к Герцену завернули Боткин и Белинский. Нерадостным было это свидание.

Через несколько лет, когда Герцен останется за границей, когда заработает его «Вольная типография», появится «Полярная звезда», а следом и «Колокол», некоторые из бывших его единомышленников, ставшие к тому времени либералами умеренного толка, обвинят Герцена в том, что он не знает России, русского народа, его нужд и чаяний. Да и где ему, богатому барину, знать народ? Где и когда он с ним сталкивался? А между тем Герцен знал русский народ не понаслышке. Он наблюдал, изучал народный характер не из окна барской усадьбы, а в тесном соприкосновении с людьми из народа. Еще будучи в Вятке, Герцен разработал подробнейшую записку о сборе статистических сведений по губерниям. И по мере поступления этих сведений с мест, из уездов, у него складывалось ясное представление о положении крестьян, национальных меньшинств, крестьянских хозяйствах, спо-

собах ведения их, денежных поборах и т. п., а также о борьбе крестьянства, которая в статистических ведомостях была стыдливо замаскирована графами «Грабежи», «Умышленные поджоги».

В «Прибавлениях» к № 7 «Вятских губернских ведомостей» за 1838 год была анонимно опубликована небольшая статья Герцена «Русские крестьяне Вятской губернии». В этой статье Герцен не мог, конечно, по цензурным условиям писать о невыносимости крепостнических порядков, но, рассказывая о русских крестьянских поселениях на берегах Вятки, он косвенно напоминает о положении крестьян во внутренних губерниях, которые в отличие от вятских, непомещичьих, могут переселяться только по воле помещика. Все тот же вопрос о крепости крестьянской, *только освещенный с иной стороны*. Описывая, казалось бы, чисто этнографические детали — избу вятского крестьянина, Герцен словно мимоходом замечает: «Архитектура изб — другой факт, ясно говорящий о различии быта вятских крестьян от прочих русских (читай — помещичьих. — *В. П.*). Они строят, вообще, избы высокие двухэтажные с большими сенями...» Где это в центральных губерниях у крепостных имелись двухэтажные избы?

Оказавшись в Новгороде, Герцен, как лицо, действующее по долгу службы, столкнулся со всеми уродливыми порождениями крепостнического быта. Ему были подведомственны дела, связанные со злоупотреблениями помещичьей властью. Он еще не успел соприкоснуться вплотную с нынешними злоупотреблениями, но уже наслышался от очевидцев об ужасах военных поселений. Ведь Новгородская губерния была их центром. Еще при Александре I в Новгородской губернии было поселено 12 гренадерских полков и 2 артиллерийские бригады. Ни в одной из других губерний России не было такого сосредоточения военных поселян. И хотя все земли, занятые военными поселениями, были изъяты из юрисдикции гражданской администрации, Герцен знал о низостях, кнутовщине, шпицрутенщине, царивших в них. Об Аракчееве, военных поселениях в годы жизни Герцена писать было нельзя. А коли и нашелся бы такой смельчак за рубежом, то у него в руках не было бы ни фактов, ни имен. Они схоронены в секретнейших архивах. А Герцен знал о них из уст очевидцев. Для Герцена народ не был

«спящим озером, подснежных течений которого никто не знал». И для него «государство не оканчивалось на канцеляристе, прапорщике и недоросле из дворян». А ведь все остальные для господ из образованных даже «уже не люди, а материал, ревизские души, купленные, всемилостивейше пожалованные, приписанные к фабрикам. Экономические, податные, но не признанные человеческими». С ними господа не соприкасались. А Герцен соприкасался, ненавидел канцеляристов и глубоко сострадал ревизским душам.

Минуло всего лишь десять лет со времени Новгородского возмущения 1831 года. В 1858 году «Колокол» в трех номерах опубликует мемуары инженерного полковника Николая Ивановича Панаева, ставшего «временным начальником возмущения». Инженерный полковник, спасая свою шкуру, а также и головы своих коллег-офицеров, обманом возглавил бунт военных поселян, а потом и предал их. Но Герцен узнал о подробностях этого возмущения еще раньше, в 1841 году, будучи в Новгороде.

В «Былом и думах» Герцен рассказывает о нескольких случаях злоупотребления помещичьей властью, когда ему самому приходилось спасать дворовых от «домашних преследований». Он был свидетелем ужасов, которые свершались за закрытыми дверьми полицейских застенков, в передних, на конюшнях. И в «Былом и думах» Герцен как бы предвидит будущее: «В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую *предупредить легко*, а остановить вряд возможно ли будет».

В Новгороде Герцену подведомственны и старообрядцы, раскольники. Они уже давно его интересуют. Он собрался было написать что-то вроде диссертации о петровских преобразованиях, развить и углубить мысли и положения своей ранней статьи «Двадцать осьмое января». Он вернулся к этой теме под впечатлением споров со славянофилами. Место раскольничьих, старообрядческих бунтов в истории петровского царствования хотелось бы точно определить. Но вскоре Герцен понял, что делами о раскольниках он может заниматься именно только исторически, а так лучше не прикасаться к ним. Исторически же его поразил такой факт: подавляющая масса старо-

обрядцев считала любого царя, начиная с Алексея Михайловича, антихристом. Любые распоряжения от имени царя раскольники принимали в штыки как антихристовы. Это было своеобразной формой антифеодальной борьбы, только плотно прикрытой религиозными знаменами. Эти сведения о раскольниках, почерпнутые в Новгороде, найдут свое применение в позднейшей его публицистической деятельности. Но Герцен считал, что в «Новгородской губернии в царствование Екатерины было много духоборцев». Он ошибался. Духоборцы вообще не составляли численного большинства в рядах русских раскольников. В 1841 году по официальным данным их насчитывалось 29 тысяч. И они по преимуществу селились в Таврической губернии, а затем и в Закавказском крае. Герцен и сам сомневался в том, что имел дело с духоборцами, в «Былом и думах» он так и пишет в сноске: «Духоборцев ли, я не уверен». В Новгородской губернии основную массу раскольников составляли беспоповцы — около 35 тысяч человек. Через несколько месяцев после того, как Герцен покинул Новгород, по запросу министерства внутренних дел обер-прокурор синода Протасов сообщил министерству, что секты раскольников должны быть поделены на три разряда: 1) секты вреднейшие, 2) секты вредные, 3) секты менее вредные. Беспоповщина, ее течения отнесены в этой классификации к сектам «вреднейшим» и «вредным». Центральные власти всячески боролись с раскольниками. Их не признавали за особое общество, раскольничьим учреждениям не было дано прав на приобретение имущества, они не имели печатей, метрические их книги считались недействительными, от раскольников не принимались пожертвования, они не могли выступать свидетелями в судах, если шел процесс над православными, их дети, если они не приняли православие, не допускались в гимназии и университеты. Раскольники не имели права занимать должностей «по выбору» — городского главы, городского старосты, головы ремесленного. Защитники прав раскольников брались под подозрение властями. Можно ли было ссыльному хоть как-то бороться за человеческие достоинства этих людей. «Дела о раскольниках были такого рода, что всего лучше было их совсем не подымать вновь, я их просмотрел и оставил в покое». Но именно с этого времени у Герцена утвердилась мысль, что раскольничья среда представляет благодатную почву для революционной пропаганды. И впоследствии при «Колоколе» был основан журнал «Общее вече», адресованный раскольникам.

Герцен знал Россию, знал и любил. И прилагал все усилия, чтобы в тех условиях встать на защиту своего народа. «Я сделал все, что мог, и одержал несколько побед на этом вязком поприще, освободил от преследования одну молодую девушку и отдал под опеку одного морского офицера...» «Яростный офицер собирался напасть на меня из-за угла, подкупить бурлаков и сделать засаду, но, непривычный к сухопутным кампаниям, мирно скрылся в какой-то уездный город».

Не всегда Герцену удавалось защитить людей, для которых вообще не существовало никаких законов. Он прекрасно понимал, что все его «победы» — это даже не капля в море. И, однажды столкнувшись с дикой бессердечностью, жестокостью, с разрушением семьи, когда отца с матерью помещик Мусин-Пушкин ссылал на поселение, а десятилетнего сына оставлял себе, Герцен решил, что с него довольно. Он ничем не мог помочь бедной матери, а эта женщина приняла его *«за одного из них»*. Герцен решил, что «пора кончить комедию». Сказавшись после этого больным, Герцен так и не «выздоровел» для канцелярии. Теперь уже пути назад не было.

Трудно утверждать, что Герцен в эти годы понимал, какие экономические и социальные сдвиги происходят в России. Но бесспорно, что эти сдвиги определяли все помыслы и поступки передовых людей. «С 1842 года главным занятием мыслящих русских было обдумывание способа раскрепощения крестьян. Все другие задачи зависели от этого», — писал Герцен. Не только передовые мыслители 40-х годов видели в крепостничестве причину отсталости России, но и представители правящей камарильи уже хорошо понимали: крепостное право — «пороховая бочка» под основанием трона и фундаментом дворянского господства. Но они не знали, не видели, как, какими средствами можно предотвратить взрыв, не затрагивая всей громады здания дворянско-монархической империи. Барон Корф, придворный историограф Николая I, считал, что крепостное право, конечно же, зло, но еще большим злом обернется всякое к нему прикосновение. Многочисленные секретные комитеты по крестьянскому вопросу пытались административно-законодательным путем залатать зияющие трещины в крепостнической обвет-

шалой крепости. Латались одни дыры, но тут же возникали другие, здание рушилось, феодально-крепостнический строй вступил уже в пору своего острейшего кризиса. В 1842 году правительство, напуганное ростом крестьянских волнений, куцей реформой «об обязанных крестьянах» пыталось, по справедливым словам Герцена, «мнимо улучшить» состояние крестьян. Сам указ 1842 года Герцен назвал «лукавым и двусмысленным намеком». Но эти меры нельзя было назвать даже паллиативными. Московские салоны негодовали, а крестьяне ответили усилением бунтов. Их число год от года все возрастало. Россия вступила в полосу острого кризиса всей феодально-крепостнической системы. Рушилось натуральное замкнутое хозяйство. Товарно-денежные отношения проникали во все сферы экономики, разоряя знатных вельмож и обогащая только что выкупившихся на волю «капиталистных» крестьян. Но ломку старых, отживших форм хозяйствования насильственно сдерживали подпираемые сверху крепостнические порядки.

В 1842 году Герцен написал фельетон «Новгород Великий и Владимир на Клязьме». В этом фельетоне (который в России, при жизни Герцена, не мог быть напечатан) он очень точно фиксирует впечатления от первого знакомства с Новгородом. «...В Новгородской губернии путника обдает тоской и ужасом... другая земля, другая природа, бесплодные пажити, болоты с болезненными испарениями, бедные деревни, бедные города, голодные жители, и что шаг — становится страшнее, сердце сжимается; тут природа с величайшим усилием, как сказал Грибоедов, производит одни веники...»

И совсем иной тон появляется у Герцена, когда он пишет о новгородцах. «Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость, летит себе, а что будет, то будет...» — заносит он в свой дневник.

В Новгороде Герцен не ищет новых знакомств. Он предпочитает сидеть вечерами дома за письменным столом или, когда тепло, у открытого окна вместе с Наташей. С марта 1842 года Герцен ведет дневник. И часто в нем в то время встречаются записи о тщете жизни и даже смерти как желанном ее исходе. «Господи, какие невыносимо тяжелые часы грусти разъедают меня». Но Герцен ненадолго поддается этим настроениям. «Если глубоко всмотреться в жизнь, конечно, высшее благо есть само существование...» «Цель жизни — жизнь. Жизнь в этой форме, в том развитии, в котором поставлено существо, т. е. цель человека — жизнь человеческая».

А жизнь с ее пошлостью снова и снова врывается в его дом, порождает отчаяние, «хотя есть средства и не велено пользоваться». Герцен видит, как мучается Наталья Александровна, физически надломленная неудачными родами, страдающая за мужа и где-то уже вставшая в стороне от него.

Герцен, правда, склонен все эти беды Натальи Александровны свести к болезни и преследованиям — вот, по его словам, «две черные нити, глубоко вплетенные в нашу жизнь».

В середине апреля 1842 года Герцен начинает работать над циклом статей, известных под названием «Дилетантизм в науке». Герцену хочется «написать пропедевтическое (вводное. — *В. П.*) слово желающим приняться за философию, но сбивающимся в цели, праве, средстве науки». А по пути «указать вред добрых людей, *любящих* пофилософствовать». «Начав, что будет, не знаю». Но работа захватила его. Конец апреля — «дней пять» занимался «Дилетантизмом» и окончил первую статью 25-го. Работая над этой статьей, тему которой он определял как «дилетантизм вообще», Герцен и сам многое для себя продумал, подыскивая точные формулировки.

Судя по тому, что вторая статья «Дилетанты-романтики» была закончена им уже к середине мая, он взялся за нее сразу по написании первой. И пока он погружен в споры романтиков и классицистов, пока его никто не отрывает — счастлив. Но как только отойдет от стола, как только оглянется, окружающее возвращает его в мир действительности, и вновь «тягостное и ужасное» чувство загораживает все. Это «чувство моего положения». Герцен всегда был чужд позе и тем более перед самим собой, наедине, потому так трагично звучат записи в его дневнике. 23 мая — «Как невыносимо грустно и тягостно жить подчас! Книга выпадет из рук, перо также. Хочется жить, деятельности, движения, и одно... одно немое, тупое, глупое положение сосланного в пустой городишко. Подчас я изнемогаю».

3 апреля 1842 года Герцен подал официальное проше-

ние об отставке. «Одна четверть желаний исполнится; хоть волю употребления времени приобрету». Ожидание решения правительствующего сената относительно отставки превратилось в ежедневную муку. И отставка ли? А может быть, снова Вятка или еще что-либо похуже, позахолустнее?

В доме Герцена словно и не выносили покойную дочь. Даже маленький Саша не шалит. По ночам Герцен долго лежит без сна. Он знает, что рядом притаилась и тоже не спит Наташа. И у него нет слов приободрить, утешить ее. Доктор Ф. Ф. Депп из Петербурга, к которому он обратился с письмом относительно здоровья жены, советует незамедлительно покинуть Новгород и лечиться не в Петербурге, а в Москве, где более подходящий климат. «Незамедлительно»?! Какой светлой, прекрасной жизнью могли бы они зажить где-нибудь на юге! А на ногах цепь. Когда казалось, что уже не осталось никаких надежд, что там, в Петербурге, решили просто-напросто «забыть» о существовании Герцена, как в свое время царь «забыл» Полежаева, как были «забыты» многие ссыльные, 30 мая последовал указ правительствующего сената. Герцен уволен от службы, да еще и повышен в чине. Теперь он надворный советник. Чин давал права дворянства, но он не предоставлял свободы. Герцен по-прежнему ссыльный. Об отставке Герцен узнает через несколько дней. А 31 мая как предвозвестник грядущих перемен в Новгороде на пути за границу появился Огарев. Это был его второй приезд к ссыльному другу. Одиннадцать дней они не расставались. «Прекрасно проведенные дни, дни жизни, т. е. когда человек живет в настоящем; хотя не со всех сторон светло; но мы давно не встречались так спокойны и веселы».

Герцен ни в дневнике, ни в письмах не рассказывает о том, какие беседы, о чем они вели с Огаревым. Писем Герцена за первую половину 1842 года сохранилось очень немного, не более двадцати. Большая часть их адресована Астраковым. В это время умирает Николай Астраков, и Герцен пытается посильно помочь Татьяне, и это составляет главное содержание его писем.

Николай Платонович привез две новинки: «Мертвые души» Гоголя и «Сущность христианства» Фейербаха. «Мертвые души», изданные в Москве в мае 1842 года, были прочитаны тут же, в первые две ночи. Герцену не терпелось поделиться свежим, может быть, еще не окреп-

шим, не выкристаллизовавшимся первым впечатлением. Противоречивые мысли вызвала эта книга. «Горький упрек современной Руси, но не безнадежный». «Сквозь туман нечистых, навозных испарений» Герцен увидел, почувствовал, что Гоголь все же верит в Русь, в ту «удалую» и «полную сил», которую Герцен по праздникам наблюдал из окна своего дома на берегах Волхова.

Герцен записал в дневнике 11 июня: «Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее...» И, словно вглядываясь в даль, он обращается к тому, кто ныне еще «дитя», к своему народу. «Взглянул бы на тебя, дитя, — юношею, но мне не дождаться, благословлю же тебя хоть из могилы».

За Фейербаха Александр Иванович принялся сразу же, как только отбыл Огарев. «Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа. Не нужно нам облекать истину в мифы!» Но не Фейербах указал Герцену новые пути в философии. Он только подтвердил те надежды, которые Герцен связывал с возможностью сколотить «македонскую фалангу» интеллигенции, твердо стоящую на материалистических позициях, способную к действию, дабы изменить действительность. Нет никакой «истинной религии», долой отвлеченности, и даже гегелевские. Пора сделать «шаг в практические сферы». Фейербах отбросил гегелевскую диалектику. Герцен, наоборот, увидел в ней «алгебру революции» и с этих позиций критиковал ученых-метафизиков, а заодно и гегельянцев-формалистов, которые проповедовали «примирение со всей темной стороной современной жизни». Герцен считал, что наука, в том числе материалистический взгляд на мир, должны стать достоянием широких масс.

Это произойдет не скоро, очень не скоро. «Пока — человек готов принять всякое звание, но к званию человека не привык». А вот когда человечество, массы поймут, овладеют наукой, тогда-то прекратится и борьба в обществе. Не станет «каст», присвоивших себе исключительное право на знание. «Из врат храма науки человечество выйдет... на творческое создание веси божией». «Веси божией» — в иносказании Герцена не что иное, как социализм. Может быть, Огарев яснее выразил эту мысль в поэме «Юмор»:

В науке весь наш мир идей;
Но Гегель, Штраус не успели
Внедриться в жизнь толпы людей
И лишь на тех успех имели,
Которые для жизни всей
Науку целью взять умели.
А если б понял их народ,
Наверно б был переворот.

«Если б понял». Герцен-то понимал, что «массами философия теперь принята быть не может». Значит, «македонская фаланга» должна сделать все, чтобы развивать эти массы. Просветительство Герцена здесь еще пересиливает трезвый вывод политика, революционера.

Отставка отставкой, но что в ней проку, если по-прежнему он пленник опостылевшего Новгорода. Из столицы до Герцена доходят слухи, что его прошению дан ход. И действительно, граф Бенкендорф 13 июня передал Николаю I просьбу Герцена разрешить ему «пребывание в Москве или... свободный туда приезд по временам». Но Николай был неумолим, 14 июня он поставил на прошении резолюцию «Не заслуживает того». Дубельт поспешил передать через Огарева, все эти дни хлопотавшего о друге, государеву волю. Но тот же Огарев сообщал Герцену, что Дубельт уверен в бесполезности хлопот перед царем, и советует Наталье Александровне обратиться к императрице. Это письмо привез «гонец», к письму был приложен «черновик» обращения. Как ни отвратительно все это выглядело, но иного выхода не было, и Наталья Александровна «переписала, подписала» черновую, которая и была отправлена в Петербург с тем же «гонцом» графу В. А. Соллогубу, взявшему на себя миссию передать письмо императрице.

В тот же день Герцен записал в дневнике: «И все вместе оскорбительно до невероятной степени; достоинство моей человеческой личности, а вместе и всех личностей, замято в грязь этим бесправием».

3 июля 1842 года царь наложил резолюцию на прошение Натальи Александровны: «В Москве жить может, но сюда не приезжать и оставаться под надзором полиции». Герцену разрешалось сопровождать больную жену.

12 июля 1842 года Герцены отбыли в Москву. 14 июля показались окраинные, пустынные в этот утренний час улицы Москвы. Наталья Александровна спала, притулившись в углу экипажа, а Герцен высунулся в окошко кареты чуть ли не по пояс. Он не мог, не хотел пропустить мига въезда в родной город. Въезжали со стороны Петербургского большака. Промелькнул знаменитый «Яр», гулким эхом отозвались своды Триумфальной арки. А за ней и Тверская... и вот экипаж уже въезжает во двор дома в Малом Власьевском переулке.

Что тут поднялось! И слезы, и смех! Суетится дворня, обступили «молодого» барина, и он никак не может пробиться к отцу, который стоит у входа и от слез ничего не видит.

Когда улеглась суета, неизбежная при всяком переезде, после первых дней, занятых домашним устройством, Герцен, не перестававший наблюдать за отцом, понял, что дни его сочтены: «Отца я застал в разрушающемся состоянии». Иван Алексеевич почти безвыходно сидел у себя, равнодушный ко всему окружающему. Его постоянным собеседником остался престарелый пес Роберт. Иногда Иван Алексеевич словно пробуждался, и в нем просыпался былой деспот. Чаще всего это происходило по вечерам, когда у Герценов собирались друзья. Не любил старый Яковлев приятелей сына и часто задерживал его у себя в комнатах в надежде, что гости разойдутся.

6

Гласный надзор с Герцена снят не был, и это тоже не способствовало доброму расположению духа. И все-таки Москва, друзья и... относительная свобода хотя бы от необходимости являться на службу. Все это коренным образом перестроило быт Герцена. В Петербурге, потом Новгороде он почти никогда по утрам не работал. Не стоило начинать, так как в девять нужно было быть в канцелярии. В Петербурге, и особенно в Новгороде, Герцен работал ночами. Он всю жизнь на удивление мало спал — четыре-пять часов в сутки, а бывало, и вовсе не ложился, но неизменно выглядел бодрым и был деятелен как обычно. В Москве привыкал работать по утрам, когда в доме тишина, никто и ничто не отвлекает. Вечера и ночи были отданы друзьям, театрам, отцу.

Кого же Герцен застал в Москве? Огарева не было, он подолгу жил за границей. Зато в Москве был Грановский, так живо напоминавший Герцену старого друга.

«И грусть, и свет его души», и «женски-тихий, кроткий нрав» — он буквально во всем походил на Ника. Отсутствие Огарева Герцен чувствовал очень ощутимо. Кроме Кетчера, люди, в круг которых вошел Александр Иванович, были для него людьми новыми, едва знакомыми или знакомыми по переписке. Естественно, что Грановский, так напомнивший Огарева, прежде всего привлек привязанности Герцена. И если судить по записке, отправленной Герценом через примерно месяц после возвращения в Москву, то они с Грановским были уже на «ты». «Что с тобой, и где ты цветешь (классически), и где носишь грустную душу (романтически)?» Для круга Герцена и Грановского такой быстрый переход к интимному «ты» знаменателен. С 1839 года и по конец жизни Тимофей Николаевич Грановский преподает историю в Московском университете. Герцен высоко оценивает научную и общественную деятельность Грановского. Ему вторит и Чернышевский: «Его высокий ум, обширные и глубокие познания, удивительная привлекательность характера сделали его центром и душою нашего литературного кружка. Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Влияние Грановского на литературу в этом отношении было огромно». По своим общественным убеждениям Грановский был просветителем, умеренным либералом, отличавшимся, по словам Герцена, «нелюбовью к крайностям». Историк, он понимал обреченность крепостного права, считал его пережитком феодализма, тогда как человечество уже вступило в иной период, который он определял как «свободное развитие», то есть капитализм. Политические свободы буржуазного общества Грановский принял за отсутствие эксплуатации в этом обществе, а классовые противоречия посчитал за «случайные» недоразумения.

Иван Иванович Панаев набросал портрет Грановского в своих «Литературных воспоминаниях»: «Черты лица его были крупны и неправильны: нос и губы толстые — лицо это не имело той вульгарной, внешней красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка — все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною».

Сближение Герцена с Грановским неизбежно влекло за собой и более тесное общение Александра Ивановича с друзьями и единомышленниками Грановского, и прежде всего с Евгением Федоровичем Коршем. Все современники отмечают, что Евгений Корш не обладал какими-то выдающимися талантами, но был «одним из самых приятных собеседников кружка». «Своим неглубоким, хотя метким умом, быстро подмечал смешные стороны всех друзей, даже не исключая Грановского и Искандера, и очень едко острил над всем, еще *пришпиливая,* по чьему-то удачному выражению, свои остроты заиканьем, которое придавало большую оригинальность его разговору, его замечаниям и шуточкам», — вспоминает Панаев. В ту пору, когда с ним познакомился Герцен, Корш состоял редактором «Московских ведомостей». В кружок, в котором все более и более видную роль стал занимать Герцен, входили молодые профессора университета. Профессор права Петр Григорьевич Редкин к профессорской деятельности готовился в Берлине, слушал Гегеля, Савиньи, Эйхгорна. В Московском университете Редкин читал философию права и государства, причем излагал их в духе гегелевского учения. В 1841 году, незадолго до возвращения из новгородской ссылки Герцена, Редкин стал издавать «Юридические записки», а несколько позже — «Библиотеку для воспитания».

Среди тех, кто окружал Герцена, был и Михаил Никифорович Катков. Сын мелкого чиновника, на шесть лет моложе Герцена, он в 1838 году окончил университет по словесному отделению. В университетские годы сошелся со Станкевичем, Белинским, Бакуниным. В 1840 году Катков побывал в Берлине, два семестра слушал лекции Шеллинга. В 1842 году Катков, вернувшись из-за границы, всячески старается устроиться на государственную службу. «Максимум моей амбиции, — пишет он Краевскому, — попасть к какому-нибудь тузу или тузику в особые поручения». Именно присутствие таких людей, как Катков, на собраниях кружка, который вскоре стали именовать «герценовским», и предвещало кружку недолгую жизнь.

Когда Иван Алексеевич и вовсе перестал выходить из своих комнат, Герцен начал созывать друзей к себе. «Ря-

дом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем». Здесь и шутка, и вино, но главное состояло в том, что все были «сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры в университете, кто — участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом».

Москва закружила Герцена. Он словно наверстывал время, упущенное в Новгороде. И снова Наталья Александровна грустно отмечает, что Герцен только мелькает дома. В понедельник он у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у Елагиной. Один из первых визитов, который Герцен нанес, возвратившись в Москву, — это был визит к Чаадаеву во флигелек дома на Старо-Басманной улице.

Герцену не понадобилось много времени для того, чтобы уяснить существо «домашних споров», все ожесточеннее и ожесточеннее разгоравшихся при встречах тех, кого именовали славянами, и тех, кто числился в западниках. Но в этих спорах Герцен уловил одно общее начало — Чаадаев. Если до знакомства с Чаадаевым Герцен мог судить о его философских взглядах только на основании известного письма, то теперь он убедился, что философские и социальные идеи мыслителя были значительно шире. И Чаадаев их не скрывал. Напротив того, он щедро ими делился со всеми, кто готов был его слушать.

Чаадаев — человек глубоко религиозный, но главным в его религиозных построениях был поиск смысла исторических процессов. Он пытался вывести законы человеческого движения к социальной справедливости. Таким образом для Герцена постепенно обрисовывалась огромная фигура мыслителя-антикрепостника, человека, так же, как и он, Герцен, настойчиво ищущего ту теорию, которая укажет человечеству путь к достижению идеала на земле.

Беседы с Чаадаевым нашли свое отражение и в дневнике Герцена. Причем Герцен понял, что католицизм

Чаадаева — одно из выражений его социально-политических воззрений.

Герцен причислял Чаадаева к западникам, славянофилы считали его своим единомышленником. Нельзя безоговорочно причислять Чаадаева к тому или иному стану. Если он западник, то трудно тогда объяснить общие идеи, которые роднили его со славянофилами. И прежде всего очень важное и для Чаадаева и для славян признание роли религиозных верований, роли церкви в истории народов. Он так же, как и славянофилы, говорит о значительных различиях исторических начал Европы и России. Наконец, Чаадаев считает, что раз русский народ всегда «покорен воле провидения», то он непременно окажет влияние на социальное переустройство будущего людей. Но в то же время Чаадаев говорит о торжестве западной цивилизации на Руси, у него причудливо сопрягается мысль о европейском прогрессе и своего рода крестьянском социализме. В письмах декабристу А. И. Тургеневу Чаадаев так объяснил свое понимание проблемы Россия — Европа: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе». В блестяще написанной «Апологии сумасшедшего» Чаадаев выступает как русский патриот. Он отвечает тем лжепатриотам, великосветские чувства которых были шокированы «Философическим письмом». «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа... Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями, и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы». И не случайно потом, в 1861 году, в разгар революционного кризиса, Н. Г. Чернышевский старался опубликовать «Апологию» Чаадаева.

Герцен, бывая у Чаадаева, первое время удивлялся,

почему по понедельникам у дома на Старо-Басманной полно всевозможных экипажей, многие с ливрейными лакеями на запятках. Зачем в его скромном кабинете толпились эти «тузы» Английского клуба, эти «патриции Тверского бульвара», модные дамы? Генералы, «не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет...». Встречал Герцен «в келье угрюмого мыслителя» и «дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего просвещение в Польше». Зачем они здесь? Ведь знакомство с Чаадаевым, посещение его только компрометирует гостей в глазах полиции. И разве Чаадаев делает уступки представителям света? Нет, он всегда от них на расстоянии, всегда насмешлив, язвительно снисходителен, никогда не смешивается с этой «мишурной знатью». И Герцен сделал безошибочный вывод — «мысль стала мощью, имела свое почетное место, вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена».

Позже Герцен предпочитал посещать Чаадаева в иные дни.

Еще будучи в Новгороде, Герцен в 1842 году пишет фельетон «Москва и Петербург». Тема эта в начале 40-х годов была достаточно злободневной. Сопоставляя две русские столицы, их внешний облик и нравы, помыслы их жителей и их дела, Герцен в острофельетонной форме как бы прослеживает пути и направления развития Российского государства, русской культуры, русской истории до Петра I и после. А ведь именно вокруг этих вопросов и шла тогда полемика между славянами и западниками. Причем эта полемика громче звучала в Москве, но в ней участвовал и Петербург, имевший и своих славянофилов. Об этом пишет Павел Васильевич Анненков. Анненков против устоявшихся «эпитетов»: «славянофилы», «западники». «Московская», «петербургская» партия — это еще куда ни шло, считает он, «ввиду той массы слушателей, которая там и здесь пристроилась к одному из двух противоположных учений». Да и это неточно, ведь как раз к обществу Москвы принадлежали Грановский, Герцен и др., а в Петербурге издавался журнал «Маяк». Этот журнал, по словам Анненкова, всегда готов защищать «старые авторитеты» и предания.

«Западники» — этот термин часто мелькает на страницах полемических статей, в письмах и дневниках людей образованных, современников Герцена и Белинского, Хомякова и Аксакова. Но он плохо применим к Герцену и тем более Белинскому. Ни тот, ни другой, по существу, не были западниками. Разве только в том смысле, что «ожидали пароль от Запада», как когда-то сказал Герцен. Ни Герцен, ни Белинский не были безоглядными проповедниками западных образцов жизни. Они были достаточно критически настроены к западному «мещанству» (буржуазии), английской конституционной монархии, торгашеской династии Луи-Филиппа. Но главное, что отличало Герцена и Белинского от западников, — это признание социализма «идеею идей, бытием бытия.., альфою и омегою веры и знания» — это слова Белинского.

Если поименно расшифровать термин «западники», то к этому лагерю принято прежде всего относить Т. Н. Грановского, Е. Ф. Корша, Н. Х. Кетчера, В. П. Боткина, М. С. Щепкина, П. В. Анненкова. Конечно, Герцен и Белинский тоже западники — в том смысле, что они противостояли лагерю славян. Их даже именовали крайне левым крылом западничества. Но они прежде всего были убежденные социалисты, предтечи будущей когорты революционеров-демократов.

Если у славянофилов не было полного единства во взглядах, то у западников оно также отсутствовало. И западники, как и славяне, не имели своих печатных органов. В цензурных условиях николаевского царствования и они не могли выражать свои идеалы открыто. И никто не фиксировал слов, произнесенных в литературных салонах, где сходились «друзья-враги».

Споры между славянами и их противниками, разгораясь, охватывали все более и более обширный круг вопросов, начиная с чисто философских, а многие из славян, такие, как Хомяков, были в курсе всех новейших философских систем. С философией неизбежно переплеталась вера, религия. Здесь славяне стояли насмерть. Что же касается вопросов истории Древней Руси, народного быта, тут они часто одерживали верх над западниками. Герцен неоднократно повторял свою любимую мысль, что, «покуда западники не завладеют со своей точки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями славяно-

фильства, — до тех пор никакого дела не сделается ни в жизни, ни в литературе».

Полемика обретала остроту и переходила во взаимные резкости. Западники, да и Герцен с Белинским, порой обвиняли славян, что они смыкаются в своем «детском поклонении детскому периоду нашей истории» с теорией официальной народности, взятой на вооружение монархией Николая I. Но охранительные начала народности, православия и самодержавия, провозглашенные министром просвещения Уваровым, лишь *внешне* походили на славянофильские постулаты. Правда, некоторые из тех, кто причислял себя к лагерю славянофилов — Шевырев, Погодин, — на самом деле стали проводниками теории официальной народности. Михаил Петрович Погодин был редактором «Москвитянина», что позволяло ему и его единомышленникам пропагандировать свои взгляды за пределами литературных салонов.

Герцен, только-только познакомившийся со многими из славянофилов, не спешил с разрывом, как на том настаивал Белинский, не нашел он еще и своей собственной «трибуны», если не считать литературных салонов да застольных споров с друзьями у себя дома.

Герцен оставил превосходное описание московских «гостиных и столовых», где происходили эти споры. У Елагиных, у Свербеева, в салонах, где когда-то царил Пушкин, «смеялся Грибоедов... где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять». Здесь завсегдатай К. С. Аксаков «с мурмолкой в руке...», здесь и Чаадаев, он «сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями». В. Боткин, Крюков, Редкин, непременный Щепкин, если он не занят в спектакле. И наконец, Белинский, который «падал, как Конгривова ракета ...выжигая кругом все, что попадало...». На эти ристалища сходились и зрители, послушать, поглядеть, «кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого».

Между тем домашние дела у Герцена шли негладко. «Я увлекся, не мог остановиться — и после ахнул». Это увлечение горничной тяжело сказалось на Наталье Александровне. Она замкнулась. Герцен покаялся и решил, что прощен, все забыто. Но приступы тоски у Натальи Александровны не проходили. Мучительные сцены следовали одна за другой. Дневник Герцена испещрен

трагическими записями: «Еще ужасное и тяжелое объяснение с Н. — я думал, все окончено, давно окончено; но в сердце женщины не скоро пропадает такое оскорбление. Она плакала, отчаянно, горько плакала, я уничтожал себя; сострадание, любовь, мучительное угрызение, бешенство, безумие — все разом терзало меня. Сегодня я проснулся в ознобе... Где мне прибрать черное слово, которым бы я мог выразить мое состояние?»

В первые же дни по приезде в Москву Герцен встретился с Вадимом Пассеком, Татьяной. Вадим был тогда здоров. Но через два месяца Герцен застает Вадима «очень похудевшим, в ипохондрии». У Вадима открылась чахотка. За полночь 25 октября Герцена разбудил камердинер и сказал, что его просят поспешить к Пассекам. Герцен застал Вадима еще живым. Тот спал. В семь часов «дыхание стало реже, прерывистее, он раза два продолжительно застонал, и дыхание прекратилось». Он был первой жертвой в кругу старых друзей. И новое потрясение.

В ночь с 29 на 30 ноября 1842 года родился сын. Назвали его Иваном. «Дитя родилось легко, здоровое, потом утром 30-го начались судороги, и все пособия оказались ничтожными, шесть дней оно страдало, мучилось, на седьмой остался изнуренный труп». Все эти страшные дни Кетчер жил у Герценов, пеленал, купал младенца, ухаживал за Натальей Александровной. Иван умер от головной водянки. Герцен в отчаянии записывает в дневнике: «Иногда такая злоба наполняет всю душу мою, что я готов кусать себя. И частное, и общее — все глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бедное дитя, теперь хотел бы еще слушать этот стон. Стон все же бытие... Я мучился прежде, что не имею права ездить в Москву, — а теперь тем, что в Москве... О жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нет. Вперед!»

В последний день 1842 года вышла из цензуры первая книжка «Отечественных записок» за 1843 год с первой статьей Герцена из цикла «Дилетантизм в науке» — «О дилетантизме вообще». В этом же журнале на протяжении года публиковались и три последующих его статьи: «Дилетанты-романтики», «Дилетантизм и цех ученых» — о «специализме» в науке и, наконец, «Буддизм в науке» — о «формализме» в науке. Статья четвертая, написанная Герценом в исполнение желания Огаре-

ва («ты хотел»), высоко ценилась самим Герценом за удачное сочетание научной философии «со всеми социальными вопросами». «Тут моя поэзия, — записал он в дневнике. — Я иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна». «Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей, — таково исходное положение Герцена в этом цикле. — Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих».

Между тем, полагает Герцен, для человека мыслящего есть твердая опора, и она — в Науке: «Человек, поднявшийся до современности, с живой душой не может удовлетвориться вне науки» — это главная мысль цикла Герцена. Он уточняет, что не имеет в виду ни дилетантов от науки, которые *«не понимают* науки и не понимают, чего хотят от нее», ни кабинетных ученых. «Дилетанты смотрят в телескоп, — оттого видят только те предметы, которые, по меньшей мере, далеки, как луна от земли... Ученые смотрят в микроскоп, и потому не могут видеть ничего большого...»

Нынче наука сходит в жизнь и перестает быть областью для занятий чисто специальных. В передовой фаланге человечества может быть и ученый, но так же, как и воин, и артист, и женщина, и купец: «Круг образованных людей, который развился до живого уразумения понятия человечества и современности». «Эта аристократия далеко не замкнута, она, как Фивы, имеет сто широких врат, вечно открытых, вечно зовущих...»

Что же понимал Герцен под истинной наукой? В сущности, это тема следующего цикла его статей, «Писем об изучении природы». Наука — это философия, опирающаяся на естественные науки. Именно эта наука, научная философия, «наука в высшем смысле своем», станет со временем, по мысли Герцена, доступной людям, «и тогда только она может потребовать голоса во всех делах жизни». Так переплавлялись у Герцена месяцы изучения Гегеля, споров с гегельянцами, поиски единой всеобъемлющей науки. Именно в статье «Буддизм и наука», опираясь на Гегеля и преодолевая его, Герцен сформулировал мысль о «развитии в жизнь философии», ее практической, преобразующей роли. Намек на это увидел Герцен у Гегеля, но «это дело не его эпохи, — дело эпохи, им порожденной».

И еще крайне важное: «Человек не может примириться, пока все окружающее не приведено в согласие с ним». «Великая мысль» Гегеля о том, «что все действительное разумно», была извращена «формалистами от науки». Герцен же понял ее правильно. Действительное разумно до поры до времени, а затем оно становится неразумным, отжившим, а значит, и недействительным. Буддисты от науки «не могут привыкнуть к вечному движению истины, не могут раз навсегда признать, что всякое положение отрицается в пользу высшего и что только в преемственной последовательности этих положений, борения и снятий проторгается живая истина, что это ее змеиные шкуры, из которых она выходит свободнее и свободнее».

Неразумными стали темные стороны современной жизни. Значит, выходя в жизнь, наука, люди науки должны действовать. А буддисты «примирение в науке принимают за всяческое примирение, не за повод к действованию, а за совершенное, замкнутое удовлетворение». Эти слова были как бы ответом и упреком московским знакомым, которые искали примирения с действительностью.

«...Человек призван не в одну логику — а еще в мир социально-исторический, нравственно свободный и положительно-деятельный; у него не одна способность отрешающегося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумом положительным, разумом творящим; человек не может отказаться от участия в человеческом деянии, совершающемся около него; он должен действовать в своем месте, в своем времени — в этом его всемирное призвание...»

Такой вывод относится уже не к чисто философским категориям, а к политическим.

Развивая эту мысль, Герцен говорит о том, что наука должна стать достоянием народа. «Все дело философии и гражданственности — раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества».

Герцен, конечно, понимал, что и состояние науки в его время, и полная оторванность от нее народных масс не могут в какое-то обозримое время способствовать еди-

нению умов. «Луч науки» озарит «обыкновенных людей» только тогда, когда наука, точная наука, выработает революционную теорию, которая и станет достоянием масс, претворяющих теорию в жизнь, в практику.

Так поняли Герцена люди, привыкшие читать между строк, проникать в смысл их сквозь, по цензурной необходимости, «странный и трудно понятный язык».

В статье «Дилетанты-романтики» из цикла «Дилетантизм в науке» Герцен дал философское обоснование реализма как мировоззрения нового времени. Он полагал, что классицизм и романтизм — это прежде всего два воззрения на мир, связанные с двумя фазами истории человечества: классицизм — с античностью, романтизм — со средними веками. В новом мире, по убеждению Герцена, идущем под знаком науки, классицизм и романтизм обретут, как считал он, свой гроб, но и найдут бессмертие, поскольку умирает только «ложное, временное», а в них есть истина — «вечная, общечеловеческая». И новое мировоззрение — реализм — вберет в себя эти истины прошлого, как мужающий юноша берет с собою в жизнь все, что испытано и пережито.

«Каждый из нас, — писал Герцен, — сознательно или бессознательно, классик или романтик, по крайней мере был тем или иным. Юношество, время первой любви, неведения жизни располагает к романтизму; романтизм благотворен в это время; он очищает, облагораживает душу, выжигает из нее животность и грубые желания; душа моется, расправляет крылья в этом море светлых и непорочных мечтаний, в этих возношениях себя в мир горний, поправший в себе случайное, временное, ежедневность». Это было прощание и с собственным романтизмом, и трезвое понимание, что «наша эпоха» — эпоха реализма и в жизни и в литературе.

Тогда же, в Новгороде, работая над статьями из цикла «Дилетантизм в науке», Герцен задумал написать роман, роман реалистический. В Новгороде, по всей вероятности, были написаны и первые его главы. Герцен этот роман именует повестью. Уже по возвращении в Москву он показывал главы романа своим друзьям, но они «не понравились», и он их бросил, как пишет Герцен в предисловии к лондонскому изданию романа «Кто виноват?». Три года Герцен не возвращается к начатой работе. Впоследствии Герцен даже не мог вспомнить, как он первоначально озаглавил свою повесть, «...кажется, «Похождения одного учителя». Утверждение реалистических начал и в жизни и в литературе Герцен хотел подтвердить и позже блестяще это сделал, созданием реалистического романа.

Москва распахнула перед Герценом двери своих театров. Герцен назвал сцену «парламентом», «трибуной», где «могут разрешаться живые вопросы современности». Он был знаком с виднейшими актерами как московских, так и петербургских театров — Самариным, Мочаловым, балериной Санковской и прежде и ближе всего со Щепкиным. Знакомство с Михаилом Семеновичем переросло в дружбу, которая так и не иссякла до смерти великого артиста. Герцен его пережил и в некрологе на страницах «Колокола» в 1863 году очень выразительно определил место Щепкина в истории русского театра: «Он создал *правду* на русской сцене, он первый стал *нетеатрален* на театре». Герцен с Грановским заботится о пьесе для бенефиса Щепкина. У Грановского Герцен знакомится с Тургеневым и уговаривает его писать пьесы.

В 1843 году в России гастролировал Ференц Лист. Герцен не пропускал ни одного концерта. Где бы ни выступал венгерский музыкант, Герцен и Наталья Александровна буквально следовали за ним. Были они и на концерте у известного цыганского дирижера И. Соколова в Большом Патриаршем переулке. Цыгане пели, играли, плясали для Листа. Лист не утерпел, уселся за фортепьяно, и его импровизации на только что услышанное повергли Герцена «в совершенное очарование».

Логика споров Герцена и Грановского со славянами неизбежно вела к размежеванию. Это уже успел сделать в Петербурге Белинский. Он высказался с предельной ясностью и неоправданной резкостью: «Литература наша... делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну».

Грановский объявил, что будет читать курс публичных лекций в помещении Московского университета. Посещать их могут все желающие. Лекции начались 23 ноября 1843 года. Это не был обычный курс средних веков. Грановский на примерах истории, в том числе и истории России, настойчиво проводил мысль о том, что ныне существующий порядок неисторичен, неправомерен.

Вступительная лекция Грановского собрала до той поры невиданную аудиторию. Наверное, впервые за почти столетие своего существования Московский университет напоминал не храм науки, строгий в своих классических архитектурных формах, а загородный увеселительный дворец, в ожерелье карет, экипажей, легких ландо, старинных рыдванов. Кафедра профессора была окружена «тройным венком дам», многие из которых потом приезжали сюда как в гостиные своих добрых приятельниц, с начатым рукоделием, в чепцах, иные находили, что университетская аудитория — удобнейшее место для свиданий. Но неизменно не хватало скамей, и в проходах, на ступеньках, подоконниках теснились студенты всех факультетов, ученые и просто люди без определенной профессиональной принадлежности, молодые купеческие сынки и даже переодетые семинаристы.

Грановский не наряжал историю «в кружева и блонды» в угоду своим великосветским слушателям. «Его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их». «Лекции его делают фурор», — записал Герцен в дневнике 1 декабря 1843 года. А затем в письме к Кетчеру рассказывал: «Успех необычайный... Я всегда был убежден, что он прекрасно будет читать; но, признаюсь, он превзошел мои ожидания...» Герцен восхищен Грановским, Герцен удивлен Москвой: «Ну, брат, и Москва отличилась, просто давка, за $^1/_4$ часа места нельзя достать...» — пишет он тому же Кетчеру.

В течение всех месяцев до апреля 1844 года Герцен записывает в дневнике, сообщает друзьям и знакомым о «фуроре», который продолжают вызывать лекции Грановского. Буквально на следующий день после начала лекций Грановского Герцен пишет статью-отзыв, которая и была опубликована 27 ноября в «Московских ведомостях». Статья называлась «Публичные чтения г. Грановского». Павел Васильевич Анненков, с которым Герцен познакомился в начале декабря 1843 года, свидетельствовал, что Герцен в дни лекций Грановского «волновался, писал о них статьи и торжествовал успех своего друга так шумно, что казалось, будто празднует свой собственный юбилей». На первых порах Герцен подумал, что радость по случаю успеха чтения Грановского разделяют не только члены его московского кружка, но даже славянофилы. Не случайно на следующий день после публикации

статьи Александр Иванович записывает в дневнике: «Статья сделала эффект, все довольны, славянофилы не яростные тоже довольны. Пора приниматься за вторую статью».

Но Герцен ошибался. Резкие нападки славянофилов на Грановского, с одной стороны, и высокая оценка курса такими людьми, как Чаадаев, сказавшим, что лекции «имеют историческое значение», привели к тому, что вторая статья Герцена в «Московских ведомостях» не появилась. Ее первоначальный текст неизвестен. В переработанном виде она под тем же заголовком была напечатана в славянофильском «Москвитянине» в июле 1844 года. Между тем С. П. Шевырев в статье, опубликованной в 12-й книжке «Москвитянина» за 1843 год, обвинил лектора, что он приносит в жертву все «великие труды, все славные имена» — «одной системе, односторонней, скажем, даже одной книге, от которой отреклись многие соученики творца этого философского учения». Это было прямое указание на Гегеля. А ведь его имя находилось под запретом в России, как и вообще под запретом было преподавание философии. Герцен опасался, что после статьи Шевырева чтения Грановского вот-вот прикроют. «Я со всяким днем нахожу вероятным, что над всеми нами опять разразится гром...»

30 декабря 1843 года у Герцена родился сын, которого назвали Колей. Герцен ожидал появления ребенка в какой-то лихорадке. «С 29 на 30, ночь... Ни веры нет, ни надежды... Время тащится тихо, может, вопрос нескольких существований решается теперь... Ну, что же, смертный приговор или милость. — Случай».

«30. Вечер. В час без 10 минут родился мальчик — доселе все счастливо, но я еще не смею, боюсь надеяться. Страшные опыты проучили». Александр Иванович тогда еще не мог предполагать, что Коля родился глухонемым.

Наталья Александровна плохо перенесла роды. На первых лекциях Грановского она не была. Грановский, ставший крестным отцом Коли, прочел несколько лекций прямо у постели больной. При этом присутствовали Татьяна Алексеевна Астракова, Мария Каспаровна Эрн, Мария Федоровна Корш. «Не стесненный ни цензурой, ни публикой, Грановский читал полно, живо и до того увлекательно, что присутствовавшие превращались в слух и наслаждение; нередко по лицу иных скатывались сле-

зы. Кончивши чтение, Грановский, растроганный всеобщим восторгом и сочувствием, спешил уйти» — так впоследствии вспоминала Татьяна Астракова.

В лекциях Грановский настойчиво проводил мысль, что Россия и Запад следуют одинаковыми путями и для их развития исторические закономерности общие. Крепостное право на Западе рухнуло. Значит, оно должно рухнуть и в России. Нет, Грановский такого вывода вслух не произносил, но аудитории он был ясен и без слов. Герцен писал, что Грановский «выходит перед московским обществом не как адвокат средних веков, а как заявитель великого ряда событий, в их органической связи с судьбами всего человечества».

Шевырев и Погодин, так же как и Грановский, были профессорами Московского университета. Отпор проповеди Грановского они решили дать, открыв свой цикл публичных лекций, осенью 1844 года.

Погодин время от времени предоставлял страницы «Москвитянина», который он редактировал, противникам Герцена. Герцен, Грановский, Крюков, Корш сделали попытку перекупить «Москвитянин». Поэт Николай Языков сообщил А. М. Языкову, что у Погодина «торгуют» «Москвитянин». «Сам М. П. (Михаил Петрович Погодин. — *В. П.*) едет будущим летом лет на 5 или 10 за границу — Герцен, Грановский, Крюков и вся эта компания хотят издавать журнал дельный и хороший, в смысле развития, как само собою разумеется... Они хотят начать свою редакцию с 5 №. Увидим, что-то будет! Новые издатели приглашают к себе в сотрудники Самарина и Аксакова, которые, кажется, не откажутся, желая явиться в этом случае оборонителями православия». Это письмо было отправлено 9 марта 1844 года, а через 9 дней тот же Языков сообщает своему адресату: «Кажется, что покупка «Москвитянина» Герценом не состоялась».

В конце апреля Герцен пишет Кетчеру, что он хлопочет через графа Строганова, попечителя Московского учебного округа, о приобретении нового издания «Галатеи». «Покупка «Галатеи», кажется, совершенно идет на лад, граф Строганов обещал выхлопотать все, что надо. Корш редактор, хотелось бы другое имя — «Ежемесячное обозрение». Но в конце концов и с этой попыткой Герцена найти трибуну, выход в дела практические, ничего не получилось.

22 апреля 1844 года в аудитории, где читал Грановский, нечем было дышать. Московский полицмейстер, опасаясь беспорядков, прислал к университету городовых. Сегодня профессор читает свою заключительную лекцию.

Наталья Александровна хотела во что бы то ни стало присутствовать, но теперь жалеет, что поехала, от духоты она вот-вот потеряет сознание. 24 апреля, через два дня, Герцен записал в дневнике: «Грановский прямо касался самых волнующих душу вопросов и нигде не явился трибуном, демагогом, а везде светлым и чистым представителем всего гуманного... Когда он в заключение начал говорить о славянском мире, какой-то трепет пробежал по аудитории, слезы были на глазах, и лица у всех облагородились. Наконец, он встал и начал благодарить слушателей — просто, светлыми, прекрасными словами...» «Благодарю тех, — так кончил он, — которые с симпатией слушали меня и разделяли добросовестность тона ученых убеждений, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, прямо и благородно высказывали мне свою противуположность. Еще раз благодарю вас». Он молчал и кланялся. Безумный, буйный восторг увлек аудиторию, — крики, рукоплескания, шум, слезы, какой-то торжественный беспорядок, несколько шапок было брошено на воздух. Дамы бросились к доценту, жали его руку, я вышел из аудитории в лихорадке».

Иван Иванович Панаев, также присутствовавший на этой лекции, писал потом, что некоторые барыни пребывали в таком ажиотаже, что дело чуть не кончилось «бросанием на воздух чепцов...». С крыльца университета студенты снесли Грановского на руках.

Днем у дома Сергея Тимофеевича Аксакова на Большой Никитской улице можно было увидеть те же кареты, которые утром стояли возле университета. на Моховой.

Три часа дня. В огромной зале «покоем» накрыты столы. Герцен, старик Аксаков и Юрий Федорович Самарин — распорядители торжественного обеда в честь Грановского. Обед этот был задуман как «примирительный», иными словами, Герцен и его друзья сделали попытку объединить «московское общество».

Но разногласия проявились тут же, на обеде. Иван Иванович Панаев рассказывает, что он сидел рядом с Грановским и Шевыревым, был тут и Чаадаев и Константин Аксаков — все смешалось в общем гуле. Первый тост подняли, естественно, за Грановского, Тимофей Ни-

колаевич ответил тостом за Шевырева. «Третий тост был за университет».

Но еще не смолкли восторженные клики в адрес alma mater, как Константин Аксаков поднял бокал «за Москву». И тут грянули колокола, сзывавшие паству в близлежащую церквушку к вечерне. Это было эффектно. Шевырев не преминул воспользоваться минутой:

— Слышите ли, господа, московские колокола ответствуют на этот тост, — Аксаков кинулся в объятия Шевырева.

Кто-то из круга Герцена не утерпел:

— Милостивые государи! Я предлагаю тост за всю Русь, не исключая Петербурга.

И тут началось...

— За Петербург! За Петербург! — кричали западники.

Через пять дней Герцен писал Кетчеру в столицу: «Приготовлен был обед торжественный á la List (как Листу. — *В. П.*), в доме у Аксакова. Жаль, что и тут ты не был. Все напилось, даже Петр Як. (Чаадаев. — *В. П.*) уверяет, что на другой день болела голова; я слезно целовался с Шевыревым... Вина выпито количество гигантское и N3 не было сотерну, лафиту меньше 9 рублей бутылка, prachtvoll und donnerwetterlich (роскошно и громоподобно. — *В. П.*)».

«Примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее».

«— Дети! дети! — говорил Белинский о Грановском и Герцене. — ...Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!.. Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны...» Видимо, в том же духе и с обоснованием разногласий было не дошедшее до нас письмо Белинского, которое привез Герцену Иван Павлович Галахов, письмо «вроде диссертации», как записал Герцен в дневнике. «Странное положение мое, — записывает Герцен, — какое-то невольное juste milieu (двойственность. — *В. П.*) в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения (западники, славянофилы. — *В. П.*) не годятся».

После обеда «война» между славянофилами, Шевыре-

вым и Погодиным, с одной стороны, и кругом Белинского и Герцена разгорелась еще более ожесточенно. Языков, являвшийся славянофилом по родству (Хомяков был женат на сестре Языкова), утверждал: «Аксаков говорит, что боится, как бы не было драки на лекции, и готовит себя и кулаки свои в защиту православия». Дело действительно чуть не дошло до драки, когда Языков разразился пасквильными стихами «К не нашим». В них «прежний поэт разгула и свободы», по словам Панаева, намекал на Чаадаева как на отступника, на Грановского как на лакея, щеголяющего западной ливреей, «на всех разделяющих их идеи как на изменников отечества, — при такой выходке даже миролюбивый и кроткий Грановский вышел из себя».

В № 8 за 1843 год «Отечественных записок» появилась статья Герцена «По поводу одной драмы».

В дневнике 13 сентября 1842 года Герцен записывает свои впечатления от просмотренной пьесы Арну и Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше». «Небольшая драма (Белинский назвал ее «прекрасной». — *В. П.*) заставила меня думать и думать». И Герцен в статье, так сказать, вслух размышляет о том, что эта пьеса, хотя и обращена к «сфере личных отношений», далеко выходит за их пределы и направлена против всех устоев, порожденных крепостническим бытом, лицемерием, угнетением. С ними нужно в первую очередь бороться. А вот как «обновить» личную и общественную жизнь? Люди сбились с дороги, необходимо создать «мир всеобщих интересов», жизнь «общественную», «художественную». Признать за человека женщину и для нее «раскрыть» «мир религии, искусства».

26 августа 1843 года Герцены вернулись в Москву. А как не хотелось уезжать! «...Мне ужасно хотелось бы еще пожить в Покровском». Это было не просто возвращение в старую квартиру. На сей раз Герцен поселился на Сивцевом Вражке. Как во всех подобных случаях, переселение было связано с хлопотами, которые Наталья Александровна называла «суета суетствий».

Обосновавшись в Москве, Герцены первые два лета — 1843 и 1844 годов — провели в селе Покровское-Засекино. «Уединение сельской жизни, близость с природой и даль от людей чрезвычайно хороши», — записывает Гер-

цен 16 июня 1843 года в своем дневнике. А между тем за два дня до этого в Покровском утонул Матвей, которого Герцен любил, в котором «воспитал благородные свойства, и они принялись».

Сельского уединения у Герцена не получилось. Да и он сам по своей натуре был к нему не способен. Сюда, в Покровское, нагрянули Белинский, Боткин, Грановские, гостит тут и Кетчер.

В это лето Герцен усиленно занимается историей европейских народов, читает «Историю XVIII столетия» Ф. Шлоссера, «Историю контрреволюции в Англии при Карле II и Якове II» А. Карреля, сочинения Ф.-П.-Г. Гизо «История английской революции от царствования Карла I до Карла II».

Если просмотреть дневниковые записи Герцена за осень 1843 года, 1844 год, то они пестрят язвительными, а зачастую и просто раздраженными филиппиками в адрес славянофилов. 26 октября 1843 года. «Разговор с П. В. Киреевским. Их воззрение странно до поразительности, оно, без сомнения, не изъято поэзии, хотя односторонность очевидна». 20 ноября 1844 года. «Более и более расхожусь с славянами, кажется, их удивил прямой язык, мой тон у Свербеева». 4 декабря. «Писал к Самарину. Не мог, да и не хотел удержаться, чтоб не написать ему вполне мое мнение о славянах... История диссертации Грановского послужила на пользу, все сняли перчатки и показали настоящий цвет кожи».

В 1844 году Грановский начал новый цикл публичных лекций. Со стороны Шевырева послышались упреки Грановскому в том, что он вообще не имеет права на кафедру, так как не защитил даже магистерской диссертации, нет у него и фундаментальных трудов. Отсутствие трудов у Грановского несколько позже хорошо объяснил Чернышевский. Почему же Грановский писал мало? Потому что «он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе. Не знаем, сознавал ли он, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискивает, отказываясь от своей личной ученой славы».

Герцен посоветовал Грановскому защитить магистерскую диссертацию хотя бы для того, чтобы прекратить всевозможные разговоры о его «правах» на кафедру. Диссертация была написана. Она называлась «Волин, Иомсбург и Винета». Защитил ее он позже, в феврале 1845 года, и защитил с блеском. Но как только до славянофилов

дошла весть, что Тимофей Николаевич собирается доказывать, что Винета (город венедов), о котором так живописал в 1067 году Адам Бременский, находится в Южной Богемии на одном из рукавов Волтавы, они решили сорвать защиту.

Герцен, так же как и славянофилы и западники, доходил в устных спорах до резкостей, но он, однако, понимал, что в этих спорах, особенно фанатиков своих убеждений, подобных Ивану Киреевскому или Виссариону Белинскому, «страсти участвуют наравне с разумом, а страсти не дают величавого спокойствия мысли». Отсюда обоюдная нетерпимость, несправедливые, порой доходящие до оскорблений обвинения в «доносительстве» и т. п.

В сущности же, главный вопрос споров был выяснен почти в самом начале. Славяне верили, что будущее России вырастет из русских народных начал, западники указывали на Европу, ее исторический опыт и считали, что России его не миновать. Герцен видел будущее России через призму западноевропейских учений о социализме.

Казалось бы, «война» со славянофилами была в самом разгаре и поставлены все точки над «и». Но Герцен по-прежнему чувствовал, что со славянами у него есть много общего, и прежде всего непоказная, несловесная любовь к России, русскому народу, вера в народ...

13 декабря 1844 года у Герценов родилась дочь, которую нарекли Натальей в честь матери, но с первых же дней любовно звали Татой. Рождение дочери внесло в дом Герценов какое-то новое мироощущение. В письме к Огареву и Сатину в Берлин Александр Иванович признается: «Давно, а может, и никогда, я не испытывал такого кроткого, спокойного чувства обладания настоящим, настоящим, хорошим, исполненным жизни... Надобно одействотворить все возможности, жить во все стороны — это энциклопедия жизни». И тут же, по свежим следам письма, отмечает в дневнике: «Кажется, в частном отношении, жизнь моя, наконец, потекла поспокойнее». Не то в общественном.

Отложив в сторону свои философские занятия, Герцен выступил с фельетоном «Москвитянин» и вселенная». Опубликованный в № 3 «Отечественных записок» за 1845 год, он вызвал бурю негодования в стане славянофилов. Хотя Герцен и скрылся под псевдонимом «Ярополк Водянский», его авторство ни для кого не было тайной.

К началу 1845 года «Москвитянин» перешел из рук Погодина к Киреевскому. Надо сказать, что Герцен очень высоко ставил Ивана Киреевского как личность. В дневнике еще в ноябре 1842 года он записал: «Иван Киреевский, конечно, замечательный человек... Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противоположен в воззрении... Человек этот глубоко перестрадал вопрос о современности Руси... Он верит в славянский мир...» Герцен и после полного разрыва со славянофилами в конце 1844 — начале 1845 года оставался в прежнем мнении о Киреевском. Разорвав со славянами, он записал в дневнике 10 января 1845 года: «...Киреевские уносят личное уважение...»

Киреевский, возглавив «Москвитянин», предложил Герцену и Грановскому сотрудничать. Грановский согласился сразу, Герцен сказал, что предпочтет подождать выхода первых номеров обновленного журнала. Идея сотрудничества отпала после выступления Языкова. И фельетон Герцена в «Отечественных записках» был, по существу, подтверждением его отказа от участия в журнале Киреевского. Отдавая должное литературному уровню статьи Киреевского, опубликованной в новом «Москвитянине», но не соглашаясь с высказанной там позицией, Герцен настаивал на том, что журнал в целом мало отличается от прежнего, погодинского.

И вновь весна на исходе. И снова нужно думать о том, куда уехать из пыльной, душной, говорливой первопрестольной. Да, теперь приходилось думать, ведь Герцен от Покровского отказался, когда между Иваном Алексеевичем и Голохвастовым возник спор о наследстве. Забираться далеко от Москвы в имения отца не хотелось. И Герцен решил снять под Москвой домик-дачу. В среде московских бар дача — это что-то неслыханное. Никому и в голову не приходило снимать дачу, да при этом за деньги. Герцен же считал, что дача освободит его от постыдного положения рабовладельца, которым он себя чувствовал в имениях отца.

Дачу сняли неподалеку, верстах в двадцати от Москвы, на берегу речушки Сходни. Старинное барское село, некогда принадлежавшее графам Румянцевым, а теперь помещику Дивову, — Соколово. Герцен облюбовал себе небольшой деревянный домик, стоящий в вековом липовом парке. Сквозь темную хмурь стволов то тут, то там

пробивались белые свечи берез. Домик прилепился на возвышенности, с которой «открывался пространный вид в даль». Этот вид открывался и из беседки, которую Дивов именовал «Бельвью» («прекрасный вид»). С другой стороны парка «стлалось наше великороссийское море нив». Из Петербурга в Соколово приехал Кетчер и поселился в маленьком флигелечке. По соседству дачу снял Михаил Семенович Щепкин. Они втроем считались ее хозяевами. Но каждую неделю здесь сонм гостей. Кого только не было! Еженедельно приезжал Грановский, непременными гостями были Корш, Иван Иванович Панаев и Павел Васильевич Анненков. Из Петербурга прибыл Некрасов и «был доставлен» в Соколово, он очень хотел познакомиться с Герценом, о котором столько наслышан. Авдотья Панаева дополнила дамскую часть общества. Заезжал сюда и бывший крепостной, а впоследствии известный живописец Кирилл Горбунов, перу которого принадлежат групповые портреты соколовских обитателей. «Чудные дни, — вспоминал Панаев, — великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки... послеобеденные far-niente на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры... увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша... все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии... В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим разъединения, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы...»

«...Утром, после чая Искандер шел обыкновенно в свой кабинет работать, и все рассыпались в парке...» «Перед обедом все сходились. Искандер являлся после своих занятий еще живее и веселее обыкновенного, обед был шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчер ликовал — он был в своей сфере, откупоривая с шумом бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самых непрерываемых, одушевленных и пылких речей, нередко продолжались до самого рассвета. Все кипели молодою жизнию». В обязанности дам входило принять гостей и позаботиться о каждом. По словам Анненкова, «обеды

устраивались на лугу перед домом почти колоссальные, и обе хозяйки — Н[аталья] А[лександровна], жена Герцена, и Е[лизавета] Б[огдановна] Грановская, уже привыкшие к наплыву посетителей, справлялись с этою толпой неимоверно ловко». Михаил Семенович Щепкин имел обыкновение с раннего утра уходить далеко в лес за грибами. К обеду он непременно появлялся и обязательно с кузовком набранных грибов.

Соколовская идиллия завершилась спорами. «Ноту разногласия» первым почувствовал Анненков. Ему, «свежему человеку» в кружке Герцена, просто на слух слышались эти диссонансы. Их не могли заглушить сатанинские раскаты кетчеровского смеха, остроты Герцена, ядовитые реплики Корша. И Анненков понял: «Всем необходимо было пропеть противную эту ноту поскорее вслух, чтобы войти опять в простые, откровенные отношения друг к другу. Это и не замедлило случиться».

Как-то, когда уже созрели хлеба и началась жатва, компания с Герценом во главе двинулась на прогулку в поля. Едва поравнялись с жнецами, кто-то, кто — Герцен не расслышал, то ли Кетчер, то ли Корш, — отпустил замечание по поводу того, что «изо всех женщин одна русская не перед кем не стыдится и одна, перед которой также никто и ни за что не стыдится».

Грановский остановился.

— Надо прибавить, — сказал он, — что факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе.

Кетчер тотчас взвился.

— А если уж обобщать, Грановский, так ты бы лучше поставил себе вопрос: не участвовал ли сам народ в составлении наших дурных привычек и не есть ли наши дурные привычки именно народные привычки?

Грановский в ходе спора произнес имя Белинского, и всем стало ясно, что именно Белинский, его непримиримость в борьбе со славянами и были истинной причиной спора. Неудивительно поэтому, что Грановский бросил фразу: «Во взгляде на русскую национальность... я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому». Грановский, да и не только он, не понимали, что крайности, в которые в ходе полемики впадал Белинский, — это только проявление его политического темперамента.

Герцен же записал в дневнике еще 14 ноября 1842 года: «Фанатик, человек экстремы (крайностей. — *В. П.*), но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет... Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них ничего, убеждение все». Но «крайностью» было и обвинение, брошенное Белинскому его противниками, обвинение в космополитизме, холопстве перед Западом. А между тем Белинский без устали повторял: «Я литератор... Литературе расейской моя жизнь и моя кровь». И все его помыслы были устремлены прежде всего к России, ее будущему.

Если рискнуть и «графически» изобразить идейный путь Герцена, то 30-е годы будут выглядеть на диаграмме в виде ломаной линии, отражающей своими отрезками увлечение Герцена вопросами по преимуществу политическими и социальными, утопическим социализмом и нравственным развитием человечества, 40-е годы — это уже не ломаная, а прямая восходящая — углубленное изучение проблем философских. Без философского осмысления всех явлений природы и жизни общества Герцен не считал возможным приступить к «практическому действованию». Философия — фундамент освободительной борьбы, «алгебра революции» в широком понимании этой крылатой фразы Герцена, сказанной в адрес логики Гегеля.

«Письма об изучении природы» — главный философский труд Герцена. Они печатались в «Отечественных записках» на протяжении 1845—1846 годов. Уже после смерти Герцена Огарев говорил: «Это было в России первое слово, которое сбивало разом тупоумие всякого правительственного строя. Цензура их пропустила, потому что всего их значения не поняла». Позднее Плеханов, цитируя места из «Писем» Герцена, признавался: «Под впечатлением всех этих отрывков легко можно подумать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй половине 70-х, и притом не Герценом, а Энгельсом. До такой степени мысли первого *похожи* на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть, и Маркса».

В. И. Ленин высоко оценил первое «Письмо» Герцена: «Первое из «Писем об изучении природы» — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 году, показывает

нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов». И в той же статье «Памяти Герцена» Ленин резюмирует: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».

Первое письмо писалось в селе Покровское-Засекино в конце июня — июле 1844 года. Писалось оно не в деревенской тишине, которую так любил Герцен, а в перерывах между веселыми чаепитиями и прогулками с участием гостей — Щепкина, Елизаветы Богдановны Грановской, Марии Каспаровны, Зонненберга. Герцен, набрасывая это первое письмо, пристально изучает работу Фихте «Назначение человека» и «Историю натурфилософии от Бэкона до Лейбница» Шиллера. В дневнике он делает критические записи по адресу этих исследователей. «Отвлеченное умозрение», — пишет он о Фихте. «Скучная книга», «Какая необъятная разница с Фейербаховой историей» — это о Шиллере. Гегелевская же «Энциклопедия философских наук» приводит Герцена в восторг. Перечитывая творение Гегеля, Герцен «открывает целую бесконечность нового».

К концу июля «Письмо первое» вчерне готово. и Герцен начинает подбирать материал к «Письму второму» — «Наука и природа — феноменология мышления». В послании к Грановскому Герцен признается, что «проблема так сложна», что он и не знает, как «справиться с нею».

Вернувшись в Москву, Герцен взялся за «Лекции по истории философии» Гегеля и уже во второй половине сентября — начале октября набрасывает «Письмо третье» — «Греческая философия». Но он не забывает и первых двух, ведь они были написаны вчерне. Он сообщает Кетчеру, что занимается статьей, которую «начал в Покровском».

8 февраля 1845 года Герцен отправил в «Отечественные записки» первые два «Письма об изучении природы». Работа над остальными письмами продолжалась.

И здесь, наверное, уместно несколько отвлечься от истории создания Герценом «Писем об изучении природы» и обратиться к его «Дневникам» за 1842—1845 годы.

Дневники Герцена — это не отрывочные записи на память и тем более для прочтения посторонним. Без дневников невозможно понять идейное развитие самого Герцена, его философских, социальных, политических, исторических концепций, энциклопедический круг его интересов. Отношение Герцена к славянофилам и либералам-западникам, размышления о судьбах русского народа и вообще славян, а также критические заметки о состоянии современной Европы и Америки, европейской цивилизации и новейших учений западных социалистов-утопистов. В дневнике запечатлены образы многих людей, с которыми сталкивался Герцен. Потом их выпуклые портреты найдут свое место на страницах «Былого и дум», в художественных произведениях Искандера. Равно как заметки относительно философских размышлений будут развернуты в статьях «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы». Для биографов Герцена дневники не только первоисточник знаний о повседневной жизни Герцена, его настроениях, их частой смене, но и существенное пособие, с помощью которого возможно прокорректировать некоторые страницы автобиографии Герцена. Именно по дневникам прослеживается ход создания Герценом его главнейших философских работ, повестей и романов, написанных в 1842—1845 годах.

Работая над «Письмами об изучении природы», Герцен вновь взялся за изучение проблем естествознания. Отвечая на неизвестное нам письмо Сергея Ивановича Астракова, Герцен благодарит его за присланные книги и признается: «Я совершенно отстал от физики и химии, впрочем, и прежде органическая природа несравненно ближе лежала к душе».

3 октября 1844 года Герцен записал в дневнике: «Постоянно занимаюсь чтением Гегелевой истории философии и статьей. Начал ходить к Глебову на лекции, читает прекрасно сравнительную анатомию и анатомию человеческого тела». Герцен не просто слушает лекции Ивана Тимофеевича Глебова, в то время заведовавшего двумя кафедрами Московского университета — на медицинском факультете кафедрой зоологии, а на естественном — сравнительной анатомии и физиологии. Александр Иванович стремится сам участвовать в экспериментах. 14 февраля 1845 года он описал один из таких экспериментов по вскрытию «живой собаки». Из дневниковой записи от 8 октября проявляется и смысл его занятий естество-

знанием: «Надобно, — пишет Герцен, — обратить побольше внимания на естественные науки, ими многое уясняется в вечных вопросах».

Герцен не был одинок в своих поисках ответа на вопрос о соотношении естественных наук и философии. Об этом свидетельствует письмо Огарева к Герцену от 15 сентября 1844 года (окончание послания, начатого еще 13-го). «Ты хочешь приняться за естественные науки, и я намеревался с открытия лекций следовать по оной же части». К пониманию необходимости углублять свои знания в области наук естественных Герцен и Огарев пришли каждый своим путем. Но ведь не случайно Огарев говаривал: «Путь наш был один». И Герцен записывает в дневнике после получения этого письма: «...я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое».

В декабре 1844 года пишется «Письмо четвертое» («Последняя эпоха древней науки») из числа «Писем об изучении природы».

Продолжению усиленных трудов над «Письмами» во многом способствовал и прием первого философского цикла статей Герцена «Дилетантизм в науке». 13 января 1845 года он записал в дневнике: «Иван Васильевич Павлов рассказывал, как были приняты студентами мои статьи в «Отечественных записках», — признаюсь, мне было очень весело слышать, большей награды за труд не может быть».

«Письма об изучении природы» публиковались «Отечественными записками» не разом. Дело в том, что когда журнал в конце марта 1845 года опубликовал первые два «Письма», то у Александра Ивановича было почти готово лишь третье, а четвертое он послал Краевскому только в мае, перед отъездом на дачу в Соколово. Над пятым «Письмом» («Схоластика») еще предстояло много потрудиться. В Соколове в июне пишется и шестое «Письмо» («Декарт и Бэкон»), завершается работа над седьмым «Письмом» («Бэкон и его школа в Англии»).

Нет надобности прослеживать помесячно работу Герцена над своим главным философским сочинением. Эти «этапы» важно зафиксировать только для того, чтобы еще и еще раз подчеркнуть, как Герцен умел жить «во все стороны». Ведь, работая над «Письмами», он одновременно и «ратовал» со славянофилами. Это требовало не только времени, физических сил, но огромного умственного напряжения, необходимости следить за всей выходящей журнальной продукцией. А тут еще и дела домашние. Дача в Соколове, так же как и в прошлые годы в Покровском, не стала уединенным местом. Не проходило и дня, чтобы там кто-либо не гостевал, и обычно гостей было множество. Они оставались там не на день, два, а жили неделями. И ни один из них не мог пожаловаться на невнимание хозяина. Удивительная собранность и целеустремленность Герцена восхищала всех, кто соприкасался с ним в эти соколовские летние месяцы.

Восьмым письмом о «Локке, Юме и энциклопедистах» Герцен и завершает свою работу. К этому времени (ноябрю 1845 года) были уже опубликованы в «Отечественных записках» первые шесть писем. Мысль, пронизывающая почти все «Письма об изучении природы», — это стремление убедить, доказать, привить понимание, что философия и естествознание суть единый союз. Это не отвлеченный тезис, а жизненно важный момент для развития как науки, так и философии, развития, в котором прежде всего заинтересовано общество. Наука и философия — это главный предмет размышлений Герцена.

Эмпирия вне философии: «сборник, лексикон, инвентарий», но и философия, не опирающаяся на эмпирии, «частные науки» — «призрак, метафизика, идеализм». И как общий вывод — «философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии». Герцен утверждает, что «наука одна; двух наук нет, как нет двух вселенных». Он рисует образ ветвящегося дерева, здесь все между собой связано: ветви — это «частные науки», но и они принадлежат целому. «Отнимите ветви — останется мертвый пень, отнимите ствол — ветви распадутся». Таким образом, научная философия — «единство частных наук... они — ее питание».

Герцен на протяжении многих лет не мог отделаться от многих «предрассудков», порожденных «романтизмом», как он именует религиозные верования и воззрения. Но в цикле писем, решая основной философский вопрос об отношении бытия к мышлению, Герцен целиком становится на позиции «реализма», то есть материализма. И Герцен как материалист критикует несостоятельность идеалистических систем. Причем эта критика ведется в процессе исторического рассмотрения философских школ,

начиная с греков и кончая XVIII веком. «Идеализм — не что иное, как *схоластика протестантского мира»*. Идеалисты растворяют природу в разуме, отрывают сознание от бытия. Все эти решения не научные.

Герцен не последовал за метафизическим материализмом Фейербаха и, отмежевываясь от него, свой материализм он называет «реализмом». За основу всех явлений он берет диалектику и именно диалектически подходит к понятию «материя», к движению ее. «Если вы на одно мгновенье остановили природу, как нечто мертвое, — вы не токмо не дойдете до возможности мышления, но не дойдете до возможности наливчатых животных, до возможности поростов и мхов; смотрите на нее как она есть, а она есть в движении; дайте ей простор, смотрите на ее биографию, на историю ее развития — тогда только раскроется она в связи». Человек — часть природы, без человека «природа не заключает в себе всего смысла своего, — в этом ее отличительный характер». «История мышления — продолжение истории природы». Этот вывод о единстве бытия и мышления Герцен подчеркивает.

Как материалист и диалектик подходит Герцен и к вопросу о познаваемости мира. «Опыт и умозрение — две необходимые, истинные, действительные степени одного и того же знания». Знания отражают действительность, отражают правильно. Но природа движется, развивается, значит, и наше знание находится в развитии.

Герцен говорит и о соотношении абсолютной и относительной истин, материалистически утверждает, что абсолютная истина складывается из множества относительных. Все эти выводы были новым словом в философии домарксова периода.

Герцен не смог свои материалистические взгляды, диалектику применить к жизни общественной. Он не понял социальной обусловленности познания, формирования его в процессе трудовой деятельности человека, ее исторической трансформации. Несмотря на целый ряд неверных, по существу идеалистических воззрений, «Письма об изучении природы» были величайшим завоеванием русской философской мысли.

Белинский чрезвычайно высоко оценил «Письма». В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он отдал седьмому и восьмому письмам цикла пальму первенства перед всеми «интересными статьями ученого содержания», опубликованными в «Отечественных записках» в отделе науки. Чернышевский резюмировал очень точно: «Деятели, стоявшие тогда (в 40-х годах XIX века. — *В. П.*) во главе нашего умственного движения (имеются в виду Герцен и Белинский. — *В. П.*), конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях... С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету...»

В № 12 «Отечественных записок» за 1845 год были опубликованы четыре главы первой части романа Герцена «Кто виноват?». А в № 4 за 1846 год тот же журнал публикует последующие V, VI, VII главы.

Появление первой части «Кто виноват?» вызвало большой интерес у читателей и принесло Герцену удовлетворение, которое и «подвигнуло» его на продолжение работы. Вскоре был написан «Владимир Бельтов», иными словами, V—VII главы.

Белинский 6 апреля 1846 года писал Герцену после их публикации: «Я... окончательно убедился, что ты — большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать».

Работа над романом второй его части прервалась написанием повестей «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов». Когда Белинский оставил «Отечественные записки» и перешел в «Современник», он уговорил Герцена опубликовать обе части романа отдельным изданием как приложение к «Современнику», что и было сделано.

Роман Герцена был обращен против главного зла русской жизни — крепостного права. Главы, где описывается «житье-бытье» помещиков, чиновников, Негрова и его супруги, семейная жизнь дубасовского предводителя, написаны с сатирическим блеском, присущим Герцену.

Проблемы семьи, положение женщины в обществе неизменно волновали Герцена, равно как и судьбы русской интеллигенции. Владимир Бельтов именно тот интеллигент, который обладает «ширью понимания», таит в себе «страшное богатство сил», но он в условиях крепостнической действительности не может стать борцом с этим обществом. В романе Герцен создает обаятельный образ

Любоньки Круциферской. Как отмечал Горький, это «первая женщина в русской литературе, поступающая как человек сильный и самостоятельный». Но и она бесправна, как женщина прежде всего, как бесправны все, кто не принадлежит к миру «негровых». Муж Круциферской — разночинный интеллигент, но Герцен не видит в нем человека будущего. Все симпатии писателя на стороне Бельтова.

Роман произвел «большую сенсацию», как признается сам автор.

Некрасов в анонимной рецензии на книгу «Музей современной иностранной литературы», напечатанной в № 4 «Современника» за 1847 год, отмечает: «Редко является произведение, которое самим делом напомнило бы публике о существовании русской литературы, ее процветании, возмужалости и других похвальных качеств, охотно за ней теперь признаваемых... Мы говорим о романе г. Искандера «Кто виноват?»...» Но самым дорогим для Герцена был отзыв Белинского, который в обзоре «Русская литература в 1845 году» писал: «Автор повести «Кто виноват?» как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения».

Наталья Александровна уже со страхом ожидает рождения очередного ребенка. 30 декабря, в канун Нового, 1846 года на свет появилась девочка. Ее назвали Елизаветой и тут же дали домашнее уменьшительное — Лика.

6 мая 1846 года умирает Иван Алексеевич Яковлев. По завещанию отца Герцен становится богатейшим наследником, владельцем нескольких домов в Москве и огромного капитала. Не забыл Яковлев и Луизу Ивановну, она тоже получила $^1/_3$, третьим наследником был Егор Иванович.

В начале 1846 года Белинский окончательно решает покинуть «Отечественные записки» и перейти в «Современник». Это решение Виссарион Григорьевич сообщает Герцену под секретом еще в январе. И Александр Иванович круто пересматривает свои отношения с Краевским. Он не будет в дальнейшем сотрудничать в этом журнале.

В «Современнике» в начале 1847 года появляется статья Герцена «Новые вариации на старые темы», много

позже включенная им в цикл «Капризы и раздумье». По мысли к этим же статьям примыкают и «Несколько замечаний об историческом развитии чести» (1843—1848). Все эти статьи развивают этические взгляды, всегда занимавшие Герцена, вопросы становления личности, соотношение «частного» и «общего». Герцен всю жизнь стремился найти гармоническое слияние этих двух начал. Он считал, что для развития личности, для жизни «во все стороны», полнокровной, нужно прежде всего произвести «расчистку человеческого сознания от всего наследственного хлама», покончить с предрассудками, укоренившимися за вековое господство рабства. Нужно раскрепостить человека. Человек должен приобщить свое личное бытие к «универсальной жизни». Герцен в статье очень прозрачно намекает на революционное значение своей этики и морали.

Две повести — «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» Герцен предназначал для альманаха Белинского. Обе они были написаны очень быстро: в январе 1846 года завершена «Сорока-воровка», в феврале «Доктор Крупов». Получив «Сороку-воровку», Белинский извещает Герцена: «Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление...»

Альманах так и не состоялся. Повесть пролежала два года и была напечатана в «Современнике» в феврале 1848 года.

«Сорока-воровка» — это рассказ о великолепной русской крепостной актрисе. Рассказу предшествует несколько утрированный спор трех молодых людей, спор о положении русской женщины в обществе. Спорят «молодой человек, остриженный под гребенку», другой — «стриженный в кружок» и третий — «вовсе не стриженный».

«Стриженный в кружок» — славянофил, он считает, что «славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы». «Вовсе не стриженный» — либерал, «европеец», он «презрительно говорит о неразвитости русской женщины». «Стриженный под гребенку» — это сам автор (который, кстати, так и стригся) — возражает: наоборот, в России мужчина, чиновник, военный, не имеет столько досуга, сколько женщина, а та читает и думает. В русском народе, в русской женщине, в частности, скрыты огромные творческие силы. Далее следует рассказ о крепостной актрисе

Анете, сумевшей и в рабстве возвыситься до такого понимания самых сокровенных человеческих чувств и переживаний, до которых не додумались авторы «Сороки-воровки» — западноевропейские драматурги Кенье и д'Обиньи. Но это дарование топчется крепостником-князем. Он не может перенести духовное превосходство своей холопки. А она, гордая, предпочитает гибель свою и своего ребенка холопству. Это трагедия всего русского народа, но в то же время повесть эта — свидетельство веры Герцена в рост народного самосознания, в моральные силы тех, кого и за людей-то не считают графы Каменские.

«Доктор Крупов». «О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности. Сочинение доктора Крупова» — таков подзаголовок этой, в сущности, не сюжетной, а «философской повести». Доктор Крупов в крепостнической России, да и в буржуазном Западе, видит «очень удовлетворительные симптомы» безумия. Все порядки России и Запада — это порядки сумасшедшего дома. Через восприятие доктора Крупова Герцен рисует так хорошо ему известные картины жизни провинциального города, который-то и «возник собственно для удовольствия и пользы начальства». Эта повесть — своего рода памфлет, продолжение сатиры Грибоедова и предтеча сатирических образов Щедрина. Но доктор Крупов не только скептик, он доктор, он знает рецепт излечения «родового безумия человечества» — «истина», «точка зрения», иными словами, нужно трезво смотреть на окружающую действительность и перестраивать ее. «Доктор Крупов» потому и был так быстро написан Герценом, буквально в две недели, что этот образ, высказывания Крупова о сумасшествии рода человеческого были выношены Герценом, идеи повести как бы откладывались во времени. И в «Записках одного молодого человека» и в «Сороке-воровке» Герцен говорит об умственной поврежденности малиновцев, судей и т. п. «Доктор Крупов» появился в «Современнике», в 9-й книге за 1847 год.

Старый врач Семен Иванович Крупов был знаком читателям еще по роману «Кто виноват?». «Крупов восхитителен», — отзывается Белинский. Грановский назвал повесть «просто гениальной вещью. Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер во времена оно и сколько теплоты и поэзии».

Образ доктора Крупова еще несколько раз всплывет в более поздних сочинениях Герцена.

В конце апреля 1846 года в Москву приехал Белинский. Вместе с Щепкиным он был намерен отправиться на юг, в Крым. Герцен с грустью отметил, что Виссарион Григорьевич очень сдал, нехорошо кашляет. Проводы вылились в дружескую пирушку в доме Щепкина, которая потом продолжалась по дороге. Белинского провожали 16 человек, и Герцен на протяжении всего времени говорил «неумолкаемо, со свойственным ему блеском и остроумием», так что Корш напомнил, что в Москве нельзя ездить, не подвязав колокольчик «под виски», а с Герценом, который неумолчно звенит, они рискуют попасть в околоток. Перед отъездом Герцен вручил Белинскому 500 рублей на лечение и предложил еще 3 тысячи, которые передаст в любое время.

Это лето также проводили в Соколове. Герцен снял для себя целый дом, Грановские разместились во флигеле, а вернувшийся из-за границы Огарев занял антресоли во флигеле.

Уже через несколько дней Герцен почувствовал, что «наша villeggiatura (дачная жизнь. — *В. П.*) не удалась...» Как и в прошлом году, в Соколово наезжали Корши, опять гостили Некрасов и Панаев. «Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов». Однажды за обедом Грановский похвалил недавно опубликованное в «Отечественных записках» восьмое «Письмо» «об Энциклопедистах» («Реализм»), из «Писем об изучении природы». Герцен не удержался:

«— Да что же тебе нравится? Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

— Твои мнения, — ответил Грановский, — точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов... Ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться...»

Слово за слово. И вот уже Грановский меняется в лице, мрачнеет Огарев. Они договорились до бессмертия души. Герцен и Огарев отрицают бессмертие, Грановский резко заявляет: «Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо».

Огарев назвал это бегством от несчастья. Грановский весь как-то сжался: «Вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах...»

«После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело, до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль, но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали... Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни». Разлад в кругу друзей был неизбежен, ведь Герцен в эти годы все дальше и дальше отходил от либеральных иллюзий, заметно сближаясь с революционно-демократическими воззрениями Белинского. Для Натальи Александровны разрыв с друзьями был целой трагедией. И она не скоро от нее оправилась. «Последнее лето, — пишет Т. А. Астракова, — проведенное Наташей в Соколове, было для нее пыткой. Я часто бывала у нее и всегда заставала больной, измученной, в слезах. На мои вопросы, что с нею, она отвечала: — Пора нам, друг мой, уехать! Все распалось, все рухнуло, отдохнуть надобно. Видишь ли, все как-то невзлюбили нас, за что? не знаю. Может, и за дело, но никто не высказывается искренно. Один честный, благородный Грановский сказал, что его возмущает себялюбие Александра. Может, он и прав; но, несмотря на это, тяжело хоронить свои привязанности...»

Герцен очень точно охарактеризовал причину этого размежевания: «Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?..»

Герцен давно уже подумывал о том, что было бы хорошо побывать за границей, подлечить Наталью Александровну. «Шесть месяцев тому назад, — писала Наталья Александровна в октябре 1846 года, — все мы протягивали друг другу руки, хотелось еще думать, что нет в свете людей ближе между собою... теперь даже и этого никому не хочется... Разошлись по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше».

Уехал осенью 1846 года в пензенское свое имение и

Огарев. Белинский и Щепкин еще не возвращались из Крыма. Герцен едет в Петербург хлопотать о снятии с него полицейского надзора. И вот в ноябре 1846 года это свершилось. Теперь можно и в путь. Паспорта на выезд для себя, жены, детей и матери получены. И все же он медлит с отъездом, напоминая больного, которому трудно расставаться со своими недугами. А его недуги — это недуги России, ее беды, боль ее народа. Но разве он уезжает навсегда? У Герцена в мыслях того не было — остаться на Западе. Посмотреть на Запад, убедиться воочию, какова там свобода, о которой так много и так красочно пишут западные историки и публицисты. И обратно домой, в Москву, в Россию, к своему народу, целить его недуги, бороться за его свободу.

Печальными оказались сборы в путешествие, о котором мечтали столько лет. 27 ноября 1846 года умерла Лиза. Умерла, не прожив и года. Наталья Александровна словно окаменела. Нет, она не плакала, не плакала даже на похоронах, но ни хлопоты по поводу предстоящей поездки, ни внимание друзей не могли отвлечь ее от мысли об умершей дочери. Иногда Наталья Александровна повторяла слова, сказанные сразу после возвращения с Новодевичьего кладбища: «А как Лизе-то холодно теперь — и мне холодно без нее».

Татьяна Алексеевна Астракова впоследствии вспоминала, что «отрадно было видеть, что всякая вражда между друзьями смолкла». Это не совсем верно. Астракова видела проявление любви и дружбы к отъезжающим в те дни, когда Герцены уже наносили прощальные визиты. Конечно, в минуты отъезда все старались казаться любящими. Но та же Астракова в тех же воспоминаниях несколькими страницами дальше пишет: «В мужском кружке воспоминание о Герценах было очень горячо, и мне тогда казалось оно совершенно искренно. Впоследствии я убедилась, что искренность была на стороне *немногих»*.

18 января вечером весь круг знакомых Герценов собрался у Грановского. Это был прощальный вечер. Приехали Корши, Кавелины, Мельгунов, Боткин, Редкин, Кетчер с женой, Щепкин, брат Астраковой Сергей, сама Татьяна Алексеевна. И, что особенно порадовало Герцена, Чаадаев. «Странный это был вечер!.. Дамы сидели как-то отдельно, кучками, и тихо, печально разговаривали, мужчины ходили взад и вперед по комнатам, то пара-

ми, то сходились вместе, перебрасываясь незначительными фразами, — всем было как-то не по себе, точно съехались на похороны и ждут выноса...» За ужином Герцен поднял первый тост «за старшего из нас, за Чаадаева». Затем Наталья Александровна взяла бокал с шампанским и сказала: «Друзья! Пью в благодарность за вашу дружбу и дай бог, чтобы мы увиделись снова так же горячо любящими друг друга, как расстаемся. Прощайте!..»

На следующий день, 19 января, снова собрались, теперь уже в опустевшем доме Герцена, чтобы усесться в тройки и проводить отбывающих до станции Черная грязь. Кортеж был внушительный. Когда брат Астраковой заказывал 15 троек, то ямщики удивились: «Вот так проводы! Да так только царей провожают...» И, как всегда, впереди, квартирмейстером, выехал вездесущий Зонненберг. В зеленом егерском костюме, в папахе и даже с кинжалом за поясом, он был «смешон в своем необыкновенном безобразии». С ним отправили провизию, несколько дюжин шампанского, чтобы еще раз сойтись за столом на станции Черная грязь.

После прощания дома, традиционной минуты молчания сидя, часа в три тронулся санный поезд. А в гостинице при станции их уже дожидались с ужином. И снова шампанское (его не хватило, и пришлось покупать втридорога), слова о любви, дружбе. И, немного захмелевшие, расселись по тройкам, чтобы разъехаться в разные стороны. Разъехаться навсегда. С Герценами за границу уезжали Мария Каспаровна Эрн и Мария Федоровна Корш. До границы их провожали Зонненберг и кормилица трехлетней Таты.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

«...Я отворил старинное, тяжелое окно в Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна —

...с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix. В *Париже* — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «á la Bastille!» Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова — вот rue St.-Honoré, Елисейские поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин... Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом. Я был вне себя от радости!» Нетрудно понять радость Герцена. Париж был для него «великим городом Революции», Парижем 89-го, 93-го года. Городом вне сравнения. «Берлин, Кельн, Брюссель — недурно их посмотреть, но можно обойтись и без этого». Париж совсем иное дело.

Он в Париже? А ведь при получении заграничных паспортов и речи не было о Париже. Просто заграничная поездка в Германию и Италию для лечения жены. Что ж, она начиналась с непозволительного, с точки зрения русского начальства, нарушения... Герцен с улыбкой вспоминает о том, как была получена виза во Францию. Ничего особенного, никаких ухищрений, обманов. Просто в Берлине, в консульстве, его спросили о маршруте, и он сказал: в Милан, но через Париж. И, право, это кратчайший путь!

Этот первый день в Париже длился и следующую ночь. Когда поздно вечером Герцен, веселый, усталый

и голодный, вернулся в отель, то застал Наталью Александровну возле расстегнутых баулов, чемоданов, несессеров. Вид у нее был растерянный. Из Москвы до Парижа они добирались два с половиной месяца. И каждый город нашел свои «отложения» в багаже. Буклеты, книги, литографии и даже отдельные номера газет лежали на столах, сползали с пуфиков.

Разъехавшаяся пачка книг... «Кто виноват?». Куда девался один экземпляр? Здесь, за границей, их нужно беречь. Наталья Александровна напомнила, что одну книгу он подарил Юрию Федоровичу Самарину в Риге. Натали смеется... Так ведь это же карикатуры на Николая I! Герцен накупил их целый запас в Кенигсберге. Кажется, именно там, в этом городе, они впервые отдохнули от двенадцатилетних преследований. Карикатуры красовались в витрине книжной лавки. И было много солнца, и был еще снег, но он почему-то не напоминал угрюмые вятские сугробы или снежную пустыню замерзшего Волхова. А забавное приключение? Он так и не признался Наташе в том, что случайный пассажир дилижанса, первый, с которым он беседовал за рубежом, и о чем... «о строгости полиции в России», прощаясь, представился: «из центральной полиции». Шпион!

В Берлине они застряли на три недели, и Герцен побывал у немецких знаменитостей Диффенбаха и Крамера в институте глухонемых. Знаменитости не скрыли своего пессимизма в отношении Коли.

Берлин задержал Герцена и потому, что именно в Берлинском университете преподавали Фихте и Гегель. Герцен заходил в университет, изучал расписание занятий. В берлинском Королевском театре они посмотрели постановку трагедии Мюльнера «Вина». Герцену она не понравилась. Иное дело публика. Она по большей части состояла «из работников и молодых людей», в антрактах все «говорили громко и свободно»...

Пора бы и спать. Что значит привычка — дилижанс не так измучил, как поезд. Из Берлина они впервой ехали по настоящей железной дороге. После Берлина был Кёльн, потом Бельгия, Антверпен, море.

Можно хорошо себе представить, как однажды погожим весенним днем 1847 года в салончике квартиры на улице Комартин, 41 появился некий господин в долго-

полом сюртуке, с длинными, зачесанными назад волосами, но такой живой, вертлявый, что хозяин салона сразу же почувствовал опасение за безделушки, которые так легко сбросить со своих мест развевающимися полами сюртука. Хозяином был Павел Васильевич Анненков, гостем Александр Иванович Герцен.

Анненков уже более года скучал в Париже, не умея себе найти «дельного занятия», а тут такой гость! И конечно же, Герцен более всего интересовался, что ныне собой представляет Франция? Но Анненков не был склонен к серьезным разговорам. Скорее к друзьям, на улицы, в кафе!

Первые дни в Париже прошли более чем шумно и бестолково. Hôtel du Rhin, где по приезде остановились Герцены, не был приспособлен для того, чтобы в нем собиралась русская компания. И Александр Иванович позаботился о том, чтобы снять удобную и обязательно «барскую квартиру». Прав был В. П. Боткин, когда после отъезда Александра Ивановича за границу писал А. А. Краевскому: «Герцен, несмотря на свой блестящий и глубокий ум, в делах житейских — чистый ребенок, беспрестанно поддающийся то тому, то другому влиянию. Вы не можете себе представить, как в этом человеке слаб характер и сколько лежит на нем московской, буршекозной жизни. Авось с этой стороны путешествие исправит его».

В середине апреля квартира наконец найдена на Avenue Marigny, 9 на втором этаже. Это Елисейские поля, бульвар около дома, а за ним большая тенистая роща. Луиза Ивановна вместе с Марией Каспаровной и Колей, приехавшие несколько позже из Германии, жили отдельно, но неподалеку...

Герцен был словно из железа скован. Он по-прежнему, как и в России, спал 4—5 часов в сутки, а остальное время — кафе, музеи, салоны друзей, театры. Вскоре по приезде Герцен познакомился с Георгом Гервегом. У Александра Ивановича было к нему рекомендательное письмо Огарева. «Он его знал во время его пущей славы. Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными. особенно художники. Я застал Гервега в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым и скоро познакомился больше фамильярно, чем близко». Это из «Былого и дум» уже

плод и пережитого и передуманного. Не совсем так было в 1847 году...

Георг Гервег родился 31 мая 1817 года * в семье состоятельного трактирщика, видимо, очень искусного, так как его порой сравнивали с известным французским ресторатором Вателем. Пятнадцати лет его отдали в духовную семинарию. Семинария находилась в руках пиетистов — тех же иезуитов, но только протестантского толка. Преподавание в семинарии, особенно древних языков и литературы, было поставлено отменно. Гервег изучил древнегреческий, латынь и даже древнееврейский языки. Он хорошо знал и немецкую классику. Позднее Гервег переезжает в Тюбинген для изучения богословия; посещает юридический факультет, но в 1837 году оставляет и его.

В то время в Вюртемберге Августом Левальдом издавался журнал «Европа», а также приложения: «Альбом для будуаров», «Лирический альбом» и др. В этих альбомах и появились первые стихотворения Гервега. 1840 год застает его в Цюрихе.

Впоследствии многие, и в том числе Герцен, отказывали Гервегу в поэтическом даре. И были не правы. В 1841 году в Цюрихе Гервег выпускает сборник «Стихи живого человека». Стихи были достаточно злободневны. Гервег становится поэтом политическим. Немецкая бюргерская фронда подняла его на щит. Гервега стали сравнивать с Гейне. Гейне был невысокого мнения о поэтических достоинствах Гервега, но все же назвал его «железным жаворонком», чем Георг очень гордился.

Осенью 1842 года «железный жаворонок» совершает триумфальное турне по немецким землям. Куда бы Гервег ни прибывал, всюду его встречают банкетами, серенадами. Гервег мимоходом знакомится с Карлом Марксом. Но в столице Пруссии происходит неожиданное... Радикала, демократа, «друга» Маркса пожелал принять у себя прусский король Фридрих-Вильгельм IV. Гервег польщен и растерян. Королевские ласки обернулись Гервегу тем, что от него отвернулись почитатели. В 1842 году Гервег познакомился с Бакуниным. Баку-

* В этой части книги все основные даты приведены по Григорианскому календарю. Но в ряде случаев, когда это касается событий русской жизни, даты указаны по Юлианскому календарю. В некоторых же случаях дается двойная датировка.

нин прямо-таки боготворит поэта, готов следовать за ним хоть в Америку. А пока Михаил Александрович — свидетель на бракосочетании Георга Гервега с Эммой Зигмунт.

Эмма была дочерью богатейшего купца, торговца шелковыми товарами. Она заочно влюбилась в Гервега. Эмма не только знала его стихи, у нее хранились и его портреты. А Гервег был хорош собой. «Удивительно красивый мужчина, — свидетельствует один из его современников, — темные, шелковистые, уже слегка седеющие волосы, мягкая борода, пылающие глаза, смуглый цвет лица, кроткие черты и маленькие нежные руки». Эмма же не просто дурна, она безобразна. «Прусский унтер в юбке». Но у нее был характер и деньги, а Гервег, по словам Герцена, «беден как Ир». «Она была посвоему не глупа, — рассказывает Герцен, — и имела гораздо больше силы и энергии, чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала — но не то, что нужно, училась всякой всячине — не доходя ни в чем до зенита. Отсутствие женственной грации неприятно поражало в ней. От резкого голоса до угловатых движений и угловатых черт лица, от холодных глаз до охотного низведения разговора на двусмысленные предметы — у ней все было мужское». Эмма стала тенью своего мужа, преданной собакой, его трубадуром. «...Она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом, поправляла ему шейный платок, волосы и как-то возмутительно нескромно хвалила его... У них бывали и сцены иногда из-за этого, после ухода гостей». Но Гервег сносил эту «травлю любовью» ради удобств жизни, ведь он мог ни о чем не заботиться...

Но вернемся на Елисейские поля. Как складывался быт семьи Герцена? В «Письмах из Avenue Marigny», за которые Герцен засел буквально через два месяца по приезде, есть остроумные рассуждения о германской и французской кухне, слугах, парижских квартирах. Эти письма предназначались не только для московских друзей, но и для русских журналов и, прежде всего, для «Современника». Герцен писал их, имея перед глазами «красный призрак цензурных чернил», а потому за слугами и гастрономическими блюдами крылись размышления и наблюдения над политическими и социальными явлениями. Но в этих описаниях есть и картинки с натуры. Таково описание квартир, одну из коих и сняли Герцены: «Парижские квартиры чрезвычайно удобны, в какую цену ни возьмите — от 1000 фр. в месяц до 500 в год. Везде зеркала, занавески, мебель, посуда, мраморный камин, столовые часы, кровати с пологом, ковры, туалеты... в каждой комнате висит непременно шнурок. До него-то я и добираюсь. Шнурок идет в ложу консьержа или портье. Портье и вся семья его вечно готовы к услугам постояльцев...»

Московский барин оставался верен старым привычкам — без комфорта, без слуг он не смог бы жить. И какое перевоплощение произошло с Герценом уже через две-три недели пребывания в Париже! Исчез долгополый фрак, отросла бородка нужных очертаний, подстрижены волосы. Претерпела перемены и Наталья Александровна. По наблюдениям Анненкова, «из тихой, задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспитанию своей души... она вдруг превратилась в блестящую туристку...». Анненков заметил только внешние перемены, которые произошли с Герценом и его женой. Ему потом пришлось признать, что внутренне Герцен прибыл в Европу блестяще подготовленным к тому, чтобы во всей полноте воспринять все социально-политические интересы, волновавшие Париж. Герцен сделался «из зрителя и *галереи* участником и *солистом* в парижских демократических и социальных хорах... Он начинал *удивлять* людей, и немного прошло времени с его приезда, как около него стал образовываться круг более чем поклонников, а, так сказать, любовников его, со всеми признаками страстной привязанности».

После первых шумных дней в Париже, после театров, после изысканных обедов, начинающихся в восемь вечера и заканчивающихся в четыре утра, начались серьезные разговоры, причем сейчас же обнаружилось, что «мы строены не по одному ключу». Кто это «мы»? «Мы» — это Николай Сазонов, это Михаил Бакунин, Павел Анненков, старые московские друзья. Сазонов своим появлением в Париже обязан Герцену, так же как и Бакунин. Бакунина Герцен снабдил деньгами, а Сазонов, напуганный арестами Герцена и Огарева, уехал за границу и несколько лет провел в Италии. Когда дело о «дерзком песнопении» подзабылось, Сазонов вернулся в Москву, встречался с Герценом. Затем снова

уехал за рубеж и на сей раз уже навсегда. Еще в России до Герцена доходили слухи, что Сазонов ведет жизнь не по средствам, сильно кутит и даже ухитрился угодить в долговую тюрьму Клиши. В это не хотелось верить, Герцен считал Сазонова человеком с серьезными политическими интересами. В Париже Александр Иванович узнал, что Сазонов знаком с Карлом Марксом. Впрочем, это имя еще ничего не говорило Герцену.

Бакунин жил в Париже с музыкантом Адольфом Рейхелем. Однажды, зайдя на улицу Bourgogne навестить Бакунина, Герцен встретил там Пьера-Жозефа Прудона. Две его книги были прочитаны еще в России. Там же, у Бакунина, а вернее у Рейхеля, Герцен познакомился с известным естествоиспытателем Карлом Фогтом, будущим активным участником революции 1848 года в Германии. Но пока это только случайные встречи, случайные знакомства. Почти ежедневным гостем Герценов стал его старый московский товарищ Иван Павлович Галахов. Приходил он вместе с элегантной англичанкой Элизой Боуэн, которая была влюблена в него, а Галахов считал себя ее должником, так как Элиза выходила Ивана Павловича во время болезни. Наверное, из благодарности он и женился на ней 19 мая 1847 года. Герцен и Анненков как поручители жениха присутствовали на венчании в Петропавловской церкви при русском посольстве. Галахов был заядлым спорщиком, Герцен не уступал ему. И их пикировки часто заканчивались далеко за полночь. Изредка появлялся Иван Сергеевич Тургенев. В отличие от Герцена он сильно нуждался после ссоры с матерью, жил за городом, и часто ездить в Париж ему было не по средствам.

Анненков, с первых же дней пребывания в Париже Герценов заявивший, что он готов быть их гидом, к маю выдохся. «Время бежит, — пишет он друзьям, — Г. крадет у меня дни за днями». Павлу Васильевичу не по силам было удовлетворить любознательность друга. Анненков кокетничает, конечно, ведь он все время пребывал в тяжких поисках какого-либо занятия.

Сазонов и Бакунин недовольны новостями, привезенными Герценом из России. Ведь они относятся больше к литературному и университетскому миру, а не к политике. «Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов». В свою очередь, Герцен жадно выспрашивал друзей о Франции, о надеждах на революцию, течениях революционной мысли. Из их ответов составить ясной картины политического положения Франции Герцен так и не смог.

А ведь Франция в 1847 году жила в состоянии предреволюционной лихорадки. Король Луи-Филипп только король, страной управляет финансовая аристократия. А это не вся буржуазия — это «банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы угольных копей, железных рудников и лесов, связанная с ними часть земельных собственников...». Так писал К. Маркс.

Средняя же буржуазия, по словам Ламартина, «скучала». Та же часть французского населения, которая работала на фабриках и в угольных копях, железных дорогах и на полях, не была еще готова к открытому революционному выступлению. Но оно уже не за горами. Это чувствовал Бакунин. И не случайно именно в это время он сблизился с К. Марксом, предвещавшим наступление поры революционных бурь. А вот Анненков не был с ним согласен, хотя он тоже не то чтобы знал Маркса, но сумел взять у него «интервью» о Прудоне и остался в переписке. Анненков не обладал большим политическим чутьем. Почти ежедневно общаясь с Герценом, подмечая все внешние метаморфозы его, он ошибся в главном. «Многосторонняя образованность Герцена начинала служить ему всю ту службу, к какой была способна, — он понимал источники идей лучше тех, которые их провозглашали, находил к ним дополнения и очень часто поправки и ограничения, ускользавшие от специалистов по данным вопросам. Он начинал *удивлять* людей». По мнению Анненкова, Герцен стремился за границей «нажить себе второе духовное отечество, так как первое уже лишилось своей притягательной силы».

Нет, не для этого Герцен прибыл в Париж. Анненков иронизирует в письме к Белинскому: «Герцен сейчас приехал и уже наполнил Париж грохотом желудочного своего смеха». А Герцен присутствует на заседании палаты депутатов во время полемики Одилона Барро с Франсуа Пьером Гийомом Гизо о прерогативах королевской власти в связи с отставкой министра финансов.

«... Надобно было видеть своими глазами презрительный тон Гизо, его вид, его отрывистую речь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, он противупоставлял свою талантливую дерзость — бездарной горячности Одилона Барро». Из парламента Александр Иванович едет на «маленькие балы, куда по воскресеньям ходят за десять су работники, их жены, прачки, служанки», а вечером — в кафешантанах Bal Mabille или Chalet, где «все пропитано сладострастием, где пульс бьется как-то не по-людски». В иные вечера Герценов видят в театральных ложах Palais Royal или на опере «Карл VI», в театре Théâtre Français на трагедии Расина «Гофолия» с участием Рашели. И снова он на политических дебатах, судебных разбирательствах. А из суда мчится в Théâtre Historique на инсценировку романа Александра Дюма «Королева Марго». Что это? Рассеянный образ жизни? Нет, Герцен обладал острой наблюдательностью, умением из самых разрозненных фактов воссоздавать полный, живой облик событий. Для него сейчас это главное. Так накапливался материал его будущих «Писем из Avenue Marigny».

Первое письмо помечено «Париж — 12 мая», последнее, четвертое, из этого начального и очень необъемистого цикла — «Париж, 15 сентября 1847 года». Сам Герцен охарактеризовал письма как «врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени». Форма писем — непринужденная беседа с московскими друзьями обо всем. И в Москве их так и восприняли — русский путешественник исповедуется. Не он ли сам говорит, что его переписка всегда была «какой-то движущейся, раскрытой исповедью». Таковой была и его публицистика. Даже «Доктора Крупова», а он был напечатан уже после отъезда Герцена за границу, Грановский воспринял как письмо от старого друга. Позже, издавая отдельной книгой «Письма из Франции и Италии», Герцен в предисловии напишет, что тон этих писем вначале был веселый, но он «скоро тускнеет — начинается зловещее раздумие и патологический разбор». Письма предназначались для печати, поэтому многое в них сказано языком Эзопа. Но о чем бы ни говорил в этих письмах Герцен, проницательному читателю было ясно одно — автор очень критически настроен по отношению к «торжествующему мещанству». Иными словами, к торжествующей европейской буржуазии.

В этих письмах много говорится о театрах. Со стороны почитать — меломан, и только. Но именно на примере театральной жизни Парижа Герцен иллюстрирует явления жизни общественности. В. П. Боткин, прочитавший частное письмо Герцена к Щепкину от 23 апреля, ровным счетом ничего не понял. А уразумев, о ком идет речь, либеральствующий западник восклицает: «Дай бог, чтобы у нас была буржуазия». Герцен же в своих письмах говорил об обратном. И вообще для него французские буржуа — «это бессмысленные дети великих отцов. Я хожу с непокрытой головой по кладбищу Pere Lachaise и не хочу кланяться людям без таланта, без энергии, без правил, называемых французами». Иными словами, «мещане», которых «можно не токмо не любить, но презирать». Грановский тоже поначалу не понял Герцена: «Письма из Avenue Marigny» мне не нравятся, хотя очень умны местами. В них слишком много фривольного русского верхоглядства. Так пишут французы о России».

Московские друзья проглядели главный вопрос, который Герцен поставил в этом письме: «... Остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж — Париж, стоящий за *ценс,* или Париж, стоящий за *ценсом;* это различие первой важности». Париж, «стоящий за ценс», — это Париж рантье, Париж торговцев. Это тот самый Фигаро, который еще недавно, до революции, стоял «вне закона», а теперь, во времена июльской монархии, вдруг сделался законодателем, «обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством». И Герцен восклицает: «Пора бы перестать разглагольствовать о корыстолюбии бедных, пора простить, что голодным хочется есть, что бедняк работает из-за денег... Дело совсем не в ненависти к деньгам, а в том, что порядочный человек не подчиняет всего им, что у него в груди не все продажное». Не продажны те, кто стоит «за ценсом». Они-то порядочны. Они любят своих жен и своих детей, они не развратничают втихомолку, они не ходят в театры на представления с сальностями, которые так привлекают буржуа. Народ ненавидит всех, кто уронил Францию «в глазах Европы». «...С тех пор, как все интересы их можно разменять на звонкую монету, с тех пор, как жизнь превратилась для них в средство чеканить деньги, народ возненавидел их тем более, чем ближе к ним стоит».

Герцен не обошел своим вниманием и социалистов-утопистов. Именно знакомство на месте, во Франции, с условиями жизни страны, ее классовой борьбой породило критическое отношение Искандера к утопистам. Герцен уже в 1847 году хотя еще смутно, но начинает понимать, какую роль в жизни общества играет экономика. Правда, он еще часто подменяет ее психологией. Но в «Письмах» Герцен называет утопистов «людьми какого-то дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем». «Люди, смелые на критику, — были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией». «Религия и поэзия» — эти слова свидетельствуют о непоследовательности Герцена. Непоследователен Герцен и в оценке современного положения Европы. То он пишет, что «будущности для буржуази... нет. Она теперь уже чувствует в своей груди начало и тоску смертельной болезни, которая непременно сведет ее в могилу». И вдруг: «... безнадежного, отчаянного ничего нет...» «Франция еще изворотится без радикальных средств, землетрясения, небесного огня, потопа, мора...» Это те добрые пожелания, тот неоправданный оптимизм, который, потерпев крушение в 1848 году, приведет Герцена к духовной драме.

Друзьям в Москве (во всяком случае, многим) казалось, что «Письма» просто шалость пера. Но они жестоко ошибались. Письма способствовали еще большему размежеванию в среде старых московских единомышленников. Действительно, стоило ли Боткину негодовать, если бы это было действительно шалостью? А вот Белинский горой встал на защиту Герцена. В 1847 году Виссарион Григорьевич был уже на последнем пороге жизни. Чахотка. На деньги друзей он уехал лечиться в Зальцбрунн. В начале июня Анненков поспешил туда же. Павел Васильевич писал, что Виссарион «не в отчаянном положении» и что он, Анненков, собирается захватить Белинского в Париж, чтобы показать его здесь лучшим врачам.

Вечером 29 июля 1847 года в сопровождении Анненкова в Париж приехал Белинский. Он остановился в отеле Мишо. Лишь только Герцен узнал о прибытии Белинского, он тотчас помчался в отель и услышал, как Белинский выговаривает Анненкову за то, что тот отказывается немедля свести его к Герцену, так как критик устал.

Едва завидев Герцена, Виссарион Григорьевич с места в карьер сообщил ему о полученном им от Гоголя вызове. И тут же прочел черновик своего ответа. «Во все время чтения уже знакомого мне, — рассказывает Анненков, — письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Г. шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

Еще до приезда Белинского Герцен в первом «Письме из Avenue Marigny» затрагивает очень важный для его русских друзей, да и противников тоже, вопрос — в какой мере передовые русские люди являются наследниками и восприемниками передовых идей Запада? И уготовлен ли России буржуазный путь развития, подобный тому, каким идет Европа? На эти вопросы Герцен не дает еще ответов. Но уже сама их постановка вызвала среди московских друзей споры.

В дни пребывания Белинского в Париже Герцен не прекращал работы над последующими «Письмами». И Белинский был первым слушателем и ценителем их. Конечно, не случайно, что, вернувшись в Россию, Белинский кинулся в бой, защищая Герцена и его «Письма» от критики бывших друзей. «Если и есть в письмах Герцена преувеличение — боже мой — что ж за преступление — и где совершенство? Где абсолютная истина?.. Я не говорю, что взгляд Герцена безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми. Но я знаю, владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором... Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости. Взгляни на литературу — что это такое? Все, в чем блещут искры жизни и таланта, все это принадлежит к оппозиции... к той оппозиции, для которой bourgeoisie — сифилитическая рана на теле Франции». Но Виссарион Григорьевич расходился с Герценом по двум и, надо сказать, кардинальным вопросам. Во-первых, Белинский считал, что проблемы Европы не всегда и не целиком

затрагивают Россию, хотя и являются и ее проблемами. «Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно... Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль донкихотов, горячась из них... У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения». Это и понятно, в России кардинальным вопросом ее общественного и политического бытия был вопрос о крепостном праве, а не о дальнейших путях развития капитализма и его будущем. И, *во-вторых*, Белинский, этот первый революционер-демократ, разночинец, был более чуток, нежели Герцен, к проблемам развития капитализма вообще. Если Герцен стал несколько позже родоначальником теории крестьянского социализма, предтечей народнических доктрин, отрицавших капиталистический путь развития России, то Белинский смотрел на это иначе: «Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества». Он полагал, что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази».

Сколько раз в квартире Герцена шли споры о его письмах и особенно о роли буржуазии во Франции! А от Франции спорщики неизменно обращались к России. В это время Герцен пишет новую повесть «Долг прежде всего» и читает ее Белинскому. «Вечером, возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему начало повести. С другой стороны стола, на больших креслах, сидел высокий молодой мужчина... он делал сигаретки и смеялся, — то был Бакунин. — Больной наш тоже одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время». 22 сентября состоялся прощальный вечер у Герцена. Белинский уезжал домой, в Россию. Всем было очень грустно, всем было ясно, что «для Белинского все кончено». Герцен знал, что он в последний раз жмет ему руку...

Если бы Герцен и не оставил более поздних воспоминаний о «былом», то даже по «Письмам из Avenue Marigny» можно отчетливо проследить амплитуду его настроений. От радостного в первый месяц пребывания в

Париже оно с каждым днем становилось все тревожнее и тревожнее, а после отъезда Белинского сделалось и вовсе мрачным. Париж уже не притягивал, он даже отталкивал.

«К осени сделалось невыносимо тяжело в Париже; я не мог сладить с безобразным нравственным падением, *которое меня окружало...* Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне...» Александру Ивановичу не понадобилось много времени, чтобы разобраться во всех сторонах социальной и политической жизни Франции. Он считал, что французское, «за ценс стоящее» общество заросло плесенью.

«В Италию, в Италию! Мне хотелось отдохнуть, хотелось моря, теплого воздуха, пышной зелени и людей — не так истасканных, не так выживших из сердца. Я решился ехать в половине октября. А признаюсь, когда пришлось расставаться с Парижем, мне сделалось страшно; вся моя задорная храбрость покинуть Париж исчезла. Париж — центр, выезжая из него, выезжаешь из современности...» Ожидал ли Герцен от встречи с Италией каких-то иных впечатлений, кроме тех, которые могут дать виды Средиземноморья и Апеннин, музеи, Ватикан? Нет, не ожидал. Он ехал отдохнуть от «душевной устали, пустоты, мелкости»... До сего времени Александр Иванович не выбирался далее парижских предместий. Теперь, по дороге в Италию, можно было познакомиться, хотя бы и мельком, с французской провинцией. Но это знакомство только усугубило мрачное настроение Герцена. Уже одна из первых встреч, встреча с Лионом, напомнила о лионских восстаниях 1831 и 1832 годов, о расстреле работников солдатами и национальной гвардией. По дороге Герцен натолкнулся на свидетеля этой трагедии. Тот указал ему место расстрела. «Я взглянул на древнюю стену, построенную еще во время римского владычества, она была вся рябая от пушечных выстрелов. Страшное событие, великая жертва в наш *образованный* век, принесенная министерством, составленным из газетчиков и филантропов, из историков и либералов! Чего, я чай, стоило их нежному сердцу дать такие приказы? А делать было нечего, надобно было успокоить буржуазию, надобно было дать залог, снять всякое сомнение, скрепить связь между новым порядком и ею. Лионское усмирение и бойня в Cloître St. Merry громко

высказывали, как разрешается министерством вопрос о плате за работу, о голоде и о прочих беспорядках».

Путешествовать по Франции Герцену показалось скучно, тем более что после быстрого поезда он передвигался в карете. И только в Авиньоне Александр Иванович преобразился. Куда девался унылый вид! Авиньон — это первая встреча человека, всю жизнь прожившего на севере, с югом, южной природой, исполненной «торжественной прелести». Хотя еще до Италии оставались версты, Герцен в Авиньоне уже предвкушает «ее объятья». Позже он писал Грановскому. «...Поверь, Грановский, что одна и есть в Европе страна, которая может освежить, успокоить, заставить пролить слезу наслаждения, а не негодованья и грусти, — это Италия, и то в известных пределах. Ты соскучишься с немцами — ведь не все же будешь сидеть над книгой, ты взгрустнешь в Париже, — но здесь что-нибудь одно: или с ума сойдешь от отчаяния (к осени-то), или поюнеешь...»

Еще будучи в Вятке, Герцен писал Наташе о том, как они однажды поедут в Италию и там на берегу Лазурного моря найдут тишину... Но в Риме, Неаполе Герцены увидели пробуждающуюся Италию, Италию, переживающую весну своего национального освобождения. «Я бежал из Франции, отыскивая покоя, солнца, изящных произведений и сколько-нибудь человеческой обстановки, да и всего этого я ждал не под отеческим скипетром экс-карбонаро Карла-Альберта. И только что я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергичная, вливающая силу и здоровье».

Герцен «поставил ногу» на итальянскую землю 29 октября 1847 года, когда его карета простучала по Варскому мосту, разделявшему Францию и Пьемонт. И в тот же день Герцен уже в Ницце. И надолго. «Очаровательный уголок», по словам Натальи Александровны. Но если Ницца очаровала Наталью Александровну, то Герцен, кажется, и не заметил ее вовсе. Ницца в то время была еще захолустной и уж никак не оправдывающей свое громкое имя Nice — «город побед». В древней части города на восточном берегу реки Пайльона улочки узкие, дома мрачные. Здесь, стоя возле собора святого Репарата, можно поверить,что Ницца была основана за 300 лет до р. х. Но, спускаясь в новую часть города, этому перестаешь верить. Современные виллы, магазинчики мелочной торговли, на улицах полно иностранцев. Теплый климат, ласковое море, чистейший воздух и близкие горы, защищающие город от северных ветров, влекут сюда тех, у кого есть деньги. Здесь можно отсидеться и от зимней стужи, и от политических бурь.

В Ницце Герцены пробыли до 22 ноября. Наталья Александровна, дети чувствовали себя превосходно. Казалось, только и продолжать поездку. Но они задержались. В Ницце Герцен встретил вновь Ивана Павловича Галахова. Иван Павлович помог на миг воскресить теперь уже далекие дни и ночи бесконечных споров, кипение страстей. Не преминули сцепиться и в Ницце. Спорили они долго, вплоть до отъезда Герцена в Рим. Примерное содержание этих споров можно восстановить по книге Герцена «С того берега», главе «Перед грозой». Герцен размышляет над сутью событий, которые он наблюдает. Ему уже ясно одно: те мечтательные теории, воздушные замки будущего, которые строят утописты, — все это нереально. Да, «мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь». Мы присутствуем при его агонии. А значит, и при создании в будущем новых форм. Но «жизнь не довольствуется отвлеченными идеями», никогда будущее не станет «разыгрывать нами придуманную программу». Герцен ищет закономерности развития общества. Он убежден, что человеческая жизнь в той же мере, как и природа, подлежит исследованию. «Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проницательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжелее — все же нравственнее, достойнее, мужественнее не ребячиться...» И он обращается к аналогии с природой, ее законам. Но и теперь ему не удается перейти черты, он не видит подлинного значения материальных условий существования людей и пессимистически заключает: «В истории все импровизация...»

В последних числах ноября, получив все необходимые визы, Герцены отбывают в Геную. Перед их отъездом И. П. Галахов вручил Александру Ивановичу

письмо к художнику Александру Андреевичу Иванову. К этому времени Иванов уже много лет прожил в Риме, работая над своей картиной «Явление Мессии». Он превосходно знал Рим и его достопримечательности и, конечно, мог быть очень полезным гидом для Герцена. В Геную Герцены отправились морем.

Генуя! Ее важно увидеть именно с палубы парохода, а не из окна дилижанса. Недаром этот город называют La Superba, слово непереводимое, но оно обозначает нечто прекрасное. Узенькие, кривые улочки старой части города катятся вниз, к морю, дома же забрались чуть ли не к вершинам Лигурийских Апеннин так давно, что успели пустить корни. Вот именно, дома с корневищами. А великолепные дворцы на набережной кажутся случайно оброненными безделушками, и они явно лишние. Генуя встретила Герценов «торжествующей, нарядною». Король Карл-Альберт утвердил реформу, и город ликовал. Об этой реформе Герцен узнал еще в Ницце. «Реформа была самая скромная, она стремилась поправить вещи, вопиющая несправедливость которых бросалась в глаза, меняла устаревшие учреждения, обессиленные самим временем». Смягчена цензура, объявлена амнистия политзаключенным. Разрешено строить железные дороги. Скромно, но повод достаточный, чтобы итальянцы уже который день не покидали улиц.

Герцен прибыл в Италию в пору ее национального возрождения. Раздробленная, разобщенная, подвергающаяся бесконечным набегам как Австрии, так и Франции, Италия отвечала на них отдельными вспышками народных бунтов, которые легко подавлялись. В итальянских княжествах и королевствах в среде растущей буржуазии крепла идея единства Италии, ее национальной и государственной независимости. Брожения 1847 года, карнавалы, куцые реформы — все это было только преддверием революционного взрыва. Но Герцен готов был в упоении признать за этим маскарадом революцию. Внешность заслонила для него внутреннее содержание. Потому-то он и проглядел классовую сущность совершающихся событий. Он не увидел, что и итальянское risorgimento (так называли национально-освободительное движение 1847—1849 годов) при всей значимости решения национальных проблем все-таки не что иное, как движение буржуазное. Ему же мерещилась революция народная.

Итальянские впечатления, красочные, несколько опереточные, заслонили, заставили забыть горький осадок, оставленный в душе Францией. В Риме Герцен отыскал Александра Иванова. Он много надежд возлагал на эту встречу. Но «при первом свидании мы чуть не поссорились. Разговор зашел о «Переписке» Гоголя. Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением. Влияние этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его». А Иванов, в свою очередь, отвечая на письмо Гоголя, пишет: «Здесь Герцен. Сильно восстает против вашей последней книги. Жаль, что я сам ее не читал, по то, что [ему не нравится], его ужасает, мне кажется очень справедливо». Это письмо больно задело Гоголя. «Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев».

Начавшаяся в Италии революция была первой революцией, которую Герцен увидел собственными глазами. Но он не разобрался в социальной и политической природе начавшегося движения. Он воспринял его чисто эстетически. Не имел Герцен и связи с деятелями итальянского освободительного движения. Он как бы в стороне. У Герцена еще не оформилась тогда мысль об эмиграции. А попадись он на глаза царским шпионам или шпионам австрийским, так тесно связанным с николаевскими жандармами, — и путь в Россию был бы закрыт. Но это не означает, что Герцены отсиживались дома. Нет, они так же, как и весь Рим, в эти дни жили на улицах.

Рим — «величайшее кладбище в мире»... Рим рабовладельческий, воздвигающий руками невольников великое. Рим средневековья — «печальная, суровая мумия его наводит уныние...» Рим — «обилие изящных произведений, той гениальной оконченности, той вечной красоты, перед которой человек останавливается с благоговением»... Этот многоликий Рим Герцен изучает без устали. Таскает за собой Наталью Александровну и старых знакомых, с которыми встретился здесь в декабре 1847 года, — Тучковых. Инсарский предводитель дворянства Алексей Алексеевич Тучков, его жена и две дочери, Наталья и Елена, знали Герцена еще по Москве. Сам Алексей Алексеевич человек даровитый, в 20-х годах близко стоял к декабристам, входил в «Союз благоденствия» и

был даже арестован, но за отсутствием улик выпущен. Герцен еще в Москве в своем дневнике отозвался о Тучкове как о «чрезвычайно интересном человеке, с необыкновенно развитым практическим умом». В доме Тучковых царил культ декабристов. Но и Герцен молился на те же образа. Дочь Тучкова, Наталья Алексеевна, особенно близко сошлась с Натальей Александровной. Наташа называла Тучкову своей Консуэлой. После отъезда Тучковых в Россию в августе 1848 года Наталья Александровна писала: «Теперь к тебе, моя Тата, моя чудесная Consuello... Мне хотелось к тебе писать после всех, не знаю почему. Как я чувствую, что тебя нет *возле* меня! Но так же ясно чувствую, что ты есть. Насколько полнее, звонче стала моя жизнь с тех пор, как она слилась с твоею, ты стала одна из самых необходимых ее струн. Многоцветна, ты знаешь, моя жизнь, ну, и ты в ней блестишь яркой, одной из самых ярких струек. ...Самая встреча наша — залог бесконечной симпатии нашей, бесконечной настолько, насколько бесконечна наша жизнь. ...После твоего отъезда в душе моей чувствуется то же, что чувствовалось бы в теле, если б отняли какой-нибудь член, что-то тупое, глупое, нелепое, немое...»

Наталью Александровну быстро утомил калейдоскоп лиц, городов, событий. В их мелькании затерялось и лицо мужа. Она же всегда стремилась к более устойчивым состояниям. Вот замечал ли это Герцен? Скорее всего нет. И, может быть, он и был виноват, что, целиком отдавшись стихии политических бурь, он как-то отодвинул семью на второй план. Это сыграло роковую роль в его последующей жизни.

Герцен, посещая музеи и галереи Рима, не бросается от одной картины к другой, от статуи к статуе, он их внимательно изучает. «...Каждая статуя имеет свое назначение, требует свою обстановку и вовсе не нуждается в целом батальоне других статуй; всякая картина действует сильнее, когда она на своем месте, когда она одна... Я обыкновенно ходил к двум-трем картинам, к двум-трем статуям...»

В новой серии писем, на сей раз из Италии («Письма с via del Corso»), Александр Иванович, хотя и обещал не утомлять московских друзей описанием статуй и картин, превосходно передает общие впечатления от соприкосновения с прекрасным. И в этих письмах Герцена прежде всего занимают политические события, происходящие в Италии. Наблюдения Герцена несколько поверхностны. И не случайно впоследствии, публикуя «Письма», Герцен оговаривает целый ряд ошибочных умозаключений и кается, что не сумел тогда разглядеть фигуру папы Пия IX, якобы неспособного «ни к жестокости, ни к преследованиям». Позднее Герцен написал: «Он очень способен!» Не забывает Герцен и итальянские театры. Еще в письмах из Франции он задавался вопросом: «Весь ли Париж выражают театры?» И, отвечая на этот вопрос, он, в сущности, говорит о классовом расслоении французского общества. Вновь взявшись за «Письма» и памятуя о том, как парижские театры помогали ему обойти русскую цензуру, Герцен ожидает, что таким же образом он расскажет о революции в Италии. Обращаясь к Михаилу Семеновичу Щепкину, он пишет: «Нынче больше в театре представляет здесь публика, нежели актеры». Те, кто умел читать между строк, прочли — «народ». В августе 1848 года Наталья Александровна писала Грановскому: «...Лучшее время было в Италии (февраль), сколько любви, сколько надежд!.. Казалось, человечество хочет стать на ноги, както безмерно выросло: все существо кипело деятельностью, в комнате делалось неловким оставаться, мы были дома на улице, там встречались все, как родные братья».

6 февраля Герцены в Неаполе. Правительство неаполитанского короля Фердинанда II обещало 9 февраля объявить конституцию. И не объявило. Неаполитанские улицы оккупированы народом. Но толпы не ликуют. Молчаливый карнавал был так зловещ, что Фердинанд II поспешил 11 февраля провозгласить конституцию. И снова в Неаполе демонстрация. «...Какой-то энтузиазм охватил весь город, — рассказывал Герцен П. В. Анненкову. — Незнакомые люди жали мне руку, на улицах обнимались...» Герцена сопровождает итальянский революционер, редактор газеты «Эпоха» Леопольд Спини. Они познакомились в дилижансе по дороге из Рима в Неаполь. Спини был полон восторгов, когда они стояли у королевского балкона. Насмешник Герцен не мог не сострить, указав Спини, что лучшего момента для свершения покушения на короля не найти. Корольто все равно реакционер, и конституция, даже при беглом с ней знакомстве, куцая. Потом, в 1849 году, встретившись с эмигрантом Спини в Женеве, Герцен напом-

нил ему разговор перед дворцом. Спини только вздохнул: «А ведь Birbone был тогда ближе пистолетного выстрела».

Вечером Герцен и его спутники отправились в коляске смотреть иллюминацию. «Представьте себе оргию, в которой участвует целый город; это была политическая Walpurgisnacht (Вальпургиева ночь. — *В. П.*), безумная сетурналия... Люди с восторгом в глазах, с разгоревшимся лицом, со слезами бросались друг другу в объятия, незнакомые останавливали незнакомых и поздравляли...»

Возвращение в гостиницу было не из приятных. Пропал «портфель» — бумажник с деньгами, аккредитивом, векселями. Только сегодня Герцен отдал его Наталье Александровне, чтобы она спрятала... Леопольд Спини советует Герцену обратиться за помощью к руководителю народного восстания, вождю неаполитанской черни Микеле Вальпузо. Вальпузо заверяет Герцена, что если бумажник еще «цел и в Неаполе», то он его отыщет. 18 февраля бумажник был доставлен каким-то молодым лаццарони в русское посольство. Но в портфеле не хватало двух векселей «тысяч на тридцать франков» и аккредитива. В тот же день на окраине Неаполя около Соляной таможни матрос за известное вознаграждение возвращает Герцену недостающие бумаги. История с бумажником («портфелем»), может быть, и не стоила того, чтобы о ней вспоминать, но эта история очень хорошо характеризует Герцена. Мария Каспаровна, наблюдавшая все эти дни за Александром Ивановичем, впоследствии записала: «Это был пробный камень характера Герцена, ни упреков, ни недовольной мины, все тот же человек, не потерявший головы, ни веселого расположения духа. Он все затаил в себе, чтоб никого не обескуражить». Почти неделю шли поиски пропавшего бумажника. Как только он нашелся, Герцен поторопился наверстать упущенное время. Недаром в Неаполе говорят: увидел Неаполь — можешь умирать. Неаполь Герцен и его спутники повидали, но рядом — Везувий, Помпея. Хотя там уже побывали, но хочется съездить еще раз.

Море было неспокойным, и маленький пароходик долго не мог причалить к берегу. Всех путешественников немного укачало, и им еще долго казалось, что это качается земля. Ведь рядом был незасыпающий Везувий, и он извергал огненную реку раскаленной лавы. Подниматься на Везувий было нелегко, но не подниматься нельзя, если ты ступил к подножию. Так поступают все туристы. Поднимались частью пешком, частью на осликах. Герцен и Тучков шли по краю огнедышащей реки и в результате оказались с дырками на сапогах. Герцен взял на себя обязанности гида и немало подивил Тучкова знанием деталей. Оказалось, что Помпея в 79-м году не сгорела, так как не было огненной лавы, ее затопили мощные грязевые потоки, потому так хорошо сохранились ее чудесные постройки, утонувшие в этой грязи. И самое любопытное: за 150 лет до знаменитого извержения внутри кратера Везувия, имевшего тогда иную форму, скрывался вместе с беглыми рабами и гладиаторами Спартак.

29 февраля, вдоволь налюбовавшись Неаполем, Герцен со своими спутниками отбывает в Рим, где оставались Мария Федоровна Корш с детьми Герцена, Колей и Татой. 2 марта Герцены приезжают в Рим. А на следующий день «мы собрались вечером праздновать день рождения моего отца, — пишет Тучкова, — дамы семейства Герцен были уже у нас... мы ожидали только появления Александра Ивановича, который, по обыкновению, отправился читать перед обедом вечерние газеты. Вдруг послышались на лестнице торопливые шаги; то был Герцен с знакомым журналистом Спини. Герцен не шел, а бежал...» Во Франции баррикадные бои, король скрылся, провозглашена республика. Алексей Алексеевич Тучков торжествовал. Он верил во Францию. Не он ли предупреждал Герцена, что в день своего рождения поднимет тост за французскую революцию. Они тогда поспорили на бутылку шампанского, и вот она на столе, Александр Иванович был несказанно рад своему проигрышу. «Как он был хорош, — вспоминала Тучкова, — в эту минуту восторга, волнения; казалось, на его чертах не было места другому чувству, кроме неожиданной, беспредельной радости; он обнимал моего отца, как будто тот своим пророчеством был причиною счастливой вести».

События с каждым днем, по выражению Герцена, «густели», становились «энергичнее и важнее...». Революция во Франции эхом отдалась и в Австрии, и в германских землях, и в самой Италии. А Рим, Рим! Этот вечный город словно пробудился от спячки, выбежал на

улицу и не может вернуться обратно домой. И Герцен с друзьями тоже на улицах. «Мы всегда принимали участие в демонстрациях», — пишет Наталья Тучкова. «Мы» — это Александр Иванович, сама Наталья Алексеевна, ее сестра Елена, Мария Каспаровна Эрн. Наталья Александровна по большей части чувствовала себя нездоровой, утомленной вечным шумом герценовского дома, у самого Тучкова были больные ноги, а Мария Федоровна Корш с детства хромала и оставалась присматривать за детьми. «В продолжение многих дней мы не имели времени даже пообедать». Живописная группа «иностранных дам» привлекала к себе внимание римлян. Они привыкли, что итальянки только на карнавалы спускаются с балконов, в дни демонстраций они их не покидают. Мужчины-римляне ставили в пример русских дам, столь бесстрашно и с таким истинно итальянским темпераментом шествующих по улицам вечного города.

18 марта восстал Милан, а 21-го пришла весть, что революция свершилась и в Вене. 22-го стало известно, что Меттерних якобы бежал из Вены, «император задержан во дворце». Герцен поспешил к знакомому банкиру А. Торлония, чтобы узнать подробности. К этому времени Александр Иванович уже во многом преуспел. Теперь он знал, как политические события влияют на валютные операции банков. Потому-то банкиры были самыми осведомленными людьми.

Когда же в сумерках он вышел из банкирского дома, то улицы Рима были неузнаваемы. «...Трехцветные знамена развевались из сотни окон, ломбардское знамя, являвшееся доселе в черном крепе, — красовалось перед толпой с золотыми кистями — одушевление и восторг толпы были невыразимы. Народ требовал, чтоб ударили в колокола, раздался праздничный звон; народ требовал, чтоб крепость S. Angelo приветствовала падение австрийского правительства и восстание Ломбардии, и пушечный гром раздался. Народ плавал в блаженстве...» Герцен присоединяется к демонстрации, направившейся к Palazzo Venezia, к «австрийскому посланническому дому». «Народ бросился с остервенением на герб, все наболевшее на душе его от австрийцев выразилось в злобе, с которою топтали, ломали ненавистный герб притеснения... Герб привязали к ослу и отправились триумфальным шествием по Корсо... Шествие дошло до

Piazza del Popolo, там сожгли его на большом костре...» А поздно вечером Герцены, сестры Тучковы, Мария Каспаровна участвуют в народной демонстрации, следовавшей к пьемонтскому посольству в связи с известием о событиях в Вене и Милане. Они настолько слились с толпой, что вместе со всеми преклонили колени, когда в какой-то церквушке благословлялось итальянское знамя, отправляющееся с добровольцами в Милан. Это знамя потом несла по улицам Наталья Тучкова.

В тот вечер Герцен и его спутники познакомились с народным трибуном, простым работником — Чичероваккио. И в последующие дни, когда волонтеры Рима ушли под Милан, когда не было известий о ходе войны с Австрией, Герцен все это воспринимает как свое, кровное, личное.

Но, как бы ни бушевали страсти в Италии, Герцен уверен, что главные события развиваются не здесь, а во Франции. Находясь в Италии, питаясь слухами и газетными сообщениями, которые разноречивы и не поддаются проверке, Герцен нервничает. В конце апреля из Франции пришла страшная весть: восстание рабочих в Руане подавлено. «Руанское дело имеет чрезвычайную важность. Это первая кровь, пролитая после провозглашения республики, но не в этом важность. — В характере и безнаказанности». В том, как «холодно резали и стреляли в безоружного работника».

В тот же день Герцен собрался в Париж, благо визы на отъезд в Россию он получил загодя. «Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей — а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика». «Я тогда находился под влиянием 24 февраля, я забыл Париж 1847 года и верил в *Париж* de l'an 56...» (56-го года. — *В. П.*).

В Париж! Чтобы сократить путь, Герцены из Ливорно плывут в Марсель на пароходе. Герцен не может отказать себе в удовольствии выпить с попутчиком-аббатом «за республику и за духовных лиц — республиканцев». Аббат поднимает тост: «И за будущую республику в России». И наконец 5 мая Париж.

Герцены поселились недалеко от Триумфальной арки в доме Фенси на Елисейских полях. Они занимали

весь первый этаж, на третьем жили Тучковы. Луиза Ивановна с Марией Каспаровной сняли квартиру на той же улице. Как всегда, Герцен жил с размахом. Квартира была просторная, с каминной залой И вновь сюда забегали друзья: Тургенев, Анненков, Сазонов. Бакунина в Париже не было, он находился в Берлине. «Париж много изменился *с октября месяца. Меньше пышности*, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей — и больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами. Толпы работников стояли около своих ораторов под тенью каштанов Тюльерийского сада».

Но нужно вернуться назад к дням февраля.

24 февраля 1848 года русский шпион в Париже Яков Толстой доносил шефу жандармов: «Милостивый государь, господин граф! Спешу довести до сведения Вашего Сиятельства, что дворец Тюльери взят народом; дворцовые апартаменты во власти черни, которая предает их разорению; *трон Луи-Филиппа превращен в щепки* и сожжен; та же участь постигла всю его мебель и все его экипажи. Король спасся; одни говорят, что он скрылся в Венсенне, другие — что он уехал в Англию. Из всей королевской семьи только герцогиня Орлеанская со своими двумя детьми осталась в Париже. Депутаты крайней левой явились за нею и привели ее в Палату; они намерены объявить ее регентшей, но народ этого не желает — он требует республики. Анархия и вандализм достигли крайних пределов, и ожидается новое столкновение между народом, требующим республики, и национальной гвардией, которая желает регентства. Вот только что опубликованный список членов временного правительства; все *это (за исключением г. Ламартина)* — имена наиболее радикальных людей во Франции: Араго, Дюпон де-л'Эр, Ламартин, Ледрю-Роллен, Гарнье-Пажес, Марраст, Флокон, Лербет, Луи Блан».

Герцен искал исторические аналогии событиям, разыгравшимся в эти месяцы во Франции. Искал и не находил. Все, что он знал о Великой Революции 1789—1794 годов, якобинской диктатуре, в аналогии не годилось. Оставалось наблюдать, сопоставлять, анализировать. Но ясно одно: Италия, только что покинутая, также не годится для сравнений. Да, это не Италия. Это не факельные демонстрации с благословения папы римского. Это что-

то гигантское, это превосходит 1789 год. Во всяком случае, Герцену так кажется.

За день до приезда Герценов в Париж там открылось Учредительное, или, иначе, Национальное, собрание. Даже Герцен с его умением схватывать все явления разом, не застревать на мелочах в растерянности. Комитеты, клубы, на улицах митинги, манифестации. Все чего-то требуют, чего-то добиваются, что-то декламируют. Но все это на поверхности, все обозримо. Гораздо важнее и зловеще то, что происходит подспудно, за закрытыми дверями политических кухонь. Выборы в Учредительное собрание должны были насторожить. Города послали депутатов — радикалов и социалистов, но вся провинциальная, деревенская Франция, а за ней большинство, делегировали местных адвокатов и лавочников, нотариусов и крупных землевладельцев. В Учредительном собрании мелькают и старые, давно опротивевшие физиономии легитимистов, орлеанистов — они тоже депутаты, и в отличие от новичков им не занимать опыта закулисных махинаций. И буржуазные политиканы не сидели сложа руки. Главное, обуздать рабочие кварталы, кварталы парижской бедноты.

15 мая 1848 года. Маркс говорит, что в этот день рабочие ускорили развязку зревших столкновений. В этот день они попытались силой разогнать Национальное собрание. «С утра до ночи» в этот день Герцен был на улице. Он своими глазами видел, как первая колонна народа собралась к Камере, он сам слышал, как Л.-А. Юбер, член республиканских тайных обществ, провозгласил: «Именем французского народа Собрание распущено». Слова его заглушили ликующие крики. «Новость эта тотчас распространилась в городе. Что это за восторг был. Но национальная гвардия буржуазных легионов ворвалась в свою очередь, и тут увидели вещи неслыханные... Я сам видел каннибальскую радость этих преторианцев, когда они взяли Hôtel de Ville, — взяли без выстрела, ибо там не было вооруженных людей».

И уже 15 мая Герцен не строит никаких иллюзий относительно дальнейших судеб революции. Она побеждена — вот его приговор. А ведь еще за день до этого Александру Ивановичу казалось, что господству буржуазии пришел конец, как только была провозглашена республика. Потом Герцен с горечью писал, что только после 15 мая он понял, «какую республику приготовляют

французскому народу». Да, все эти златоустые ламартины — это молочная каша, «которая вздумала представлять из себя жженку», конечно же, предала и Луи Блана, и Ледрю-Роллена, и Барбеса. 15 мая открыло гражданскую войну во Франции. Когда вечером того же дня Герцен вернулся домой, то застал у себя в кабинете «горячего республиканца» Жана Батиста Боке. Герцен заявил ему, что республика «ранена насмерть» и ей теперь остается только умереть. Боке был иного мнения. Но Герцен уже сделал правильный вывод: гражданская, социальная война началась.

Ночью Боке был арестован. Очень любопытную характеристику дал впоследствии этому республиканцу Герцен: «Боке сентиментален и свиреп, он готов расплакаться, как девчонка, и холодно наделать зверств. Это французская черта». В этих словах и запал, и горечь неудачи, и боль рассеянных иллюзий. Как жить дальше? Возвращаться в Россию? Так поступили многие русские. Вслед за ними собирались отъехать домой Анненков, Боткин и некоторые иные друзья Герцена. Нет, для себя он решил не покидать Францию, Париж. Он должен до конца не только досмотреть, но и пережить эту драму. Герцен начал изживать свои иллюзии (мелкобуржуазные иллюзии в социализме). Но это было нелегко. Герцен как бы зачеркивал и те идейные поиски, и те находки, которые были сделаны на протяжении последних пятнадцати лет. Но разве можно без проверки выбросить их, не убедившись, что это хлам. Нет и нет, из Франции он не уедет.

Май и начало июня — дни тревожных ожиданий. Французское правительство настойчиво проводит политику усиления репрессий против революционно настроенного народа. «Каждый день после 15 мая приносил бедствия, глупый закон, притеснение. Начали сажать в тюрьмы. Запретили на улицах собираться толпами (в республике!)».

1 июня Герцен открывает новый цикл писем «Опять в Париже». Но теперь он уже не надеется, что они будут опубликованы каким-либо русским журналом. В России, как отзвук на европейские события, Николай усилил преследование любого вольного слова. Всякое упоминание о революционных событиях изничтожалось цензурой

14 или 15 июня Сергей Львович Львов-Львицкий в

раздражении писал в Москву из Парижа, что Герцен «прикатил сюда, вероятно, привлеченный революциею; гуляет и кутит с демократами. Прошу никому не говорить о Герцене». Письмо, конечно, попало в III отделение, и последовало категорическое «повеление» Николая I немедленно возвратить Герцена в Россию. На отдельном листе дела приписка: «Этот Герцен пользовался здесь весьма худым именем по поступкам своим в Москве и в Владимире; он игрок и был под надзором полиции».

Числа 20 июня у Герценов появился Георг Гервег. Они не виделись почти год. Где он пропадал? События февраля во Франции поколебали престолы германских королей, курфюрстов, герцогов и эрцгерцогов. Уж на что Вена казалась оплотом абсолютизма, а и там восстание. В Париже оказалось множество немецких эмигрантов. У них был свой клуб, видным членом которого стал Гервег. Мало этого, эмигранты организовали свой легион и с сомнительной помощью французских правителей попытались вооружить его, чтобы двинуться походом на немецкие княжества — устанавливать «германскую республику». В это время в великом герцогстве Баденском вспыхнуло восстание. Повстанцы проникли на территорию герцогства со стороны Швейцарии, захватили ряд пунктов. Но ненадолго. К баденскому герцогу на помощь поспешили вюртюмбергские войска. Легион эмигрантов ничего не знал о том, что в Бадене фактически покончено с восстанием, и ринулся в Шварцвальдские горы. А в результате легионеры оказались лицом к лицу с вюртюмбергской кавалерией и были разбиты. Гервег играл заметную роль в этом походе. Когда же поход провалился, его обвинили во всех неудачах и потерях. Да к тому же и он сам бежал с поля боя (впрочем, как и многие легионеры), а потом скрывался на крестьянской ферме. Его обвинили в трусости. К. Маркс был противником этой авантюры, обреченной на неудачу. И нет оснований винить в ней Гервега.

Но беда не приходит одна — революция разорила отца Эммы. Источник материальных благ иссяк. Очутившись в Париже, Гервег искал прибежище в семье Герценов.

И вот настал день 23 июня, день начала последней битвы французского пролетариата под знаменем, на ко-

тором написано: «Демократическая и социальная республика».

«Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон; артиллерия тянулась к Карусельской площади. Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел».

На противоположном берегу Сены строились баррикады. От мужчин не отставали женщины, дети тащили камни. Молодой политехник водрузил знамя над баррикадой и запел «Марсельезу», запел тихо, печально-торжественно. И все, кто работал, запели, «и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... Между тем по мосту простучала артиллерия». Так писал Герцен спустя месяц после событий в статье «После грозы», будущей второй главе книги «С того берега». Может быть, и не все в этом рассказе точно. Важно, что Герцен оказался в это время на улицах Парижа. А ведь иностранцу небезопасно было на них показываться. Между тем Герцен не праздный наблюдатель. В ответ на крики каких-то плюгавых полумужиков-полулавочников: «Да здравствует Людовик-Наполеон!» он не удержался, крикнул: «Да здравствует республика!» Офицер пригрозил ему шпагой. Впоследствии Герцен сожалел, что не взял ружья, которое ему предлагали защитники баррикад, и не остался с ними.

24-го по всему Парижу была слышна артиллерийская стрельба. 25 или 26 июня Герцен и Павел Васильевич Анненков вышли на Елисейские поля. «Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия». У церкви св. Мадлены Герцена и Анненкова обыскал

кордон национальных гвардейцев, но пропустил. Зато следующий патруль задержал, и в результате «лавочник в мундире» отправил обоих в полицию, а из полиции их переправили в Hotel des Capucines, где разместилась временная полицейская комиссия. «Плешивый старик в очках и весь в черном» после допроса разрешил задержанным вернуться домой.

А дома обыск. Комиссар полиции Барле конфискует у Герцена «целый ворох» бумаг. И конечно же, объяснение этому обыску дается тривиальное: а не является ли господин Герцен «агентом русского правительства». Вот она, хваленая Европа, «свободная» Франция! Не так ли рылся в его бумагах московский полицмейстер в 1834 году? Впрочем, Герцен уже произвел переоценку ценностей. Реакция везде одинакова, каким бы флагом она ни прикрывалась.

26 июня пали баррикады Сент-Антуанского предместья. Вечером все обитатели квартиры Герцена затаились, прислушиваясь к улице. Беспорядочные выстрелы сражения сменились стройными залпами. Не сразу понял Герцен, что это означает. Но потом до него дошел ужасный смысл этой регулярной стрельбы. «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*»

Герцен, получивший обратно часть своих документов, отобранных при обыске, решает посетить Сент-Антуанское предместье. Под впечатлением увиденного он пишет Татьяне Астраковой: «Что мы видели, что мы слышали эти дни — мы все стали зеленые, похудели, у всех с утра какой-то жар... Преступление четырех дней совершилось возле нас — около нас. — Домы упали от ядер, площади не могли обсохнуть от крови. Теперь кончились ядры и картечи — началась мелкая охота по блузникам. Свирепость Национальной гвардии и Собранья — превышает все, что вы когда-нибудь слыхали. Я полагаю, что Вас. Петр. (Боткин. — *В. П.*) перестанет спорить о буржуазии».

Возвращаясь мыслью к этим страшным дням уже спустя двадцать лет в письмах «К старому товарищу», Герцен скажет, что тогда, «стоя возле трупов», он «всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, — звал, даже не

очень думая, чем она заменится». Такова была сила потрясения от случившегося.

Парижский дом Герцена по-прежнему «Дионисиево ухо», как его однажды назвал Анненков. Здесь, как всегда, толкутся знакомые, а зачастую и незнакомые люди. Дом не изменился, но как июньские события подменили многих! Не видно Михаила Бакунина. Он не то в Берлине, не то в Богемии — ему недостает сражений. Зато остальные друзья Герцена притихли.

Анненков и М. Ф. Корш не хотят вспоминать пережитое, даже не заводят разговоров на эту тему. Забегают прожектеры, которых тысячи трупов не убедили в том, что революция побеждена. Они еще машут руками, доказывая, что не все кончено и социализм победит. Эти люди раздражают Герцена. А тут еще отъезд Тучковых в Россию. Когда они уедут, оборвутся последние связи с Родиной. Герцен вручает Наталье Алексеевне первое письмо из цикла «Опять в Париже».

Герцен не знал, что уже в эти дни III жандармское отделение через своих шпионов следило за каждым его шагом.

Граф Алексей Федорович Орлов, шеф жандармов, доносил 5 июля министру иностранных дел К. В. Нессельроде: «Частным образом получено сведение, что уволенный за границу и находящийся ныне в Париже надворный советник Александр *Герцен* вовлекся там в сообщество демократов и вместе с ними предается самой рассеянной жизни. По высочайшему повелению сообщая о сем вашему сиятельству, имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, предписать нашей миссии в Париже обратить внимание на поведение надворного советника Герцена и удостоить меня уведомлением, какое донесение вами получено будет от миссии как о поступках Герцена в Париже, так и о том, когда он отправится в возвратный путь в Россию». Нессельроде немедля предписал русскому поверенному в делах во Франции Н. Д. Киселеву: обратить внимание «на поведение надворного советника» Герцена и уведомить «как о поступках этого чиновника, так и о том, когда он отправится в возвратный путь в Россию».

Между тем Герцен именно в эти дни переживает духовную драму, крушение всех своих иллюзий. Контрреволюция торжествует, и Герцен с «каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды». Формальный республиканизм — фальшь. «Даже край буржуазного радикализма реакционен по отношению к социализму и пролетариату». Тяжелые дни духовного краха, переживаемые Герценом после июньского поражения парижского пролетариата, невольно ставили перед ним вопрос: ну а что же дальше? Где его место? Что он должен делать? Париж стал для Герцена омерзителен. В Италии в 1847, в Париже в 1848 году он чувствовал, что находится в самом средоточии событий, которым, как ему казалось, суждено начать новую эру в Европе, а быть может, и во всем мире.

Его «Письма» — своеобразный отчет друзьям, единомышленникам и многим, многим читателям, близким по духу, о всем увиденном, пережитом. А между строк и совет, и наставление, и предостережение против ошибок. Но письма из Италии, с via del Corso, так и не появились в русской печати. Значит, только случайные оказии, только пяти-десяти знакомым. Это не рупор, это не пропаганда. И как часто в эти мрачные дни его неодолимо тянет на Родину, в Москву. «...Никогда, ни в какое время мне вы не были нужнее, — пишет он друзьям 2 августа 1848 года. — Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о соколовской жизни — и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования. — Я страшно люблю Россию и русских — только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел в французском работнике. — Это два народа будущего (т. е. не французы, а работники), оттого-то я не могу оторваться и от Парижа».

В сознании Герцена борются два человека: один — русский, истосковавшийся по родным местам, родным лицам, родной природе, родному народу; другой — убежденный революционер, пусть потерпевший крах своих иллюзий, но не потерявший веру в народ. Герцен увидел в Париже «работника», *«человека без земли, без капитала»*. Этот работник, как думает он, еще «спасет Францию». А значит, укажет и путь России. А если нет? То «дай бог, чтоб русские взяли Париж, — пора окончить эту тупую Европу, пора в ней же расчистить место

новому миру». Так писал мятущийся Герцен московским друзьям в начале августа 1848 года.

После долгих раздумий Герцен приходит к выводу, что ему нужно оставаться здесь, в Европе, «теперь еще надобно быть здесь». Он уже слышит осуждающие возгласы. Разве не он сам когда-то порицал Сазонова за праздное времяпрепровождение за границей, не он ли ругал и Анненкова за то, что тот остается при всех «великих совершениях» зрителем. Нет, кем-кем, а «зрителем» Искандер не будет. «Человек — нигде не посторонний, он везде дома и везде видит *свое дело,* если это дело человеческое». А разве революция в Европе не его дело и не дело человеческое? Оставаясь в Европе, завязывая тесные связи с демократическими кругами, он может создать у них и правильное представление о России.

«На сию минуту ночь, надежд нет, — пишет Герцен московским друзьям 2 августа, — но одно остается за нами: везде, на всякой точке шельмовать старое начало, клеймить — не делом, так словом». Потом он скажет, что слово — это тоже дело. И вложит в эту фразу определенный смысл: «слово печатное». Можно полагать, что уже осенью 1848 года у Герцена появились мысли о «слове печатном», но их заслоняли, стирали иные заботы и волнения.

Разгул реакции в Париже был ни с чем не сравнимым, разве что николаевская могла стать рядом. «Каждый день менее и менее виден выход. Что мы видим с утра до ночи, превосходит человеческое воображение... — пишет Герцен 6 сентября. — Или в скором времени должна кровь литься реками, или на время Франция погибла». Во Франции только и сохранилось название — республика, «монархический принцип в нравах, в законах» остался прежним.

Герцен все больше, все теснее сходился с Гервегом. Георг Гервег был натурой артистической, и не только потому, что имел бесспорный поэтический дар. Нет, его артистизм проявлялся еще и в том, что он мог очень быстро и, на поверхностный взгляд, глубоко воспринимать, делать своими мысли и чувства хозяина дома. Гервег во всем согласен с Герценом, он разделяет и его пессимизм, и его скептицизм, и его разъедающую иронию. Наталья Александровна очарована Георгом. А Эмма? Она готова на все, лишь бы ее обожаемый муж мог обедать в дорогих ресторациях, одеваться у моднейших портных. И Герцен щедро оплачивает портных и никогда не забывает пригласить Гервегов в ресторан. Эмма занимает деньги направо и налево, отказывая себе и детям во всем, лишь бы Георг был доволен.

В начале сентября уехал в Россию Анненков. Он собирался долго и наконец отбыл. С ним посланы копии «Письма второго» и части «Письма третьего» из цикла «Опять в Париже». Письма к друзьям. А ведь одного из самых близких по духу, по пониманию — Белинского уже нет в живых. О смерти Виссариона Григорьевича Герцен узнает значительно позже. «До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Тучковы жили в том же доме, М. Ф. (Корш) у нас, Анненков и Тургенев приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше».

Еще в сентябре 1848 года возможно было легально отпраздновать 57-ю годовщину провозглашения Первой республики во Франции. Празднования проходили в Париже во дворцах Шале на Елисейских полях. Здесь собрались «все аристократы демократической республики, все алые члены Собрания». Ледрю-Роллен произнес «блестящую речь», потом пели хором «Марсельезу». Герцен был среди гостей. «Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мне и налегла на все мысли, мне стало смертельно жаль эту кучку людей — благородных, преданных, умных, даровитых, чуть ли не лучший цвет нового поколения... Мне было жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в несбыточные вещи, их горячее упование, столько же чистое и столько же призрачное, как рыцарство Дон-Кихота. Мне было жаль их, как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга в груди своей... Республика — *так, как они ее понимают...* — последняя мечта, поэтический бред старого мира».

Письма к московским друзьям как бы вторили тем мыслям, тем настроениям, которые определяли целый цикл статей, позже вошедших в отдельную книгу Герцена «С того берега». Статьи эти составили главы этой книги. Они имели несколько вариантов, значительно отличающихся друг от друга. Эти отличия обусловлены временем публикаций отдельных статей, да и местом их изданий. Герцен не только публиковал статьи в немецкой

и французской прессе. Пока была возможность, он отправлял их копии или уже готовые оттиски в Россию.

По поводу будущей первой главы будущей книги Боткин пишет Герцену: «Я считаю «Перед грозой» — одними из превосходнейших страниц, какие мне случилось читать в моей жизни... Под этим бы Дидро подписал свое имя... Никогда еще глубочайшие проблемы жизни и истории не были поставлены с такою неумолимою яркостию и упорством, и никогда еще содержание, доступное только самой отвлеченной диалектике, не принимало таких простых, общепонятных форм. Никто не предупредил меня в пользу этой статьи. Сатин, передавая ее мне, даже отнесся о ней очень равнодушно... Но как это написано, что это за язык, что за яркость мысли и выражения... С величайшим удовольствием прочел я твое письмо от 1 июня... (иными словами, баррикадные бои в Париже. — *В. П.*). В нем не было ничего для меня нового, но оно превосходно по изложению, свойственному только одному тебе. Боже мой, Герцен, какой бы ты был журналист!..»

4 ноября в Париже торжества, на этот раз по поводу утверждения конституции Учредительным собранием. Но Герцена ничто уже не может обмануть — ни парижские знакомые, ни пушечные салюты. «А что до нас касается, мы вчера в пушку палили на радостях, что Собрание осупоросилось плюгавой конституцией, которая, божией споспешествующей милостью, году не продержится». Разочарованный в мелкобуржуазных социалистических утопиях Запада, Герцен начинает с надеждой смотреть на Восток, на мир славянский. Становилось все очевиднее, что теперь, после Июньских дней во Франции, с Европой все кончено, от нее нечего ожидать в будущем. И если она могла завещать этому будущему социализм, то его зародыши, почву для его всходов нужно искать не на Западе. Более того, Герцен был теперь уверен, что «славяне an sich (в себе. — *В. П.*) имеют во всей дикости социальные элементы». Славянский мир еще не сказал своего слова. Значит ли это, что нужно возвращаться в Россию? Не вернуться сейчас — не вернуться никогда, русские порядки Герцен знал превосходно. Эмигрант?

Он пока гнал эти тревожные мысли о будущем, забывался, отдаваясь настоящему. А оно по-прежнему было окрашено в черные цвета.

Осенью в Париж приехала Мария Львовна Огарева, давно уже живущая врозь с Николаем Платоновичем. У нее открытая связь с художником С. М. Воробьевым. А вслед пришли и письма Огарева. Он умоляет Герцена и Наталью Александровну сделать все, употребить все свое влияние, а если надобно, и на хитрость какую-нибудь пойти, только вырвать согласие на развод. «Работай же изо всех сил. Я на тебя надеюсь». Но все хлопоты Герцена оказались безрезультатны. Мария Львовна порвала всякие отношения с домом Герценов. К этому времени и не без помощи той же Марии Львовны Николай Платонович успел значительно расстроить свое огромное состояние. А Мария Львовна требует денег. Огарев вынужден был занять у Герцена 25 тысяч серебром.

Гервеги ночуют и днюют у Герценов. Георг после всех неудач замкнулся, чуждался общества немецких эмигрантов, но, будучи самолюбив до болезненности, искал сочувствия, внимания. «Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе», — писал Герцен в «Былом и думах». Герцен не мог стать таким «проводником». Иное дело — Наталья Александровна, она могла и хотела быть и наперсницей и другом. «У тебя есть отшибленный уголок, — говорила она Герцену, — и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервега. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он — большой ребенок, а ты совершеннолетний...» Она с радостью приняла немецко-сентиментальное обращение Гервега к Герцену и к ней — «близнецы». К «близнецам» Гервег относил и себя, но на Эмму это не распространялось. Это была своего рода игра, и Герцен был вовлечен в нее только потому, что его мысли и чувства были заняты иным. Нет, Герцен не лукавил, когда называл Гервега единственным близким себе человеком, он даже говорил о русской его натуре, что, конечно, было необъяснимым для Герцена заблуждением.

25 ноября, когда в новой квартире Герценов традиционно справляли именины Александра Ивановича, заболела Тата. «Бледная и молчащая, сидела моя жена день и ночь у кроватки...» Иногда с Натальей Александровной случались обмороки, и ее отхаживали то Тургенев, «приходивший делить мрачные часы наши», то Гервег. Последний и вовсе не отходил от больной. А Герцен? Трое суток, пока отчаяние сменялось надеждой, он неотлучен.

Но уже на четвертый день, когда миновал кризис, Герцен в Salle d'Antik на торжественном собрании, посвященном XVIII годовщине польского восстания 1830 года, слушает речи одного из руководителей восстания Станислава Ворцеля, русского эмигранта Ивана Гавриловича Головина, Людвига Мерославского. Тата вскоре выздоровела от «тифоидной лихорадки», хотя приступы ее и повторялись. Но за эти дни Гервег стал для Натальи Александровны очень близким человеком. Нет, она не разлюбила Александра, без него она не мыслила жизни. Но у нее зародилась уже любовь к Гервегу. Пока еще не осознанная, пока еще прикрытая дружбой, благодарностью... В эти месяцы 1848 года Наталья Александровна так же, как и Герцен, трагически переживала поражение революции. Но Герцен был весь в работе, вечно на людях. А она? «Если б ты знала, друг мой, — пишет она Тучковой, — как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть все, кроме этого тесного круга...» Что же касается Гервега, остается только гадать о его истинных чувствах и намерениях. Но стоит вдуматься в характеристику, данную Гервегу Анненковым. А он писал: «Под мягкой, вкрадчивой наружностью, прикрываясь очень многосторонним, прозорливым умом, который всегда был настороже, так сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малейшие душевные движения человека и к ним подделываться, — чудная личность эта таила в себе сокровища эгоизма, эпикурейских склонностей и потребности лелеять и удовлетворять свои страсти, чего бы это ни стоило, не заботясь об участи жертв, которые будут падать под ножом ее свирепого эгоизма. Все средства своего образования, развития, действительно не совсем обыкновенных даже и в кругу передовых людей Европы, а также и своего нервного темперамента, часто разрешавшегося лирическими, вдохновенными вспышками и порывами, — все эти средства... перепробовала замечательная личность... для дела обольщения заезжей мечтательницы, для доставления себе победы над всеми запросами многотребовательной ее фантазии. Долго отыскиваемый романтизм являлся теперь перед женой Герцена в великолепном, ослепительном виде! Лоэнгрин со сказочных высот был перед нею налицо, и, только подойдя к нему ближе, она вдруг увидала, какой страшный образ скрывается за ангельской маской...»

Истекал трагический 1848 год. С революцией во Франции покончено, в этом Герцен почти уверен. И его не могут обмануть «революционные вывески», сохранившиеся на некоторых фасадах уже рухнувших изнутри зданий. Начавшаяся во Франции реакция эхом прокатилась по Европе. Она наступала и в Германии, и в Австрии, Италии, и, конечно же, в России.

Намерение остаться за границей все больше и больше укреплялось в Герцене, перерастая в уверенность. Герцен сказал об этом Анненкову незадолго до отъезда того в Россию. Павел Васильевич пожал плечами и заметил, что как бы Искандер не пожалел потом. Но Герцен теперь уже жалел о другом: «Нет, для меня выбора нет, я должен остаться, и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на Place Maubert». Позже Герцен уточнит это свое решение. Он оставался, чтобы вести открытую борьбу, говорить свободно. «За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык...»

И опять потянулось время день за днем, серое, скучное. «Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет...» «Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день». Герцен хватался за книги и откладывал их, не дочитав, «смех не веселил», вино, которое ранее подогревало, теперь «тяжело пьянило». Домашнее затворничество вдруг сменялось театрами, но «музыка резала по сердцу». Под стать Александру Ивановичу была настроена и Наталья Александровна. После июньских дней она писала Грановскому: «Мы переживем нашу смерть... Иногда мне видится тюрьма, цепи, гильотина...» Даже в самые мрачные дни ссылок Герцен не испытывал такого отчаяния.

К концу 1848 года во Франции, в Париже, появляются изгнанники других стран, «хористы революции», как называл их Герцен. Реакция выбрасывала из Австрии и Германии, Италии «женихов революционной Пенелопы». Они плохо понимали политическое положение Франции после Июньских дней, все еще считая ее средоточием революционных дел. «Они твердо верили, что их поражение — минутная неудача». Герцен знал, что это не так,

и все-таки по временам «верил еще *в побежденных,* верил в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть».

Он сознательно «старался быть непоследовательным». Это было тем более нетрудно, что и у него пока еще теплилась надежда, что вскоре произойдет новый взрыв, «характер взрыва будет страшный», — уверяет Герцен московских друзей в письме от 8 ноября 1848 года. «...вообразите, что будет, когда весь пролетариат в Европе станет на ноги». Как хотелось верить! Вот и Жан Батист Боке, отсидевший в тюрьме четыре месяца, едва выбравшись из нее, прибежал к Герцену и стал заверять его, что революционеры «так заткнут за пояс июньские дни, такой зададут праздник, что от бульваров следа не останется».

Герцен был искренне рад освобождению Боке и поспешил известить об этом знакомых. Видимо, для того чтобы как-то материально поддержать Боке, он предлагает ему стать учителем его детей.

Вскоре Герцены перебираются на новое местожительство — близ бульвара Madelaine. Квартира огромная, превосходно отмеблированная, но мрачная. Сюда, в эту квартиру, все чаще и чаще стали заглядывать политэмигранты. Они были довольно наслышаны о Герцене, влекло их к нему и широкое хлебосольство богатого русского барина. Здесь «можно было встретить немцев, итальянцев, румынов, сербов, венгров, — вспоминает австрийский эмигрант Раш. — Каждый день стол накрывался на двадцать приборов для бедняков, которые садились за него, быть может, потому, что у них не было средств пообедать в ресторане».

Чтобы получить доступ в дом Герцена, не требовалось никаких рекомендаций, он был открыт для всех изгнанников. Тот же Раш получал от Герцена очень значительные суммы для венских эмигрантов, причем Александр Иванович всякий раз просил не называть его имени при передаче денег. Новые знакомые — люди очень разные и по убеждениям и по темпераменту. Иногда это обилие лиц утомляло Герцена, и он под каким-либо благовидным предлогом убегал из дома, заходил в политические клубы, участвовал в «трех-четырех банкетах». Но здесь все та же говорильня, холодная баранина, кислое вино; наборщик, переводчик, социалист-утопист Пьер Леру, Этьен Кабе, писатель, проповедник «мирного коммунизма», и

хор, поющий «Марсельезу». Приглядываясь к новым знакомым, Герцен делает неутешительный вывод: «У французов и немцев, так же, как у итальянцев, такая ограниченность, такая невозможность широкой натуры, что руки опускаются». Европа, лучших представителей которой он наблюдает, вызывает неясные, неоформившиеся, но тревожные, даже тоскливые предчувствия. В эти дни Герцен не находил себе места, в спорах был не столько остроумен, сколько резок. Так они и схватились с Джемсом Фази, швейцарским политическим деятелем и ярым противником социализма. Их познакомил Николай Сазонов, и этому знакомству суждено было перерасти если не в дружбу, то на какое-то время в приятельские отношения, но они никогда не могли бы стать единомышленниками.

31 декабря Европа, жившая по Григорианскому календарю, отметила наступление нового, 1849 года. В доме Герценов новогодних празднеств не было. Для русских новый, 1849 год наступал еще через 12 дней.

12 января в обширной квартире Герценов необычно пусто. В столовой стоит высокая ветвистая елка. И хотя она расфуфырилась игрушками, фонариками, блестками, от нее не веет тем рождественским и новогодним уютом, праздничной приподнятостью, ожиданием чего-то таинственного и доброго, ожиданием, которое всегда сопровождало этот праздник в России.

Наталья Александровна выглядит усталой, потухшей. Она всякий раз вздрагивает, заслышав цоканье копыт на улице. Подходит к окну и с облегчением вздыхает, проводив взглядом экипаж, миновавший подъезд их дома. Ей так не хочется, чтобы сегодня праздничный стол напоминал «арлекина». Да, да, она так и отписала Тучковой: «Наше общество теперь, как арлекин, ужасная пестрота». Сегодня будут только свои. Прежде всего — Гервеги, Тургенев, ну и кто-нибудь из русских. Хозяин дома и сегодня не изменил своим привычкам — пошел почитать вечерние выпуски газет.

Зная, что Герцен прочитывал все газеты, которые ему удавалось добыть, можно предположить, что он читал и «Новую Рейнскую газету». На ее страницах Маркс и Энгельс не раз писали о событиях в Венгрии. Герцен был уверен, что после всех поражений в Центральной Европе революционное движение обретет новый очаг не где-ни-

будь, а поближе к славянским землям, в Венгрии, Галиции. Об этом писал в «Новой Рейнской газете» Фридрих Энгельс: «Дело мадьяр далеко не так плохо, как хочет нас уверить подкупленный черно-желтый энтузиазм». А вот и слова Кошута, вождя революции, о котором Герцен говорит с неизменной симпатией: «Если мы не разобьем императорские войска на Лейте, то разобьем их на Рабнице; если не на Рабнице, то разобьем их у Пешта; если не у Пешта, то на Тиссе, но во всяком случае мы их разобьем».

Но ни Герцен, ни Кошут не знали об истинных планах русского императора Николая I. В венгерских же событиях именно ему довелось сказать последнее слово. Когда грянула февральская революция во Франции, Николай I был полон воинственных намерений, надеясь во главе монархической коалиции изолировать революцию пределами Франции, не дать ей расползтись по Центральной Европе. Но то было весной 1848 года. А летом того же года Николай всецело занят своими домашними делами. Губернаторы, жандармские генералы из пограничных губерний шлют тревожные депеши, не скупясь на подробности, просто легендарные. Из Ковенской губернии сообщают, что Литва полна слухов: вскоре придут в Литву французские войска. В Смоленской уточнили: французы будут «к духову дню, но не воевать, а вешать помещиков», и придут они «с белыми арапами, дабы дать вольность».

Одесса и вовсе отличилась: «В бозе почивший великий Князь Константин Павлович еще жив... и недавно его видели... в Одессе и Киеве, откуда цесаревич писал к брату государю императору, что он будет к его величеству в гости, по какому случаю просит не устилать дорогу шелками и коврами, а панскими головами».

Слухи, слухи слухи. И крестьянские волнения чуть не по всей России. А тут еще холера. Она вползла в Петербург. И по всей России свирепствуют пожары, только за весну 1848 года число их перевалило за 5 тысяч, а впереди было лето. Русские войска мобилизованы, но теперь Николай I уже не уверен, что он бросит их в Европу. Похоже, в России пахнет бунтами «похуже пугачевских». И только в середине 1848 года император успокоился насчет положения внутреннего. Правда, летом ему померещилось, что революционная Европа все же движется походом на Россию. Но теперь Европа, по его мнению, стала мало-помалу «выздоравливать». Во Франции контрреволюция. Там теперь господствует «партия порядка» во главе с палачом парижского пролетариата Кавеньяком. Как ни ненавидел русский император слова «республика», «президент», но и он пишет: «Кажется, во Франции Луи Наполеон будет президентом; ежели только держаться будет в политике правил, соблюдавшихся Кавеньяком, — то нам все равно, и признать его можем». Николай I убедился, что ему нечего опасаться Европы контрреволюционной. В июне в Валахии началось движение за независимость, была объявлена конституция, русский представитель бежал, как бежал и сам господарь Валахии. Русский корпус занял Яссы, восстановил старый порядок, оккупировал Молдавию. Николай ожидал международных осложнений, военного конфликта с Турцией, да и с Англией тоже. Но конфликта не последовало. Английское правительство было озабочено подъемом рабочего движения у себя дома и обострением обстановки в Ирландии. Николай же строил планы окончательного разгрома революционных очагов в Венгрии и Галиции, будучи уверенным, что австрийская монархия сама запросит помощи у России.

Герцен не знал ни замыслов Николая, ни истинного положения внутри России. Русская цензура позаботилась, чтобы в Европе не были осведомлены о том, что делается в России. И не случайно из Парижа в Москву шли и такие запросы застрявших во Франции и все еще верящих, что революционный пожар в Европе перекинулся и на соломенные крыши России. «Прошу тебя, любезный брат, напиши ко мне, что там делается у нас в России — есть ли революция и бунт, потому желал бы я знать, правда ли, что русский царь бежал из Петербурга и что будто была большая революция?..»

12 января Герцен вернулся домой, когда немногочисленные гости уже собрались. Георг Гервег что-то нашептывал Наталье Александровне, Эмма пыталась разыгрывать роль хозяйки, Тургенев, мрачный, бродил из комнаты в комнату. И когда пробило двенадцать, когда были сдвинуты бокалы, веселье не наступило. Наталья Александровна на следующий день писала, что Новый год прошел «скучно, глупо, пусто».

И опять неотвязные мысли о России, о том, возвращаться или оставаться. Такой раздвоенности раньше Гер-

цен за собой не знал. Он без конца взвешивал все «за» и «против». «Против» оказалось куда больше. И особенно веским аргументом «против» было то, что Герцен заметил за собой слежку. Сначала ни русское посольство в Париже, ни парижская полиция не знали, где обретает господин Герцен. Но стараниями генерального консула в Париже В. И. Шписа наконец выяснилось его местопребывание. За Герценом парижская полиция устанавливает почти открытое наблюдение, во всяком случае, оно не ускользнуло и от Натальи Александровны. Для французских властей Герцен тоже мог стать фигурой non grata, если кто-либо из фискалов, наводнявших в эти дни Париж, заметил бы Александра Ивановича у Елисейского дворца после президентских выборов. Они состоялись 10 декабря 1848 года. «Толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюллетени: с лишком пять миллионов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона». Герцен был взбешен, хотя и ожидал именно такой исход. Но он долго не мог успокоиться. И однажды в середине декабря, выбравшись с Тургеневым на очередную прогулку, они забрели к Елисейскому дворцу. Как обычно, в дни после выборов под окнами дворца шатались праздные «бонапартисты». Они забавлялись тем, что заставляли кричать здравицу в честь императора. Пьяная ватага приверженцев империи окружила Герцена и Тургенева, требуя от них «восторгов». Герцен презрительно и гордо бросил им в лицо, что он русский, но если и был бы французом, то не стал кричать в честь «такого пошляка и подлеца, как Людовик-Наполеон». Силы были неравны, и Герцену со спутником пришлось спешно ретироваться.

1 февраля 1849 года Герцен пишет Татьяне Астраковой: «Разумеется, мы, вероятно, к лету у вас на Девичьем поле». Казалось, наконец решение принято. Но письма, идущие к Ключареву, поверенному в денежных делах еще Ивана Алексеевича Яковлева и ведающего теперь финансами Герцена, тревожные, противоречивые. То Герцен пишет, что нужно бы купить в Москве на Маросейке дом, то просит реализовать денежные бумаги, а наличные выслать ему. Через несколько дней все прояснилось и стало на свои места. Поэтому можно думать, что Герцен в феврале, а может и ранее, принял решение не возвращаться в Россию, но ему нужно было выручить остающиеся на родине капиталы. Письма его просматриваются в III отделении, вот почему он говорит о новых покупках в России.

1 марта 1849 года Герцен пишет обращение к московским друзьям «Addio!» («Прощайте!»): «Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться — потом не знаю, будет ли это возможно... Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь... Жизнь здесь очень тяжела... Время прежних обманов, упований миновало, я ни во что не верю, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение. Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего: ни цивилизаций, ни *свободных* учреждений — я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует; ничего не уважаю, кроме того, что он казнит, и остаюсь — остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парусах. Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, — что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что страдания здесь болезненны, жгучи, но человечественны: они здесь гласны, борьба открытая — никто не прячется». «Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в 50 миллионов... о народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, — который сохранил величавые черты, живой ум и разгул широкой, богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина». «До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжелое положение, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь».

Позже, в 1855 году, издавая свои статьи, написанные в 1848. 1849 годах, одной книгой на русском языке «С того берега», Герцен начинает ее этим прощанием с друзьями. Глава так и называется: «Прощайте!» Это не-

сколько отредактированное «Addio!», которое Герцен отослал в Москву в августе 1849 года.

Отвечая на вопрос, зачем он остается на Западе, Герцен говорил друзьям: «Я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш представитель». Тогда же, в 1849 году, он собирался заняться книгопечатанием. Об этом свидетельствует обращение Герцена — «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси»: «Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг, но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия».

А гонения и «страшные бедствия» стояли меж тем на пороге.

В конце февраля Герцена приглашает польский эмигрант Карл Эдмонд Хоецкий на торжественный ужин в честь первой годовщины февральской революции во Франции и основания «Tribune des Peuples». На ужине должен присутствовать великий польский поэт Адам Мицкевич. «Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост «в память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтоб я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост «за Мицкевича» и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз, в Москве...» В первый раз Герцен пил за Мицкевича в 1844 году на обеде в честь Грановского. Тогда Хомяков поднял бокал «за великого отсутствующего славянского поэта». Никто не посмел произнести имени, но все сдвинули бокалы и выпили за здоровье изгнанника, то есть за Мицкевича.

«Хоецкий был доволен; подтасовавши таким образом наше extempore (экспромт. — *В. П.*), мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост, Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить от нее... Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она *снова* ринется на освобождение всех притесненных народов, под теми же орла-

Лондон. Брунвич-сквер, 82.





А. И. Герцен с дочерьми Натальей и Ольгой. Лондон.

КОЛОКОЛЪ

ПРИБАВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КЪ ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДѢ.

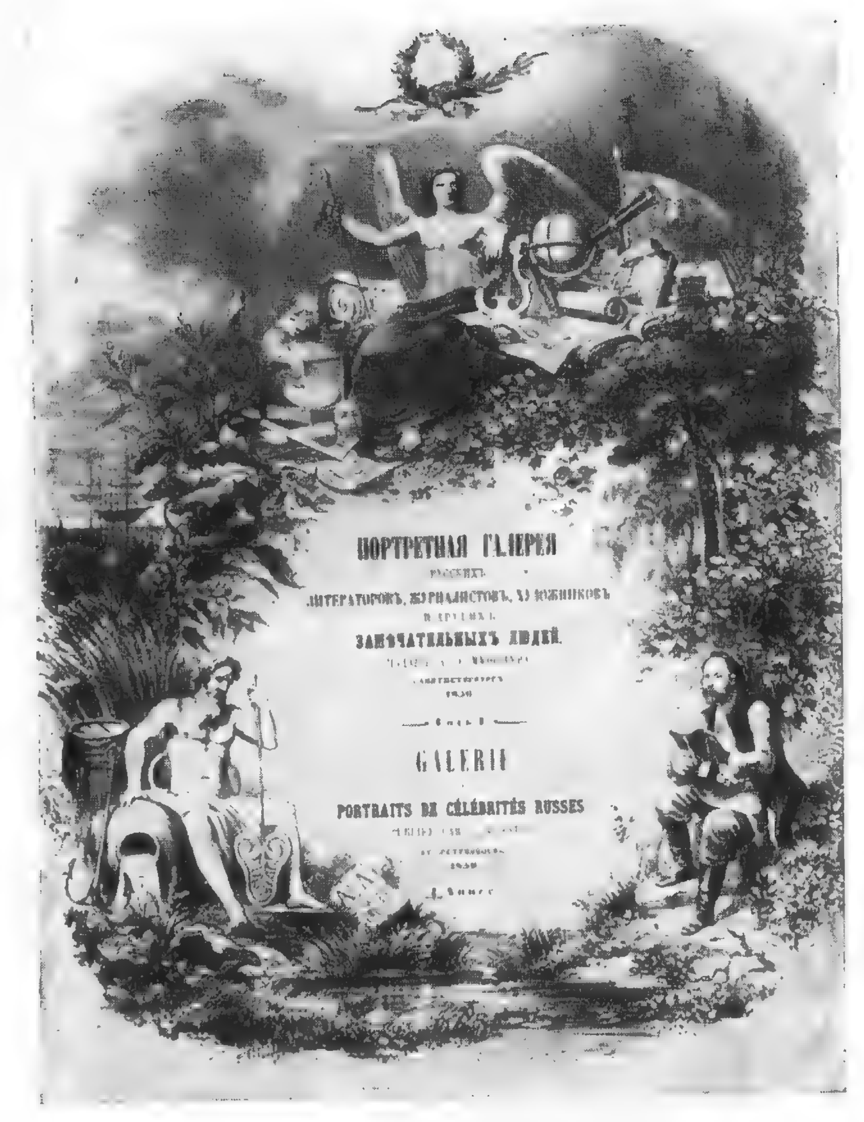
VIVOS VOCO!

No. 1.

1 Іюля 1857

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Первый лист первого номера «Колокола».

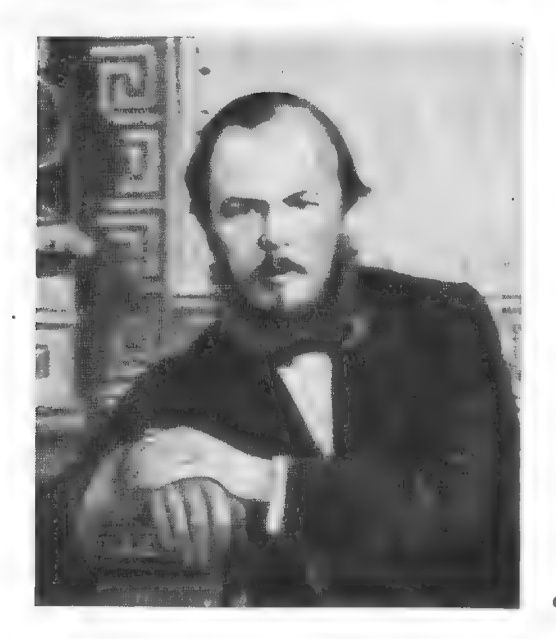


Портретная галерея замечательных людей. 1859 г. Справа с книгой — А. И. Герцен.



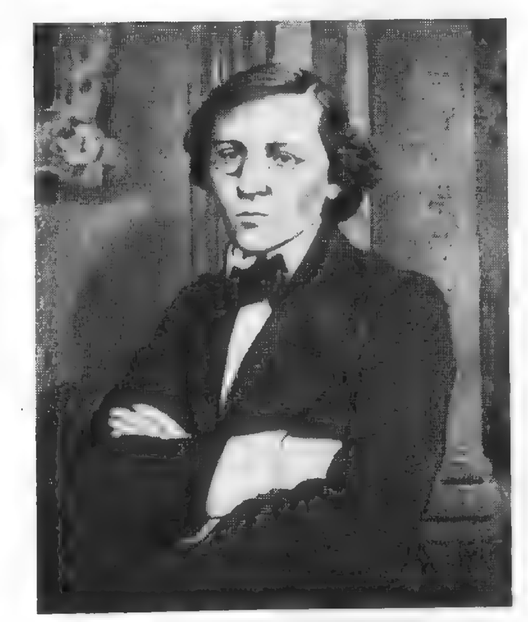


Станислав Ворцель.



Ф. М. Достоевский.

Н. А. Герцен, дочь
А. И. Герцена.



Н. Г. Чернышевский.

И. С. Тургенев. Карандашный рисунок П. Виардо.



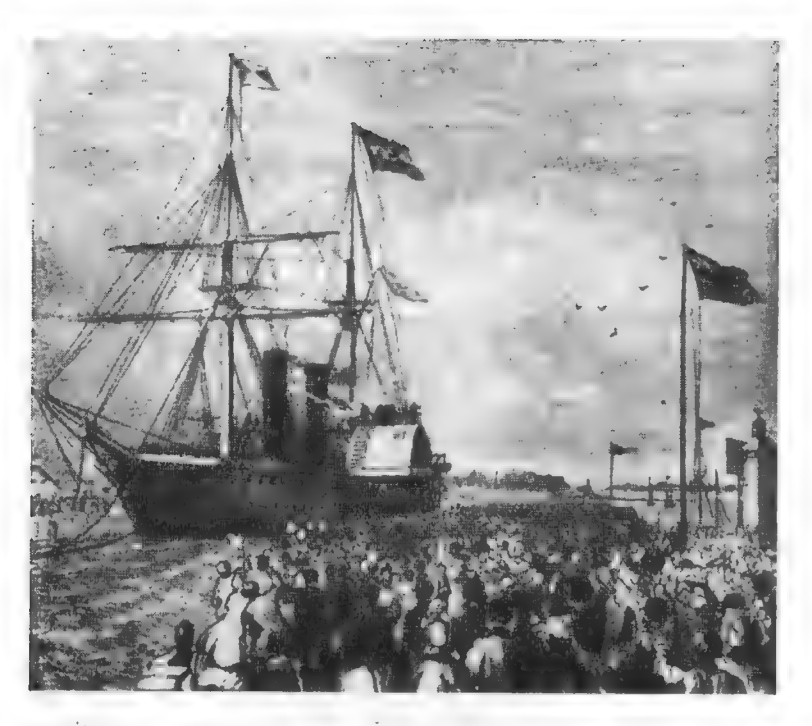
П. В. Анненков.



М. С. Щепкин.



Н. В. Шелгунов.



Прибытие Гарибальди в Англию. 1864 г.



Джузеппе Гарибальди.

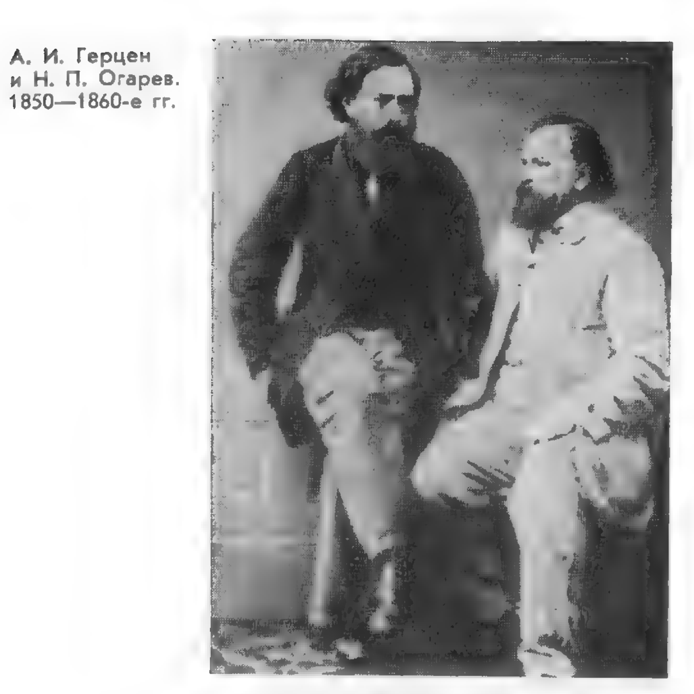


Дом А. И. Герцена в Лондоне.



А. И. Герцен. Портрет работы Н. А. Герцен. 1867 г.

Итинерарий А. И. Герцена. Составлен им в 1867 г. Автограф.



А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 1850—1860-е гг.



А. А. Потебня.



Н. А. Серно-Соловьевич.



А. А. Герцен с женой Терезой.



А. И. Герцен. 1860-е гг.

Автограф А. И. Герцена.


Л. Н. Толстой.


Н. И. Тургенев.


А. И. Герцен. Портрет работы Н. Н. Ге. 1867 г.



Могила А. И. Герцена в Ницце.

ми, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед».

Хоецкий, наливая бокал, шепнул Герцену:

— Что же вы?

— Я не скажу ни слова после этой речи.

— Пожалуйста, что-нибудь...

— Ни под каким видом...

В результате выпили за 24 февраля под дружные аплодисменты двадцати присутствующих.

В мае и в Париже разразилась эпидемия холеры. «Болезнь свирепствовала страшно... Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер». «Тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки, — все это соответствовало событиям».

Герцен с возмущением говорит о том, что в «варварской России» на борьбу с холерой поднялись буквально все слои общества (за исключением правительства). Во Франции холера проходила при полном молчании и правительства и общества. В мае же на квартире Герценов заболевает Тургенев. Наталья Александровна и Герцен три недели его выхаживали, невзирая на ежеминутную опасность заразиться самим. И выходили. Спасаясь от холеры, Луиза Ивановна и Мария Каспаровна уезжают в деревушку близ Сан-Клу, куда вскоре перебрались Наталья Александровна с детьми, а в июне и сам Герцен. «Со мною Саша, Наташа, и Александр переехал к нам...» «В Париже и кроме холеры было жутко, за русскими следили, и не за одними русскими, но и за другими иностранцами». Здесь же сравнительно тихо и, главное, нет посетителей, не забегают «случайные знакомые», — пишет Наталья Александровна Тучковой.

12 июня в деревушку, где живут Герцены, приехал Николай Сазонов. Месяцы после революции он, подобно многим идеалистам, продолжает верить в новую революцию и посему полон воодушевления. Сазонов в ажиотаже сообщает, что завтра, 13-го, свершаются события грандиозные — антиправительственная демонстрация.

В ее успехе Сазонов не сомневался. И приглашал Герцена принять участие. А вот Герцен усомнился. Ему казалось, что «глупо идти без веры и с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего». И к тому же ему не хочется отрываться от работы. Но таков уж Герцен: раз демонстрация, он не может отказаться и вместе с Сазоновым едет в Париж в Café Lemblin, где собирались «хористы революции». Здесь, на месте, Герцен убедился в том, что у организаторов демонстрации «нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы».

Утром 13 июня возле бульвара Bonne Nouvelle Герцен и Сазонов застают разрозненные, хотя и многочисленные, группы людей, растерянных, недоумевающих, чего-то ждущих. «Была минута, в которую мне показалось, что сейчас завяжется дело». Министр Лакруа, имевший неосторожность появиться верхом, подвергся нападению, его стащили с лошади, порвали фрак и... отпустили. «Толпа росла, часам к десяти могло быть до двадцати пяти тысяч человек. Кого мы ни спрашивали, к кому мы ни обращались, никто ничего не знал. ...Наконец, колонны состроились... С разными криками и с «Марсельезой» двинулись мы по бульвару. Кто не слыхал «Марсельезы», петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма». Демонстрация мирно двигалась вдоль бульваров, а дома как в театре, в нижних этажах, в окнах, на балконах — дамы, дети и напуганные отцы-буржуа, на «галерке», в мансардах — швеи, работницы. И они машут платками, что-то взволнованно кричат.

«Так дошли мы до того места, где rue de la Paix входит в бульвары; она была заперта взводом венсенских стрелков, и, когда наша колонна поравнялась с ними, стрелки вдруг расступились, как декорация в театре, — и Шангарнье верхом на небольшой лошади скакал перед эскадроном драгунов. Без всяких соммаций (требований. — *В. П.*), без барабанного боя и прочих законом предписанных форм, он, смяв передовые ряды, отрезал их от прочих и, развернув драгунов на две стороны, велел им скорым шагом расчистить улицу. Драгуны с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малейшем сопротивлении. Я едва успел сообразить, что случилось, как очутился нос с носом с лошадью, которая фыркала мне в лицо, и с драгуном, который, ругаясь, также не за глаза, грозился вытянуть меня фухтелем, если я не пойду в сторону. Я подался направо и, в одно мгновение, был увлечен толпой и прижат к решетке rue Basse des Remparts». Рядом с Герценом оказался Мюллер-Стрюбинг — революционер, эмигрировавший из Берлина, и Этьен Араго — республиканец, основатель газеты «Реформа». Араго, спасаясь, вывихнул себе ногу, Герцен с Стрюбингом увернулись от драгун более удачно. «Мы взглянули друг на друга с каким-то бешенством негодования. Стрюбинг обернулся и громко закричал: «Aux armes! Aux armes!» («*К оружию!*» — *В. П.*). Человек в блузе схватил его за воротник и, толкая в другую сторону, сказал:

— Что вы, с ума сошли, что ли?.. — смотрите сюда.

По улице — должно быть, Chaussée d'Antin — двигалась густая щетина штыков.

— Ступайте, пока вас не слыхали да пока не отрезали дороги. Все пропало! все! — прибавил он, сжимая кулак, и, напевая песню, будто ничего не было, удалился скорыми шагами... Наглость нападения на безоружных людей возбудила большую злобу. Будь в самом деле что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, как начать настоящий бой».

После 13-го начались аресты. Были арестованы и многие друзья Герцена из числа эмигрантов. Герцен вынужден был бежать из Парижа, из Франции с паспортом «молдо-валаха» и австрийского подданного С. Петри. «Тюрьмы во Франции страшны, беззаконие еще страшнее, я решился убраться, тем более, что для меня 13 июня — день презрительный и глупый». И вовремя. В 20-х числах июня парижская полиция обыскала квартиру Луизы Ивановны и Марии Каспаровны. Полиция подозревала, что именно у них скрываются от ареста после демонстрации участники революции в Бадене — представитель революционного правительства Бадена — Пфальца Карл Блинд и немецкий радикал Арнольд Руге. «У нас в нашей Tabacsdose ничего не могло быть политически опасного, были только бумаги Герцена, которые он оставил нам на сохранение... Бумаги могли быть выданы русскому правительству, что могло сильно повредить ему. Дом был оцеплен, и мы оказались точно пойманные птицы в клетке... Я скоро нашла бумаги, привязала их

себе под платье... Позже уже все было опечатано... Бумаги Герцена мы с Луизой Ивановной долго носили на себе», — вспоминает Мария Каспаровна.

По дороге в Швейцарию не обошлось без приключений. Сосед по дилижансу показался Герцену подозрительным. После того как в Париже за ним установили слежку, Герцену повсюду мерещились шпики. Поэтому в Лионе Герцен делает мгновенную пересадку из дилижанса в дилижанс, поит жандарма, чтобы тот не очень-то внимательно приглядывался к нему, так как приметы паспорта и облик Герцена не слишком совпадали. И... все обошлось.

2

22 июня в пять часов вечера Герцен уже был в Женеве. Здесь он вспомнил о президенте Женевского кантона Джемсе Фази. Хотя они и спорили в Париже, но расстались тогда вполне довольные друг другом. Появление Герцена ничуть не удивило Фази: Швейцария, и особенно Женева, являли собой в этот год, по словам того же Герцена, «Вавилонское столпотворение» эмигрантов. Кого только здесь не было! Эмигранты 1849 года еще не верили в продолжительность победы своих врагов, считали, что они еще вернутся, и «не перекладывали платья из чемоданов в комод».

Джемс Фази, по словам Герцена, «человек большой энергии и больших государственных талантов». «Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль, в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики». Когда во Франции были разрушены баррикады, Фази возвращается на родину, в Женевский кантон. «Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство...

Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен... С тех пор, т. е. с 1846 года, он управляет Женевой».

С помощью Фази Герцен получил «вид на жительство».

Герцен внимательно присматривается к разношерстной и разноплеменной эмиграции. Женева собрала ее сливки. Здесь Густав Струве, отступивший вместе с баденскими ополченцами. Окруженный свитой адъютантов и «министров», он — глава несостоявшегося правительства. Герцен отметил, что лицо Струве выражало «нравственный столбняк». Был здесь и Карл Гейнцен — «Собакевич немецкой революции», тоже участник баденского восстания. Это он впоследствии публично заявил, что «достаточно избить *два миллиона человек* на земном шаре — и дело революции пойдет как по маслу». Жил в Женеве и Джузеппе Маццини, предводитель итальянской мелкобуржуазной республиканской демократии. С Маццини Герцену еще придется встречаться, и не раз. Первое впечатление от первого знакомства осталось приятным.

«Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва может скрыть досаду при противуречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью».

Маццини в 1849 году был еще властью, и итальянские феодальные правительства боялись его. Около Маццини вился целый рой итальянских эмигрантов рангом и весом поменьше.

Интернациональная эмиграция в Женеве была тогда заражена одним недугом — издавать журналы. Но средств на это у них не было. Приезд богатого русского и тоже изгнанника сразу же привлек взоры «будущих редакторов» к Герцену. Но Герцен скептически относился к этой журнальной лихорадке. Скепсис Герцена опирался на уже сложившееся убеждение: с революцией в Европе покончено. И, во всяком случае, ее в каком-то будущем воз-

главят не те, кто ныне рвется к печатному станку. Так же скептически Герцен относился и ко всем прочим, за редким исключением, эмигрантским начинаниям. Немецких эмигрантов, несмотря на их развитие, Герцен всегда подозревал в потенциальном филистерстве. Английские и французские исполнены предрассудков. «Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении». Более снисходительно Герцен относился к итальянцам, а потому и теснее сблизился именно с ними. В Швейцарии этот круговорот лиц, оттенков политических теорий, партий вызвал у Герцена буквально головокружение. «Я с радостью покидал Париж, но в Женеве мы очутились в том же обществе, только лица были другие и размеры теснее. В Швейцарии все тогда было ринуто в политику, все делилось на партии: tables d'hôte'ы и кофейные, часовщики и женщины. *Исключительно политическое направление, особенно* в том тяжелом затишье, которое всегда следует за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной сухостью и однообразным попреканием прошедшему». Немного оглядевшись в Женеве, Герцен пишет Наталье Александровне, чтобы она с детьми также перебралась сюда. Но Наталья Александровна не спешит. Она регулярно пересылает Герцену корреспонденцию из России, письма Николая Сазонова из Парижа. Сазонов вместе с Хоецким уговаривают Герцена внести 24 тысячи франков залога за газету, которую намерен издавать Прудон. Эта переписка длится несколько месяцев. Герцен по-прежнему не верит в пользу подобных изданий. Но Сазонов настойчив: «деньги твои никакой опасности подвержены не будут, а, кроме того и кроме великой демократической пользы, есть даже, по расчетам Прудонца, надежда на хороший барыш». И Джемс Фази покушается на кошелек Герцена. Он тоже задумал издавать журнал, не даром же он будет терпеть этого русского эмигранта, когда федеральное правительство Швейцарии начало понемногу избавляться от них. Правда, для президента Женевского кантона федеральное правительство не указ, но об этом можно и умолчать.

В июле месяце Наталья Александровна приехала с детьми в Женеву, а Луиза Ивановна с Колей устроились в Цюрихе, где была школа для глухонемых. Гервег также был вынужден покинуть Париж и перебраться в

Женеву. Гервег взялся за устройство в различных немецких издательствах статей, написанных к этому времени Герценом. Отношения между ними как будто бы самые близкие, самые задушевные. Герцен пишет статью «La Russie» в форме письма к Гервегу. Но Герцен уже не может отделаться от мысли, а может быть, и от интуитивных предчувствий, что с Наташей происходит что-то непривычное. Нет, они не стали друг другу чужими, но как-то отдалились один от другого. Зато Гервег приблизился к Наташе на расстояние, которое уже превышает границу дружбы. «Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер... Мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется...» Так позже осмыслил Герцен, уже в «Былом и думах», этот *роковой момент своей семейной жизни.* Он ждал, что Гервег откроет ему, как другу, свою тайну раньше, чем объяснится с Натали. Такова была, по его мнению, этика отношений друзей — единственно возможная для Герцена. Могло ли это что-либо изменить? Герцен был в том уверен — «все бы пошло человечественно». Но то было лишь очередное его заблуждение — человека, отвергавшего ту «мещанскую» мораль, которую исповедовал Гервег. Напрасны были ожидания Герцена, как и его надежды на то, что все могло бы пойти «человечественно».

Из Парижа пришло известие: Прудон за оскорбление главы правительства угодил в тюрьму Консьержери. Казалось, что вся идея издания газеты под его началом должна была теперь провалиться. Но Прудон не сдавался, действуя через Сазонова и Хоецкого, он не отставал от Герцена — будут деньги, будет и газета, а то, что он в тюрьме, не имеет значения.

Герцен долго колебался. И не потому, что ему было жалко денег, нет. Он плохо верил в будущее этой газеты, имеющей уже название «Voix du Peuple». Он боялся, что ее первый номер будет и последним, а залог попадет в руки французских властей. Но Герцен оставался Герценом — он не мог не поддержать «демократическое начинание». Деньги были внесены. По договору с Прудоном за Герценом оставалось руководство всем иностранным отделом газеты, кроме того, он получал право печатать

свои статьи по любым вопросам и приглашать в авторы людей, которых сам выберет. Герцен не обратил в то время внимания на то, что Прудон ставил перед газетой задачу, вряд ли совместимую со званием социалиста. «Задача не в том, — писал Прудон, — чтобы возбудить народ пафосом, а в том, чтобы разъяснить самой буржуазии ее настоящие интересы».

3 августа Герцены и Гервег отправились на прогулку в Монтре, поднялись на Dent de Jaman. Герцен назвал эту прогулку *«14 часовым маршем»*, но остался доволен, так как «нигде нет газет, никто ничего не знает, горы, горы, дикая природа и чудные озера». Впоследствии эта прогулка стала для Натальи Александровны символичной, и в письмах к Гервегу она часто рисовала упрощенный контур горы (Λ) — эмблему ее любви к Георгу, их духовного единения. Ей всегда помнилась идиллическая хижина в Карлетто. Она была настолько полна Гервегом, что, забывая обо всем, описывала буквально каждый его шаг, каждую смену настроений, и кому — Эмме Гервег, оставшейся в Париже, чем и пробудила в ней глухую ревность.

В конце августа Герцен и Гервег, теперь уже вдвоем, совершают многодневное путешествие в горы. По возвращении Наталья Александровна сообщает Эмме: «Они возвратились со своей экскурсии — обожженные солнцем, веселые и довольные, как дети. оба — милы до крайности». И добавляет при этом: «Право же, я иногда думаю, что общество и любовь этих двух людей могут превратить меня в совершенное существо». Развивая ту же мысль, она пишет Т. А. Астраковой: «Александр — что это за юная, свежая натура, светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь... с ним держишься на такой вышине... в такой ширине, что все кажутся какими-то тяжелыми жуками, роющими землю». И о Гервеге: «изящнее, поэтичнее я не знаю натуры». А главное: «все мы так сжились — я не могу себе представить существование гармоничнее».

Радужная мечта, которую она принимала за действительность.

8 августа Герцен, надо полагать, прочел в «Revue de Genéve et Journal Suisse» сообщение о раскрытии в Петербурге «заговора» петрашевцев. Новость была тем более неожиданной, что из последних писем, в основном, Грановского и Астраковой, у Герцена сложилось впечатление: в России сейчас совершенно невозможны никакие заговоры, никакое сколько-нибудь видимое общественное движение. Герцен еще не знал того, что на следствии петрашевцы не раз упоминали его имя, не раз называли его статьи, «Письма» и, хотя и открещивались от них, говорили, что читали так, между прочим, но это была уловка подследственных. Герценовская пропаганда внушала социалистические идеалы, она будила новое поколение революционеров.

Статьи, которые писал Герцен на протяжении лета, осени 1848 года и зимы 1849-го, писались по-русски. Но летом 1849 года в Женеве у Герцена родилась мысль издать эти статьи на немецком языке целой книгой. Перевод на немецкий Герцен диктовал литератору Ф. Каппу, диктовал по-немецки. Текст редактировал Гервег. Договорились о публикации с цюрихским издателем Кампе, и уже осенью 1849 года книга «Vom anderen Ufer» была отпечатана. Издание вышло анонимно, без имени автора.

Это немецкое издание значительно отличается от более поздних изданий книги «С того берега», 1855 года — на русском языке — и 1858 года, осуществленного уже Герценом в Лондоне.

Русское издание 1855 года посвящалось Герценом сыну Александру. Это посвящение Герцен перепечатал и в издании 1858 года. Оно подписано: 1 января 1855 года. Но, как вспоминает Мальвида Мейзенбуг, Герцен прочел вслух это посвящение на новогоднем вечере у себя дома в Твикнеме 31 декабря 1854 года.

Для издания 1855 года специально было написано и «Введение», в состав которого вошло «Прощайте!». А вот статья «Перед грозой (Разговор на палубе)» уже публиковалась ранее, в немецком издании 1850 года и в парижской газете. Эту статью Герцен датировал 31 декабря 1847 года и посвятил ее Грановскому. Но отправлена она была в Москву в августе 1848 года. Впоследствии Герцен ее переработал. И вторая глава — статья «После грозы» — была включена в немецкое издание 1850 года, а датировал ее Герцен 24 июля 1848 года, то есть писалась она всего через месяц после трагических Июньских дней.

В русском издании эта глава появилась в переделанном виде.

«LVII год республики, единой и нераздельной» датируется 1 октября 1848 года. Эта глава в иной редакции также присутствует в немецком издании, как и последующие: «Vixerunt», «Consolatio», «Эпилог 1849». Эпилог был написан Герценом в Цюрихе осенью 1850 года, хотя при его первом издании в органе немецкой демократической эмиграции «New York Abend — Zeitung» стоит дата: «Лондон, 21 декабря 1849 г.».

И «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собою») также печаталась анонимно на немецком языке в 1850 году. Герцен датировал эту статью 3 апреля 1850 года.

«Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский» — статья, завершающая русское издание «С того берега», была написана в феврале — марте 1850 года и впервые публиковалась на французском языке как передовица парижской газеты «Voix du Peuple». Статьи, составившие книгу, писались по свежим следам событий. Это книга «лирическая» в том смысле, что Герцен с предельной искренностью поведал в ней о всех потрясениях и сомнениях после краха иллюзий. В ней нет рецептов и пророчеств на будущее. Недаром Герцен назвал 1848 год «педагогическим». Он делал из него выводы без иллюзий. Основную мысль книги он объясняет в письме к Мадзини: «...Я проповедую полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов несет реакцией. Нагромоздив ошибку на ошибку, они все еще стараются оправдать их, — лучшее доказательство, что они их повторят».

А что такое Луи Блан, Пьер Леру? Абстрактные романтики, не знающие практической жизни, фразеры. Их мир будущего только на словах, а слова их не могут быть реализованы делом. Как и «аристократы демократической республики», вроде Ледрю-Роллена, они только цветом (алым) в будущем, а на самом деле принадлежат миру ушедшему. С беспощадным сарказмом Герцен делает зарисовки парижского быта, царствующих там нравов в годы после 1848-го. Террор, слежка, инквизиция светская и духовная, а во главе этого Тьер — «малорослый старичишка с кругленьким брюшком, на тоненьких ножках», который, «остря и помирая со смеху, ссылает на поселение, сажает на цепь», для которого

один бог — капитал, и нет бога, кроме него. В эти годы Герцен увидел и пролетариат. И хотя он и не понимал всех тех экономических пружин, которые приводят в действие часы политической борьбы, хотя он еще верил в некую абстрактную «силу идей», но это уже не его вина. Как сказал Ленин, он остановился на пороге исторического материализма.

Герцен заговорил о значении материальных условий существования человеческого общества, о том, как это материальное влияет на классовую борьбу. Но из правильной посылки исторического материализма Герцен не сделал правильных выводов, которые могли бы вооружить его подлинно научной революционной теорией. Поражение работников он объяснял только их слабостью, ему не было доступно понимание того, что в 1848 году рабочий класс еще не созрел как революционная сила. А Герцен спешит, Герцен принимает первую битву за последнее поражение и делает вывод, что социализм в Западной Европе вообще не может победить.

В. И. Ленин очень точно определил суть духовной драмы Герцена. «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела».

Герцен в этой книге «казнил» себя за те иллюзии, которые он питал относительно просветительских идей «обновления мира», и он не скрывал своих заблуждений. У Герцена как бы спала с глаз пелена, словно ее сорвали залпы карателей, расстреливающих парижских работников. Буржуазная Франция — это «террор, сальный, скрывающийся за углом, подслушивающий за дверью».

«С того берега» — книга трагическая. И Герцен это понимал. В «Былом и думах» он писал: «Я в себе преследовал ими (статьями. — *В. П.*) последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся». Но есть в этой книге и оптимистические ноты. Они целиком относятся к России. В письме к Мозесу Гессу, ставшему кор-

респондентом Герцена и критически отнесшемуся к книге, Александр Иванович писал: «Мы в России страдаем только от нашей детской неразвитости и материальной нужды, но нам принадлежит будущее. Славянский мир еще не жил во всей полноте своих сил; теперь он инстинктивно приготовил себе огромную арену действия — Россию».

А через десять лет Герцен подведет итог тем трагическим годам в предисловии к книге писем из Италии и Франции. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели».

Духовная драма, пережитая Герценом, крах его надежд на буржуазную республику, буржуазную демократию, уверенность в том, что теперь Европа идет к своему концу и, быть может, его нужно ускорить («Я решительно отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса без истребления существующего», — писал он в Москву друзьям 5 ноября 1848 года), породили у Герцена не только глубокий скептицизм. Он не отказался от борьбы. Он призывает читателей к более пристальному изучению действительности, к поиску новых решений, «к возмужалой логике», по-научному, а не с помощью фантазии погрузиться в историю народной жизни — «эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, понять ее пути, ее законы». Герцен, оставаясь верным идее социализма, воочию убедился, что легко и просто его торжество не наступит. А ведь он был в этом уверен еще совсем недавно, когда писал «Письма об изучении природы». «Европа умирая завещевает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм», — пишет он в Москву 5 ноября 1848 года. Эта вера не угасла, но Герцен уже поколеблен в том, что революционное насилие целесообразно. Он воочию видел кровь, горы трупов. И он и впредь будет стремиться к тому, чтобы катаклизмы обходились человечеству без крови. Террор, по его словам, «по справедливости возмутил все сердца».

Убежденный в том, что умирающая Европа завещала грядущему миру социализм, Герцен отвернулся от полутрупа, он ищет, откуда придет этот грядущий мир. Именно духовная драма, пережитая Герценом на Западе, заставила его повернуться к нему спиной, обратить все

свои взоры, возложить все надежды на мир славянский, на Россию. Славяне еще «в ребячестве». Но они из него выйдут, а «натура славян в развитых экземплярах богата силами, как неистощенная почва. Эти развитые экземпляры — ручательство прекрасных возможностей...» Герцен убежден теперь в этом сам и старается убедить в том же и своих московских корреспондентов. Обращаясь к сыну, Герцен призывает его не оставаться на «этом берегу» — берегу реакции, берегу, на кромке которого Герцен пишет свои статьи. Он призывает его перейти на «тот берег» — берег революции. И сам он видит себя на «том берегу».

На первый взгляд в книге «С того берега» Герцен приходит к каким-то окончательным выводам. Это неверно. Это книга раздумий, книга гипотез, книга страданий, так ярко запечетленных в главе «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собою»). Главнейший же вывод таков — Герцен верит в будущее, реакция может притормозить бег истории, но на минуту, торжество справедливости неизбежно.

Очень трудно определить жанр «С того берега». Это и публицистика и художественные зарисовки с натуры, лирические размышления и точные научные выкладки. Прямая речь персонажей, спаянная строжайшей логикой со всем повествованием, его идейным стержнем. Здесь и юмор вперемешку с сарказмом, и горечь поражения, сплетенная с надеждами на победу. И все же скептицизм — вот главная окраска книги.

Она была хорошо принята зарубежным читателем. В России эта книга, продолжая пропаганду Белинского, проповедь Петрашевского, во многом способствовала формированию идейных взглядов будущего поколения революционеров-разночинцев, будущих «шестидесятников».

Бесспорно, что намерение печатать за границей русскую бесцензурную литературу крепло в сознании Герцена. Но он превосходно понимал, что одного желания мало. Для начала нужны, как минимум, деньги. Это-то и заставило его позаботиться относительно движимого и недвижимого имущества, которое оставалось на Родине у него самого и у матери. Александр Иванович словно предчувствует, что николаевские чиновники поспешат наложить секвестр на все имущество Герценов. Между тем

потеря имущества и 106 тысяч рублей, принадлежавших лично Луизе Ивановне, конечно, очень бы подрезали финансовые возможности Герцена, возможности издания своих книг и того, что придет из России. На это нужны деньги и деньги. Весной 1849 года деньги его волновали, и даже очень.

В середине декабря Герцены переезжают в Цюрих, где в училище глухонемых занимается Коля. Цюрих решительно не понравился Александру Ивановичу. А тут еще из Парижа известия о денежных неурядицах. На деньги Луизы Ивановны сам Николай I наложил арест. Нужно ехать в Париж и насесть на банкирский дом Ротшильда. Теперь только этот «король финансового мира» может «на равных» разговаривать с императором России. Пока идут сборы, Герцен в мрачном настроении пишет статью «Эпилог 1849». «...День был холодный, снежный... все были заняты укладкой; я сидел один-одинехонек... впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие — мой «Эпилог к 1849»*. Герцен назвал 1849 год годом «крови и безумия», годом «торжествующей пошлости, зверства, тупоумья», отмечая, что он был несчастием «от первого до последнего дня». «Ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа, нигде, не было в тебе».

22 декабря Герцен и Луиза Ивановна выезжают в Париж. По дороге Герцен виделся с Гервегом, который к тому времени перебрался в Берн. «Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день — он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?..» Гервег проводил Герцена на почтовый двор, карета тронулась. Гервег остался стоять, прислонясь к воротам... «Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека... Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы: «Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?» Да, Герцен не знал, что Наталья Александровна, как только Герцен уехал, 24 декабря написала Гервегу: *«Приезжайте,* если это *возможно,* — хоть день, хоть час пробыть с вами!..»

Посредничество Ротшильда помогло. «Через месяц или полтора, тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов, устрашенный конкурсом и опубликованием в «Ведомостях», уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению».

В «Былом и думах», письмах Герцена нечасто, но встречаются упоминания о представителях династии банкиров Ротшильдов. По большей части это чисто деловые записи. А между тем напрашивается вопрос: ужели Герцен не знал, с кем он имеет дело? Конечно, знал. И понимал, что Ротшильд, оказывая услугу революционеру Герцену, делает это не бескорыстно, что этот банкир преследует какие-то свои и в данном случае отнюдь не коммерческие цели.

Ротшильды английские и французские, Ротшильды в Вене и в Италии всегда готовы были своим «золотым мешком» поддержать борьбу буржуазных правительств против национально-освободительных движений. Они финансировали и колонизаторские захваты. И как ни старались эти «князья тьмы» действовать в тени, за кулисами, их роль в захвате Францией Алжира в 1830—1840 годах стала известна. Надо полагать, знал об этом и Герцен. Но Герцен был реальным политиком. Он трезво отдавал себе отчет, в каком обществе он живет. Власть денег, а значит, и фактическая власть банкиров, была им уяснена достаточно быстро, как только он очутился в буржуазной Европе. Деньги ему нужны не для праздной жизни, а на революционное дело. И если эти деньги может выручить из цепких лап царизма Ротшильд, что ж, приходится идти на сделку и с ним. Это было нелегко, это была трагедия революционера-эмигранта. Он становился своего рода рантье. Но не нажива его занимала. «Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое».

Хотя Герцен и бежал из Парижа, но у французской полиции не было на него компрометирующего материала, и Александр Иванович спокойно остановился у Эммы Гервег, предупрежденной Натальей Александровной, что не следует афишировать присутствие Герцена в столице

Франции, чтобы «друзья» не накинулись на него. Пребывая в одиночестве, разделяя его только с Эммой, Герцен очень остро почувствовал, что ясно обозначившиеся нелады в семействе Гервегов отражение, а может быть, и следствие запутавшихся его семейных и сердечных дел. Он возмущен тем, что Гервег не пишет Эмме, что ему нет дела до детей. И снова правдивая, прямая натура Герцена взяла верх. Он не хотел никакой фальши, никаких недомолвок. Между тем письма Натальи Александровны из Цюриха полны Георгом. Сочувствие к бедному, одинокому, страдающему от неразделенной до конца дружбы Гервегу. И Герцен шлет Наталье Александровне честное, откровенное послание (впоследствии уничтоженное им). Он очень спокоен, этот, казалось, никогда не знающий покоя человек, он очень чуток, у него единственная просьба к жене — разобраться самой в своих чувствах и обо всем откровенно написать ему в Париж.

Письмо это привело Наталью Александровну в смятение. «От тебя письмо от 9,.. и я тоже сижу и думаю только: «*Зачем это?*» *И плачу, и плачу. Может, я виновата во* всем; может, недостойна жить — но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней — так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира — куда же? — надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна, из нее и опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. *Мир широкий, богатый, я не знаю богаче* внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности, — в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души, что-то, как волосок тончайший, мутило душу, а потом опять все становилось светло». «Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным, искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Гервегу».

Могло ли такое взбудораженное и так непохожее на прежнюю Натали письмо успокоить Герцена? Конечно же, нет. Он то верил, то не верил, что любовь ее к Гервегу перешла все границы. Он не знал об их «неофициальной переписке», а там есть и такие строки: «О, никогда и никому я так не принадлежала, как тебе, тебе, жизнь моя, моя вторая жизнь... Мне необходим был ты! Я искала тебя на небе, искала среди людей — и повсюду, повсюду, всегда, всегда... Милый, как обнимаю я тебя, когда о тебе думаю... О, только бы коснуться тебя...»

И Герцен вновь просит жену: «Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота — он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне — не струна грусти, а другая... Теперь все еще в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, *Гервег взойдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я. Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим*, что и как... Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; *здесь* мне будет еще тяжелее — и я не вынесу».

Герцен не угрожает, Герцен просто еще и еще раз просит Наталью Александровну разобраться в своих чувствах. А она уже не в силах порвать с Гервегом. Но не может расстаться и с Герценом. «Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с тобой, — как будто это возможно!» После письма, в котором Александр Иванович говорит о своем намерении уехать с Сашей в Америку, Наталья Александровна мчится в Париж.

Герцен просил Наталью Александровну приехать в Париж без детей, но она привезла Сашу и Тату. Тогда Герцен предложил встретиться втроем, с Гервегом, в Мюльгаузене, чтобы обсудить все совместно. И Гервег и Наталья Александровна уклонились от этого предложения. И снова как будто все наладилось. «Встреча наша в Париже была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознанья, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко». Герцен убедился, что при сохранившейся горячей симпатии к Гервегу Натали «словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту». Натали успокоилась. Но, кажется, что и Герцен тоже успокоился. Вновь завязывается переписка с Гервегом. На его истерические вопли, упреки Герцен отвечает, что хватит, пора прекратить это «самоистребление в письмах»,

Герцен не собирался, да и не мог долго оставаться в Париже. Его удерживали только денежные дела Луизы Ивановны. Но почему он вновь строит планы совместной

жизни с Гервегом? Логичнее, просто человечнее было бы прекратить с ним всякие отношения. Герцен уже понял, что собой представляет Гервег, чего стоит и Эмма, ставшая в Париже посредницей в любви мужа. Она передавала Наталье Александровне письма, которые не предназначались для прочтения Герценом.

Герцен в Париже прятался от знакомых, но не мог никуда уйти от бурного потока «любовных» писем Гервега. И слезы, и восторги, и планы на будущее, и злобные выпады против Эммы, упреки Герцену в том, что тот сознательно задерживает свой отъезд из Парижа, и извинения за то, что не написал предисловия к немецкому изданию герценовских «Писем». Александр Иванович вынужден был отвечать. Гервег расспрашивал о положении дел во Франции, Герцена же интересовали дела с изданием его книги и брошюр. И переписка не иссякала.

Мозес Гесс откликнулся на только что отпечатанную в прудоновской газете статью Герцена «Donoso Cortès...». Этот отклик примечателен: «Если вы хотите узнать разницу между вашим идеологическим и нашим... материалистическим пониманием истории, то сравните только вашу оценку французской истории с Июльской революцией 1830 г. до июньского боя 1848 г. и после, изображенную в ваших последних письмах, с Марксовой оценкой того же исторического периода...» Он советует прочитать «Нищету философии. Ответ на «Философию нищеты» Прудона» К. Маркса. «Я знаю, что, только отчаявшись в европейской революции, стали вы утешаться вашей славянской иллюзией...» В книге «С того берега», а ранее в статье «La Russie» Герцен уже действительно наметил основные вехи своей теории «русского социализма». Не веря в новый подъем социалистического движения на Западе, он пытается обосновать историческую роль России, которая в лице земельной общины укажет новый, отличный от Запада путь — социализм.

Нашли Герцена и письма из России. Одно с приятнейшим известием о том, что Огарев, так и не дождавшись согласия на развод от Марии Львовны, решился наконец сочетаться гражданским браком с Натальей Алексеевной Тучковой. Второе известие, и тоже об Огареве, пришло в образе маленькой записки со странными словами «Прощай на долгие годы». Потом только выяснилось, что в феврале 1850 года Огарев, Сатин и А. А. Тучков арестованы. Можно понять отчаяние Герцена. Он-то знал, что такое арест, ссылка в России. К счастью, их всех скоро выпустили. Пришло и еще одно радостное известие — Мария Каспаровна Эрн и Адольф Рейхель обвенчались. Два друга, близких, верных, навсегда соединились.

Встретился Герцен и с Маццини, прибывшим тайно во Францию. За Герценом «прислали». Маццини уговаривал Александра Ивановича вступить в международную «юнту», которая должна создаться в Лондоне и представлять в ней русских. Герцен отказался. Революционность западных эмигрантов вызывала у него недоверие, хотя лично Маццини Герцен уважал и высоко ставил его человеческие качества.

Дважды Герцену пришлось просить в Парижской префектуре отсрочку с выездом из Парижа. Его, «как нежелательного иностранца», попросту высылали из Франции. Но ведь все еще не были закончены денежные дела.

Между тем в России участь Герцена была решена. Узнал он об этом несколько позже. Петербургский надворный уголовный суд «согласно высочайшего его императорского величества повеления» вынес приговор: «Сего подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского государства». Законным наследником Герцена признавался его брат Егор Иванович и его дети. К чести Егора Ивановича, он этой бумаги не подписал, а составил иную, по которой передавал права на наследство Герцена Наталье Александровне и ее детям.

17 июня 1850 года, покончив со всеми делами, Герцены отбывают железной дорогой в Ниццу, прочь от полицейского надзора в Париже. «Когда я переехал Варский мост и пиэмонтский карабинер принялся записывать мой пасс, мне стало легче на душе. Я стыжусь, краснею за Францию и за себя, но признаюсь — я свободнее вздохнул, так, как во время оно вздохнул, переезжая русскую границу. Наконец я вышел из этой среды нравственной пытки, постоянного раздражения, бешенства, негодования». Так писал Герцен в эпистолярном отрывке, который позже войдет в книгу писем из Италии и Франции.

Еще раньше Герценов в Ниццу уехала Эмма с детьми. Герцен одолжил ей 10 тысяч франков. Георг колебался, ехать или не ехать ему на «соединение» с Эммой и Герценами: Наталья Александровна была беременна, и Гервег

обвинял ее в измене. Эмма же объясняла нежелание Гервега покидать Цюрих его новым увлечением, о чем не без злорадства сообщила Наталье Александровне. Но та была настолько счастлива, что Париж позади, что она на берегу Лазурного моря, что может бегать с детьми у кромки прибоя, а рядом, словно ребенок, дурачится и Александр, что не приняла всерьез сообщение Эммы. Ее беспокоило, доводило чуть ли не до обморока одно — как бы Эмма или Гервег, когда он приедет в Ниццу, «не проговорились» Герцену. Ведь Гервег успел «покаяться» перед Эммой. В ужасе перед подобной возможностью Наталья Александровна писала Гервегу, видимо, перед отъездом в Ниццу: «Я любила, любила всю мою жизнь, а *тебя* — больше всего на свете... Все остальные мои привязанности — это корни, листья, стебель, ты же — цвет растения, называющегося Натали, единственный цвет; если отрезать тебя — она не будет цвести вновь, вся ее сила, вся жизнь ее, все, что в ней было самого прекрасного, отдано цветку, даже листья опадут, корень отомрет — но цветок пострадает *и в том случае,* если станут обрывать листья, касаться корня. Не знаю, почему хочешь ты сделать это, но *я чувствую,* что ты скоро убьешь меня — да свершится воля твоя!!!..»

В Ницце Герцены сняли двухэтажный дом с обширным тенистым садом и небольшим домиком в глубине его. Второй этаж предназначался Гервегам, а домик в саду берегли для Огарева и Натальи Тучковой. Герцены надеялись, что они приедут в Ниццу. А Гервег не спешил, Гервег отговаривался болезнью, забывая, что в Цюрихе живут Луиза Ивановна и Мария Каспаровна — они видят Гервега здоровым. Наталья Александровна извелась в ожидании. В потаенном письме она снова и снова предупреждает Гервега: *«У него* (Герцена.— *В. П.*) *не должно никогда возникать и малейшего подозрения* — или же я погибну: это не фраза — на фразы я никогда не была способна...»

Савойская династия не притесняла политических изгнанников. Правителям ее было сообщено, что нежелательный для Франции иностранец Герцен выслан за участие в нежелательных изданиях. Но к тому времени газета Прудона, как и предсказывал Герцен, была после девяти конфискаций тиража и крупных денежных штрафов

закрыта, а деньги, внесенные Александром Ивановичем, остались во французской казне. Герцена это уже не очень беспокоило. За эти годы он успел многое потерять, начал привыкать к потерям и мечтал о том, чтобы получить некоторую передышку.

Здесь, в Ницце, изгнанники по большей части были представлены итальянцами. А к итальянцам Герцен всегда относился с неизменной симпатией. Герцен близко сошелся с Феличе Орсини, республиканцем, демократом, борцом за освобождение Италии и ее объединение. Наталья Тучкова дает его портрет: «Высокого роста, с черными волосами, с черными глазами, с черной небольшой бородой, с правильными, но немного крупными чертами лица... Когда он говорил, он поражал необыкновенным одушевлением, живостью, горячностью и вместе с тем уменьем остановиться...»

Герцен возобновил свое знакомство и с Карлом Фогтом, с которым встречался еще у Бакунина в 1847 году. «Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною... Страстный поклонник красот природы, неутомимый работник в науке, он все делал необыкновенно легко и удачно... радикал — по темпераменту, реалист — по организации и гуманный человек...» 1848 год «бросил» его во франкфуртский парламент. Но после поражения революции он «викарий Германской империи в бегах». В 1850 году Карл Фогт в Ницце — служащий на станции морских зоофитов.

Наконец явился Гервег. Приехала и Луиза Ивановна. Умная, много пережившая женщина, она сразу поняла, что семейная жизнь сына дала трещину. Гервег «принял вид Вертера в последней степени отчаяния». Эмма часами ревела в спальне Натальи Александровны. Гервег грозился, что утопится или застрелится. «Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги»,— вспоминал впоследствии Герцен. Ольга родилась 20 ноября 1850 года.

Гервег, несмотря на весь свой эгоизм, себялюбие, понял ложность своего положения в доме Герценов. Он требует от Натальи Александровны, чтобы она немедля разорвала с мужем и ушла из семьи. Был ли в этом тайный расчет? Наверное, был. Гервег не любил Наталью Александровну, никого не любил, кроме себя. Но он знал, что Герцен, даже если Наташа бросит его, не оставит ее в бедности. А раз так, то и будущее Гервега в отношении финансов обеспечено.

Наталья Александровна, надо отдать ей справедливость, только один раз в порыве готова была бросить все и идти за Гервегом. Но... не ушла.

Новый, 1851 год встречали на половине Луизы Ивановны. Герцен много пил, сыпал злыми остротами. Фогт «катался со смеху», но в воздухе чувствовалось напряжение. Герцен не ответил на тост Гервега. В один из первых дней нового года между Александром Ивановичем и Натальей Александровной состоялось мучительное объяснение. Наталья Александровна говорила, что ей лучше уехать в Россию. Герцен же твердо заявил, что будет еще лучше, если он сам уедет куда-либо. Когда через некоторое время Луиза Ивановна увезла невестку и внуков вместе с Эммой и детьми на прогулку в Ментону, между Герценом и Гервегом произошел окончательный разрыв. Их беседа была обычной, но у Герцена чесались руки: «Зачем я не начал прямо разговора или не столкнул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня». Это была их последняя встреча. В этот день Гервег не вышел к обеду. Эмма заявила Наталье Александровне, что он уезжает, и прибавила, что Георг замышляет самоубийство.

Герцен спросил жену:

— Ты веришь?

— Я уверена.

— И он сам это говорил?

— Сам и Эмма; он вычистил пистолет.

Герцен рассмеялся.

— Не баденский ли? Его надобно почистить: он, верно, валялся в грязи. Впрочем, скажи Эмме — я отвечаю за его жизнь, я ее страхую в какую угодно сумму.

Наталья Александровна почему-то уверилась в том, что между мужем и Георгом неизбежна дуэль. А решать вопрос жизни или смерти Александр Иванович оставил за ней. Но у нее нет выбора. Кто бы ни был убит, она знала, что и ей не быть в живых. После полуобморока, после того, как Наталья Александровна выплакала свое «несчастное увлечение» и осталась с мужем, Герцену пришлось выдержать мелодраматические объяснения с Эммой. Но Герцен проявил характер. Он настоял на отъезде Гервегов в Геную, заплатил их долги, дал деньги на дорогу.

Но на этом драма, семейная драма Герцена, не закончилась. Луиза Ивановна, пережившая ее вместе с сыном, потом в письмах к Марии Каспаровне с возмущением рассказывала о бесстыдстве Эммы. Луиза Ивановна жила под постоянным страхом: вдруг эта чета вновь появится в Ницце.

Гервег из Генуи продолжает донимать Наталью Александровну письмами. Он опять грозит, что зарежется в присутствии Герцена. Это, конечно, зловеще, романтично, но именно неизжитая романтика детских лет всегда трогала Натали. Гервег не застрелился. Он заявил, что уезжает в Египет, и... оставался в Генуе.

Феличе Орсини однажды зашел в Генуе к Эмме. Та сказала ему, что они с мужем решили покончить с собой, умереть с голода и уже тридцать часов ничего не ели. Эмма умоляла не оставить без призора ее детей, Гораса и Аду. Орсини вышел на террасу и увидел, как за углом в открытом кафе Георг преспокойно уплетает салями. А Эмма? Заметив улыбку Орсини, она тут же съела тарелку супа. Потом Гервег заявил Орсини, что голодная смерть мучительна, поэтому он решил отравиться.

Вся эта пошлая мелодрама в глазах Натальи Александровны сбросила Гервега с «небесного пьедестала». Но... втайне от Герцена она продолжала писать Гервегу.

Еще в конце 1850 года в Ниццу приехали Энгельсоны. Владимир Аристович был «странным существом». Друг петрашевца Николая Спешнева, он собирался вместе с ним уехать за границу по окончании Александровского лицея, но был напуган царской резолюцией, похожей на нотацию: «Можит и здесь в Университете учиться, а в их летах шататься по белому свету, вместо службы, и стыдно, и недостойно благородного звания; за сим ехать могуд ежели хотят». Энгельсон остался, а Спешнев «за сим» уехал. Более того, Энгельсон попросился на службу в III отделение. Но в результате оказался в департаменте внешних сношений без чина и жалованья. Причастный к делу Петрашевского, он успел, не в пример иным, уехать в Ниццу.

«Энгельсон бездну читал и бездну учился, был лингвист, филолог и вносил во все знакомый нам скептицизм, который так много берет за боль, оставляемую им. Встарь об нем сказали бы, что он зачитался. Через край возбужденная умственная деятельность была не по силам хилого организма». Но Энгельсон имел счастливое свойство смешить собеседников. Он умел рассеять хандру Герце-

на. Его первого Герцен посвятил в подробности семейной драмы. Когда Герцен летом 1851 года отправился в Париж, чтобы раздобыть необходимые документы для получения швейцарского гражданства, Энгельсон поехал с ним.

Какая безысходная тоска, сколько желчи в парижских письмах Герцена: «...Я устал, я сломан, я состарелся, — писал он в Москву. — Будущности у меня нет, это я знаю, да я ничего и не жду, я не обрадуюсь ничему особенно, да и не умру, кажется, ни от какого удара...» Ему вновь хочется уехать в Америку или Испанию. Когда Герцен по пути из Парижа заехал в Женеву, то, к ужасу своему, узнал от старого друга Николая Сазонова, что его семейная драма — секрет полишинеля. Более того, Сазонов сказал, что слышал «всю историю от самого Гервега». Но и этого мало, Сазонов заявил:

— Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем ожидал, и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Гервег уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он — трус и боится тебя как огня, а во-вторых, потому, что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься, приехать в Швейцарию.

— Это гнуснейшая клевета!

— Это его слова, и в этом я даю тебе честнейшее слово.

Герцен был близок к помешательству. 28 июня 1851 года он взывает к Наталье Александровне: «Что со мною и как, суди сама. Он все рассказал Сазонову... Такие подробности, что я без дыханья только слушал. Он сказал, что «ему жаль меня, но что дело сделано, что ты упросила молчать, что ты через несколько месяцев, *когда я буду покойнее*, оставишь меня...» Друг мой! Я не прибавлю ни слова. Сазонов меня спросил, что это, будто ты больна. Я был мертвый, пока он говорил. Я требую от тебя ответа на последнее. Это все превзошло самые смелые мечты. Сазонов решительно все знает... Я требую правды... Сейчас отвечай; каждое слово я взвешу. Грудь ломится... И ты называешь это связным развитием. Еду я завтра в Фрибург... Так глубоко я еще не падал. Письмо ко мне в ответ на это адресуй в Турин... Неужели это о тебе говорят?.. О боже, боже, как много мне страданий за мою любовь... Что же еще... Ответ, ответ в Турин!»

В Турине Герцена ждали не письма, а встреча. Ночь

в отеле при зажженных свечах. Это было их «второе венчание» — «его смысл, может быть, глубже и знаменательнее первого, он совершился с полным сознанием всей ответственности, которую мы вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий...». «Второе венчание». Последний всплеск, последние минуты счастливой жизни Герцена. Затем, как бы подтверждая поговорку, что беда не приходит одна, беды посыпались одна за другой.

16 ноября 1851 года уже под вечер дом Герценов в Ницце полыхал огнями, на балконе уютно теплились китайские фонарики, в столовой накрыт стол, перед одним прибором букет роз, около другого — разложены игрушки, в серебряных ведерках на льду дожидаются своего часа бутылки шампанского. Саша и Тата все время выбегают на балкон, за китайскими фонариками нужно присматривать, особенно во время ветра. Наталья Александровна отдает последние распоряжения. Герцен не уходит с балкона, отсюда открывается вид на море. Сегодня оно неспокойно, но волнение не более двух-трех баллов. Вот на горизонте показался дымок, значит, пора на пристань. В Ниццу из Парижа приезжает Луиза Ивановна с Колей, его гувернером Шпильманом, племянницей Луизы Ивановны Луизой Суццер и горничной Адельгейде.

Герцен в сопровождении Энгельсона спешит на пристань. Но что это? Вместо парохода «Город Грасс», на котором Луиза Ивановна и ее спутники отплыли из Марселя, к пристани швартуется корабль, на борту которого написано: «Нант и Бордо».

Толпа встречающих взволнованно гудит, но ничего нельзя понять в этом шуме. Едва пароход причалил, Герцен взбежал на палубу и... буквально наткнулся на Луизу Суццер и горничную. Они рыдали и не могли произнести ни слова. На палубе крики, какие-то дамы бьются в истерике.

Пока известно одно — у Гиэрского архипелага, в проливе, куда всегда направляются пароходы, чтобы не беспокоить пассажиров качкой, не прекращающейся в открытом море, «Город Грасс» столкнулся с другим кораблем — «Город Марсель». «Грасс» был разрезан носом «Марселя» почти пополам. Это случилось в три часа пополуночи, пассажиры спокойно спали в своих каютах.

Всего десять минут после столкновения «Город Грасс»

держался на плаву. Но за эти минуты в панике самая большая шлюпка плюхнулась на воду и затонула, увлекая на дно спасающихся. «Город Марсель» подобрал несколько человек, но, имея в борту пробоину, поспешил к берегу. Еще человек 15 подобрали шлюпки с «Нант и Бордо». Луизы Ивановны, Коли, Шпильмана не было. Не оказалось их и в Гиэре, куда доставили трупы, выловленные в море.

Минула неделя. Герцен нашел в себе силы написать Марии Каспаровне: «Искренний, ближайший друг Мария Каспаровна, мне принадлежит великий и тяжелый долг сказать вам, что я воротился в Ниццу один. Несмотря на все старания, я не нашел нигде следа наших. Один сак Шпильмана достали из воды. Что у нас и как провели эту неделю — страшно вздумать. Десять раз я брал перо писать к вам — и не мог, решительно не мог. Что это сон, безумие... дайте мне вас прижать к моей груди, плакать с вами, останьтесь вы наша сестра во имя этого Ангела. Буду писать все подробно, не теперь только. Я даже боюсь вашего ответа. Наташа очень плоха, она исхудала, состарилась в эту проклятую неделю. Она надеется... Я не знаю, что может быть, но не верю... Я пишу один, Наташа лежит, она хотела писать — но не могла». У Натальи Александровны начались нервные припадки, галлюцинации, открылся плеврит в очень тяжелой форме.

В эти дни Герцен никого не принимал, никого не видел, только письма к Марии Каспаровне — одной из «пяти голов», которые остались от старого московского кружка. Его письма походят на бюллетени, и по ним можно проследить, как угасала Наталья Александровна. «Хуже, хуже, хуже». Потом отчаяние сменяется надеждой. Болезнь Натальи Александровны осложнялась еще и тем, что в это время она вновь ожидала ребенка. И все же к концу января 1852 года состояние больной заметно улучшилось. Александр Иванович, почти не спавший все эти ночи у постели жены, позволил дать себе краткую передышку.

Но беда не приходит одна... 28 января почта доставила письмо Гервега с вызовом на дуэль. Письмо это не сохранилось, по словам Герцена, оно было «отвратительно, гнусно». Гервег писал об измене Натальи Александровны и что сама судьба вступилась за него и отомстила Герцену гибелью матери и «исчадья».

Гервег действовал наверняка. Его обвинили в том, что он предал дружбу, нарушил моральные нормы поведения человека честного, тем более демократа, революционера. Он с этим обвинением не согласен. Его честь запятнана. Он должен смыть это пятно. И вот пожалуйста — он готов к барьеру. Какой еще иной способ, иное средство здесь годятся? Только дуэль — он не боится с чистой совестью стать под дуло пистолета. А вот встанет ли Герцен? Гервег был и умен, и прожил рядом с Герценом достаточно, чтобы не сомневаться в его личной храбрости. Но он также хорошо знал, что жизнь Натальи Александровны держится на волоске, узнай она только о дуэли — и тогда смерть. Если и не от разрыва сердца, то от преждевременных родов. Подвергнет ли Герцен такой опасности горячо любимую жену? Конечно, нет. В этом Гервег не сомневался. Но если Герцен отклонит вызов, то в глазах европейского общества прослывет трусом.

Гервег лучше Герцена знал нравы Западной Европы, не говоря уж о Германии, где дуэль среди буршей считалась обязательной и общество косо смотрело на тех «докторов», которые закончили университеты без шрамов на лице. А итальянцы? Даже в среде революционных эмигрантов не знали иного способа разрешения личных столкновений, и дуэли были явлением заурядным. Когда Шопенгауэр выступил против этого бессмысленного, ничего не доказывающего кровопролития, то многие приняли такое выступление за очередной парадокс философа.

Гервег не ограничился только письмом с вызовом. Ведь Герцен вполне мог, не читая, сжечь его. Поэтому письмо было предварительно показано многим, и многие из него узнали, что идеальная жена русского изгнанника ушла бы к Гервегу, но Герцен держит ее силой и моральным давлением. О письме ранее Герцена узнали и Фогт, и Энгельсон, а уж Эмма на всех перекрестках раззвонила. что Георг покроет позором Герцена, даже если бы при этом «надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде».

Первым движением, первой реакцией Герцена было «ехать и убить его, как собаку», он так и заявил Энгельсону. Но как уедешь? Наташа сразу же догадается обо всем. Дуэль — это тоже убийство, только узаконенное незаконным кодексом чести.

Ну ладно, пусть он убьет Гервега. А Наташа? Она или умрет, или останется жить обесчещенной. А дети? Что будут делать они, даже и с матерью, в чужой и чуждой им стране, без друзей, без родных? И Герцен отложил решение вопроса о дуэли, хотя и не отказался от нее вовсе. Это была его ошибка, он должен был сразу отвергнуть дуэль, заявить о своем непризнании такого способа решения интимных вопросов.

Вторая его ошибка состояла в том, что он рассказал и даже местами показал Наталье Александровне письмо Гервега. Это, может быть, даже и не ошибка, а дань собственному эгоизму, еще не утихнувшей ревности, вообще тому не поддающемуся определению состоянию, в котором тогда находился Герцен. Это письмо фактически убило Наталью Александровну. Она возненавидела Гервега столь же страстно, как ранее была увлечена им. Но у нее достало сил написать ему последнее послание: «Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить, и притом при свидетеле, то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, но ваш характер, вероломный, низко еврейский, ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей во время вашего отъезда и после, в то самое время, как достоинство и преданность Александра росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталом, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедестал вы хотели забросать грязью. Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь. Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют Александру одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью. Куда делись вечные протестации в вашем религиозном уважении моей воли, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Александру? Разве я не всегда говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что, если б он меня оставил, даже умер бы, — я останусь одна до конца жизни?.. Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: «Я остаюсь в моей семье, моя семья — Александр и мои дети», и, если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. «Между мной и вами нет моста». Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее».

В соответствии с желанием Натальи Александровны письмо это было прочитано Гервегу друзьями Герцена.

После этого письма Герцен окончательно решил отказаться от дуэли и расправиться с Гервегом другим способом. Каким? Мысль подал Орсини. Он предложил передать всю эту распрю на рассмотрение суда чести. Европа тогда их не знала. Суд по законам любого государства был неприемлем для революционеров, изгнанников. Значит, судьями должны были стать лица, чей авторитет в среде демократов, эмигрантов неоспорим.

Герцен ухватился за эту мысль. И что важно, он так до конца своей жизни и был уверен, что суд чести эмигрантов-демократов должен был состояться. Наверное, «Былое и думы» все равно были бы написаны. Но Герцен начал писать свой шедевр с рассказа о семейной драме.

Этот раздел писался долго. Но по-прежнему мысль о суде демократии над Гервегом ни на минуту не покидала Александра Ивановича. Своей «распре» с Гервегом Герцен хотел придать значение политическое, гражданственное.

А между тем 30 апреля у Натальи Александровны родился сын, нареченный Владимиром в память о владимирской лучезарной поре их жизни. Роды прошли благополучно, но сын прожил всего сутки. Силы Натальи Александровны иссякли вконец. Силы и физические и душевные. Их не было для того, чтобы бороться с подступившей к ее изголовью смертью. 2 мая она умерла.

Ее похоронили 3 мая на городском кладбище в Ницце без привычного церковного обряда, но при скоплении всех эмигрантов, находившихся тогда в этом городе.

«Фемический» суд, суд чести, так и не состоялся, хотя участвовать в нем изъявил согласие Орсини. Мадзини готов был принять судей. Бывший австрийский офицер Эрнс Гауг — «римский генерал», прозванный так за то, что в 1849 году храбро дрался с французами за недолговечную «римскую республику», дал пощечину Гервегу. Но, конечно, организовать сколько-нибудь представительный форум судей в измельчавшей среде швейцарских и итальянских эмигрантов Герцен не мог. Он апеллировал к Рихарду Вагнеру, но получил от него вежливый отказ.

Герцен метался по Европе. Девочек он отправил в Париж с Марией Каспаровной, приехавшей на похороны

Натальи Александровны. Вместе с сыном Сашей он побывал в Генуе, Лугано, Люцерне, в Париже — этот 1852 год был годом скитаний и поисков судей. Но тщетно... Общественное мнение Европы, знавшее Герцена больше понаслышке, склонялось не в его пользу.

А он все еще не успокоился, все еще не мог расстаться со своей идеей демократического суда. «...Досадно одно, что я все же не раздавил цюрихского мерзавца, дело не кончено, дела кончаются только тогда, когда сверху посыпано землею...»

«В начале, удерживаемый клятвой, я воображал, что действую наилучшим образом, требуя торжественного суда над чудовищем безнравственности. Мне удалось тронуть несколько человек... вот и все. А затем оказалось, что я скомпрометировал себя своей просьбой. *Для меня позор* в том, что человек этот существует. Какова фатальность — жизнь чистая, незапятнанная, все время в рядах борцов, 40 лет жизни, богатой силою, счастьем. И вдруг — вокруг небытие, гроба, дети — и несвершенная месть, следственно — бесчестие. Это тяжело — но приходится нести свое бремя».

В Париже 25 сентября 1849 года выходит пробный номер газеты Прудона и Герцена. Позднее Александр Иванович писал, что пробный номер «Voix du Peuple» «зарезал» газету.

Появление статей Герцена, написанных по-герценовски страстно, остроумно, привлекло к нему многих издателей. И Маццини просит Герцена сотрудничать. Ходят слухи, что Герцен анонимно пишет для различных женевских изданий, хотя Герцен все отрицает.

С осени 1849 по 1851 год Герцен написал не только основные части книги «С того берега», но и такую блестящую статью, как «Русский народ и социализм», а также классическое произведение и русской и мировой социалистической литературы «О развитии революционных идей в России». Именно в эти годы Герцен уже вступает в бой с русским царизмом без эзоповских приемов, с открытым забралом.

В 1850 году он пытается основать в Штутгарте вольную русскую типографию. Попытка эта окончилась ничем. Но Герцен не был обескуражен. Он знал, что рано или поздно такая типография будет создана, а пока работал над статьями и книгами, которые сначала появятся

в свет на европейских языках. И обязательно будут отпечатаны на русском.

Герцен давно задумал познакомить Европу с подлинной Россией, с русским народом, стащить с его головы «казацкую папаху» и рассказать о русском человеке по имени Пушкин, о том, что Россия — это не только «европейское пугало» — Николай I, но и декабристы. О России, низвергшей Наполеона, о людях 12-го года.

«Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России... В истории нельзя сказать: tarde venientibus ossa (опоздавшим — одни лишь кости. — *В. П.*), наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться». Так писал Герцен в «La Russia».

«Русский народ и социализм» — статья, в которой Герцен развивает теорию общинного социализма, намеченную еще в работе «Россия». Это учение претерпит много трансформаций, но останется герценовским «кредо» почти до последних дней его жизни. Пока еще представление о сельской общине у Герцена основывается на описаниях прусского чиновника, много путешествовавшего по России, — Гакстгаузена, с которым Герцен встречался в 40-е годы. Но даже на основании этого приблизительного знания Герцен торопится сделать выводы о характере общинного, то есть коллективного пользования и владения землей. Это ли не эмбрион социализма? В Европе нет ничего подобного (пролетариат, растущий вместе с капитализмом, Герцен считал революционной силой, но не социалистической).

Герцен верен себе — опять-таки идея, фундамент для нее подобран, но он не стоит на твердой почве изучения конкретных социально-экономических процессов, развивающихся на его Родине. Герцен готов уже утверждать, а впоследствии он будет это со всем ему присущим блеском доказывать, что Россия в своем развитии минует капитализм. И залогом того опять-таки все та же сельская община. И потенциальная мощь русского народа.

Ленин писал о народнических взглядах Герцена: «...В этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве — вплоть до полинявшего народничества теперешних «социалистов-революционеров» — нет *ни грана* социализма. Это — такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее *революционность*

буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы «социализма 48-го года» на Западе».

Однажды, заговорив о будущем России, Герцен не мог миновать и славянского вопроса вообще. Он не был панславистом, но он не соглашался и с Бакуниным, который в эти же годы ратовал за распад русского государства и образование славянских федераций. Герцен считал, что «вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется...» «Он сделается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение».

В 1851 году сочинение Герцена «О развитии революционных идей в России» вышло на немецком и французском языках. Может быть, впервые европейский читатель познакомился с подлинной историей — не русских царей, а с историей народа, развитием в среде его лучших сынов революционных и прогрессивных идей. И опять-таки, как и в других работах, Герцен и в этой весь в раздумьях. Он ведь первооткрыватель темы. Но он не отклоняется от главного стержня своего сочинения — все факты истории народа рассматривает с точки зрения формирования револиционного, патриотического пробуждения масс России.

Герцен целиком обращен к России, к ее главному вопросу, вокруг которого вращалась не только передовая, но и вообще общественная мысль на его родине (если «общественной» позволительно будет назвать мнения дворцовых, чиновничьих и помещичьих кругов). Главное — вопрос о крепостном праве. Не случайно все 30 лет царствования Николая I заседали всевозможные «секретные комитеты», пытавшиеся решить этот проклятый вопрос так, чтобы и волки были сыты (это всенепременно) и овцы целы (по возможности). «Пороховой бочкой» назвал дворцовый историограф барон Корф крепостное право.

Герцену же ясно — освобождение крестьян с землей. Герцен вобщее считал, что в России не было феодальных отношений. Он полагал, что земля исконно принадлежала крестьянской общине. Это была его ошибка.

История русской общественно-политической мысли Герценом прочерчена так четко, так ярко, что и по сей день эти главы представляют большой научный и познавательный интерес.

Пушкин и Чаадаев, Кольцов и Белинский, Гоголь получили на страницах книги яркие, сочные характеристики и точное обозначение их места в литературном процессе, в развитии эстетических взглядов, общественной мысли. Это тем более важно, что Герцен хорошо осознавал роль передовой русской литературы как трибуны передовых общественно-политических идей.

«Незадолго до мрачного царствования... (Николая I. — *В. П.*) появился великий русский поэт Пушкин, а появившись, сразу стал необходим, словно русская литература не могла без него обойтись... Пушкин как нельзя более национален... Подобно всем великим поэтам он всегда на уровне своего читателя; он становится величавым, мрачным, грозным, трагичным... и в то же время он ясен, прозрачен...»

Отдавая должное Полевому, Герцен очень тепло отзывается о русских журналах, которые «вбирают в себя все умственное движение страны».

И «наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью: он нашел страшные слова». Он потребовал от России «отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния». Это о Чаадаеве. Герцен говорит о своем несогласии с ним, но какой любовью проникнуты строки, посвященные мыслителю. А Гоголь! «Никто и никогда до него не написал такого полного курса патологической анатомии русского *чиновника*».

Герцен еще верит в прогрессивную миссию просвещенного дворянства. Между тем, быть может, он был ее самым ярким и чуть ли не последним представителем. Себя Герцен называет учеником декабристов и их последователем, а петрашевцев — своими учениками и последователями.

К просвещенному дворянству Герцен всегда относил и славянофилов. После краха европейских революций 1848—1849 годов, когда Герцен начинает формировать свое учение о русском социализме, он вновь вспоминает славянофилов. И даже готов в них видеть критиков типа фурьеристов (другими словами, социалистов). «А социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, — разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку». Обратив свои взоры к русской общине, страстно желая, чтобы Россия миновала капиталистический путь развития, всю «бес-

плодность» которого, как казалось Герцену, он увидел в 1848 году, он, естественно, готов при известных условиях заключить теперь союз со славянами. «Умер Николай, — пишет Герцен в «Былом и думах», — новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где они? — Ушли!» Противников, «которые были ближе нам многих своих», действительно уже скоро не стало. Братья Киреевские умерли в 1856 году. Хомяков и К. Аксаков в 1860-м.

Книга «О развитии революционных идей в России» произвела огромное впечатление в Европе. Известный французский историк Мишле, с которым Герцен до конца жизни поддерживал переписку и дружеские отношения, сказал об этой работе: «Героическая книга великого русского патриота».

А вот из России донеслись лишь упреки. И среди упрекающих оказался один из самых близких друзей — Грановский. Сам он книги не читал, судил о ней по слухам и пересказам, но позволил себе обидеть Герцена чужой оценкой: «Он (Герцен. — *В. П.*) ушел в теплый уголок и для удовлетворения маленького авторского самолюбия доносит на все, что в России есть образованного и благородного». Трудно объяснить такую оценку Грановского, невозможно понять его обвинение в «доносе». Потом, когда Грановский прочел книгу сам, он извинился перед Герценом, хотя и не был согласен с его многими утверждениями.

3

В августе 1852 года Герцен с Сашей прибыли в Лондон. Герцена не покидала мысль о том, что здесь-то он сумеет организовать достаточно авторитетный форум, который осудит Гервега. Ведь Лондон стал местом международной эмиграции, которую понемногу вытесняли даже из «демократической» Швейцарии... Он не собирался тут надолго задерживаться, тем более что дети, ныне последняя его отрада, были в Париже.

Но, оглядевшись и после долгих раздумий, Герцен отчетливо понял, что ехать-то ему, собственно, некуда. Его пугали прежние эмигрантские собрания, он не нуждался сейчас и в друзьях. Он хотел одиночества. Герцен выбирает самый отдаленный уголок у Реджент-парка. Трехэтажный дом, который снял Герцен, принадлежал

скульптору и был захламлен статуэтками, моделями, глыбами мрамора.

Третий этаж Герцен отвел под свой кабинет. И когда в доме воцарился более или менее порядок, Герцен вдруг почувствовал облегчение. По целым утрам сидел он «один-одинешенек» и разбирал факт за фактом всю свою жизнь и особенно ее последние годы. Выводы, к которым он пришел, не были утешительными. Герцен ощущал себя чужим среди посторонних, без сколько-нибудь крепких связей. Кончились «безумные дни революции». Кончился «маскарад».

Вечерами, когда Саша засыпал, Александр Иванович отправлялся гулять по городу. Лондон, может быть, единственный город в мире, который отучал от людей. Никому здесь нет дела до посторонних, каждый занят самим собой. Эти вечерние прогулки вошли в привычку, и Герцен немало потом удивлял своих гостей знанием не только всех признанных достопримечательностей, но и кабачков, таверн, маленьких кафе, где можно было сидеть, не снимая шляпы и не заботясь о манерах.

Он приехал в Лондон «искать *суда своих»*. И был убежден в справедливости этого намерения. Но где же свои? Истинно свои остались в России, с которой нет связи, из которой не доходят до него письма.

Трудные месяцы переживал Герцен. Какое-то время он был убежден, что жизнь его кончена, и написал Рейхель: «Мне в будущем ничего нет, и нет мне будущего». И немного позже признался: «Моя высшая точка был этот *страстной год* (1851—1852. — *В. П.*) ...Надобно удалиться со сцены, пятый акт оканчивается, театр покрыт гробами — кому же нужно видеть, как Тальма, после, у себя раздевается, как его кусают блохи и как он чешется. Живи или умирай, — это все равно, но знай, что ты доигран; но знай, что 3 мая были и твои похороны».

И все же деятельная натура Герцена взяла верх. Он снова берется за перо. 5 ноября 1852 года Герцен, уже из Лондона, пишет Марии Каспаровне: «...У меня явилось френетическое (непреодолимое. — *В. П.*) желание написать мемуар, я начал его, по-русски... но меня увлекло в такую даль, что я боюсь, — с одной стороны, жаль упустить эти воскреснувшие образы с такой подробностью, что другой раз их не поймаешь... Иван Алексеевич, княгиня (Хованская. — *В. П.*) ...Васильевское — и я ребен-

ком в этом странном мире, патриархальном и вольтеровском. — Но так писать — я напишу «Dichtung und Wahrheit» *, а не мемуар о своем деле. Я целый день сижу один и пишу и думаю. Не лучше ли начать с отъезда из Москвы в чужие края. Я и это пробовал — положение русского революционера относительно басурман европейских стоит тоже отделать, об этом никто еще не думал».

Художник в Герцене заговорил в полный голос. Не просто биография, а художественное произведение, в котором видно желание автора передать события своей жизни такими, какими они теперь виделись ему из лондонского далека. С отступлениями, неизбежными «думами», иногда забегая вперед от хронологической канвы, чтобы сделать нужные сравнения и обобщения. У этого художественного произведения был уже готовый герой. Он сам, Александр Иванович Герцен.

В предисловии к «Былому и думам» Герцен, вспоминая о годах работы над автобиографией, писал: «...Одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка...» «Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога».

Книга пишется с увлечением, и Герцен редко отрывается от работы, чтобы побывать у старых и новых знакомых по эмиграции — Маццини, Ледрю-Роллена. Печальную картину являли эти люди: «...ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час, час, в который умер король...» Встретив их через год после отъезда из Франции и Швейцарии, Герцен слышит одно и то же, и «становится страшно — те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями, — больше; сюртуки, пальто — вытерлись; больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее... а речи все те же и те же!». Герцен полон скептицизма по отношению к надеждам этих людей на новый прилив революционной волны в Европе. Может быть, только Кошут, предводитель, вождь венгерских революционеров, «не ждал революционного завтра».

Кошут скоро понял, что Англия плохая союзница революции. Приехал Кошут из Америки со Станиславом

* «Поэзия и правда» — так называлась автобиографическая книга Гёте.

Ворцелем. Он правильно рассчитывал, что если начнется восстание в Польше, то Венгрия немедля последует за ней. Ледрю-Роллен и Маццини при всем уважении к ним Герцена раздражали своими совершенно бесполезными для дела революции экспериментами. Маццини посылал отряды в Италию. И там их бойцы погибали в застенках, равно как и агенты Ледрю-Роллена во Франции.

Но не только работа над «Былым и думами», работа, как поначалу полагал Герцен, интересная и важная для него и десятка его русских друзей, целиком занимала время Александра Ивановича. Еще в 1849 году он пытался наладить в Париже печатание русских книг, но, «преследуемый рядом страшных бедствий», не осуществил своего намерения. Теперь же он твердо решил, что пришло время вольному русскому слову. Организационные трудности Герцена не пугали, да их и не было. Герцен был достаточно богат, чтобы при помощи польских друзей-эмигрантов найти все необходимое для типографии — помещение, печатный станок. Нашелся и русский шрифт в Париже у издателя Дидо. Солидный лондонский книготорговец Николай Трюбнер готов был взять на себя рассылку изданий. В Париже такую же готовность изъявил Франк, в Берлине — Шнейдер, Вагнер и Брокгауз — в Лейпциге, в Гамбурге — Гофман и Кампе.

21 февраля 1853 года Герцен обращается к свободомыслящей России — «Братьям на Руси». В этом обращении он сообщает о начале вольного русского книгопечатания. Герцен был вправе ожидать, что если не вся свободомыслящая Россия, то по крайней мере, друзья из его кружка откликнутся. Но друзья молчали.

Большие надежды Герцен возлагал на Марию Каспаровну Рейхель. Она живет в Париже, за ее перепиской с Россией никто не следит. Конечно, кому же, как не ей, наладить связи с друзьями — и вот и осуществится треугольник Россия — Париж — Лондон. Без присылки материалов из России Герцен не мыслил работу Вольной типографии. Между тем Мария Каспаровна не разделяла оптимизма Герцена. Она боялась именно за московских друзей. В ответ на ее опасения Герцен пишет Рейхель: «Бойтесь, но не давайте же побеждать себя этому чувству». Герцен недоумевал: «Неужели наши друзья не имеют ничего сообщить, неужели не имеют желания даже прочесть что-нибудь? Как доставали прежде книги?

Трудно перевести через таможню — это наше дело. Но найти *верного человека, который бы умел в Киеве или другом* месте у мной рекомендованного лица взять пачку и доставить в Москву, — кажется, не трудно. Но если и это трудно, пусть кто-нибудь позволит доставлять к себе; неужели в 50 000 000 населении уж и такого отважного не найдется?»

22 июня 1853 года станки Вольной русской типографии были пущены в ход. И первым был отпечатан листок «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству». Вольная *типография сразу же поставила самый главный*, самый больной вопрос России — вопрос о крепостном праве. И другой листок тоже был актуальнейшим, он назывался «Поляки прощают нас!». Этим листком Герцен ратовал за союз с поляками при полном национальном равноправии, союз борющихся против царизма. Еще ранее появился листок, который своим заглавием стал потом в русской литературе и публицистике нарицательным. Он назывался «Крещеная собственность» — «*небольшой отрывок о крепостном состоянии*».

Но Россия по-прежнему молчит. Помимо страха перед всевидящим оком III отделения, были, как казалось Герцену, и иные затруднения. Не успела Вольная типография заявить о своем существовании, как вскоре началась Крымская война, «традиционная» для России и Турции. Но на сей раз на стороне Турции уже в 1854 году выступили такие гегемоны Европы, как Англия и Франция. Конечно, в условиях войны переписка с людьми, жившими в Англии (Герцен) или Париже (Рейхель), была затруднена. Но еще до начала этой войны Герцен удостоверился в том, что расхождения во взглядах на российскую действительность между ним и его старыми друзьями не только не сгладились, а еще более углубились. В этом его убедил приезд в Лондон в сентябре 1853 года Михаила Семеновича Щепкина. Щепкин привез письма, в частности от Грановского. Увы, остальные не решились доверить их даже такому «почтальону». Герцен с горечью писал Марии Каспаровне: «Будто один Грановский знал об отъезде Михаила Семеновича, а Кетчер, а другие... Аминь, аминь, глаголю вам, если маленькая кучка людей, близких нам, не захочет, не сумеет устроить постоянных сношений со мной — она завянет и пройдет». Герцен готов был объявить своих друзей людьми для будущего потерянными.

Первые дни свидания со «светлым стариком» были отрадой для Герцена. На него повеяло Русью, Москвой. Но уже через несколько дней Герцен огорчился, Щепкин очень недоброжелательно отнесся к Вольной типографии, ее первым листкам, особенно «Юрьеву дню». Если Герцен искренне призывал в этом листке дворянство самому взяться за освобождение рабов своих (и это было проявлением его дворянской ограниченности), то Щепкин, сам в прошлом «крещеная собственность», в дворянство не верил (и был прав). Как не верил и в обращение Герцена к народу. Щепкин утверждал, что для народа все эти герценовские листочки — «слова». Крестьянин-то и прочесть их не может. Щепкин посоветовал Герцену бросить все это дорогостоящее дело и уехать в Америку.

Было ли такое предложение Михаила Семеновича выражением мнения московского кружка? Было, так как Щепкин советовался с ними перед отъездом. Герцен в письме Рейхель писал, что настроения, которые захватил с собой из России Щепкин, — это настроения «московских доктринеров, наших состарившихся друзей».

Начавшаяся война должна была получить у Герцена соответствующую его взглядам оценку. И он дал ее. Но позиция Герцена в известной мере была двойственной. Он глубоко чтил память Отечественной войны 1812 года, восхищался освободительной миссией русского народа, русского солдата. Крымскую же войну он считал войной не народной, войной, нужной только царизму. Но Герцен делал далеко идущие выводы, обосновывая свои надежды на то, что эта война приведет к демократизации общественного строя России. И в этом его заблуждение.

В отношении противников России Герцен не обольщался. Они не хотели допустить Россию к ложу «больного человека», как именовали тогда Турцию, и более всего боялись захвата царизмом Константинополя и проливов. Английскую аристократию Герцен называл «кретинизированной, невежественной, надменной и считающей себя в XVI веке». В отношении бонапартистской Франции он тоже был прав. «Никакой Бонапарт, никакой наследственный, ни благоприобретенный деспот не нанесет в самом деле удара своему петербургскому товарищу — им всем он слишком нужен». Хищническая сущность, захватнические намерения европейской буржуазии были для Герцена ясны.

Но в одном Герцен ошибался. Он считал, что если бы русские войска овладели Константинополем, то началась бы новая эра в истории славянства. Он верил, что в таком случае может возникнуть славянская федерация — *«демократическая и социальная»*. Мнение Герцена, кстати, разделял Тютчев, а позднее Достоевский. Но оно насторожило Маркса и Энгельса. Они резко выступили против позиции Герцена. Что же, остается только сожалеть, что стечение ряда обстоятельств сделало невозможным в дальнейшем сближение Александра Ивановича с «марксидами». А может быть, никто из современников Герцена так близко не стоял по своим философским воззрениям к Марксу и Энгельсу.

В 1854 году Герцен, долго работавший над первыми частями «Былого и дум», решается опубликовать главы «Тюрьма и ссылка». Успех этой публикации превзошел все ожидания. Правда, в Россию проникли лишь единичные экземпляры, зато в Западной Европе французские, английские, немецкие журналы поместили отрывки. Английский журнал «Атеней» заявил, что «Тюрьма и ссылка» — «самое интересное из всех существующих сочинений о России». Теперь уже Герцену не печатать стало труднее, чем печатать. И Герцен берется за продолжение «мемуара». Этому новому приливу творчества во многом способствовало и некоторое упорядочение дел домашних.

В 1853 году дети Герцена из Парижа приехали в Лондон. Герцен не хотел лишать детей дома, поэтому у него и мысли не было отдать их в английский пансион. К тому же он надеялся и на чужбине вырастить детей русскими, которым было бы близко и дорого все, что близко и дорого ему самому. И с этой точки зрения их следовало оставить при себе. Незадолго до прибытия детей Герцен познакомился в доме немецкого поэта, критика и публициста, участника революции 1848 года Готфрида Кинкеля с Мальвидой Амалией фон Мейзенбуг, немецкой писательницей, педагогом, эмигрировавшей в Лондон в 1852 году. Герцен и Мейзенбуг вскоре стали друзьями, и Александр Иванович попросил ее давать уроки Тате.

Герцен сам привел к ней свою старшую дочь. В ту пору Тате было всего семь лет. Как вспоминает Мейзенбуг, Тата оказалась хорошенькой девочкой — «по словам отца — чисто русского типа, с большими прекрасными

глазами, выражавшими редкое сочетание энергии и нежной мечтательности». Трогательно было видеть, с какой истинно материнской нежностью заботился о ней Герцен, говоря с улыбкой: «Я теперь должен быть даже няней». Тата покорила сердце своей будущей наставницы «с первого взгляда».

На следующий день Мейзенбуг увидела и вторую дочь Герцена — Олю. Это произошло уже в его доме на Euston Sguare. Войдя в гостиную в назначенный час, она застала там немку-бонну за шитьем, Тату и рядом с ней в большом кресле двухлетнюю девочку — «замечательно миловидное, миниатюрное существо». «Вскоре пришел Герцен и посвятил меня в свои домашние дела. Дом был просто, но хорошо обставлен. У сына были учителя, девочки находились под надзором немецкой бонны, образованной девушки, и я начала заниматься пока только со старшей».

Приходящая учительница — это не решало проблемы, детям нужна была воспитательница, свой, домашний человек. Это понимала и Мейзенбуг, все более привязывавшаяся к детям. На просьбу Герцена «дайте мне совет» она ответила письмом, соглашаясь стать воспитательницей его детей, но при условии, что будет жить с ними под одной крышей. И дети и бонна были рады предстоящей перемене. Строили радужные планы совместной жизни. Однако Герцен решился на это не вдруг. Он был признателен Мейзенбуг за дружеское участие в судьбе осиротевших детей. И все же, прежде чем согласиться на ее предложение, должен был преодолеть в себе страх перед вторжением в семью нового чужого человека. Тем более что, как окажется, для этого страха были все основания. Обращаясь к тем дням в своих воспоминаниях, Мальвида Мейзенбуг написала: «Умственный элемент, который вновь должен был занять видное место в моей жизни в случае тесного общения с Герценом, обмен мнений, а может быть, даже борьба, но борьба, лишенная малейшего лицемерия... — все это привлекало меня». Но могла ли эта перспектива пусть только возможной борьбы — снова борьбы в своем собственном доме — привлечь Герцена? А уступать всегда и во всем не значило ли потерять независимость, которой он привык дорожить? Он все же решился наконец и рискнул, хотя сомнения, видимо, не оставили его.

Мальвида Мейзенбуг поселилась у Герцена в ноябре

1853 года. Несколько ранее Герцен написал о предстоящих переменах в доме Марии Каспаровне: «...Я хочу пересоздать всю жизнь. Во-первых, хочу я испытать и взять к нам Mselle Meysenbug. Она необыкновенно умна и очень образованна, мы с ней говорили, это — опыт...» Герцен, судя по всему, вполне отдавал себе отчет в том, что с приходом в его дом Мальвиды Мейзенбуг в качестве воспитательницы порядок в доме изменится, будет подчинен главной задаче — воспитанию детей, и был готов ради них к этому опыту. Действительно, Мальвида Мейзенбуг довольно быстро и решительно потребовала реформ.

Дом Герцена был средоточием эмигрантов — и русских и польских. Мейзенбуг считала, что они «как саранча», «ни дня, ни вечера не проходило без их вторжения, по их произволу нарушалась спокойная семейная жизнь, совместные занятия, отец не мог спокойно бывать в обществе детей». Она полагала, что положение надо изменить, и высказала свое мнение Герцену. Хотя она и была убеждена, что требует перемен не только во имя детей, но и блюдя интересы самого Герцена («Герцен больше всех от этого страдал и часто доходил до крайнего раздражения»), Герцен, видимо, придерживался иного мнения. «Между нами, — как свидетельствует Мейзенбуг, — возникли долгие и оживленные споры. Я говорила откровенно, что пришла к нему в дом с намерением поставить его детей на ноги и повести их по верному пути, а также и для того, чтобы сохранить детям отца и с его помощью создать им уютную обстановку, в которой только и возможно с успехом возделывать почву, чтобы на ней со временем выросли цветы и плоды». Герцен уступил. Поток знакомых, желающих видеть Александра Ивановича, был ограничен одним днем. Вслед за тем возникло ревнивое соперничество с бонной. Кончилось оно победой Мейзенбуг. Герцен вынужден был отказать бонне.

Мейзенбуг, пришедшая в дом Герцена как «сестра» к «брату», по ее собственному ощущению, имела перед собой весьма определенную программу, которую и стремилась привести в исполнение. «Многое нуждалось в изменениях: система воспитания детей, порядки, царившие в доме, а также и общественные отношения, которые создались у Герцена с окружающими...» Беспокойство Герцена о потере независимости было обоснованным. Но он ведь соглашался на опыт и, стало быть, предполагал, что

от него можно в любой момент отказаться. Однако уже вскоре слишком много дорогих ему людей оказались вовлечены в этот опыт, чтобы его можно было прервать безболезненно.

После отъезда бонны мир как будто бы снизошел наконец на дом Герцена. Стало, несомненно, больше порядка. Отец более, чем когда бы то ни было, принадлежал детям, как того хотела Мейзенбуг, все меньше знакомых и незнакомых заходило к Герцену «на огонек». Круг друзей семьи сделался теснее. В Лондоне появились Энгельсоны. Хотя Герцен недолюбливал Александру Христиановну Энгельсон, которая раздражала его постоянными попытками вмешиваться в воспитание детей, но она любила детей, а это сейчас было для него самым важным. Кроме того, Герцен был дружен с Владимиром Аристовичем. Да и постоянное присутствие Энгельсонов здесь, рядом, как и в Ницце, создавало иллюзию вновь обретенного дома.

Вскоре и еще один человек встал к семье очень близко. Герцен познакомился с Доманже. Сын небогатых родителей из Южной Франции, Жозеф Доманже примкнул к революции со всем пылом юности. Когда же революция была разгромлена, его, как и многих, ожидало изгнание. Герцен был покорен им сразу, едва увидел Доманже у одного общего знакомого. Уходили вместе и до полуночи бродили по улицам Лондона и все никак не могли окончить начатого разговора. Мейзенбуг он признался, что среди всех французов, которых знает, «еще не встречал человека такого свободолюбивого и с таким философски мыслящим умом, как он».

Тем временем пришла весна, и семейство перебралось за город, в Ричмонд. Привлекала близость к Лондону, обширный парк, прогулки по Темзе. Вместе с семьей Герцена переехали на дачу и супруги Энгельсоны. Каждый день в Ричмонде появлялся Доманже — учил детей, был непременным участником всех дачных увеселений — пеших прогулок, катаний на лодках. Порешили остаться за городом и на зиму. Сняли дом в Твикнеме, на берегу Темзы, посреди обширного старого парка. Герцен с утра садился за работу. Мейзенбуг занималась с девочками, Доманже с сыном Герцена. Сходились за обедом. По вечерам, когда младшие уходили спать, Герцен что-либо читал сыну и Мейзенбуг. Чаще всего Шиллера...

Забегая вперед, скажем, что идиллия семейной жизни

уже вскоре была нарушена — сначала известием о смерти Николая I и оживившимися надеждами на возможность возвращения на родину и вообще больших перемен. А потом, и окончательно, — приездом Огаревых. Впрочем, не была ли эта идиллия чисто внешней? И не принимала ли Мейзенбуг уступчивость Герцена, продиктованную желанием не лишать детей женщины, их любящей, за доказанность ее правоты? Незадолго до приезда Огаревых, 6 апреля 1856 года, в день рождения Герцена, прощаясь с ним на ночь после оживленного дня, Мейзенбуг, смеясь, сказала: «Мы счастливо миновали все разногласия, смятения и бури и, надо надеяться, наконец достигли мирной пристани».

Однако была ли та «мирная пристань», к которой направляла Мейзенбуг домашний корабль, идеалом Герцена и хотел ли он воспитать своих детей в духе этого идеала, который на практике вел к тому, чтобы по возможности ограничить жизнь тесным семейным кругом? В статье 1842 года «По поводу одной драмы» Герцен писал: «Частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она ни устроилась, бедна; она похожа на обработанный сад, благоухающий цветами, вычищенный и прибранный. Сад этот может долго утешать хозяев... но случись ураган — он вырвет деревья с корнями, затопит цветы, и сад будет хуже всякого дикого места. Таким хрупким счастием человек не может быть счастлив; ему надобен бесконечный океан, который волнуется ураганами, но через несколько мгновений бывает гладок и светел, как прежде».

Трагедия семейной жизни Герцена на протяжении лет держала мозг его прикованным к проблемам брака и семьи. Свою семейную беду он склонен был рассматривать как частное проявление общей ситуации, столкновения двух миров — России, полной «дремлющих сил», России, поднимающейся к новой жизни, и буржуазного Запада — «старого, классического, образованного, но растленного и отжившего». В Гервеге он видел типичного представителя западного мещанства, себя ощущал как «варвара, осмелившегося быть свободным человеком».

Как бы то ни было, но все же, как-то наладив дом, Герцен мог уже всецело заняться делами издательскими. Да и настроение у него изменилось, если судить по письмам к Марии Каспаровне, а ведь в первый период своего пребывания в Лондоне он в основном переписывал-

ся только с ней. Правда, остро ощущалось отсутствие Огарева, но добрым помощником во всех начинаниях оказался Владимир Энгельсон. Он написал прокламации «Первое видение св. отца Кондратия», «Второе видение св. отца Кондратия» и два письма-прокламации: «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон» и «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому вторично шлет низкий поклон». В «Видениях» Энгельсон в евангелической форме пропагандировал идеи борьбы с царизмом, изобличал Николая I как убийцу, якобы убившего брата своего Константина, дабы взойти на престол. А в письмах-прокламациях содержался и вовсе призыв к восстанию:

Гей, казаки! Мужики!
Пора за ум взяться!
С царем рассчитаться,
Гей, ребята, — живо! веселей!

Видимо, пример «языкомерзия антихристовского» Энгельсона побудил Герцена тоже написать прокламацию «Вольная Русская община в Лондоне. Русскому воинству в Польше». Идея проста. Нужно воспользоваться начавшейся войной. Польский народ может подняться на борьбу с царизмом. А русское воинство должно поддержать поляков и тем самым сделать добро и для своего народа.

Прокламации доходили до России, о чем свидетельствуют донесения новороссийского и бессарабского генерал-губернаторов. III отделение не замедлило откликнуться строжайшим запретом на все сочинения Искандера и Вольной русской типографии. А в самой России делались отчаянные попытки изъять экземпляры «Отечественных записок», где некогда публиковался Герцен.

Наступил 1855 год. Многим и даже не искушенным в делах военных наблюдателям было ясно, что русский царизм на сей раз войну проиграл. Отсталое феодальное крепостническое государство не могло противостоять передовым капиталистическим державам Европы. Миф о всесилии русского жандарма был развеян. А между тем именно с жандармом-то и не хотели распрощаться Англия и Франция.

18 февраля 1855 года в петербургских газетах появился «Бюллетень № 1» о состоянии здоровья Николая I: «Его величество заболел лихорадкой». В «последний час»

в тех же газетах печатается «Бюллетень № 2»: «Лихорадка его величества к вечеру (17 февраля) усилилась...» 19 февраля «Бюллетень № 3» — состояние его величества сделалось опасным 21 февраля был опубликован манифест о кончине императора всероссийского Николая I Павловича.

А ведь Николай скончался еще 18 февраля (2 марта), в день опубликования «Бюллетеня № 1». Уже тогда шли толки, что, получив известие о поражении русских войск при Евпатории, царь отравился. И Герцен пишет, что Николай умер от «Евпатории в легких». Личный лейбмедик царя Мандт оказался в опале.

Еще лондонские мальчишки-газетчики, щедро одаренные Герценом за распространение вести о том, что «имперникель» умер, не проели свои чаевые, а весть о самоубийстве русского царя вползла в Европу. В России же все связанное с кончиной императора сделалось государственной тайной.

Ровно через месяц после кончины Николая Герцен сообщает Ж. Мишле о том, что он начинает издание русского журнала под названием «Полярная звезда».

В апреле 1855 года «Объявление о «Полярной звезде» было отпечатано отдельным оттиском. И, что важно, сообщалось содержание первого номера. Это свидетельствует о том, что Герцен задумал журнал значительно раньше. Не случайно герценовский журнал назывался именно так. Полярная звезда — звезда путеводная. «Полярной звездой» называли свой альманах Кондратий Рылеев и Александр Бестужев — первый был повешен, второй погиб в битве с горцами близ Адлера. *«Полярная звезда»* скрылась за тучами николаевского царствования. Николай *прошел,* и Полярная звезда является снова... Юная Россия, Россия будущего и надежд, не имеет ни одного органа. Мы предлагаем его ей». Так писал Герцен в «Объявлении». Здесь ясно указана неразрывность революционных связей от декабристов к Герцену, к людям, которые теперь, по мнению Герцена, должны обновить Россию. «Полярная звезда» не могла стать изданием периодическим, и впоследствии она выходила не более одного раза в год. И тип издания был привычен русскому читателю — обозрение, журнал, альманах.

На «Объявление» отозвались иностранцы — Мишле, Маццини, Прудон, Виктор Гюго, герой польского восстания Лелевель. А Россия все еще молчала. Но это уже не

смущало Герцена. Теперь-то он верил, что «рабье молчание» кончилось, Россия отзовется. И готовился первый выпуск. Вильям Линтон, английский издатель и гравер, чартист, друг Герцена, выполнил знаменитое изображение на обложке и фронтисписе — пять профилей: Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля и Каховского, а под медальоном — топор и плаха. Изображения пяти повешенных декабристов стилизованы под античные профили, да и не могло у них быть сходства с оригиналами, у Герцена не было портретов. Виньетка из лучей звезды, восходящей из туч, венчала обложку. На титуле эпиграф: «Да здравствует разум!» А. Пушкин».

Издание начиналось «Объявлением». Затем шло открытое письмо Герцена к новому русскому императору Александру II. Герцену в то время казалось — императорская власть в России столь сильна, что может без боязни направить всю мощь свою на «благодетельные реформы». А что эти реформы назрели, что дальше жить так нельзя, Герцен иллюстрирует письмом Белинского к Гоголю, впервые опубликованным на русском языке.

Около 20 августа 1855 года вышла первая книжка «Полярной звезды». Приехал и первый гость из России — доктор Павел Лукич Пикулин. Он привез Герцену тетради со стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Полежаева, письма от друзей. А в обратный путь доктор повез «Полярную звезду». Доктор возвращался в Москву без паспорта и вез письма от «государственного преступника».

Друзья остались недовольны, особенно герценовской «Звездой». Грановский пишет Кавелину: «Для издания таких мелочей не стоило заводить типографию... Его (Герцена. — *В. П.*) собственные статьи напоминают его остроумными выходками и сближениями, но лишены всякого серьезного значения... У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании (которое называется «Полярною звездою»). Не знаю, сделается ли это...»

Известный собиратель народных сказок Александр Николаевич Афанасьев пишет сыну декабриста Ивана Якушкина в Сибирь: «Пикулин воротился из-за границы и привез много рассказов о нашем приятеле, у которого прогостил две недели. Утешительного и хорошего мало...» Герцен возлагал большие надежды на Грановского, Кетчера, но вновь должен был разочароваться в старых друзьях. Грановский заключает письмо Кавелину: «Пред-

ставь себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возврате в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Московский университет. Каков практический муж!»

Мечты Герцена о возвращении в Россию только лишний раз свидетельствовали о том, что в это время он был достаточно оторван от России, не знал об истинном положении дел внутри ее.

Вторая книжка «Полярной звезды» вышла в двадцатых числах мая 1856 года. Неизданные стихи Пушкина, Рылеева, Лермонтова, некролог Чаадаеву, главы из «Былого и дум» и дерзкая передовая «Вперед! Вперед!».

Появляются уже и первые корреспонденты. Из старых — Николай Сазонов, приславший статью «Место России на Всемирной выставке». Но это из Парижа. Из России письмо юношей, которое растрогало Герцена до слез. Юноши (анонимы) благодарят Герцена за типографию, за «Полярную звезду».

Вторая книжка «Полярной звезды» вышла уже тогда, когда Огарев и Наталья Алексеевна Тучкова приехали наконец в Лондон. Случилось это 9 апреля 1856 года. Все семейство сидело за обеденным столом, когда на улице появилась карета, нагруженная сундуками. Первой увидела ее Мальвида Мейзенбуг. Она мгновенно ощутила все роковые последствия этого радостного для Герцена события — «я почувствовала прикосновение ледяной руки судьбы». Огаревых давно ждали.

В эти дни мая 1856 года Герцен сделал запись: «...Первый раз после осени 1851 на меня повеяло чем-то домашним, я опять мог с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы».

Очень скоро стало ясно, что Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева и Мейзенбуг не могут ужиться под одной крышей. Каждая претендовала на роль матери при осиротевших детях. «Я никогда не чувствовала себя свободной в ее присутствии, это причудливое, странно застенчивое существо невольно смущало меня», — призналась позже Мальвида Мейзенбуг. И все же не это было главным. Суть разногласий Мейзенбуг уловила точно — не зря Герцен так высоко ставил ее ум. «...Немецкий уклад был ей ненавистен, — замечает Мейзенбуг о Тучковой, — и многие мероприятия, которые я ввела для пользы детей, претили ее русским привычкам... Я с большим трудом и путем длительных убеждений уничтожила привычку Герцена почти ежедневно, каждый раз, когда он выходил на улицу, приносить детям ненужные игрушки и другие вещи, которые только притупляют истинную радость при получении хороших и полезных подарков и вызывают в детях страсть к разрушению, и без того присущую их возрасту. Но русская дама с настоящей страстью осыпала детей подарками. Она мне однажды сказала, что не может проходить равнодушно мимо прекрасных игрушечных магазинов Лондона, чтобы не испытать желания купить все, что там находится, и не принести этого детям». «Это — типично русская черта», — заключает Мальвида Мейзенбуг. «Подобных расхождений во взглядах, касающихся еще более важных вещей, оказалось множество».

Вскоре для нее стало очевидным, что, несмотря на ее сопротивление, «русский язык и русские интересы заняли первенствующее место в разговорах». Поначалу она еще склонна была думать, что все это происходит исключительно из-за попустительства Герцена, который в соответствии со своим характером, как его понимала Мейзенбуг, предпочитал дать событиям идти своей дорогой. Однако постепенно пелена спадала с ее глаз, и она вполне убедилась, что все происходит по желанию самого Герцена, «чтобы русские традиции были господствующими в воспитании детей».

Еще в июле 1852 года Герцен писал Марии Каспаровне Рейхель: «Вы царствуете над Татой и Олей. Я полагаю, что сначала Саша должен учиться в Женеве — у Фогта, потом в Париже. В Париже он должен жить у вас. Вы — альфа и омега, прошу не умирать ни под каким видом. Дело в том, что, кроме вашего пристрастия к нам, вы сделаете из детей русских. Саша и так верит, что он швейцарец... Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России. Пусть даже со временем они едут туда — может, и с вами. Об этом буду еще писать много». Когда Мальвида Мейзенбуг еще только учительницей, дающей уроки Тате, пришла в герценовский дом, Герцен попытался приобщить ее к русской культуре. После уроков он, по ее словам, «приглашал... в свои комнаты и старался знакомить с русской литературой, причем читал переводы Пушкина, Лермонтова, Гоголя и давал при этом живое изображение русской жизни и характеров». Позже, когда она уже поселилась в доме Герцена,

она попыталась учить русский язык. Однако, как она ни старалась усвоить язык и войти в круг «русских интересов», они, по ее собственному признанию, все же оставались для нее «достаточно чуждыми»...

«Опыт» шел к своему неотвратимому концу. Герцен еще пытался как-то привести все стороны к обоюдному соглашению. Но «существующие различия характеров, воззрений и привычек невозможно было сгладить». Это уже понимала Мальвида Мейзенбуг. Не найдя в себе силы для решительного объяснения с нею, Герцен написал письмо, которое и было ей вручено в отсутствие Герцена. Он писал о необходимости разлуки. Не желая расставаться с женщиной, которая так много заботилась о благополучии его детей, немирно, он предложил устроить прощальный ужин, им и заключить ее трехлетнее пребывание в доме.

Как не очевидна была для Мейзенбуг неизбежность беды — расставания с домом, она, видимо, не ожидала этого так скоро. Не дожидаясь возвращения Герцена, который уехал по делам, Мальвида Мейзенбуг в тот же день покинула дом Герцена, попрощавшись с детьми и оставив письмо Герцену и Тучковой.

Несомненно, что Мальвида Мейзенбуг была и оскорблена и уязвлена: она полагала, что ее дружба с Герценом прочнее, чем это оказалось на поверку. К тому же она привыкла думать о доме Герцена как о родном доме — другого у нее не было. Последнее письмо Герцена, изъявление самых дружеских чувств только обострило боль от несбывшихся надежд быть нужной и полезной этому «блестящему», «острому», «выдающемуся» человеку и его детям, стать членом семьи; «я прочла эти строки с чувством глубокой скорби и острой горечи одновременно».

К чести Мальвиды Мейзенбуг следует сказать, что она преодолела всю горечь обид, когда снова понадобилась ее помощь Герцену и детям. Впоследствии она взяла на воспитание Олю. Судьба Ольги, однако, показала, как прав был Герцен, устранив из дома Мальвиду Мейзенбуг с приездом Огаревых.

Огарев сразу же включился в издательские дела Герцена.

При вступлении на престол новый царь Александр II манифестом о коронации от 26 августа (7 сентября) 1856 года «амнистировал» преступников. В третьем номере «Полярной звезды» Огарев живо откликнулся на этот манифест. Он писал, что уголовным преступникам даровано куда больше льгот, нежели «политическим». Декабристов, правда, амнистировали. Но ведь они пробыли в ссылке более четверти века, состарились, а многие и умерли. Оставшихся можно и простить — им недолго остается жить. И все же жить возвращающимся из ссылки декабристам в столицах не разрешалось.

Евгений Якушкин, сын декабриста, становится связующим звеном между декабристами и «лондонскими изгнанниками». Через него в «Полярную звезду» поступают материалы о тех, кто первым поднялся на революционную борьбу с самодержавием и крепостничеством. К Герцену и Огареву доставляются (тайно, конечно) материалы о «Семеновской истории» — бунте солдат государевой роты Семеновского гвардейского полка в 1820 году. Среди корреспондентов Герцена все тот же Иван Сергеевич Тургенев, старый московский знакомый Николай Александрович Мельгунов, беллетрист, публицист, человек, настроенный либерально. Тургенев 31 августа 1856 года — в Англии, девять дней гостит у Герцена. Мельгунов в Париже. Парижский мир в 1856 году вновь открыл для русских Европу.

Но еще раньше, в конце 1855 года, Герцен получил открытое письмо, авторы которого скрылись за подписью *«Русский либерал»*. Письмо это содержало не только резкие нападки на революционную пропаганду, которую вела «Полярная звезда» («ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзыва»), но и прямо указывало Герцену, чем именно он должен заняться, какой линии, по мнению авторов письма, должна держаться «Полярная звезда»: «Укажите нам с должною умеренностью и с знанием дела на внутренние наши недостатки, раскройте перед нами картину внутреннего нашего быта... и мы будем вам благодарны...» Из всех изданий ВРТ *«Русского либерала»* устраивало только «Письмо к императору Александру Второму». Авторы прямо предлагают Герцену основать новое издание, в котором бы помещались письма и материалы, прибывающие из России.

Кто же скрывался за *«Русским либералом»*? Два известных в России «умеренных» либерала — Борис Николаевич Чичерин и Константин Дмитриевич Кавелин. С Чичериным Герцен познакомится позже, в 1858 году,

а потом напишет: «С первых слов я почуял, что это не противник, а враг...» Герцен называет Чичерина человеком, зараженным безмерным честолюбием, доктринером. «...У него были камни за пазухой...» И в то же время говорит о нем как о человеке «для нас... близком». Но эта «близость» была связана с теплыми воспоминаниями Герцена о Грановском, любимым учеником которого был Чичерин, о Корше и Кетчере, в которых еще верил Герцен, хотя и удивлялся их «упорному молчанию». Константин Кавелин — историк, юрист, профессор Московского, а позже Петербургского университетов, давний знакомый Герцена. Ему он посвятил IX главу шестой части «Былого и дум» — «Роберт Оуэн».

Умеренные либералы после смерти Николая I стремились создать за границей свой орган, который, с одной стороны, был бы рупором их реформистских настроений, а с другой, этот орган должен был противостоять революционной пропаганде Герцена. Иными словами, они хотели бы использовать Герцена против Герцена и с помощью его ВРТ начать обличительную кампанию по разоблачению российских недостатков. Не без помощи того же Мельгунова Герцену были доставлены и специально написанные статьи.

Герцен в 1856 году начинает издание сборника статей и корреспонденций под названием «Голоса из России». В 1856 году выходят части I и II, в 1857-м — части III и IV. Статьи сборника пришлись по духу Мельгунову. 13 октября 1856 года он писал Герцену: «При всем уважении к твоему авторскому самолюбию я полагаю, что «Голоса» выручат тебя скорее прочего». Но Герцен был иного мнения. Он печатал корреспонденции из России потому, что считал, что по ним «можно отчасти судить об общественном мнении России в 1855 г., о вопросах, занимавших тогда и теперь умы», но он все время напоминал читателю: «...прошу не забывать, что я — только типограф». А в 1857 году сопроводил статью Мельгунова заявлением: «Мы громко протестуем против всякой солидарности между направлением статей, нами печатаемых, и нашими мнениями».

В это время Герцена и Огарева уже увлекло новое начинание — создание гибкого, злободневного органа. Тучкова вспоминает разговор Огарева с Герценом: «А знаешь, Александр, — сказал Огарев, — «Полярная звезда», «Былое и думы» — все это хорошо, но это не

то, что нужно, это не беседа со своими, — нам нужно бы издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз; мы бы излагали свои взгляды, желания для России и проч.».

Герцен с готовностью поддержал предложение друга, и оба погрузились в практическую работу по организации нового издания, которое будут называть то журналом, то газетой, — «Колокола».

Руководители ВРТ, как именовалась в переписке Вольная русская типография, очень чутко уловили те внутренние изменения, которые произошли в России после смерти Николая I и окончания Крымской войны. Николай Васильевич Шелгунов, друг и соратник Чернышевского, критик, публицист, который позже приедет в Лондон к Герцену, чтобы печатать в ВРТ свою прокламацию, несколько восторженно, но в основном верно пишет об этом времени: «Это было удивительное время, — время, когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко... Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ».

Показательна статистика, освещающая это нарастание брожения, поворот к лучшему в области печати: «В последние десять лет царствования Николая I-го (1844—54) разрешен был выход в свет... *шести* газет и *девятнадцати* журналов... В первые десять лет царствования Александра II-го (1855—64) — *шестидесяти шести* газет и *ста пятидесяти* журналов». Как бы отражая этот подъем публичности в России, ВРТ также приходит к заметным успехам. С апреля 1856 года по декабрь продано на 10 тысяч франков книг Герцена. К середине 1857-го покрыты все расходы по «Полярной звезде».

Готовясь к изданию «Колокола», Огарев дает точный расчет часов, которые он занят, компонуя журнал: «Работы гибель... Мне случается работать с 10 ч. утра до 7 вечера, и все не поспеваешь». Кельсиев писал в своей «Исповеди», что Герцен уступил Огареву «все финансовые, экономические и юридические вопросы, оставив за собой только общие статьи и смесь...». С июля 1857 года по январь 1858-го «Колокол» выходил раз в месяц, а с июня 1859-го часто выпускался еженедельно. По тем временам тираж его был большим — 2500 экземпляров.

В первом номере «Колокола» излагалась его программа: освобождение слова от цензуры, крестьян от помещиков, податного состояния от побоев.

В том же, 1857 году Огарев составил «Записку о тайном обществе». «Записка» сохранилась в записной книжке Огарева и имеет 17 поправок, сделанных рукой Герцена. Понятно, что «Записка» эта не была тогда обнародована. Это общество, по мнению Огарева, «полезно, возможно и необходимо». Общество видит свои цели в преобразовании социального и политического устройства страны таким образом, чтобы обеспечить «свободу личности» и ее «равное распределение в общественном устройстве» — старая, давно выношенная идея примирения свободы личности с коллективом. В начале «Записки» сказано: «Что же делает личность внутренне свободною? Ясность мысли и адекватность поступка с мыслью. Что делает личность независимою? Немешание окружающей среды ясно мыслить и действовать. Итак, полезное в общественном смысле — это знание, т. е. наука, и отстранение препятствий, мешающих человеку ясно мыслить и действовать». Иными словами, прежде всего нужна агитация, научная пропаганда, с тем чтобы просвещенный человек мог сознательно бороться против всего отжившего, старого. Только тогда возможно достичь общественного преобразования. Огарев говорит в «Записке» о «гражданских реформах».

Тайное общество мыслилось им похожим на тайные общества ранних христиан: «Положимте, — писал Огарев, — что христианство распространяло не знание, а только мнение, но это мнение в глазах тогдашнего человека равнялось знанию; а распространение этого мнения было совершено посредством тайных обществ. Гражданские реформы, т. е. приобретение права гражданства христианскому мнению совершилось все под тем же влиянием тайных обществ... и тайное общество переходит в явную церковь, т. е. явную власть. Я не говорю теперь о пользе или вреде христианства и церкви, но вот метод, достигший цели. Кто же нам мешает употребить тот же метод для распространения положительной науки и приобретения гражданских реформ, сообразных с нашими понятиями?» Общество имеет немногочисленный центр. «Центр должен быть искренен, как бы одно лицо, а его понимание вещей должно быть энциклопедическим; это conditio sine qua non (непременное условие. — *В. П.*), когда дело идет о положительной науке и практических гражданских реформах». Та же мысль далее уточняется: «Члены его (центра. — *В. П.*) должны выражать три отрасли знания: естествознание (от математики до медицины и техники), экономическую науку и юриспруденцию. Это нужно как для того, чтобы знать, что́ мы хотим популяризировать, так и для того, чтобы знать, против чего мы станем бороться и какие средства для борьбы мы можем употреблять, имея всегда за себя положительное основание в государственном законодательстве». Девиз центра «без сомнения остается: социальная реформа». Из реформы проистекают и другие задачи. Центру общества необходимо иметь в виду «все реформы в возможности». «С реформами необходимо связывается популяризация науки; следственно, центр должен иметь теорию науки, т. е. свой взгляд на предметы, и усвоить себе метод, как и кому сделать науку доступной частью и в целом». У этого общества свой центральный орган. Им, несомненно, должен был стать «Колокол». Таким образом, «Колокол» появился на свет не только как новый журнал, означающий расширение издательской деятельности Герцена и Огарева, но и как орган задуманного ими тайного общества.

Сложно складывалась жизнь у Герцена после того, как в его доме фактической хозяйкой стала Тучкова-Огарева. В Путнее, куда Герцен и Огаревы перебрались из Лондона, домашняя атмосфера была нервной, мучительно напряженной.

По более поздним письмам Огарева к Наталье Алексеевне можно судить о том, с какими чувствами и надеждами ехал Огарев спасать друга после постигшей его катастрофы — похорон близких и «общих похорон», как выразился Герцен, имея в виду гибель Французской республики. 2 ноября 1865 года Огарев писал Наталье Алексеевне: «Выслушай мою речь спокойно, так, чтобы понять ее, взвесить ее, оценить ее — и вглядеться в ее правду. Есть человек, которого я с отроческих лет любил, как брата; была женщина, которая меня любила, как брата, и я любил ее, как сестру, и это ты очень хорошо знаешь. Есть женщина, которую я любил как мое дитя и думал, что она достигнет светлого человеческого развития — долею под моим влиянием; я ее любил, как мое дитя и как мою жену. Эта женщина любила моего брата

и мою сестру — как брата и сестру. Когда сестра умерла, она перенесла идеально свою любовь к ней на ее детей. Мы поехали вместе на помощь этим детям и брату».

Но далее случилось непредвиденное. Уже в мае 1857 года Тучкова записала в своем дневнике: «С каждым днем Г. все более становится мне внутренне близок... бесконечное чувство любви к нему захватывает меня все более и более». И Герцена увлекло ее чувство. В 1867 году, оглядываясь назад, Герцен признается Наталье Алексеевне: «Ты пишешь о твоей любви — да ведь она-то и спасла... в ней я никогда не сомневался — ее я чувствовал, видел, осязал — от нее я отворачивался, когда она соединялась с тем злым началом, которое мне враждебно, противно — и тогда ты не умела победить себя. Я вынес-то все... невозможное, унижение, угрызение — из-за того, что верил в твою любовь...»

Итак, в жизни Герцена, казалось бы, повторилась уже раз бывшая ситуация. Снова женщина, полюбившая другого, и снова соперниками были друзья. Ситуация при всех условиях трагическая. «Долго я боролась, мысль о тебе и о Natalie сводила меня с ума...» — пишет Наталья Алексеевна Огареву. И Огарев ей: «Ты полюбила моего брата. *Я не стану говорить о том, в каком отношении я* тогда был к тебе; одно скажу, что, вместо мечтаемого влияния на тебя, чувствовал, что я нахожусь подвластным и не возвышаю, а унижаю тебя». И все же эта трагедия только внешней схожестью напоминала уже пережитое Герценом. Ведь Огарев и Герцен были не только старые, неразрывные друзья, но и Новые люди. Гервег же олицетворял собой тот мир мещанской морали, который так ненавидел Герцен.

В новой семейной коллизии, в которую жизнь вовлекла Герцена и Огарева, они и чувствовали и поступали как люди Нового мира, люди иной морали. «Когда Огарев заметил у Natalie сильную любовь ко мне, — рассказывает Герцен дочери Тате в письме, которое называет своей исповедью, — ему не пришлось еще сказать слова, как она ему все сказала — и *тогда же* сказала мне. Это был поступок чистый и смелый. Огарев был, как всегда, бесконечно благороден...» «Так бесконечно широко понять, — вспоминает и сама Наталья Алексеевна тот нелегкий свой разговор с Огаревым, — ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, свойственным одной его, нежной и широкой натуре».

Есть и прямое свидетельство тому, как Огарев оценивал сложившееся положение. Позиция Огарева ясно изложена в его письме к Наталье Алексеевне: «Я был уверен, что любовь брата тебя возвысит, — и все ставило жизнь на такую высокую ногу, как редко случай ставит ее. Ты могла любить моего брата и быть матерью детей моей сестры... и твоей сестры, т. е. той женщины, которая для тебя была выше всего в мире. В самом деле — что за великое отношение становилось между всеми нами!»

«Становилось», то есть могло стать, но не стало! На высоте положения удержались и Герцен и Огарев. Через несколько лет Огарев писал Герцену: «Что любовь моя к тебе так же действительна теперь, как на Воробьевых горах, в этом я не сомневаюсь...» Наталья Алексеевна стала объектом взаимных забот. Трогательна была и забота Огарева о детях Герцена, равно как Герцена об огаревских. Новые люди строили и свои отношения по-новому, и в этом Герцен и Огарев были одними из многих. Достаточно вспомнить Шелгунова и Михайлова. Но то касается Огарева и Герцена. Иное дело Наталья Алексеевна. Она внесла такую смуту в жизнь Герцена, так замучила его своими беспрестанно меняющимися настроениями и требованиями, что он по прошествии десяти лет с тоской восклицает: «Господи, сколько времени, жизни, идей, сил пошло на этот внутренний раздор и бой!» Наталья Алексеевна находилась в постоянной вражде то с одним, то с другим, то с обоими вместе и более всего с детьми Натальи Александровны и Герцена, с теми детьми, которым она думала когда-то стать матерью.

Что было тому причиной? Дневники Натальи Алексеевны полны трагических записей: «Мы имеем общие интересы, самый главный — дети; но что касается нас двоих, тут есть пробел... может, именно я совсем не та женщина, которую мог бы любить Г... Мне веет холодом от него...» «Герцен не любил меня... вообще для него любовь дело второстепенное, если не меньше...» Была ли она права? В том, что для Герцена на первом месте стояли «общие интересы», — несомненно. Более того, он считал большим пробелом женского воспитания сосредоточенность женщины на проблемах любви. В «Былом и думах» в отступлении, названном им «Раздумье по поводу затронутых вопросов», он сказал это с полной определенностью: «Я отрицаю то царственное место, которое дают

любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением».

Любил ли Герцен Наталью Алексеевну или то были лишь страсть и увлечение, быстро перегоревшие, как она утверждала: «осталось дружеское расположение и желание покоя». Во всяком случае, она тому немало способствовала. И уже через три года после сближения с Тучковой Герцен безнадежно констатирует в письме к сыну, что личная жизнь его окончилась бурями и ударами 1852 года.

Герцен склонен был считать, что причиной всему нрав Natalie, о чем и писал Тате в письме-исповеди: «Я тебе скажу с полнейшей откровенностью — фонд дурного в ее натуре идет из двух источников: ревность и необузданность. Она может любить людей — и из ревности делать над ними бог знает что. Если б я не видел ясно, что главное чувство в ней — привязанность ко мне (в какой бы форме она ни выражалась) — многое было бы иначе».

И не случайно именно Тата *уже после смерти* Натальи Алексеевны заметила как-то, что о роли Тучковой в жизни Герцена «нужно писать с осторожностью». «Нужно помнить, что она очень страдала и что все-таки ей были присущи и хорошие стороны».

9 февраля 1857 года хоронили Станислава Ворцеля. Провожая в последний путь этого самоотверженного борца за демократию, гроб несли вместе с поляками Огарев, Герцен и его сын Александр.

Ворцель был человеком, близким герценовскому дому. Мейзенбуг писала о нем: «Больше всех (имеются в виду эмигранты, бывшие в 1853—1856 годах в доме Герцена. — *В. П.*) мне нравился один поляк, его мученический облик возбуждал во мне сострадание и уважение. Это был Станислав Ворцель, потомок одной из самых знатных аристократических фамилий Польши... Богатый, знатный, счастливый в семейной жизни, отец многочисленных детей, он все безоговорочно посвятил борьбе за независимость отечества, когда разразилось польское восстание». Польша была его «путеводной звездой», говорит Мейзенбуг и подчеркивает его «великую», «благородную» душу. Герцен называл Ворцеля «праведником»: «Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и поборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения».

В день похорон, вернувшись домой, Герцен, по его словам, долго сидел в раздумчивости, решая печальный для себя вопрос: «не опустили ли мы в землю» вместе с Ворцелем, «не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?». Ворцель был ему добрым помощником, поддержавшим его в Лондоне сразу же, как только Герцен приступил к созданию ВРТ, — делу, как считал Герцен, «наиболее практически революционному».

Ворцель был примиряющим началом во всех многочисленных недоразумениях, которые возникали между русскими поборниками демократии и польскими патриотами. Недоразумения имели вполне реальные основания. «Мы шли с разных точек — и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью»... Он уподоблял отношения русских и поляков отношениям товарищей по тюремному заключению — «мы больше сочувствовали друг другу, чем знали».

Герцен не уставал «знакомить», сближать русских и польских борцов за свободу. В 1854 году в статье «Польско-русский революционный союз» он писал: «Те из русских, кто не понимает, что независимость Польши есть в то же время освобождение России, — не революционеры, не свободомыслящие, они не с нами». Статья была опубликована в газете «Польский демократ», органе польской эмиграции. В 1859 году со страниц «Колокола» Герцен обратился к польским патриотам, разъясняя им, что не следует смешивать русский народ с правительством, что, кроме «правительственной России», есть другая, «кроме Муравьева, который *вешает*, есть Муравьевы, которых *вешают*...» Так писал Герцен в статье, где, по его словам, были изложены «главные основы» его убеждений. Статья называлась «Россия и Польша».

Герцен признавал, что, как и Италия и Венгрия, Польша «имеет *неотъемлемое, полное* право на государственное существование, *независимое* от России». Он настаивал на том, что Россия и Польша могут идти «одной дорогой» к новой свободной жизни. Он видел будущее единение Польши и России как федерацию, но был далек от мысли навязывать ее полякам: «Если Польша не хочет этого союза, мы можем об этом скорбеть... но не предоставить ей воли — мы не можем...»

Император всероссийский Александр II Николаевич чуть ли не ежедневно вспоминал предсмертные слова отца своего Николая: «Не в добром порядке передаю тебе дела». Какой уж там порядок, когда со всех сторон жандармские генералы и губернаторы доносят: крестьяне убили помещика, подожгли имение, разобрали инвентарь, зерно. Работные люди побили кольями воинскую команду, призванную их усмирить. А Польша? А Финляндия? Но самое страшное — это, конечно, крестьянские восстания. Новый царь хорошо помнит, как еще при покойном батюшке в 1854 году было объявлено о наборе в морское ополчение, с тем чтобы сформировать флотилию для защиты балтийского побережья. Набор объявили по четырем губерниям — Петербургской, Олонецкой, Тверской и Новгородской. Что тут поднялось! Среди крестьян утвердился слух: «Кто добровольно запишется в ополчение, тому воля с чадами и домочадцами». И в Рязанской, Тамбовской, Владимирской, да и других «внутренних губерниях» крестьяне требовали, чтобы их записали в ополчение. Пришлось посылать войска.

А на следующий, 1855 год опять набор в общегосударственное ополчение, и снова слухи — воля тем, кто запишется. А в Малороссии и вовсе заговорили о том, что крестьян призвали «в казаки» и есть указ освободить их от крепости да наделить еще и помещичьей землей. И еще через год, в 1856-м, десятки тысяч крепостных, снявшись с насиженных мест, семьями двинулись в разоренный войной Крым. И снова тот же всепобеждающий слух: кто поселится в Крыму — тому воля. Тут уже не годами, месяцами считать приходится. 1857-й: восстание в Мегрелии...

Ведь, кажется, все уже сделано для того, чтобы освободить крестьян. Еще в манифесте по поводу заключения Парижского мира в 1856 году было сказано: «Да утверждается и совершенствуется ее (России. — *В. П.*) внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый, под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных».

И разве же он не уничтожил печально-знаменитый «бутурлинский комитет» по цензуре, разве же он не возвратил оставшихся в живых декабристов, да и из петрашевцев кое-кого простил, за границу разрешил ездить, а как доносят агенты III отделения, неблагодарные подданные толпами хлынули в Лондон, к Искандеру. А Искандер? Ни один секретный указ для него не секрет. Теперь же «Колокол» взялся за рассмотрение проектов «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

Освобождение крестьян с землей, освобождение от помещичьей повинности и помещичьей власти! А вот мелкопоместные, едва узнали о проектах, чуть не бунт учинили: никакого освобождения, никаких наделов, иначе они по миру пойдут. Царь понимает их. Но, право, лучше, как он еще в 1856 году говорил предводителям московского дворянства, освободить сверху, нежели ждать, когда они сами освободят себя снизу.

Среди некоторой части дворянства поговаривают уже не об освобождении крестьян, а о конституции. Их не удовлетворяют проекты, составленные дворянскими губернскими комитетами, они «не соответствуют общим потребностям». И это написано в «адресе» на имя царя. А тверские депутаты дворянского комитета и вовсе потребовали предварительной реформы суда, администрации, цензуры. Александр пришел в ярость. Эти дерзкие до крайности заявления неуместны. Депутатам указать, «что, имея в виду высочайшею властью одобренный порядок своих действий, они не должны были утруждать его императорское величество ходатайством, к изменению сего порядка клонящимся, и... не имели права подавать подобную просьбу за общим всех подписом».

Ни император, ни его ближайшее окружение не понимали, что в России сложилась ситуация, которую впоследствии В. И. Ленин охарактеризовал как «революционную». Ленин писал в статье «Крах II Интернационала»: «...Революция невозможна без революционной ситуации, причем не всякая революционная ситуация приводит к революции. Каковы вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы наверное не ошибемся, если укажем следующие три главные признака: 1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции

обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, *так и самими «верхами»*, к самостоятельному историческому выступлению».

В 1859 году Герцен и Огарев конкретизируют цели задуманного ими тайного общества. Они изложены в документе, названном «Идеалы». Программа общества предусматривает полное политическое переустройство России. Согласно этой программе Россия — конфедерация с центральным правительством, несущим ответственность перед избирателями. «Форма центральной власти — комитет». Крепостное право отменяется, все крестьяне наделяются землей, помещики получают вознаграждение за землю от государства. В основе конфедерации — общины, которые образуют волости, волости группируются в союзы, союзы и составляют конфедерацию. Все равны перед законом. Все должности выборные. Определялась и структура тайного общества как состоящего из «апостолов», «совершенно сознательно действующих и распоряжающихся». Около них группируются «ученики» и «полупосвященные». Далее идут агенты...

Вопрос о формировании «революционного» центра в России, о времени его возникновения, организационных принципах — это проблемы специальных исследований. Но бесспорно — в России такой центр формировался вокруг Чернышевского и Добролюбова, а в Лондоне Герцен и Огарев создавали пропагандистский центр. И Герцен, и Чернышевский, и Огарев, и Добролюбов имели общую конечную цель — политическое освобождение России от самодержавного деспотизма. Преобразование ее на демократических и социалистических началах. Но Герцен и Огарев расходились с Добролюбовым и Чернышевским в тактике. Герцен и Огарев пока еще считали, что демократические и социалистические преобразования могут быть осуществлены мирным, реформистским путем. Впрочем, они не отвергали и революционные средства борьбы. Если либералы ожидали освобождения крестьян только «сверху», непременно «сверху», то Герцен писал: «Будет

ли это освобождение «сверху или снизу» — мы будем за него». Естественно, что «снизу» предполагает только одно — народную революцию. Герцен тем самым как бы отметал вопрос, на чьей он стороне. Он будет в случае чего с восставшим народом.

Эта позиция, занятая Герценом еще до реформы, требовала дальнейшей разработки планов создания тайного общества.

В 44-м листе «Колокола» 1 июня 1859 года появилась статья Герцена «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»). Герцен обрушился на «Современник» и на его сатирическое приложение «Свисток» за то, что этот орган систематически третирует обличительную литературу. Добролюбов, который вел «Свисток», настоятельно доказывал, что нельзя ограничиваться обличением частных и мелких несправедливостей (в чем так преуспевал «Колокол», «Под суд», да и другие герценовские издания).

«Современник», руководимый Чернышевским и Добролюбовым, писал, что время обличений прошло. Нужно не обличать, а бороться с самодержавием и крепостничеством. (Конечно, в «Современнике» все это говорилось эзоповским языком.) Герцен назвал эти выступления «Современника» и «Свистка» «пустым балагурством». «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*»

Добролюбов узнал от Некрасова о появлении герценовской статьи и был задет и ее тоном, и намеком на «доносительство», за которое Булгарин был удостоен «Станислава на шею». Он готов был ехать в Лондон для объяснения с Герценом. Но Некрасов считал, что Добролюбов слишком тверд и дерзок, а потому было бы лучше, если бы поехал Чернышевский. Чернышевский видел в этой поездке пустую трату времени. Все одно, думал он, Герцен публично не откажется от своих слов. Но Некрасов так упрашивал, что Чернышевский с крайней неохотой все же поехал.

Эта поездка и по сей день рождает массу остроумных догадок и более всего споров. Известно, что Чернышевский пробыл в Лондоне с 26 по 30 июня. «Как теперь вижу этого человека: я шла в сад через залу, — вспоминает Тучкова. — Чернышевский ходил по зале с Александ-

ром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости...» Можно предположить, что между Герценом и Чернышевским разговор шел не только о статье в «Колоколе». Но о чем именно? Свидетелей разговора не было, как не было и фиксирующих документов. Под свежим впечатлением от встречи Чернышевский писал Добролюбову: «Оставаться здесь долее было бы *скучно*. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него... Но, боже мой, по делу надобно вести какие разговоры!.. Если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все».

«Кавелин в квадрате» — это о Герцене?! Вернее, о либеральных иллюзиях Герцена. Много позже С. Г. Стахевич, отбывавший вместе с Чернышевским каторжные работы, вспоминал рассказ Николая Гавриловича о беседе в Лондоне: «Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола». Если бы, говорю ему, наше правительство было бы чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую, и затем всякое обличие являлось бы подтверждением основных требований вашей программы...»

Герцен потом извинился на страницах «Колокола» за резкий тон статьи, за «Станислава на шее». Огарев же отреагировал на критику Чернышевского в «Предисловии» к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861): *«Обличения частностей, при сохранении общего мертвящего склада, не помогут... Слово* покончило свою задачу; пора приступить к делу». Понадобилось почти два года, бурных года, заполненных крестьянской

борьбой в России, прежде чем Герцен окончательно перешел на сторону революционной демократии.

А пока Герцена захлестнул поток писем из России. Писали сановники и гимназисты, помещики и мещане, литераторы и ученые, друзья и противники. Конечно, эти письма в основном были направлены именно на «обличительство», чем и объясняется их обильный поток. «Сын Отечества» отмечал: «Расчет Герцена был верен; успех его изданий превзошел все ожидания; они расходились во множестве экземпляров; многие русские, приехавшие в чужие края, покупали (большей частью просто из любопытства) запрещенные листки и книжки. Довольно этих листков и книжек пробиралось и в Россию... Авторитет г. Герцена все рос и рос, имя его сделалось знаменем в известных кружках...» Кавелин писал Герцену: «Молодежь на тебя молится, добывает твои портреты, даже не бранит того и тех, кого ты, очевидно, с умыслом не бранишь. Словом, в твоих руках огромная власть... По твоим статьям подымаются уголовные дела, давно преданные забвению, твоим «Колоколом» грозят властям. Что скажет «Колокол»? Как отзовется «Колокол»? Вот вопрос, который задают себе все, и этого отзыва страшатся министры и чиновники всех классов».

Герцен старался не преувеличивать значения «Колокола», он даже позволял себе иронизировать: «Колокол — власть, — говорил мне в Лондоне... *Катков* и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли то же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин... Сам В. П. [Боткин] — постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфелями».

«Колокол» читала императрица Мария Александровна. Александр II приказал доставлять ему каждый экземпляр герценовского издания. Правда, он делал это до тех пор, пока Герцен не призвал «к топору».

«Колокол» в Россию доставляли русские путешественники. Но он проникал и «официальным» путем. Вот что по этому поводу рассказывает князь Юсупов: «В Берлине покупал я в книжном магазине кое-какие немецкие книги. «А не хотите ли вы русских?» — спросил у меня услужливый книгопродавец. — «Каких же?» — «Да вот, например, герценовских; у меня есть всевозможные его сочинения; и прежние и самые новые». — «Нет, — от-

вечал я, — у нас ныне очень строго преследуют эти вещи, и я боюсь, что не довезу до Петербурга; у меня отберут на границе». — «Вот пустяки! Я вам доставлю в Петербург сколько угодно, прямо в ваш дом, в ваш кабинет». — «Это удивительно! Но если я вздумаю задержать того, кто мне их принесет?» — «Не беспокойтесь, вы не в состоянии будете этого сделать, вы и не увидите *того, кто вам принесет их»*. А шеф жандармов узнал и другую новость. Оказалось, что «лейпцигский книгопродавец Шор вошел в соглашение с шляпной мастерской и весь посылаемый товар обертывался в листы «Колокола».

Теперь уже в доме Герцена нет прохода от русских посетителей. «Количество русских таково, что я, наконец, должен был назначить два дня в неделю: среду и воскресенье». Для старых знакомых Герцен делал исключение, откладывал свои занятия, отправлялся гулять по Лондону, заводил друзей в небольшие кофейные. Кто-то побывал у Герцена инкогнито, не называя фамилии, и Герцен не спрашивал ее. А вот русский помещик П. А. Бахметев продал свое имение и привез Герцену 20 тысяч франков на революционную пропаганду, сам же отбыл в Новую Зеландию.

По воскресеньям у Герцена вавилонское столпотворение. Эмигранты со всех концов света чувствовали себя в этом доме не как гости, а как хозяева. Пока Александр Иванович беседовал с кем-либо его особо интересующим в отдельной комнате, многочисленные посетители разбредались по дому. Собирались кучками, спорили, и порой очень громко. Наиболее любопытные заглядывали даже на кухню, где по воскресеньям обычно дым стоял коромыслом. «Неосторожные русские» иногда приводили за собой шпиков. Так, однажды заявился некий господин Хотинский. Он хвастался тем, что матросы корабля, когда он им сказал, что посещал Герцена, устроили ему овацию, а на ночь вместо подушки подложили под голову комплекты «Колокола» и «Полярной звезды». Через несколько дней Герцена письмом из Петербурга предупредили, что Хотинский служит в III отделении.

В России в страхе перед призраком крестьянской революции сплачивался стан царизма, помещиков-крепостников и либералов. Из этого стана кое-кто указывал на Герцена как на единомышленника, либерала, а вовсе не

революционера. Герцен энергично протестовал. «...Самое слово *либерал* как-то мало идет ко мне, особенно с тех пор, как в России доктринеры и бюрократы, ценсоры и генерал-адъютанты хвастаются своим либерализмом». «Благоразумие» отличает либерала. Его вполне устраивают царские подачки и до обморока страшит крестьянский топор. А Герцен? «Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции». Это слова В. И. Ленина.

Государев рескрипт генерал-губернатору Виленской губернии Назимову 20 ноября 1857 года о необходимости приступить к подготовке крестьянской реформы привел Герцена в умиление. Создание губернских комитетов, Главного комитета, редакционных комиссий укрепило в нем наивную веру в царя, его желание действительно дать русскому крестьянину волю. И Герцен бросил фразу, обращаясь к Александру: «Ты победил, Галилеянин!»

Но тот же Герцен уже в июле 1858 года пишет в «Колоколе», что *«Александр II не оправдал надежд...»* И все же надежды у Герцена еще существовали. Герцен полагал, что дворянство, лучшая его часть, должна подать царю петицию, требуя созыва всесословного Земского собора, своего рода учредительного собрания. Верил ли Герцен в созыв собора? Нет, Герцен плохо в это верил. «Если (или так как) государь не хочет созвать Земского собора, то неурядица неизбежно доведет до восстания, — писал Огарев. — Так как восстание неизбежно, то надо его устроить и направить в разумном порядке, отнюдь не кровопролитно и не разорительно». В восстании участвует армия, к ней присоединяются крестьяне, «прибылые охотники». Они идут в одном строю. Огарев это так и назвал: «восстание, идущее строем».

А либералы все еще не оставили надежд перетащить Герцена на свою сторону. И их надежды имели, как им казалось, основания — письма Герцена Александру II. Либералы льстили. Призывали к умеренности. Умоляли щадить императорскую фамилию, не печатать о ней разоблачающих статей. Кавелин в письме к Герцену заявил: «...вы скоро можете, не краснея, подать друг другу руку с Александром II и считать друг друга союзниками на благо и счастье России». Между тем революционные демократы предостерегали Герцена: «Не облагора-

живайте произвольными вашими толкованиями действий нашего правительства».

В 1858 году разразилась полемика между буржуазным либералом Борисом Чичериным и Герценом. Прежде чем выступить против Герцена со своим «обвинительным актом», Чичерин навестил его. Холодный педант, высокомерный, враг демократии, он боялся той самой будущей России, на которую так надеялся Герцен. Чичерин потом писал Герцену, что задача «Колокола» не пропаганда революции, когда справляет тризну «свирепый разгул разъяренной толпы». «Колокол» должен, по мнению Чичерина, призывать к «разумному самообладанию»: Чичерину попросту хотелось использовать прессу Герцена, да и его имя, как оружие в торге с крепостниками за меру уступок либералам при проведении реформ.

А в России «реакция и реакция». Все труднее стало провозить герценовские издания. Их продажу запретили «на 14 дней» в Париже. Папа римский благословил запрет на продажу во Флоренции и Риме «русских книг, печатаемых в Лондоне». В Риме конфисковано 300 экземпляров. Во Франкфурте-на-Майне «продажа «Колокола» продолжается только под полою». Из России месяц от месяца все прибывают и прибывают новые материалы. «Записки Екатерины II», тщательно хранимые в секрете. Сочинение придворного историографа, статс-секретаря Корфа «Восшествие на престол императора Николая I». Это панегирик Николаю I и клевета на декабристов. Корф получил резкую отповедь Герцена, или, как выразился Герцен, «дозу Антикорфики». Публикации «Письма к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа) и книги «14 декабря 1825 и император Николай» рассекречивали прошлое, о котором власти предпочитали молчать. Барон Корф, прочитав книгу, буквально упал в обморок.

В 1860 году «Колокол» печатает «письмо из провинции». Кто его автор, по сей день неизвестно. Оно подписано: *«Русский человек»*. «Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать». Герцен ответил, что он не к топору, а к метле зовет, — к топору, этому последнему доводу угнетенных, «мы звать не будем *до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора»*. «...Мы расходимся с вами не *в идее*, а в средствах; *не в началах*, а в образе действования. Вы представляете одно из *крайних* выражений *нашего* направления».

Письма из России редко приносили почтальоны. Они прибывали вместе со старыми знакомыми, а более всего с новыми, незнакомыми людьми. В разное время здесь Стасовы, Николай Рубинштейн, Владимир Ковалевский (Ковалевский какое-то время даже давал уроки дочери Герцена). Немногие из них, к сожалению, оставили воспоминания о пребывании в доме Герцена. Полковник русского Генерального штаба Турчанинов, впоследствии прославившийся герой гражданской войны в Америке, генерал «Северян», побывал у Герцена перед отъездом за океан. Он хотел видеть Герцена лично, «чтобы в наружности вашей прочесть — то ли действительно вы, что мне мерещилось, когда я читал ваши сочинения», — писал Турчанинов в 1859 году.

Весною 1859 года приехали к Герцену соратники и друзья Чернышевского — поэт Михаил Илларионович Михайлов и Николай Васильевич Шелгунов с женой Людмилой Петровной. Оказанный им прием, обед просто очаровали. И позже, когда Шелгунов и Михайлов вслед за Чернышевским взялись за составление прокламаций — а ими было написано известное воззвание «К молодому поколению», — то они вновь прибыли в Лондон в конце июня 1861 года и уговорили Герцена отпечатать эту прокламацию в ВРТ, хотя Герцен и возражал тогда против призыва к революции. Вспоминая о Герцене, Шелгунов писал: «Есть так называемые умные люди, которые говорят хорошо и логично, но еще красивее и лучше они спорят, умеют тонко подмечать сходства и различия и находить противоположения; но обыкновенно в вещах они видят только одну сторону. Герцен принадлежал не к этому сорту относительно умных людей... Это был ум глубокий, но не отвлеченный, а жизненный, реальный, схватывавший идеальную и практическую сущность каждого предмета и каждого понятия».

Вскоре в Лондоне объявилась такая одиозная фигура, как Петр Владимирович Долгоруков, «кривоногий князь», двоюродный брат шефа жандармов Василия Долгорукова. Долгоруковы — потомки князей Черниговских.

Петр Владимирович никогда не забывал о своей знатности и, будучи в 11 лет изгнан из камер-пажей, затаил злобу на Романовых. Он занялся дворянскими родословными. Занятие шло успешно — Долгоруков составил четыре тома «Российской родословной книги». Но, собирая документы различных дворянских родов, Долгоруков втайне ото всех подбирал и «секреты из секретов», касающиеся наиболее знатных вельмож России, в том числе и всех представителей царствующего дома Романовых. Несмотря на свою знатность, несмотря на то, что Долгоруков был «своим» среди высшей придворной знати, ему не были чужды и свободолюбивые идеи. В 1842 году в Париже Долгоруков печатает «Заметки о главных фамилиях России», а сам скрывается под именем графа Альмагро. Эта книга привела в бешенство Николая I. Как же, князь прямо указывал на то, что Романовы присягнули в 1613 году на основе «конституции», выработанной Земским собором. Потом эта «конституция» была уничтожена при Петре I. Долгорукова затребовали в Россию, арестовали и отправили в Вятку. Но вскоре князь был возвращен.

Долгоруков привез Герцену наисекретнейшие документы, разоблачающие царствующий дом, «сволочь, составляющую в Петербурге царскую дворню». У Долгорукова были далеко идущие планы — издавать книги, так или иначе рассказывающие о темных делах царских прихвостней, да и самих царей. Эту программу Долгоруков не выполнил полностью, но нагнал страха на придворную камарилью и позволил издателям «Колокола» широко осветить многие до той поры неизвестные, схороненные подробности как царского быта, так, что особо важно, истории декабризма.

Но вот и наступил день 5 (17) марта 1861 года. В этот день во всех церквах России читали с амвонов царский манифест об освобождении крестьян. Казалось, что первоначальная программа «Колокола» реализуется, то есть освобождение крестьян с землей, обещание широких реформ суда, печати и пр. Герцен решил организовать торжественный обед и... поднять тост за Александра II. Он все еще верил в благие намерения этого царя.

В доме Герценов полно гостей. Уже налиты бокалы.

Но торжества не получилось. Пришла весть из Варшавы. Там были демонстрации, войска стреляли. Есть убитые и раненые. Выпили в память погибших.

4

«Минута разочарования» — так назвал реформу не кто иной, а сам император всероссийский Александр II. А В. И. Ленин писал, что разочарование вылилось в усиление крестьянских восстаний после реформы, которая была «бессовестнейшим грабежом крестьян». Освобождение «было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения» от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях *свыше* 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской земли. По случаю «освобождения» крестьянские земли отмежевали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения» крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали *вдвое* и *втрое* выше действительной цены на землю».

Крестьянская «великая» реформа проводилась пулями, штыками, розгами. Крестьяне же ответили на «освобождение» массовыми выступлениями. По секретным отчетам III отделения только в 1861 году в России волнения крестьян захватили 1370 имений. Причем в 717 имениях были введены войска. В результате 140 убитых и 170 раненых. Но эти цифры не отражают полной картины крестьянских волнений в ответ на реформу. Особенно сильными, получившими широкий отклик, были крестьянские волнения в Казанской и Пензенской губерниях, в селах Бездна, Кандеевка, Черногай. Так, в селе Черногай до 4 тысяч крестьян с красными знаменами (они на Руси известны еще со времен Степана Разина), с криками «Воля! Воля!» двинулись из деревни, провозглашая: «Земля вся наша!» Войска их встретили выстрелами. А в селе Кандеевка в ответ на ружейный огонь крестьяне выкрикивали: «Все до одного умрем, но не покоримся!» И в Кандеевке было убито 8 человек, 27 ранено. В селе Бездна убитых и раненых оказалось 350 крестьян.

А. В. Никитенко, многолетний цензор, человек, хорошо осведомленный, записал в дневнике: «Однако добродушный русский народ, который, по словам Погодина, встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодар-

но, начинает в разных местах проявлять свое вековое невежество и грубое непонимание закона и права». Погодин же выступил с «грамотками», которыми хотел «возбудить в крестьянах благодарность и внушить терпение». Расстрелы означали, что правительство перешло в наступление. Но и радикально-демократические круги стали боевитей, особенно студенческая молодежь. Студенческие волнения охватили в 1861 году целый ряд учебных заведений, и Шелгунов с полным основанием мог заявить: «Мы серьезно считали себя «накануне»... То было время самого славного возбуждения». Появившиеся в России прокламации и воззвания «К молодому поколению», «Великорус» уже намечали планы наступления на царизм.

Конец весны и начало лета 1861 года было пиком крестьянских волнений в ответ на реформу. Они охватили 32 губернии. «Колокол» под воздействием вестей, доходящих из России, меняет свою программу. В центре его внимания по-прежнему стоит крестьянский вопрос. Но теперь уже Герцен и Огарев освещают его с позиций оценки проведенного царизмом «освобождения».

Не сразу до Лондона дошли полностью «Положения». Поэтому и первый отклик Огарева — статья «Начало русского освобождения», опубликованная в «Колоколе» 15 апреля 1861 года, звучала еще надеждой. «Живой восторг от великого начинания еще слишком волнует нас, чтоб можно было хладнокровно проследить все противоречия и ошибки нового положения...» Более того, Огарев уверен, что «Александр II будет настолько честен и искренен, что примет... имя Освободителя... не от Сената, а от народа...». Но когда в Лондон прибыли все так называемые «местные» Положения, Огарев публично возмутился: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право *не отменено. Народ царем обманут»*. Разбирая Положение, Огарев доказывает, что помещики не имеют прав на землю, на выкуп, он призывает крестьян «твердо стоять между собой, чтобы вся земля была земская». «Колокол» регулярно печатает информацию о крестьянских волнениях, эта информация была и всеобъемлющей и точной. В этих выступлениях крестьян Герцен увидел революционный народ и «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма», как писал В. И. Ленин.

Появление в России листовок Герцен приветствует и рекомендует обзаводиться типографиями. «Заводите типографии! Заводите типографии!» Герцен приветствует и предложение «Великоруса» о создании тайного общества. Возникновение и становление тайного общества «Земля и воля» — это процесс, растянувшийся на длительное время. «Земле и воле» предшествовало появление тайных кружков революционеров в Казани, Петербурге, Орле, Киеве, Харькове. Участники этих кружков хорошо были знакомы с герценовскими изданиями, находились под непосредственным воздействием «лондонских пропагандистов». К лету 1861 года необходимость слияния революционных кружков России в одну организацию воочию назрела. Как шло это слияние? На этот вопрос ответить не просто. Ведь оно протекало в условиях сугубой конспирации. Что же касается Лондона, то ясно — Герцен и Огарев участвовали в создании «Земли и воли» с начала ее зарождения. Об этом свидетельствует письмо Огарева к Николаю Шелгунову (27 июля — 3 августа 1861 года). Огарев дает советы, как и на каких началах должно создаваться тайное русское революционное общество. Планы действия тайного общества у Огарева и Герцена претерпели заметные изменения. Один план набрасывался до отмены крепостного права. И в наметках программы этого общества шла речь о созыве Земского собора, но еще возлагались надежды и на правительство. Теперь, когда крепостное право пало, исчезли и надежды на правительство. Созыв Земского собора после реформы из программного пункта стал практическим требованием. Согласится правительство на созыв всесословного собора — хорошо, нет — его придется заставить сделать это или созвать собор помимо него.

Герцен считал, что нужно будет провозгласить выборное начало всего административного и судебного аппарата. И что примечательно — ликвидировать дворянство как отживший социальный организм. Дворянский революционер Герцен встает на сторону демократии. Он также требует создания такого правительства, которое действительно даст народу волю. Нет воли без земли, как нет земли без воли. Внося коррективы в свои планы, Герцен и Огарев набрасывают контуры будущего революционного центра. Прежде всего он должен быть в России. Огарев, так же как и Герцен, был убежден в том, что

«заграничные общества могут только давать общее направление печатной пропаганды и служить складочными связями для обществ, реально действующих в России». Герцен и Огарев ясно понимали, что руководить практической деятельностью общества, и при этом тайного, из «прекрасного далека» невозможно. Огарев предложил разделить Россию на 16 революционных округов, во главе каждого — одно ответственное лицо. Должен быть создан и немногочисленный руководящий центр. А между тем наступит и 1863 год. Ведь именно на этот год по букве реформы предписывалось помещикам и крестьянам завершить заключение «полюбовных сделок», составление «уставных грамот». Уставные грамоты и раскроют крестьянам глаза на грабительскую сущность реформы. Восстание неизбежно вспыхнет.

С 1862 года Герцен начинает издание «Общего веча». Огарев считал, что тем самым они тоже готовятся к 1863 году. «Общее вече» — это своего рода прибавление к «Колоколу», и его главная задача опять-таки подготовка Земского собора. «Общее вече» разъяснит народу, как он должен бороться за землю, волю, за общину и общинное самоуправление. Герцен не писал статей для «Общего веча». Прибавлением руководил Огарев. «Общее вече» хотело «служить выражением мнений, жалоб и общественных потребностей людей всех религиозных толков и согласий». Крестьянин религиозен. Этим во многом и объясняется язык статей «Общего веча», в них часто встречаются выдержки из книг религиозного содержания. За распространение «Общего веча» взялся Кельсиев. Он предпринял для этого опаснейшее путешествие в Россию. Кельсиев впоследствии стал ренегатом, уехал в Россию, написал «Исповедь», отрекаясь от Герцена.

Между тем в России бывшие друзья, устрашенные непримиримостью Герцена, изменением тона всей его пропаганды, уже явно направленной к народу и против правительства, отшатнулись от Герцена. Теперь его открытыми врагами становятся и Кетчер, и Кавелин. Корш да и Тургенев тоже. 7 июня 1862 года Герцен пишет Кавелину: «...я схоронил Грановского — материально, я схоронил Кетчера, Корша — психически, Тургенев дышит на ладан — и ко всему этому должен прихоронить тебя». А в письме к сыну Герцен уже говорит о полном разрыве с Кавелиным: «И жаль его очень, и надобно итти своей дорогой».

В формирующееся в России тайное общество к концу 1861 года вошли братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи. Оба они побывали в Лондоне у Герцена. Наталья Алексеевна вспоминает: «Видно было, что несмотря на свою молодость он (Александр. — *В. П.*) уже много читал и думал...» Но Александр не стал другом Герцена, а вот его брат писал Огареву: «Вы первый дали мне имя друга, и я счел это не пустой фразой... это родство добровольное, по-моему, гораздо важнее случайного... Конечно, сильнее любить вас, быть с вами более заодно, как я, невозможно». В этот первый тайный центр будущей «Земли и воли» вошли: Николай Николаевич Обручев, полковник Генерального штаба, друг Чернышевского, и Александр Александрович Слепцов. В 60-е годы он был видным представителем революционных кругов России и очень плодотворно трудился в области народного просвещения. Обручев помог Огареву в составлении прокламации «Что нужно народу?». Позже в руководящий центр вошел и поэт Василий Курочкин.

Прокламация «Что нужно народу?» стала программным документом общества «Земля и воля».

29 января 1857 года Лев Николаевич Толстой отбыл за рубеж. В Париже Толстой встретил Ивана Сергеевича Тургенева, и они решили побывать в Лондоне у Герцена. Тургенев написал о предполагаемом визите Герцену и получил 2 марта 1857 года ответ: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым...» К этому времени Герцен прочел и «Историю моего детства» (под таким названием вышла повесть Толстого в «Современнике»), и севастопольские рассказы. Рассказы его восхитили — «удивительно хорошо».

Но в эту поездку за границу Толстой так и не добрался до Лондона. В марте же 1861 года свидание состоялось. 7 марта Герцен пишет Тургеневу: «Толстой — короткий знакомый, мы уже и спорили, он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек — даже Лиза Огарева его полюбила и называет «Левостой».

Есть много записей современников бесед с Л. Н. Толстым. И если сложить их вместе, то окажется, что Лев Николаевич не только какое-то время переписывался с Герценом (эти письма сохранились), но и после смерти Герцена с неизменной симпатией вспоминал о нем. Ма-

до этого, Толстой внимательнейшим образом не только читал — изучал сочинения Александра Ивановича. Две главные идеи Герцена особенно близки были Толстому: падение Запада и вера в Россию. 9 февраля 1888 года Толстой пишет В. Г. Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов...»

В марте 1893 года, по свидетельству П. А. Сергеенко, Толстой говорил: «Ведь, если бы выразить значение русских писателей процентно в цифрах, то Пушкину надо бы отвести 30%, Гоголю — 20%, Тургеневу — 10%, Григоровичу и всем остальным — около 20%. Все же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубок, блестящ и проницателен». Герцен упоминается и в произведениях Толстого. В романе «Воскресение» умирающий на каторге Крыльцов роняет: «— Да. Герцен говорил, что когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников».

Имеется масса пометок Толстого на произведениях Герцена. Лев Николаевич искал у Искандера мысли, которые были бы созвучны и его, Толстого, миропониманию. Он писал Черткову 23 декабря 1901 года, что Герцен, «с разных сторон стараясь объяснить смысл жизни, подходил к религиозному сознанию, но не подошел к нему». Толстой, конечно, заблуждался, но как многозначительно это восхищение великого художника Герценом.

Сложно складывались (да так и не сложились) взаимоотношения Герцена с Ф. Достоевским. Федор Михайлович в 1862 году прибыл за границу, чтобы подлечиться. И специально едет в Лондон на встречу с Герценом. Эта встреча вылилась в ряд дружеских бесед (которые были продолжены в следующем, 1863 году в Италии). Они говорили и об общей для них любви к России, русскому народу, о Белинском и... Хомякове. Достоевский восторгается книгами Герцена, особенно «С того берега». В эти дни Достоевскому кажется, что он с Герценом в «отношениях прекраснейших». Но проходит еще четыре

года, и все меняется. В 1868 году в Женеве они случайно столкнулись на улице, «десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками да и разошлись», — как писал Достоевский А. Н. Майкову.

А между тем Достоевский буквально зачитывается всем, что написал Герцен. Разъезжая по Европе, он выискивает книги Искандера, скупает их. Его неудержимо влечет мир духовного смятения и его преодоления Герценом. Философско-этические взгляды мыслителя подвигают Достоевского на новые замыслы. В романах «Идиот», «Бесы» Достоевский спорит с Герценом. В дневниках Федора Михайловича многие десятки раз написано: «Герцен», «Герценом», «Герцену».

Примечательна характеристика Герцена в черновом наброске «Дневника писателя» Достоевского. Она дана через шесть лет после смерти Александра Ивановича. Рассказывая о встрече с Герценом в 1863 году, Достоевский называет его высокоталантливым человеком, мыслителем и поэтом. Говорит, что «это был один из самых резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких, и с некоторыми вполне русскими чертами характера».

Герценовское жизнелюбие «было жизнью и источником мысли» для Достоевского.

...Еще весною в Лондон из своей поездки в Россию вернулся Кельсиев. Кельсиев, по отзыву Герцена, был в душе «бегуном» — «бегуном нравственным и практическим: его мучили тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог».

Поиск дела и привел его в начале 1862 года в Россию. Он отправился туда, намереваясь установить прочные связи с раскольниками. О своей поездке по России, в которой, по словам Герцена, «отвага граничит с безумием», сам Кельсиев рассказал в своей «Исповеди». Он пробыл в России с начала марта по конец мая. И наконец благополучно вернулся в Лондон. Несомненный успех поездки, таинственные переговоры с раскольниками воодушевили Кельсиева. У него возникла идея отметить пятилетие существования «Колокола». Герцен полагал, что следует повременить с праздником, подождать «больше веселого времени». Но Кельсиев настоял на своем. Собрались в ресторане Кюна, по подписке. И тут произо-

шло как будто бы поначалу и не столь уж важное событие. Приятель Кельсиева Павел Александрович Ветошников, служащий в торговой фирме, собирался в Петербург. Он предложил взять с собой что нужно для передачи. В этом предложении не было ничего необычного — пока к Герцену «никто не боялся» ездить. Никто не боялся брать с собой «Колокол». Правда, Герцен советовал остерегаться, но над ним смеялись. Поэтому на банкете в честь «Колокола» о поездке Ветошникова говорили свободно. Все это происходило 1 июля. Когда прощались, многие говорили, что в воскресенье будут у Герцена и Огарева. Действительно, собралась «целая толпа». Ветошников уезжал завтра утром. Он спросил у Герцена, какие будут поручения. «Огарев, — как вспоминал потом Герцен в «Былом и думах», — пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу». К ним Герцен «приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в «Колоколе» «печатать на свой счет «Современник» в Лондоне». Дело в том, что незадолго до того «Современник» высочайшим повелением был приостановлен на восемь месяцев. К полуночи гости стали расходиться. Ветошников зашел в кабинет Герцена и взял письмо. Потом, когда несчастье стало фактом, Герцен не мог понять, как он мог, простившись с Ветошниковым, спокойно пойти спать, нисколько не ощущая, что совершилась непоправимая оплошность — «так иногда сильно бывает ослепленье». «Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени...» Ветошникова схватили в пути. Среди гостей Герцена оказался агент III отделения Г. Г. Перетц. Все, что вез с собой Ветошников из Лондона, попало в руки жандармов и послужило основанием для возбуждения «Дела о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». 7 июля ворота Петропавловской крепости захлопнулись за Чернышевским. В тот же день был арестован Н. Серно-Соловьевич. В частном письме месяц спустя Герцен писал: «Страшно больно, что Серно-Соловьевича, Чернышевского и других взяли — это у нас незакрывающаяся рана на сердце...»

По «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» были привлечены тридцать два человека. Дело Чернышевского выделили в особое. Властям потребовалось почти два года, чтобы подготовить расправу с ним. Чернышевскому вменялось в вину, что он, как автор «возмутительной» прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», побуждал крестьян к бунту, восстанию, подавал советы, как к нему нужно готовиться... и призывал ждать сигнала. Чернышевский действительно был автором этой прокламации, но у следственной комиссии не было доказательств. III отделение пошло на изготовление подложных «записок» и «писем» Чернышевского, текст которых подготовили жандармы, а переписаны они были рукой отставного корнета Всеволода Костомарова, ренегата, старавшегося любой ценой освободиться от заключения в крепости. Костомаров продал и Чернышевского, и Михайлова, и Серно-Соловьевича. Он же подделал и почерк Чернышевского. И вот на основании этих подлогов, этих фальшивок Чернышевский был осужден на каторгу. 19 мая 1864 года в Петербурге на Мытнинской площади была инсценирована гражданская казнь Чернышевского. А 15 июня того же года в «Колоколе» появилась заметка Герцена, которая начиналась словами: «Чернышевский осужден на *семь лет каторжной работы* и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение...» Заметка была написана Герценом сразу по получении письма, в котором очевидец рассказывал о свершившейся казни. Очевидец писал: «Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу *и выставили на четверть часа у позорного столба.* Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венок — ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему: «Прощай!» — и был арестован». Девицей, бросившей цветы Чернышевскому, была свояченица Шелгунова — М. П. Михаэлис. Очевидец отмечал, что власти наглеют: «Ссылая Михайлова и Обручева, *они* делали выставку в четыре часа утра, теперь — белым днем!..» Приведя в заметке это письмо своего корреспондента, Герцен заключил его словами: «Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа — а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть!» Герцен перепечатал эту заметку на французском языке в качестве постскриптума к статье «Новая фаза в русской литературе»,

изданной в том же, 1864 году отдельной брошюрой. Осознание всей огромности Чернышевского, исторической роли этой сильной личности придет к Герцену несколько позже. В 1866 году в одной из лучших своих публицистических работ «Порядок торжествует!» Герцен напишет: «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского броженья вопросов и сил... Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, *что им делать...»* Пропаганда Чернышевского «дала тон литературе и провела черту между *в самом деле* юной Россией и прикидывающейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической». Но и в 1864 году, когда Чернышевского еще не отделяла от Герцена Сибирь, Герцен видел его идущим в будущее. «Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба?» — вопрошает Герцен. Он полагал, что этот холст был бы поучителен для поколений — он сохранил бы в веках образ революционера и «закрепил» бы «шельмованье тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста». Герцену вообще в высшей степени было присуще чувство преемственности поколений, он живо ощущал связь, соединяющую прошлое, настоящее и будущее. Это чувство тем более находило питательную почву, что сам-то он стоял на стыке поколений. Декабристы были для него не историей только, но, прежде всего, фактом его собственной биографии. Но он был и современником Добролюбова, Чернышевского...

«Я многого не умел сделать, в многом жизнь запутал» — к такому нерадостному итогу пришел Герцен незадолго до смерти. Эти слова Герцена прежде всего относятся к делам семейным, он чувствовал себя виноватым перед детьми за то, что они, по существу, не имеют дома, нет у них семьи — распалась. Случилось это не сразу, не вдруг. Но случилось, и все «запутала» Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева. Тщетно пытался Александр Иванович как-то сблизить Тучкову хотя бы с Татой — хотя бы во имя Лизы, родившейся уже от брака с Тучковой. Именно потому, что Герцен был не в силах собрать, спаять семью, воспитание детей затруднялось и одновременно становилось для него одной из главных проблем всей последующей жизни. Он так и написал сыну в

1860 году: «Для меня остались в мире две задачи: моя русская деятельность и ваше развитие».

Первым отделился от семьи Александр. Когда умерла мать, ему было тринадцать лет. Он получил дома довольно серьезное образование. Латынь и немецкий изучал у Мюллера-Стрюбинга, эмигранта, участника революции 1848 года в Берлине, английский у Гауга, участника революции в Вене в 1848 году, историю и рисование вел польский эмигрант Булевский. Русскую историю, изучение которой Герцен считал делом столь же важным, как и изучение русской литературы, преподавал сыну сам Герцен. Проявляя явные способности к естественным наукам, Александр посещал в Лондоне геологический институт — учился у известного немецкого химика Гофмана. В медицинском институте слушал лекции по сравнительной анатомии у Гранта и анатомии человека у Девиля. В 1861 году Александр Герцен окончил Бернский университет и получил степень доктора медицины. Успехи Александра радовали Герцена, он сам толкал его к естественным наукам, будучи убежден, что они способствуют выработке научного мышления, «добросовестному принятию» результатов исследований *«такими, какими они выйдут»,* «смирению перед истиной». Однако не кабинетным ученым хотел бы он видеть своего сына, а продолжателем дела отца. Еще в 1851 году, когда сыну только должно было исполниться двенадцать лет, Герцен писал ему, что «пора... продолжать начатое мною». «Я сам, — замечает он, — был по тринадцатому году, когда пошел по трудной дороге, и вот двадцать пять лет шел я по ней; ни тюрьма, ни ссылка, ни даже вы все не отклонили меня, я служил на пользу России словом и делом... Теперь я устал, но тебе приготовил и место и имя, которое ты можешь носить с гордостью...»

Он воспитывал детей в уважении к декабристам, и дети в день именин Герцена в 1854 году повторили ту клятву, которую дали когда-то на Воробьевых горах их отец и Огарев. Герцен не терял надежды на возвращение сына на родину: «Везде ты иностранец, — писал он сыну в 1860 году, — в России ты один из *богатейших* наследников. Ты наследник всей моей и огаревской деятельности...» Именно поэтому он, насколько мог, препятствовал женитьбе Александра на иностранке. Александр женился на Терезине Феличе, девушке из рабочей семьи, итальянке, вопреки воле отца. Герцен стремился

свести сына с представителями революционной России. Он пишет сыну о Н. Серно-Соловьевиче: «...Во многом я желал бы, чтоб ты походил на него — этот человек всеми корнями живет в общей деятельности». Он был доволен, что сын заинтересовался крестьянским вопросом в России, помогал ему собирать материалы для статьи. Однако подчас его раздражала неспособность Александра вникнуть в суть процессов, происходящих в России. По поводу одного замечания Александра, что, когда он читал письмо отца, ему было «грустно и смешно», Герцен в ответном письме прочел ему отповедь, выведенный из себя полным непониманием сыном сути и смысла той борьбы, которую они с Огаревым вели. Он писал: «Не надобно быть политиком, чтоб понимать вещи лучше, чем какие-нибудь жалкие французики... Я и Огарев, окруженные со всех сторон страшнейшим деспотизмом Николая, гнетом семейных предрассудков,— мы вступили действительно в смешной бой с властью — и через тридцать лет мы стали так, что само правительство признало, что мы власть в общественном мнении... Нашу оппозицию теперь из истории не вычеркнешь — она бродит в сердцах юного поколения, бродит на Кавказе у офицеров, в Сибири и пр. Естественно было желать, чтоб ты так же открыт был нашему слову, как все поколение. Естественно было желать — чтоб ты шел по пути, тяжело протоптанному, но протоптанному родными ногами...»

Герцен не считал, что сын непременно должен пойти по стопам отца, но Александр Иванович надеялся, что по пути, протоптанному родными ногами, он мог бы «дойти», например, до того, «до чего дошел один из величайших деятелей в России — доктор Пирогов». Герцен боялся увидеть в сыне будущего профессора-филистера, чуждого общественным идеям времени, чуждого интересам России. Все же самым обидным было то, что Саша, взрослея, переставал «быть русским», о чем 19 августа 1859 года Герцен с тревогой и огорчением писал Огареву. У него было даже ощущение, что «если б не самолюбие, что он — мой сын, он отвернулся бы от всего русского». С этим трудно было примириться. «Живая традиция бледнеет... Но как же принять, чтоб мои дети были швейцарскими немцами?» И Герцен всемерно пытается противостоять этому ходу вещей. 1 января 1859 года он пишет сыну письмо, которое называет своим нравственным завещанием: «Я хочу тебе, друг Саша, написать для памяти те слова, которыми мы встретили вчера Новый год. Во всем мире у Вас нет ближе лица, как Огарев, — вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это моя первая заповедь. Где бы вы ни были, случайно, средоточие вас всех — дом Огарева.

На Огарева, на Natalie (Н. А. Тучкову-Огареву. — *В. П.*), на тебя — ляжет без меня обязанность — развитие Таты и Ольги. Стыдно, если вы втроем ничего не сделаете, и стыдно, кто устанет, не докончив воспитание. Тата — так велика умом и так развита сердцем, что ее легко вести. Развитие Ольги сложнее, она была всех больше сиротой, любви матери, которая вас воспитала — она не знала. Ее чрезмерная живость, беспокойный характер делают ее воспитание трудным. Она пробьется, в этом я не сомневаюсь, ее натура чрезвычайно талантлива — но горько мне было бы думать, что она пробьется *посторонней вам* — без чувства семейного единства и любви... Если возможно воротиться в Россию — воротитесь — там ваше место».

Ольга, воспитывавшаяся под присмотром Мейзенбуг, беспокоила отца еще больше, нежели Александр. Ольга была в том возрасте, когда нужно и можно было следить за кругом ее чтения, направлять. И Герцен советует семнадцатилетней дочери: «...для тебя пришла пора читать и перечитывать Шиллера, — ты вступаешь в возраст, когда Шиллер нравится больше всего... Возьми его «Телля». Ты знаешь, милая, что потеряла много времени — восполни эту потерю». Он пытается обратить взоры дочери к России, опасается, что не только Россия, но и сам он понемногу становится чужим для дочери: «Быть может, дорогая Ольга, после, т. е. после моей смерти, в твоем сердце окажутся пустоты: прекрасное, поражающее силой и величием лицо твоей покойной матери никогда не воссоздастся в твоем уме. И я сам останусь для тебя каким-то отдаленным другом, столь же расплывчатым, столь же незнакомым, как она. Пусть вина за это целиком ложит на мне, но результат от этого для меня будет не менее горьким. Единственно, что тебе оставалось бы... это чтение моих книг — но чтобы хорошо понимать меня, надо читать их по-русски».

Во вступлении к пятой части «Былого и дум» Герцен писал, что его книга «не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на

ее дороге». «Частное» присутствовало здесь для него в неразрывной связи с «общим». Вот откуда настойчивое желание Герцена привлечь внимание дочери к его книге, в которой сплелась в нерасторжимое единство история их семьи и России с ее болями и судьбами. «Теперь ты уже достаточно взрослая, чтобы прочесть две-три главы «Былого и дум», где рассказывается о своеобразной и грустной юности твоей матери — чтобы понять, какого *карата* были ее душа и ее ум. Возьми эту книгу и прочти. Напиши мне о том, что поразит тебя, — не слишком обдумывая, простодушно и бесхитростно...» Письмо это было написано за два года до смерти, когда Герцен убедился, что влияние Мальвиды Мейзенбуг, бывшей рядом с девочкой с самого раннего ее детства, возобладало. В 1869 году перед самой кончиной Герцен писал с огорчением и досадой Огареву: «Теперь уже жалею, что выписал Ольгу и Мальвиду. Ну, милая идеалистка, она отомстила мне за выход из дома в 1856 году. Ольга (ей стукнуло 18 лет) не имеет ничего общего с нами, в ней сложился немецко-artistisch, аристократический взгляд, без каких бы то ни было égards (уступок. — *В. П.*) и пощад... Тихо и кротко опуская пухлые глаза, Мейзенбуг мягко ненавидит все наши самые дорогие воззрения и спасает от них Ольгу — в старую колею...»

Ольга и Мейзенбуг приезжали в 1869 году по вызову Герцена в Париж. Отец с болью увидел, что за годы разлуки Мейзенбуг сделала из Ольги человека «полупостороннего» семье. Ольга Александровна вышла замуж за французского историка Моно. В зрелом возрасте она совсем забыла русский язык.

1 июля 1862 года в «Колоколе» появилось «Письмо первое», обращенное к другу, фамилия которого не называется. Это письмо открыло целый цикл из восьми писем, известный под общим названием «Концы и начала». Письма публиковались в «Колоколе» вплоть до 15 февраля 1863 года. Письма полемические. В них Герцен как бы аккумулирует все раздумья, все наблюдения, все сомнения и надежды по поводу одного главного — как, куда, каким путем пойдет развитие русского общества, русской культуры. Герцен ищет «начала» мира грядущего.

22 августа 1862 года Герцен спрашивает у Тургенева, читал ли он послания, адресованные к нему. Герцен имел в виду три первых письма из цикла «Концы и начала», уже опубликованные в «Колоколе». Да, эти письма, адресованные Тургеневу, явились как бы отражением тех споров, которые были у Герцена в мае 1862 года, когда Тургенев посетил Герцена. В тексте писем не названо имя Тургенева, да и оппонент, с которым ведет спор автор, много отличается от Тургенева. Автор — революционер, демократ, русский патриот, его оппонент — буржуазный либерал. В споре с Герценом Тургенев, и сам глубоко любивший Россию, все же, по всей вероятности, пытался обосновать преимущества Запада с помощью эстетических категорий, на примерах культурного развития Европы. И Герцену приходится отвечать, ведя разговор в рамках искусства, культуры. Но он все время эти рамки раздвигает. Он не спорит относительно созданного великими гениями прошлого на Западе. Но «где же новое искусство, где художественная инициатива?». Ее нет и не может быть в «мещанском» мире, идущем к своим «концам». В мещанском мире искусство «вянет, как зеленый лист в хлоре». Да и может ли вообще умирающее общество мещан выработать учения или идеи, способные обновить, преобразовать это общество. Конечно, нет. А вот в России выросли новые люди, «закаленные в нужде, горе и унижении». Они связаны своей «жизнью с народом, образованием, с наукой», — писал Герцен в 1864 году в статье «LVII лет». И в «Концах и началах». Герцен видит в разночинцах людей, которые преобразуют Россию. А в России уже сверкают «зарницы» этого будущего. Герцен создает поэтический образ России, в которой наступает весна, иными словами, пробуждается народ, крестьянство. Он говорит о весенней распутице — «грязи по колено, диком разливе рек, голой земле, выступающей из-под снега».

А что на Западе? «...Ставни закрыты, зарниц не видать, до грому далеко». И мещанин может спокойно спать под «стеганым одеялом», при погашенных свечах. Конечно, этот образ спящего Запада нарисован Герценом по принципу контраста, с тем чтобы усилить краски пробуждающейся России. Герцен писал «Концы и начала» за восемь лет до Парижской коммуны, когда уже развивалась энергия западного пролетариата, но он пока ее не замечал. А вот Россия не спит, «...все в брожении и разложении, валится и строится, везде пыль столбом, стропила и вехи». Герцен верит в революционное преобразование России. Он исходит из революционных тради-

ций, живущих в русском народе. И как пример приводит декабристов, а за ними следует «арьергард с топорами за кушаком».

Тургенев же настроен скептически в отношении революционности русского народа. Он писал Герцену 8 октября 1862 года, что народ, перед которым преклонялся Герцен, «консерватор», а не революционер, и Герцен ошибается, этот народ «носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе», которая превзойдет западных «мещан», так возмущавших Герцена.

В «Концах и началах» Герцен создал в противовес Тургеневу, выступившему в 1860 году с речью «Гамлет и Дон-Кихот», свой образ Дон-Кихота революции.

Для Тургенева в Дон-Кихоте главное — искренность, сила убеждения, вера «в нечто вечное, незыблемое», его идеал «справедливости на земле». Для Герцена такой расплывчатый идеал неприемлем.

Герцен рисует трагические образы «Дон-Кихотов революции» — «титанов, остающихся после борьбы, после поражения, при всех своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворенных притязаний». Кто же эти Дон-Кихоты? Старые знакомые Герцена — Ледрю-Роллен, Мадзини и даже Гарибальди. Им предшествует плеяда времен Великой французской революции XVIII века. Человеку нужен идеал не вечный, а именно способный изменить действительность, подвижный. А иначе? Иначе «фанатики земной религии, фантасты не царства божия, а царства человеческого, они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войском, они мрачно и одиноко стоят полстолетия, бессильные *изменить*...». Таков Мадзини, таков и Ледрю-Роллен. Мадзини всю жизнь боролся за национальное освобождение Италии, национально-освободительная борьба заслонила постановку вопросов социальных. А в итоге результатами титанической борьбы Дон-Кихота Мадзини стало торжество буржуазии в Италии. Мадзини боролся не за это, точно так же, как и Гарибальди, одержавший столько славных побед, а их плодами лакомилась королевская, савойская династия. Национально-освободительная борьба без цели социального переустройства общества в условиях буржуазного строя только на руку национальной буржуазии. Вот они, «концы» начинаний «великих последних». А «начала» в России. Там надо искать идеалы новой весны. Именно искать, с помощью

скальпеля науки. Мысль о слиянии революционного движения с непоколебимыми истинами, добытыми наукой,— ведущая идея Герцена на протяжении всех лет его поиска идеала. И в «Концах и началах» он пишет, что продолжает искать. «...Все ищу, ищу *начал*, — они только в теории и отвлечениях». Этот поиск русских начал Герцен, видимо, хотел продолжить в цикле писем, расширить, обосновать. Но этому намерению помешали события в Польше. Там в январе 1863 года разразилось восстание, а в России начался шовинистический бум. Не время было говорить о русских началах.

После трех разделов Речи Посполитой в последней четверти XVIII века Польша, как суверенное государство, прекратило свое существование. Отошедшие к России земли составили часть Российской империи и стали именоваться Царством Польским. Вслед за окончанием Отечественной войны 1812 года Царство Польское в 1815 году получило от Александра I конституцию. Конституция превращала Польшу в наследственную монархию, «навсегда соединенную с Российской империей». Польским «королем» становился царь, он же назначал и наместников в Царстве Польском. Вскоре эта конституция стала поводом к недоразумениям между поляками и русским правительством. Законы, предложенные польским сеймом, были отклонены. Поляки поняли, что у них фактически не существует конституции. Около 1817 года в Польше начали создаваться тайные общества: общество «национальных» масонов, общество патриотов...

После подавления восстания 1830—1831 годов русский царизм всячески стремится к обрусению Польши. Некоторые польские фабриканты переселяются на русские земли. Земли эмигрантов из рядов родовитой шляхты частично переходят в руки русских помещиков или отдаются предпринимателям. Но польское крестьянство по-прежнему остается под гнетом феодалов, как своих, так и русских. 70 процентов крестьян отбывают барщину и только 30 процентов переведены на оброк. Аграрный вопрос здесь, в Польше, так же главный, как и в России.

Брожение в среде поляков все эти десятилетия шло под лозунгом восстановления политической самостоятельности, создания своего национального государства. Польская аристократия, эмигрировавшая после 1830—1831 годов в основном во Францию, образовала партию «белых»,

группировавшуюся вокруг сиятельного князя Адама Чарторыского. Она не только мечтала о Польше от моря и до моря, но и готова была за это бороться, опираясь прежде всего на Англию. От моря и до моря — это означало, что в состав будущей Польши вошли бы и исконные русские земли. Конечно, подобные замыслы польских аристократов настораживали в России не только власть имущих, но и подлинных русских патриотов. Польские эмигранты в той же Франции составили и другую партию — Демократическое общество. Во главе его встала так называемая «Централизация». Ее членом был и будущий руководитель польского восстания — профессор военной истории во французской политехнической школе Людвиг Мерославский. Этот профессор был не только военным теоретиком, но и практиком повстанческого движения в Польше 1830—1831 и 1848 годов.

В канун крестьянской реформы общее недовольство в Польше пронизывало все слои общества. Учитывая это, правительство Александра II пошло на некоторые уступки. Оно вернуло на родину ссыльных и эмигрантов. Открыло в Варшаве медико-хирургическую академию, разрешило основание Земледельческого общества, ставшего вскоре своего рода политическим клубом крупнопоместной шляхты. Эту шляхту устраивали аграрные преобразования, но никак не устраивало восстание, за которое ратовали демократические круги, создавшие Партию движения, которая занялась пропагандой, выпуская листовки, устраивая манифестации. Правительство закрыло Земледельческое общество, а когда жители Варшавы 8 апреля вышли на улицы, протестуя против этих мер, войска открыли огонь.

Герцен считал, что без освобождения Польши не придет освобождение России. «Мы с Польшей, — писал Герцен 1 апреля 1863 года в «Колоколе», — потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих». Он видел освобожденную Польшу не шляхетско-аристократической, а демократической. «Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков», — вспоминает Герцен в «Былом и думах».

В 1861 году в Польше возникла тайная, революционная организация «Комитет русских офицеров в Польше»

во главе с поручиком Андреем Потебней. Эту организацию называли иногда «потебненской», такой авторитет завоевал в ней поручик. «Комитет» на первых порах занимался ведением революционной пропаганды среди русских войск, расквартированных в Польше. Позже «Комитет» слился с обществом «Земля и воля». Герцен и Огарев сначала переписывались с Потебней, а в 1862—1863 годах он четыре раза посетил их в Лондоне. Через Потебню, таким образом, осуществлялся и контакт с «Землей и волей». Но долгое время Герцен и Огарев не могли определенно ответить на вопрос, заданный им «Комитетом русских офицеров»: что он должен делать в случае восстания в Польше... «Не стрелять в поляков» — это было ясно, об этом писали Огарев и Герцен в «Колоколе». Но этого было мало. Ответ они дали через полгода. Он сводился к тому, что при восстании в Польше нужно поддержать восставших и, главное, способствовать распространению восстания на Литву, Белоруссию, Россию — слить их с восстанием, которое (как надеялись Герцен, Огарев, Чернышевский) вспыхнет в России.

Статьи Герцена в пользу борющейся Польши имели широкий резонанс. «Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое письмо...» В Париже депутация поляков-эмигрантов поднесла Герцену адрес. На нем стояло четыреста подписей. К подписавшим адрес присоединились позже и другие — письма шли и из Алжира, и из Америки. В январе 1862 года в Гейдельберге на обеде, устроенном в честь сына Герцена, поляк, оставшийся неизвестным, произнес речь, в которой были такие слова: «Мы, которым счастливый случай позволил встретить русских, не похожих на тех, которые служат орудием деспотизма... которые разделяют светлый образ мыслей Герцена, мы умеем различать русский народ от русского правительства и его приверженцев». Все это не снимало, естественно, и существовавших разногласий по ряду вопросов, которые возникли между издателями «Колокола» и представителями национально-освободительного движения Польши.

Подошла осень 1862 года. Отношения между польскими и русскими революционерами вступали в решающую фазу ввиду стремительно и неуклонно приближающейся «польской грозы». Начинались переговоры. Сначала между представителями польской повстанческой организации и издателями «Колокола» — в сентябре. Потом между

той же организацией и обществом «Земля и воля» — уже в Петербурге — в начале декабря. Целью переговоров было создание союза для совместной борьбы против царизма.

Примерно за год до этих событий Герцен и Огарев получили письмо из Сан-Франциско, датированное 15 октября 1861 года. Письмо начиналось строками: «Друзья, мне удалось бежать из Сибири...» Письмо было от Бакунина, он извещал, что «после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию» прибыл в Сан-Франциско. Он рвался в Лондон, жаждал дела, была готова и программа: «...Буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей idee fixe с 1846 и моей *практической специальностью* в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю — делом: это было бы слишком честолюбиво, но для служения ему я готов идти в барабанщики... А за ним является *славная,* вольная *славянская* федерация — единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов...»

Он приехал к новому, 1862 году, и друзья с удовлетворением отметили, что хоть он и постарел телом, но все так же молод душой. Все так же «способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву...».

Трудно, конечно, гадать относительно того, как бы приняли Герцен и Огарев Бакунина, знай они об его «Исповеди», написанной в Петропавловской крепости, и письме Александру II. В ней Бакунин не только каялся (покаяние могло быть и тактическим приемом), но эта исповедь была под стать ренегатской «Исповеди» Кельсиева.

Во всяком случае, вместо крепости Бакунин очутился в Иркутске, под крылышком своего дяди Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири. Бакунин женился, обзавелся домом... и, устроив себе что-то вроде командировки, сумел бежать в Японию, а затем в Америку.

Герцена связывала с Бакуниным старинная дружба. «Правда мне мать, но и Бакунин мне Бакунин» — так ответил Герцен доктору Белоголовому, когда тот попытался склонить издателя «Колокола» напечатать материал против Бакунина. Белоголовый со слов своих друзей иркутчан обвинял Бакунина в том, что он в бытность свою в Сибири держал сторону хозяина края — генерал-

губернатора Муравьева. Герцен, конечно, видел все недостатки Бакунина, но считал, что они «мелки», а между тем эти «недостатки» правильнее было бы назвать просто авантюризмом, мелкобуржуазным анархизмом.

К осени 1862 года «страстным вопросом жизни» для Бакунина стало польское дело. Как всегда, торопя время, принимая желаемое за действительное, он в разговорах с польскими представителями форсировал события.

Польское восстание назревало, это было очевидно. Но назревало оно в условиях спада революционной волны в России. Можно ли было при этих условиях ожидать крестьянских выступлений в России в поддержку поляков? Герцен и Огарев полагали, что восстание надо было готовить, а для этого нужно время. Кроме того, степень участия в восстании русских революционеров они ставили в зависимость от того, как поведут себя поляки относительно главного земского вопроса и провинций.

Бакунин же считал, что пора «поднимать знамя на дело», а там «все будут, чем захотят быть», принимая, по выражению Герцена, «второй месяц беременности за девятый». Это был своего рода приступ «революционной чесотки».

В один из сентябрьских дней, вспоминает Герцен, пришел Бакунин и сообщил, что Варшавский Центральный комитет прислал двух членов для переговоров.

— Одного из них ты знаешь — это Падлевский, другой — Гиллер. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня, — надобно *окончательно определить наши отношения.*

Вечером Бакунин пришел не с двумя, а с тремя поляками. Третьим был Милович. Он зачитал письмо Центрального национального комитета издателям. Смысл его Герцен определил так: «...Через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий *«признание* [*права*] *крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой».* Итак, этот вопрос как будто был решен. Оставалась, однако, сомнительной своевременность восстания. Герцен не считал «Землю и волю» способной в данный момент поднять крестьянство на восстание, тем более что этому никак не способствовала и общеполитическая ситуация в России. «Что в России клались первые ячейки *организации* — в этом не было сомнения — первые волокны,

нити были заметны простому глазу, из этих нитей, узлов *могла* образоваться при тишине и времени обширная ткань — все это так, *но ее не было,* и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины».

В канун восстания 1863 года, еще в 1862 году, Огарев обратился к «Комитету русских офицеров в Польше», где разъяснял свой взгляд на неотвратимо грядущие события и определял ту позицию, которую, на его взгляд, должны занять офицеры русской армии. В частности, он писал: «Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было; вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того, оставить Польшу на побиение без всякого протеста со стороны русского войска также имело бы свою вредную сторону безмолвно-покорного, безнравственного участия Руси в петербургском палачестве». Герцен сказал свое мнение о несвоевременности восстания польским патриотам. Падлевский попытался разубедить его, опираясь на свое знание Петербурга. Герцен же и в переговорах, а затем через «Колокол», в 147-м номере которого были опубликованы письма издателей Центральному польскому комитету и русским офицерам в Польше, твердо заявил: «На Руси, в сию минуту, вряд может ли быть восстание». Значит, русские офицеры должны сделать все, чтобы Польша не выступила до того, как к подобному выступлению будет готова Россия. «У нас ничего не готово. Крепко устроенный круг офицерский существует, сколько нам известно, только у вас...»

«Я думаю, что польская революция действительно удастся только тогда, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание. Для этого необходимо, чтобы и само польское восстание из характера только национального перешло в характер восстания крестьянского и таким образом послужило бы ферментом для целей России и Малороссии». Эти слова Огарева были сказаны весною 1863 года. А восстание все же началось, и началось в ночь на 23 января 1863 года.

Ситуация в России и Польше, как и полагали Герцен и Огарев, не позволяла польскому восстанию развернуться в крестьянскую войну и расшевелить Россию. Пессимистический взгляд Герцена на перспективы движения оправдался. Однако это не помешало ему сразу же, как

только восстание началось, приложить все усилия к тому, чтобы помочь поднявшимся на борьбу. В феврале 1863 года Герцен писал в «Колоколе», обращаясь к восставшим друзьям: «Да, поляки-братья, погибнете ли в ваших дремучих мицкевичевских лесах, воротитесь ли свободными в свободную Варшаву — мир равно не может вам отказать в удивлении... вы велики».

Есть предположение, что Герцен предпринимал и какие-то практические меры для активизации борьбы в России, посылал туда людей... В частном письме в апреле 1863 года Герцен даже высказал надежду на благополучное завершение дела: «А поляки — молодцы, решились во что бы то ни стало продолжать революцию, которая будет зарею нашей свободы». И далее: «Если наши удачно устроят, то правительство исчезнет, как призрак — верю в успех». Андрей Потебня возглавил отряд и погиб в бою. «Чище, самоотверженнее, преданнее жертвы очищения Россия не могла принести на пылающем костре польского освобождения».

В Польше накануне восстания образовалась партия «красных». «Красные», хотя и ратовали за республиканские идеи и во многом шли навстречу требованиям крестьян, все же были шляхтичи. Они мечтали о восстановлении Польши «от моря до моря» в границах 1772 года. Партия «белых», бывшая до этого в эмиграции, с начала восстания присоединилась к нему. Они сумели оттеснить от руководства восстанием «красных». Это внесло разброд в ряды поднявшихся на борьбу, и единое восстание распалось на ряд очагов, ряд партизанских выступлений.

Герцен и Огарев, «Колокол» призывали поддерживать восставших. Собирали деньги. Статьи в «Колоколе» из номера в номер разоблачают кровавые действия царских приспешников в Польше. «Колокол» печатает некрологи героически погибших Сигизмунда Падлевского и Сигизмунда Сераковского.

Выступая на стороне восставших поляков, Герцен и Огарев как бы стремятся подтолкнуть русский народ на революционное дело. В 160-м листе «Колокола» Герцен писал: «Была ли нужна или нет наша имперская формация, нам на сию минуту дела нет — она факт. Но она сделала свое время и занесла одну ногу в гроб — это тоже факт. Мы стараемся от всей души помочь другой ноге. *Да, мы против империи, потому что мы за народ».*

Надежда на то, что весной и летом 1863 года при подписании «уставных грамот» в России вспыхнет крестьянская революция, не оправдалась. Осенью 1863 года стало ясно, что и неравная борьба в Польше уже не дает каких-либо революционных перспектив для России. Герцен писал: «На сию минуту наша деятельность заторможена». После подавления польского восстания Герцен все свои усилия направил на то, чтобы сохранить от распада «Землю и волю». С этой целью он совершает инкогнито поездку по Европе, встречается с землевольцами.

Началась новая полоса и в жизни Герцена, и в его деятельности.

В «Былом и думах» Герцен рассказал, как однажды к нему пришел Мартьянов. Крестьянин Симбирской губернии, бывший крепостной графа Гурьева, он, приехав в Лондон в 1861 году, принимал участие в изданиях Вольной русской типографии. По свидетельству Тучковой, Мартьянов «отличался необыкновенно прямым нравом и резко определенным воззрением; он веровал в русский народ и в русского земского царя». Говорили о восстании. Мартьянов молча слушал, «потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, — вспоминает Герцен, — мрачно сказал мне:

— Вы не сердитесь на меня, Олександр Иванович, так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела... Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше. Не пожалели вы нас, бог с вами, Олександр Иванович».

Вслед за польским восстанием действительно в России в кругах не только откровенных реакционеров, но и либералов поднялась волна шовинизма. «Я не был тогда в Петербурге,— писал Шелгунов,— но мне рассказывали, что в одно из представлений «Жизни за царя», когда начались польские танцы, всегда приводившие публику в восторг, и особенно мазурка с Кшесинским в первой паре, публика разразилась таким шиканьем, свистками и криками негодования, что должны были опустить занавес». Шелгунов считал, что «Колокол» так или иначе должен был потерять большую часть своих читателей, «даже если бы в нем и не было статей в защиту поляков». «Время «Колокола» кончалось...»

Известно отношение Ленина к позиции, занятой в польском вопросе издателем «Колокола»: «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии».

Итоги мятежного 1863 года Герцен подвел в статье, которая была названа им торжественно «В вечность грядущему 1863 году». Она появилась в «Колоколе» 15 декабря 1863 года. Это был реквием погибшим, истекшей кровью Польше, «отдающей четвертого сына после трех падших, пятого после четырех», «мужественной, неуловимой... гибнущей здесь и возрождающейся возле».

Но это был и взгляд в будущее — мысли о «нарождающейся России». «Польскому делу мы принесли, что могли... Мы горды тем, что за него лишились нашей популярности, части нашей силы; мы горды той бранью, той клеветой, той грязью, которой бросали в нас за Польшу ярыги патриотизма и *содержанцы* III отделения... Но далее мы чувствуем наше бессилие во всем, вне русского вопроса». Издатели «Колокола» предполагали в дальнейшем посвятить себя «исключительно» русскому делу, но говорить о нем с людьми, которым дорога «не кровавая, не терзающая Польшу Россия, а Россия, вспахивающая в тиши с своими полями — поле будущего развития». Их, «живых», и предполагал созывать «Колокол» «вместе с молодым поколением». Статья заканчивалась призывными словами: «Пять лет мы без устали *сзывали живых*. Теперь, благо мертвые ушли и никто от мертвых не остался, будем звонить к самой *обедне*, звать к сознательному делу!»

Герцен повторил здесь идею, высказанную им еще в статье «Журналисты и террористы». Обращаясь к революционной молодежи, он писал там: «Соединяйтесь плотнее между собой, чтоб вы были сила, чтоб вы имели единство и организацию, соединяйтесь с народом...» Теперь он повторял этот призыв с новой силой — неудача польского восстания показала насущную необходимость единения сил для перехода к сознательному делу. В статье «В вечность грядущему 1863 году» Герцен снова, теперь уже основываясь на неудачном опыте поляков, вернулся к мысли о несвоевременности восстания, его гибельности для общего дела. Для России, говорил он, оно «было несчастием, оно врывалось в начатое русское дело, пута-

ло его, усиливало правительство и будило в народе чувства звериные и кровожадные». Однако и теперь, как и прежде, он был убежден, что восстание было неизбежностью, остановить его нельзя. «Да и что же можно было сказать полякам? Подождите, не чувствуйте боли, не чувствуйте оскорблений... мы *еще* не готовы?» Годом ранее в «Обращении к комитету русских офицеров в Польше» Огарев, его подписавший, еще более решительно высказался о губительных последствиях надвигающегося преждевременного восстания: «...Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого...»

5

Англия встречала Гарибальди. Это имя имело для Герцена особую привлекательность. Многих выдающихся людей знавал Герцен, со многими деятелями европейского революционного и демократического движения он поддерживал близкие связи. Д. Маццини и Л. Кошут, Ф. Орсини и А.-О. Ледрю-Роллен, С. Ворцель, А. Саффи, но Гарибальди среди них занимал в представлении Герцена особое место. Гарибальди олицетворял для Герцена образ рыцаря освободительной борьбы. И пусть этот рыцарь — Дон-Кихот революции, он оставался прежде всего человеком дела. Гарибальди в отличие от того же Маццини или Ледрю-Роллена не посылал людей на бой, а сам все время, годы, находился в гуще сражений. В Италии или в далекой Америке. С именем Гарибальди миллионы людей связывали свои надежды на освобождение, национальное единство. Ф. Энгельс, давая общую оценку деятельности Гарибальди, говорил, что он «фактически объединил Италию... Италия была свободна и по существу объединена, — но не происками Луи Наполеона, а революцией».

Гарибальди надеялся получить в Англии денежные средства и корабль для похода на Адриатику, предполагал поднять восстание в Венеции и среди балканских народов — против Австрии. Эти надежды на помощь англичан поддерживал в нем его английский друг, крупный книгоиздатель и писатель Чамберс. Он был у Гарибальди на

острове Капрера и усиленно приглашал его в Англию. Теперь они прибыли вместе на пароходе «Pipon».

3 апреля 1864 года «Pipon» кинул якорь в Саутгемптоне. Отсюда путь Гарибальди лежал на остров Вайт, в Брук гауз, владение писателя и члена парламента Д. Сили.

Герцен не стал дожидаться, когда Гарибальди появится в Лондоне, он приехал в Саутгемптон. Ему хотелось повидать Гарибальди раньше, чем на того обрушатся толпы его почитателей и просто любопытных, раньше, чем его «завертят, опутают, утомят». Оказалось, что в Саутгемптоне Гарибальди уже нет. Ближайшим пароходом Герцен отправился на остров Вайт, в Коус. И тут узнал, что путь до Брук гауза не близок. Оставалось заночевать.

Герцен искал встречи с Гарибальди по многим причинам. И первой было просто желание видеть человека, которого, по его признанию, любил и не видел уже около десяти лет. «С 1848 года я следил шаг за шагом за его великой карьерой; он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота или Плутарха...» Тогда, в 1854 году, они встретились в Вест-Индских доках Лондона. Гарибальди привел свой корабль из Северо-Американских штатов. От той встречи в памяти остался добродушный моряк, «мечтавший о плавучей эмиграции, носящейся по океану», о том, чтобы эмигранты, деятели 48-го года, основали некую плавучую республику, чтобы их корабли приставали туда, где нужна была помощь в борьбе за свободу. Гарибальди угощал тогда своего гостя ниццким белетом, «привезенным из Америки». Вспомнили Ниццу. Она для обоих была сопряжена с горькими, но и дорогими воспоминаниями. В 1851 году в Ницце умерла мать Гарибальди. На вынос тела покойной собрались эмигранты разных стран. Среди них был и Герцен. Годом позже, когда умерла Наталья Александровна, к Герцену пришла незнакомая ему дама, она сказала, что ей хорошо известно, что Герцен не разделяет ее веры. Все же она надеется, что он разрешит ей и детям, которые тоже потеряли мать, помолиться у гроба покойной. Это были дети Гарибальди, а незнакомая дама — их воспитательница. В 1854 году в Англии у Герцена с Гарибальди были и другие встречи. Был обед в доме Герцена в честь Гарибальди. Перед отъездом Гарибальди пригласил Герцена с семьей на прощальный завтрак. Как вспо-

минает Мальвида Мейзенбуг, Герцену помешала быть у Гарибальди сильная головная боль. Мейзенбуг поехала вдвоем с сыном Герцена — Александром. Корабль стоял в глубоком фарватере Темзы. С борта корабля было спущено кресло, покрытое ковром. На палубе их встречал сам Гарибальди. «Он был в живописном костюме, — вспоминает Мейзенбуг, — короткое серое одеяние со складками, на белокурых волосах вышитая золотом красная шапочка, на широком поясе оружие». Гарибальди повел своих гостей в каюту, где уже был накрыт стол: устрицы, разная рыба, простое вино из его родной Ниццы, которое он всегда возил с собой. Но самым сильным было все-таки впечатление не от деликатесов, а от личности самого хозяина.

С тех пор утекло немало воды. Гарибальди «сделался «невенчанным царем» народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком, и это от Украины и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну... С тех пор он был обманут и побит и так, как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика». Герцену хотелось увидеть, все тот ли Гарибальди теперь... Были и дела, о которых хотелось переговорить с Гарибальди без спешки и посторонних. И прежде всего о Мацдини, которого путем закулисных интриг пытались выставить «к позорному столбу», в то время как ему, Гарибальди, старательно готовились воздвигнуть пьедестал. С 26 февраля по 30 марта во французском суде слушалось дело о подготовке покушения на Наполеона III. Пользуясь ложными показаниями некоего Греко, прокуратура обвинила в соучастии в покушении Мацдини и его друга Джемса Стансфилда, члена палаты общин, одного из представителей левой фракции либералов. Вся эта «охота» за Стансфилдом понадобилась для того, чтобы попытаться свалить либеральное правительство Пальмерстона. Ну а при чем тут Герцен? Напрасно искать в «Былом и думах», статьях Герцена объяснений его роли во внутренних делах Англии. А между тем Герцен не был отшельником Лондона, каким он может показаться читателям «Былого и дум». Он просто не мог, не имел права, да и не хотел компрометировать своих

английских друзей, афишируя свои с ними связи. А он был дружен с видными деятелями общеевропейского демократического движения, англичанами Вильямом Линтоном, Эрнестом Джонсом, Чарлзом Брэдлафом. Вильям Линтон был издателем журнала, занимал должность секретаря Интернациональной лиги, созданной Мацдини. Через Эрнеста Джонса Герцен был связан с руководителями английского рабочего движения — чартистами, участвовал в митингах чартистов, выступал на них.

Очевидно, побывал в доме Герцена и английский историк, автор знаменитой в свое время книги «История революции» Томас Карлейль. Герцен же, в свою очередь, был принят в доме английского ученого, вел с ним дискуссии относительно социализма и деспотизма. Карлейль был приверженцем идей просвещенного абсолютизма. «Я спорил с ним страшно...» — пишет Герцен.

Вот наконец и Брук гауз. Быстро написана и передана секретарю Гарибальди Гверцони записка. И тотчас Герцен услышал постукивание трости и знакомый дружелюбный голос: «Где он, где он?»

Ответ на первый вопрос — тот ли он, что и прежде, явился как бы сам собою. Герцен до деталей запомнил этот день и сделанную им по свежему впечатлению запись подарил своим отсутствующим детям — она в «Былом и думах». «Теперь была моя очередь смотреть на него. Одет он был так, как вы знаете по бесчисленным фотографиям, картинкам, статуэткам: на нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди; не на шее, а на плечах был платок, так, как его носят матросы: узлом завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ. Он гораздо меньше изменился в эти десять лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся; на всех он старше, чернее и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А в *нем-то* и высказывается *весь секрет* не только его лица, но его самого, его силы,— той притягательной и отдающейся силы, которой он постоянно покорял все, окружавшее его... какое бы оно ни было, без различия диаметра: кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello (отряд. — *В. П.*) гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии, народные массы всех стран, целые части земного шара...»

Тогда, в 1854 году, Герцен сам видел, какими глазами смотрели на Гарибальди матросы. И дело было, конеч-

но, не в том, что Гарибальди с пятнадцати лет на флоте. А в том, что, став великим человеком, он оставался для них своим. И главное — он был олицетворением извечной народной мечты о рыцаре, который приходит на помощь угнетенным. В 1843—1848 годах итальянский легион, отряд гверильясов, сражался под его предводительством за независимость Уругвайской республики. В 1848 году войско ополченцев, итальянские волонтеры, боролись за свободу Ломбардии, в 1849 году — в Риме. А потом еще, в 1859 году, — снова в Ломбардии и, наконец 1860 год — знаменитые походы в Сицилию и Неаполь... Герцен продолжал всматриваться в теперь уже легендарного героя. «Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется bienveillance» (благоволение. — *В. П.*).

И все же было очевидно, что «одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица; рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный». Герцен подумал, что этой черты — «меланхолической, печальной» он ранее не замечал в нем. В чем смысл этой перемены? Об этом оставалось только гадать. «Было ли то отражением ужаса перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным *помазанием,* от которого он уже не может отказаться? Сомнение ли после того, как он видел столько измен, столько падений, столько слабых людей? Искушение ли величия?..» Последнее представлялось все же сомнительным — «его личность давно исчезла в его деле...»

Вспомнили 1854 год. Как Гарибальди ночевал у Герцена, опоздав в Вест-Индские доки, как ходил гулять с его сыном и сделал для Герцена его фотографию у Кальдези... Наконец наступил момент, когда пора было перейти к делам. Гарибальди слушал внимательно. В заключение своего рассказа Герцен развернул купленный накануне в Коусе «Standard» и прочел Гарибальди слова, которые бросились ему самому в глаза, едва он раскрыл газету: «Мы уверены, — сказано было там, — что Гарибальди поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь сношений с прежним товарищем своим и найдет настолько такта,

чтоб не ездить в 35 Thurloe square». Это был адрес Стансфилда.

— Я слышал кое-что об этой интриге, — ответил Гарибальди. — Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфилду.

Так закончилась деловая часть беседы. Уже в Коусе, ожидая парохода в Саутгемптон, Герцен узнал из свежих газет, что накануне свершился последний акт фарса, разыгранного в парламенте. 4 апреля отставка Стансфилда с поста младшего лорда адмиралтейства была принята Пальмерстоном, несмотря на то, что Стансфилд отвергал причастность к делу Греко и товарищей. Известие, по признанию самого Герцена, ошеломило его. Он спросил бумаги и написал Гверцони, прося его прочесть сообщение «Таймс» Гарибальди. Мацнини, отданный на поругание именно тогда, когда Англия восторженно встречала Гарибальди, стоял перед его глазами, когда он писал свою записку... Невольно мысль обращалась к сентябрю — ноябрю 1860 года, к тому положению, которое сложилось тогда на юге Италии.

Закончился гарибальдийский поход. При поддержке народа армия неаполитанского короля Франциска II Бурбона была разбита войсками Гарибальди. Неаполитанское королевство оказалось освобожденным от власти Бурбонов. Мацнини считал теперь главной задачей воссоединение Италии, включая Рим и Венецию. Он был убежден, что в данное время общей цели — независимости Италии — можно добиться только единением всех сил. И боролся за широкий фронт, вплоть до монархистов.

В сентябре 1859 года Мацнини дважды обращался к королю Пьемонта Виктору-Эммануилу с призывом возглавить национально-освободительное движение. На этих условиях он, Мацнини, обещал устраниться от политической деятельности. Обращения эти успеха не имели. Деятельность Мацнини грозила сорвать планы Пьемонта. Агенты Кавура с помощью подставных лиц начали травлю Мацнини. Проведенный в октябре 1860 года плебисцит высказался в пользу присоединения Неаполитанского королевства к Пьемонту. Виктор-Эммануил прибыл в свои владения. Гарибальдийские части были распущены, заменены пьемонтскими войсками. Гарибальди Виктор-Эммануил предложил маршальский жезл и ценные подарки. Травля Мацнини между тем продолжалась. Были организованы демонстрации, которые шли под лозунгом

«Смерть Маццини». Наконец, глава Неаполя, ставленник Кавура, предложил Мацпини покинуть город. Гарибальди, отказавшись от всех даров, уехал в ноябре 1860 года на остров Капрера. Мацпини в том же ноябре уехал из Неаполя и покинул пределы Италии. В декабре 1860 года он уже был в Англии. Герцен не склонен был оправдывать Мацпини, который без борьбы уступил насилию — агентам Кавура. Не разделял он и идеализма Гарибальди, который считал Виктора-Эммануила защитником национальных интересов. Все антидемократические и антинациональные акции правительства Гарибальди приписывал проискам окружения Виктора-Эммануила, и прежде всего главы правительства Пьемонтского королевства — Кавура. «Он увлекается людьми: как он увлекся А. Дюма, так он увлекается Виктором-Эммануилом». Но более всего резанула Герцена эта разность положений, в которых к исходу 1860 года оказались эти два героя национально-освободительного движения Италии. Навертывался на язык и упрек Гарибальди: «В лице своего героя, своего освободителя Италия не разрывалась с Мацпини. Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем не признался, что идет с ним рука об руку?» Теперь повторялась та же ситуация. Гарибальди был превознесен, Мацпини — низвержен. Герцен писал в своей записке о «безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Мацпини». «Мне 52 года, — писал он, — но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глаза при мысли об этой несправедливости».

Гарибальди прибыл в Лондон 10 апреля. Спустя пять дней Герцен писал сыну: «Прием Гарибальди превзошел все, что можно было ожидать. От Seven elm Station до Вестминстерского моста и оттуда до St. James'a была одна сплошная масса. Народ лез на колеса, жал руки, шумел; его проезд продолжался от $2^1/_2$ до 8 часов; дома были покрыты коврами, знаменами и пр.».

У Вестминстерского моста, недалеко от парламента, толпа попыталась было отложить лошадей, чтобы везти дальше коляску самим. Гарибальди только повторял растерянно: «Зачем? Зачем это?» Здесь, в Лондоне, он был гостем дюка Сутерлендского, и местопребыванием его должен был стать соответственно Стаффорд гауз. Дворцовая обстановка не шла к Гарибальди. Впрочем, присутствие самого Гарибальди всегда меняло любую обстановку. Однако все-таки дворец помогал осуществлению «интриги», задуманной еще до приезда Гарибальди в Англию. Она сводилась к тому, что коли неловко было воспрепятствовать его торжественному всенародному чествованию при въезде, то следовало, по крайней мере, оградить его елико возможно от народа и от тех деятелей, которые остались верными знамени — прежде всего от Мацпини. Английская знать спешила задушить Гарибальди в своих объятиях. Приглашения на обед, на ужин следовали одно за другим. Весь точно сдирижированный ритуал имел одну цель — «украсть» народного героя у народа.

У Герцена созрела мысль устроить встречу Гарибальди с Мацпини в присутствии хотя бы небольшой группы товарищей, чтобы придать ей характер публичности. Он готов был предоставить для встречи свой дом в предместье Лондона — Теддингтоне. Но согласится ли Гарибальди ехать в такую даль? Об этом лучше всего было бы спросить Мацпини, возможен ли вообще такой вариант. Мацпини ответил запиской, что Гарибальди «очень рад» и что оба они, если не случится какой-либо помехи, прибудут в Теддингтон в воскресенье в час. Гарибальди добавил, что хотел бы также видеть и Ледрю-Роллена. Герцен поспешил к Ледрю-Роллену. Но тот еще чувствовал себя представителем Французской республики. Он сказал, имея в виду, что Герцен передаст его слова:

— Французская республика — не куртизанка, чтоб ей назначать свиданья полутайком...

И вот наступил воскресный день 17 апреля. Герцен об этом дне написал: «День этот удался необыкновенно и был одним из самых светлых, безоблачных и прекрасных дней последних пятнадцати лет. В нем была удивительная ясность и полнота, в нем была эстетическая мера и законченность, очень редко случающиеся. *Одним* днем позже — и праздник наш не имел бы того характера».

Начался этот день с суеты и тревог. Когда Герцен приехал, как было договорено, в Стаффорд гауз с каретой, то сразу же понял, что здесь еще делаются судорожные усилия помешать поездке под любым предлогом. Неизвестный Герцену «опекун» Гарибальди доказывал Гверцони, что ехать в Теддингтон никак невозможно... Спор длился бы, верно, долго, если бы в дверях не появился сам Гарибальди. Он посмотрел «покойно» на присутствующих и спросил:

— Не пора ли? Я в ваших распоряжениях...

По дороге Герцен смотрел на Гарибальди и все думал об источнике скорби, печать которой теперь отчетливо видел на его лице. Думал, что в Гарибальди нет ничего от полководца или генерала, что Гарибальди, несомненно, прав, когда не далее как вчера на торжестве в Кристальном дворце говорил, что он не солдат и что «схватился за оружие, чтоб их выгнать». В день, когда его встречал Лондон, он высказался еще точнее: «Я работник, происхожу от работников и горжусь этим». Это был его ответ на адрес, поднесенный ему от имени рабочего комитета Англии. Да, думал Герцен, он действительно «просто человек, вооружившийся, чтоб защитить поруганный очаг свой». И в этом его неотразимая притягательность. Он — апостол-воин, готовый «отдать за свой народ свою душу, своих детей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, рассеять его прах... и, позабывши потом победу, бросить окровавленный меч свой вместе с ножнами в глубину морскую. Все это, и *именно это,* поняли народы...»

В Теддингтоне, как это было и в Саутгемптоне и в Лондоне, толпы народа с утра поджидали Гарибальди у решетки герценовского дома. И тут его встречали криками: «Господь да благословит вас, Гарибальди!» «Женщины хватали руку его и целовали, целовали край его плаща...» Маццини приехал вслед. Все вышли встретить его. Герцен дал распоряжение звать к обеду тотчас же, как прибудут гости. Поэтому, едва все разместились в гостиной, как вошедший слуга сказал, что кушать подано. Перешли в столовую. Здесь в присутствии приглашенных Гарибальди и произнес ту речь в пользу Маццини, ради которой и была организована публичная встреча двух вождей в борьбе за независимость Италии. «Все были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини, — вспоминал Герцен, — тем искренним голосом, которым они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало в них, той торжественностью, которую они приобретали от ряда предшествовавших событий, что никто не отвечал, один Маццини протянул руку и два раза повторил: «Это слишком». Речь, в которой Гарибальди назвал Маццини своим учителем, положила начало многим другим тостам. Гарибальди поднял тост «за Польшу, идущую на смерть за независимость и подающую великий пример народам», «за *юную* Россию, которая страдает и борется, как мы, и победит, как мы, за новый народ, который, освободившись и одолев Россию царскую, очевидно, призван играть великую роль в судьбах Европы». Герцен был настолько взволнован этими словами Гарибальди, что только пожал ему руку со словами, что тост этот «дойдет до друзей наших в казематах и рудниках». На следующий день он писал Гарибальди: «...Я смотрел на вас обоих, слушал вас с юным чувством пиетета, которое мне уже не под лета, и, видя, как вы, два великих путеводителя народов, приветствовали зарю восходящей России, я благословлял вас под скромной крышей нашей».

Расставались в приподнятом «тихо торжественном настроении»... Как если бы расходились «после крестин». «У всех было полно на душе». На следующий день, 18 апреля, Герцен отправился в Лондон. На железной дороге попалась ему газета. С удивлением он прочел, что гость его, который был вчера здоров, объявлен больным. Оказывается, генерал Гарибальди в связи с болезнью возвращается на Капреру, не заезжая более ни в один из городов Англии. «Царский» прием, оказанный Гарибальди, стал понемножку раздражать Наполеона III, и он нажал на правительство Пальмерстона. Надобно было снова умилостивить союзника.

По сведениям «Таймс», в канун отъезда Гарибальди у него побывало до двух тысяч человек. В этот день ему представлялись члены правительства с чадами и домочадцами. Вереницы карет тянулись к дому на Prince's gate. Когда наступил час приема, Герцен стал было прощаться с Гарибальди. Тот задержал его:

— Зачем, оставайтесь... Могу же я, — сказал он, улыбаясь, — оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых...

28 апреля Гарибальди покидал Англию. Герцог Сутерлендский на собственной яхте доставил его на остров Мальта. «Гарибальди хочет денег... Мы ему купим остальную часть Капреры, мы ему купим удивительную яхту — он так любит кататься по морю; а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой...» Так писал Герцен 15 мая с еще не остывшим гневом и болью и с гордостью за «великое дитя», «плебея в красной рубашке», которому ничего не нужно было для себя лично. «Красная рубашка» («Camicia rossa») называлась статья Герцена о Гарибальди.

1864 год ознаменовался для Герцена еще одной встречей, спором, который выплеснулся на страницы «Колокола» в форме «Писем к противнику». Эти письма печатались с ноября 1864 года по февраль 1865-го. Всего их было три. Письма отразили дебаты, которые Герцен вел со старым московским «другом-врагом» — Юрием Самариным. В июле 1864 года Самарин приезжал в Лондон и предложил Герцену встретиться. Герцен не забыл, что Юрий Самарин был своего рода информатором и сотрудником герценовских изданий в 50-х годах. Не забыл он и то, что всегда выделял Самарина среди славянофилов, высоко ценил его ум и образованность. В 1864 году Герцену все еще казалось, что у него и Самарина должны найтись точки соприкосновения во взглядах. А разногласия? «В чем они, — восклицает Герцен в письме к Самарину 12 июля 1864 года. — В православии? — оставим вечное той жизни. В любви искренней, святой к русскому народу, к русскому делу? Я не уступлю ни вам, ни всем Аксаковым».

И встреча состоялась. Собственно, этих встреч было несколько, на протяжении 21—23 июля. Их никак не назовешь мимолетными свиданиями. Первая встреча длилась около семи часов. Она могла стать и последней. Но Герцен, так круто изменивший свое отношение к западным революционным авторитетам, после краха всех своих упований в 1848 году все еще надеется, что он может заключить компромиссный союз со своими бывшими противниками — славянофилами. Основой для такого союза при всем различии идеалов и стремлений Герцен считал *«наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему»* и *«желание деятельно участвовать в его судьбах»*. Герцен, стремясь к союзу, вовсе не желает скрывать разногласий, разных точек зрения на главнейший вопрос — что, собственно, представляет собой русский народ и каковы же его судьбы. «Для вас, — пишет он Самарину, — русский народ преимущественно народ *православный,* то есть наиболее христианский, наиближайший к *веси небесной.* Для нас русский народ преимущественно *социальный,* то есть наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той *земной веси,* к которой стремятся все социальные учения». Герцен указывает Самарину, что все вокруг «колеблется, изменяется», христианская неподвижность народа, его смирение уже в прошлом, а ныне в России, в толще народной зреет социальный переворот. «События последних годов и вопросы, возбужденные крестьянским делом, открыли глаза и уши слепым и глухим. С тех пор, как огромная северная лавина двинулась и пошла, что б ни делалось, даже самого противуположного в России, она идет от одного социального вопроса к другому». Причем все эти социальные вопросы в стране крестьянской так или иначе сводятся к вопросу о земле, владении землей. Герцен напоминает Самарину об их спорах в 1842—1846 годах, даже признает свое поражение, несостоятельность своих надежд на Запад, свое обличение этого Запада, после того, как «Париж в один год отрезвил меня». Но, «обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону ее врагов — падение февральской республики не могло меня отбросить ни в католицизм, ни в консерватизм, оно меня снова привело *домой.* Стоя в стану побитых, я указывал им на народ, носящий в быте своем больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы. Я указывал на народ, у которого нет тех нравственных препятствий, о которые разбивается в Европе всякая новая общественная мысль, а, напротив, есть *земля под ногами* и вера, что она *его*». Это ли не точки соприкосновения со славянами? Они могли бы стать основой союза, а то может случиться и так, что «мир заключат другие за спиной нашей, пока мы будем продолжать старую войну».

Самарин упрекал Герцена в том, что тот гибельно действует своей революционной пропагандой на новое поколение, что в результате у этого поколения оказываются иссушенными мозги, ослаблена нервная система, оно не способно к энергичной деятельности, у него нет веры. Герцен энергично выступает в защиту этого нового поколения. Он напоминает Самарину, что «и вы и мы по положению, по необходимости были рефлектерами, резонерами, теоретиками, книжниками, *тайнобрачными* супругами наших идей... Но *энергией, но делом, но мужеством* мы мало отличались». Герцен признает, что люди его поколения «были отважны и смелы только в области мысли».

Новое же поколение, пусть даже оно не дочитало своих учебников, рвется к делу, как поколение людей 1812 года рвется в бой. И они, эти новые люди, материалисты, они поняли, что знания филологии, гуманитарных наук ныне уже не есть эталон образованности. Без естественных наук нельзя быть зрелым мыслителем, человеком, по-

нимающим и социальные проблемы. «Нигилисты», как прозвали разночинцев, не есть понятие ругательное. Нигилист вместо безропотной веры вооружен научным знанием, он исследователь. И материализм вовсе не растворяет личность в каком-то «микрокосмосе», а, наоборот, заставляет ее «дорожить временной жизнью своей и чужой». Отношение к новому поколению, к революционной демократии у Герцена и Самарина было столь разным, что оно оттеснило на второй план иные вопросы, сделало невозможным политический союз. Герцен писал Огареву, что «о сближении не может быть и речи». Самарин «ближе к Каткову и Муравьеву, чем к «Колоколу». Он ненавидит «Современник» Чернышевского.

Самарин не ответил на «Письма» Герцена.

1865 год застал Герцена в Женеве. «Есть люди, предпочитающие отъезжать *внутренно*; кто при помощи сильной фантазии и *отвлекаемости* от окружающего — на это надобно особое помазание, близкое к гениальности и безумию, — кто при помощи опиума или алкоголя. Русские, например, пьют запоем неделю-другую, потом возвращаются ко дворам и делам. Я предпочитаю передвижение всего тела передвижению мозга и кружение по свету — кружению головы». «Долго живши на одном месте и в одной колее, я чувствую, что на некоторое время *довольно,* что надобно освежиться другими горизонтами и физиономиями... и с тем вместе взойти в себя, как бы это ни казалось странным. Поверхностная рассеянность дороги не мешает». За годы эмиграции немало европейских городов промелькнуло перед его глазами. Каждый имел свою физиономию, хотя много было и общего. Общее, пожалуй, консерватизм, настолько въевшийся в быт, что, кажется, пройдут десятилетия, прежде чем здесь что-либо изменится. Женеву Герцен считал местом более приспособленным, чтобы жить. И в этом видел ее отличие, например, от Лозанны, где «все проездом, кроме аборигенов».

Все же самому ему не было уютно в Женеве. Возможно, Женева не оправдала многих надежд, которые он, хоть и нетвердо веря в их осуществление, все же возлагал на нее. Еще в августе 1863 года возник проект перебраться на континент. Провал Ветошникова, суд над Чернышевским показали, что ситуация изменилась. Условия распространения и прежде всего провоза «Колокола» крайне осложнились. Дальнейшие события это подтвердили.

В 1864 году был приговорен к десяти годам каторжных работ юнкер Трувеллер за провоз из Лондона изданий Вольной русской типографии. Издания обнаружили во время обыска на кораблях русской военно-морской эскадры, вернувшейся из заграничного плавания. Сто восемьдесят экземпляров прокламаций были найдены в дуле одного из орудий.

Кроме того, после польского восстания 1863 года стало очевидно, что аудитория «Колокола» в России сузилась. 10 апреля 1864 года Герцен писал: «Мы испытываем отлив людей с 1863 — так, как испытали его прилив от 1856 до 1862... Придет время — не «отцы», так «дети» оценят тех трезвых, тех честных русских, которые одни протестовали — и будут протестовать против гнусного умиротворения. Наше дело, может, кончено. Но память того, что не вся Россия стояла в равношерстном стаде Каткова, останется...» А в России шла размежевка сил. Герцен понимал необходимость преобразования «Колокола», его переориентировки на «детей». Отсюда интерес к Женеве, которая после арестов 1862—1863 годов становилась одним из средоточий новой «молодой эмиграции». Показалось возможным найти свежую питательную среду для продолжения прежнего дела на новых началах.

Осенью 1863 года, после поездки по Италии, где во Флоренции русская колония устроила в честь него обед, Герцен прибыл в Женеву. Сюда специально, чтобы повидаться с Герценом, собрались русские эмигранты из разных городов Швейцарии. В Италии Герцен виделся со Львом Мечниковым, Стюартом. Здесь, в Женеве, вокруг него собрались В. И. Бакст, В. И. Касаткин, А. А. Слепцов. Виктор Иванович Касаткин — человек известный в литературных кругах России. Библиофил, собиратель рукописей, сотрудник журнала «Библиографические записки», знакомый Кетчера, встречался он и с Чернышевским. Он бывал у Герцена в Лондоне в 1861 году, помогал Огареву редактировать сборник «Русская потаенная литература XIX века». Касаткин налаживал связи Герцена с русскими революционными кругами, пытался наладить и проникновение лондонских изданий на родину. После ареста Кельсиева открылись связи Касаткина. Он в это время был за границей. На приказ вернуться в Россию ответил отказом и стал эмигрантом. С Львом Мечниковым, братом известного ученого-

физиолога Ильи Мечникова, Герцен познакомился в Женеве. Лев Ильич состоял волонтером в знаменитой «тысяче» Гарибальди. Был ранен. В Женеве выступал как публицист. Лев приводил к Герцену «на огонек» и своего брата. Жена Ильи Ильича — Ольга Николаевна писала о Герцене: «Обаяние его было так велико и неотразимо, что осталось одним из самых сильных впечатлений жизни Ильи Ильича». Бакст, видный участник студенческих волнений, приехав в Гейдельберг, взял на себя транспортировку герценовской литературы через прусско-русскую границу. Осенью 1862 года в Берне им была организована собственная типография, но дела ее шли неважно. И родился план соединить ее с лондонской типографией Герцена. Надо заметить, что к этому времени ВРТ в связи с утратой популярности «Колокола», тираж которого резко сократился, да и общей «дороговизной», на которую не раз сетовал Герцен, — доходы не приносила, а ее содержание стоило немало денег. Так что предложение «молодых» Герцена заинтересовало. «Молодая эмиграция» надеялась на оживление имевшейся в ее распоряжении типографии в Берне и жаждала переезда из Лондона Л. Чернецкого, успешно заведовавшего у Герцена ВРТ с самого ее основания. Слова Герцена, что он хочет перенести свою типографию на континент, вызвали «фурор». Решено было, что в мае 1864 года ВРТ переедет из Лондона в Италию, в город Лугано.

Но когда Герцен вернулся в Лондон, его охватили сомнения. Огарев был против, он заставил задуматься и Герцена над политической ситуацией в Европе, усилением наполеоновской реакции во Франции, ростом могущества Пруссии. Италия в любой момент могла стать ареной не только соперничества, но и военных действий между двумя державами. Опасался Герцен и вмешательства «молодых эмигрантов» в дела типографии.

Николай Утин появился в Лондоне в начале августа 1863 года. Несмотря на молодость, у него за плечами был уже солидный стаж революционера, руководителя студенческих волнений в Петербурге. Александр Слепцов ввел его в общество «Земля и воля». Утину было поручено заведовать изданием пропагандистской литературы. После арестов в 1862 году видных деятелей «Земли и воли» и Чернышевского Утин стал членом Центрального комитета общества. Угроза ареста заставила его бежать из России.

Обратного пути ему не было, в России его ожидал расстрел. Утин, познакомившись с Герценом, занялся распространением изданий ВРТ. Он же постарался повлиять на Герцена, чтобы тот перенес свою типографию на континент. В июне 1864 года Утин попытался ускорить переезд и писал Огареву: «Я с вами совершенно не согласен в том, что вы пишете в бесполезности для дела своего переезда. Тысячу раз неправда!!! Ваш переезд сюда принесет весьма солидную пользу и нашему делу, и вам лично, т. е. вашему имени, как пропагаторов; а возвращение вашему имени престижа или, простите, того полного уважения, которое было еще недавно, т. е. *два года* тому назад, — это дело нашей общей пользы». Письмо это не рассеивало для Герцена недоверия к тем, с кем предстояло сотрудничать. К тому же еще напоминало своей бестактностью о разности понимания, что есть что. Огарев был настроен более примирительно. Герцен не разделял его оптимизма. Когда однажды Огарев сказал, что в Утине следует беречь представителя «Земли и воли» — тот был членом руководящего центра «Земли и воли», — Герцен резко ответил: «Не поберечь ли «Землю и волю» в себе прежде, чем в других?» Тем самым он напоминал другу, что «Земля и воля» обязана им не менее, чем Утину, в котором он к тому же не чувствовал единомышленника. Герцен писал Огареву об Утине: «Есть вещь, снимающая разом даль людей, — это (если ты хочешь понять — поймешь), помазание, — его в Утине я не вижу».

А между тем Николай Утин все звал в Женеву. В конце 1864 года он писал Герцену: «В Женеву собрались общие друзья наши из разных мест». В сущности, складывалась ситуация, которая требовала совместного обсуждения.

Герцен собирался в Женеву, но домашние дела отвлекли его внимание. Тяжело заболел Огарев. Доктор Нефтель на другой день после последнего припадка, сообщал Герцен сыну 16 ноября 1864 года, «слушал его сердце и нашел такую слабость, что испугался». «...Я с бою взял почти обет ничего не пить, кроме бордо... Завтра неделя, что он соблюдает диету — авось еще и спасем его». Огарев уехал лечиться, залогом успешного лечения он считал уединение. Поэтому отправился в местечко возле Ричмонда — «на монастырское заключение в крошечной конуре», как комментировал Герцен. Незадолго перед тем

отбыла и Наталья Алексеевна с детьми — в Париж. «20-го я еду в Париж — Женеву, — писал Герцен сыну. — Я оставался оттого, что Огарева нельзя было покинуть». «Дебандада общая»... Оно и в самом деле похоже было на «беспорядочное бегство». Беспокойством о распадавшейся семье продиктована каждая строчка этого письма сыну, которое Герцен считал настолько важным, что просил непременно подтвердить получение: «Хочу его застраховать». Закончив рассказ о семейных делах, Герцен далее писал сыну: «...Мы оба, т. е. Огарев и я, требуем от тебя истинно человечески святой клятвы — сделать все, что может сделать брат для маленьких детей — особенно после смерти кого-нибудь из нас... Это мы возлагаем на твою совесть». Он призывал сына приложить усилия к тому, чтобы примирить старших дочерей Тату и Ольгу с Натальей и Лизой. Сделал и имущественные распоряжения, не забыв «маленьких» — недавно родившихся близнецов Елену и Алексея. «Маленькие» умерли в декабре, спустя несколько недель. Так смертями детей и болезнью Огарева заканчивался этот 1864 год — последний год Герцена на английской земле. В этом же письме сыну от 16 ноября Герцен уже строил дальние планы. Он предполагал, что если сын снимет во Флоренции, где обосновался с 1863 года, подходящий дом, то он сможет жить с Александром, по крайней мере, четыре месяца в году. Покупать дом Герцен не желал — не хотел, чтобы дети обрастали лишним «недвижимым», он все еще надеялся на возвращение хотя бы их на родину — «мы живем в мудреное время и почем еще знать, не поедете ли вы все в Россию». Перебираться во Флоренцию на постоянное жительство Герцен тоже не был намерен. Флоренция ему не нравилась — «в ней жить пряно», слишком красива. Неясно еще было будущее местожительство, но была уже уверенность, что лондонский период эмиграции закончился. Закончился и лондонский период «Колокола». «Огарев хотя и говорит, что готов в апреле на переселение, но держится крепко за английскую землю — нудить его не буду, что же касается до меня, то считай наверное, что *в мае месяце* — я с вами». Итак, 1865 год встречали в Женеве. В канун нового года к отцу приехал Александр, и в первый день нового года они принимали у себя состарившегося телом, но молодого духом декабриста Поджио. Это казалось добрым знамением.

Однако новый год принес, может, и ожидаемое, но все же разочарование. Хотя Николай Утин, приглашая Герцена в Женеву, и писал, что «от вас, уважаемый Александр Иванович, зависит — сойтись или разойтись со всеми этими людьми — для посильной работы и совокупного в ней участия — во имя той же желанной цели, прямое и свободное заявление которой мы услышали в своей юности от вас же», на практике оказалось, что разногласия по ряду вопросов таковы, что преодолеть их нет возможности.

Встречи с молодыми в декабре — январе на так называемом женевском съезде эмигрантов уточнили позиции сторон и даже как будто бы наметили пути к сближению. Круг вопросов, подлежавших обсуждению на съезде, был заблаговременно изложен в письме Утина Герцену, которое Утин послал Герцену перед приездом того в Женеву. Письмо имело целью предварить переговоры, подготовить Герцена к предстоящему обмену мнениями. Утин выдвинул четыре задачи: пропаганда, установление регулярных сношений с Россией, налаживание связей с людьми, могущими принести пользу революционному делу, и конституирование и увеличение «Общего фонда», созданного Герценом и Огаревым в 1862 году и предназначавшегося на «общее наше русское дело» (так было сказано в «Колоколе».) Главное, «Колокол» должен был стать общеэмигрантским органом. «Вы этим самым указали бы, — писал Утин, — на *солидарность* партии или, вернее, группы революционной... За каждым словом *такого* «Колокола» чувствовалась бы и друзьями и врагами *сила,* не личная, не индивидуальная, а обобщенная, совокупная, сплоченная *теперь* из десятка или двух людей, а скоро, при положительном вызове деятельного сочувствия в самой России, — сила, сплоченная из всего, что есть живого и революционного в России, — а с такой силой пришлось бы *считаться».* Письмо содержало и известный ультиматум. Утин сообщал, что в случае несогласия Герцена на предложение «молодых эмигрантов» они будут вынуждены основать свой журнал.

На съезде присутствовало 17 человек, в том числе Утин, Лев Мечников, приехавший из Италии, Якоби — из Цюриха, А. Серно-Соловьевич, Жуковский, Гулевич, Касаткин, сын Герцена Александр, Людмила Шелгунова, Лугинин, В. Ковалевский и «все остальные».

Герцена поддерживал Касаткин — противники Герцена прозвали его «ценной собакой». В конечном итоге

Утин, Якоби, Серно-Соловьевич выступили против и Касаткина и Герцена.

Характер разногласий Лев Мечников позже определил так: «Молодая эмиграция требовала, чтобы редакция газеты зависела от целой корпорации эмигрантов, которой должен был быть передан и фонд Бахметева и еще сумма, обеспечивающая «Колокол». Герцен, основываясь, *главным образом, на том, что «Колокол» есть литератур*ное дело, а из молодых эмигрантов мало кто доказал свои способности к литературе, не соглашался выпустить редакцию «Колокола» из своих рук...»

Все же некий компромисс в итоге съезда определился. 4 января 1865 года Герцен написал Огареву, что «молодые люди отказались (откровенно ли или нет?) от своих требований и обещают горы работ и корреспонденций к 1 мая». Он сообщал также, что видит удобства Женевы для налаживания здесь дела: «Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.». Все же его смущали сложности взаимоотношений с «детьми»: «но что мы будем делать с милой оравой этой, я не знаю». Однако все решилось очень быстро. За час до отъезда Герцена из Женевы к нему явились представители наиболее ярых его противников. Герцен называет в качестве таковых Серно-Соловьевича, Якоби, Шелгунову. Они объявили, что стоят на своем: «Колокол» издавать по большинству голосов или издавать журнал на бахметевские деньги». Так ничем кончились женевские переговоры.

Герцен, впрочем, по здравому размышлению посчитал, что все к лучшему. «Ты знаешь, — писал он Огареву, — у меня никогда не лежало к ним сердце...» «Женева, при разрыве с этими господами, делается превосходным местом». Таково было его резюме. О людях, в которых он рассчитывал найти помощников в деле, Герцен сообщил Огареву: «Мне с ними ужасно скучно — все так узко, ячно, лично, — и ни одного интереса, ни научного, ни в самом деле, политического; никто ничему не учится, ничего не читает...» Это было несправедливо. Так судило «поколение отцов». Для детей существовали иные ценности в жизни, другой характер носили и их интересы...

«Молодая эмиграция» была недовольна направлением, которое издатели «Колокола» придавали журналу. Герцен резко выступил против индивидуального террора; в статье

«Иркутск и Петербург» назвал Каракозова «сумасшедшим», «фанатиком». Надо признать, что Огарев поместил в № 229 «Колокола» очень неудачную статью «Продажа имений в Западном крае». Речь шла о распродаже земель тех польских шляхтичей, которые принимали участие в восстании. Почему в этой русификаторской мере царского правительства Огарев углядел только попрание основ «религии собственности», понять трудно. Статья вызвала, по словам Герцена, «катавасию».

«Молодая эмиграция» настаивала на выработке общей программы «Колокола», обвиняя Герцена в том, что его журнал стал «личным органом». Конечно, выученики Чернышевского искали в публикациях «Колокола» прежде всего не обличительные статьи, не агитационные заметки. После спада революционной волны в России, после отхода одной части демократической интеллигенции от участия в общественно-политической жизни и эмиграции наиболее активных деятелей «молодая эмиграция» ожидала от таких «столпов», как Герцен, какого-то практического руководства, указаний, как действовать в новых политических условиях, складывающихся в России. Такого руководства Герцен дать им не мог, хотя он и значительно перестроил направление всей пропаганды. А крупные теоретические статьи Герцена, его взгляды на будущее России «молодых» никак не устраивали. В глазах Александра Серно-Соловьевича, да и других учеников Чернышевского, Герцен уже принадлежал прошлому. Заслуги поколения дворян-революционеров ими в большинстве своем не признавались.

Серно-Соловьевич бросил в лицо Герцену обвинение в «самообожании» в статье «Наши домашние дела», позже изданной отдельной брошюрой. Но это была уже крайность, и часть «молодых» не согласилась с Серно-Соловьевичем.

Но поистине бурю вызвала статья Герцена «Порядок торжествует!». Серно-Соловьевич и его друзья были более всего задеты той сравнительной оценкой, которую Герцен дал своей деятельности и деятельности Чернышевского. Ученики и последователи Чернышевского, они оскорбились самой мыслью, что (как писал Герцен) они с Чернышевским дополняли друг друга.

Герцен считал, что, в то время как он, Герцен, проповедовал «русский социализм», идущий от земли и крестьянского общинного быта, Чернышевский «с огромным

талантом и пониманием» развивал теории «чисто западного социализма». Не усматривая антагонизма между двумя этими теориями, Герцен полагал себя вправе сказать, что они с Чернышевским «служили взаимным дополнением друг друга».

На это Серно-Соловьевич ответил резко и определенно: «Вы дополняли Чернышевского! Нет, г. Герцен, теперь уже поздно прятаться за Чернышевского... Между вами и Чернышевским нет, не было и не могло быть ничего общего. Вы — два противоположных элемента, которые не могут существовать рядом, друг возле друга; вы представители двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую, до того расходитесь вы во всем — от миросозерцания и до отношения к самим себе и людям, от общих вопросов до малейших проявлений частной жизни».

Серно-Соловьевич критиковал слабые стороны Герцена, его либеральные колебания, письма к царю. Рвавшиеся к революционному делу разночинцы, ученики Чернышевского, не могли принять идею Герцена о бескровной, хотя бы на первых порах, революции. А Герцен писал: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога».

Серно-Соловьевич риторически отрицал все заслуги Герцена, не видя ничего, кроме его колебаний и иллюзий. А между тем Герцен был прав, когда говорил, что он и Чернышевский дополняли друг друга как теоретики социализма, и расходились они в основном в вопросах тактики. Естественно, что это выступление Серно-Соловьевича больно ранило Герцена.

Между Огаревым и Герценом, с одной стороны, и «молодой эмиграцией» — с другой, возникла теперь полная отчужденность.

В ноябре 1865 года доктор Белоголовый по пути в Италию заехал в Женеву. Он хотел повидать старика Поджио, который жил здесь с семьей. Из разговора выяснилось, что Герцен на даче, в предместье Женевы. Белоголовый поспешил разыскать Герцена. И вот он уже звонит у чугунной решетки тенистого сада, скрывающего с дороги дом, который он искал. Открыла калитку какая-то старушка, повела по аллее. Белоголовый еще издали увидел на террасе Герцена, — он с любопытством всматривался в пришельца. Не узнал, хотя они и виделись уже в Лондоне. Доктор назвался и увидел, что лицо Герцена

осветилось — он был рад соотечественнику. Белоголовый нашел, что за шесть лет, что они не виделись, Герцен «почти не изменился». Правда, «седины прибавилось в бороде», но «блеск выразительных глаз и юношеская живость речи, движений» были все те же.

В ту первую свою встречу Белоголовый видел Герцена «в зените его славы», «его имя и «Колокол» пользовались в России не только популярностью, но и представляли из себя своего рода высшую инстанцию, к которой апеллировали все, искавшие правды, — и даже правительство не оставалось совсем глухо и нечувствительно к тем внушениям и замечаниям, какими так щедро и в такой остроумной форме наделял его наш знаменитый публицист «с того берега». С тех пор многое изменилось: польское восстание и радикальное отношение к нему «Колокола», наступившая затем и постепенно усилившаяся реакция — все это прямо отозвалось на положении Герцена, тем более что русское общество не могло оказать ему существенной поддержки, а огромное реакционное большинство с жадностью прислушивалось к злобным инсинуациям против Герцена, и индифференты легко проникались ими». Так понимал сложившуюся ситуацию Белоголовый. Она и была предметом их разговора. По словам Белоголового, Герцен сказал: «Как мне ни печально такое сознание, но я не настолько самонадеян, чтобы отрицать факт охлаждения ко мне русской публики. Видя невозможность оказывать впредь давление на правительственные круги посредством нашего общественного мнения, которое стало ко мне гораздо равнодушнее, я хочу теперь изменить свою тактику и обратиться к суду европейского общества, хочу попробовать издавать «Колокол» на французском языке и сообщать в нем сведения о русских порядках... Жаль мне мой прежний русский «Колокол», но делать нечего!» Он говорил, что не видит близкой возможности для перемены в русской жизни, что журнал приносит ему вот уже два года убыток, что имущественные дела его не блестящи, а семья растет... Разговор соскользнул на бытовую тему, и тут Белоголовый сказал, что один его хороший знакомый собирается в скором времени появиться в Женеве, быть у Герцена с визитом. Знакомый, добавил он, намерен вообще порвать все связи с Россией и поселиться где-нибудь в Европе в качестве эмигранта.

Белоголовый ожидал, что Герцен поддержит эту идею, но, к своему удивлению, услышал совсем обратное:

— Бога ради, — откликнулся тот с живостью. — уговорите вашего приятеля не делать этого; эмиграция для русского человека — вещь ужасная: говорю по собственному опыту; это не жизнь и не смерть, а это нечто худшее, чем последняя. Какое-то глупое, беспочвенное прозябание... Мне не раз приходилось раздумывать на эту тему, и верьте, не верьте, — но если бы мне теперь предложили на выбор мою теперешнюю скитальческую жизнь или сибирскую каторгу, то, мне кажется, я бы без колебаний выбрал последнюю. Я не знаю на свете положения более жалкого, более бесцельного, как положение русского эмигранта...

Итог прошедшему 1865 году Герцен подвел в письме к сыну. Как ни кинь, а получалось все же, что «плохого прибыло». И главным, что окрашивало год в темные тона, было все же ухудшавшееся здоровье Огарева. Герцен написал сыну с полной определенностью — «видимое разрушение Огарева». «Наконец он таки сломил свой организм... Временами он оживает и свежеет, но вообще в каком-то печально-болезненном Schwärmer' стве (мечтательстве. — *В. П.*). В последнем листе «Колокола» прекрасная статья его — это почти все за шесть месяцев». Герцен имел в виду первое письмо Огарева из серии «Частные письма об общем вопросе». Работа эта, посвященная русскому социализму, появилась в «Колоколе» 1 января 1866 года. Что касается издательских дел, то и тут Герцен должен был признать, что год не порадовал его удачей. «Колокол» все-таки идет плохо». Неладно было и в семье. В декабре Герцен ездил в Монтре, где жила в это время Наталья Алексеевна. Хотелось быть вместе в годовщину смерти «маленьких». Надеялся, что хоть общее горе примирит Наталью Алексеевну с Татой. Надежда, как это случалось уже много раз, опять оказалась эфемерной. «Невозможность близости во имя воспитанья Лизы между Natalie и Татой — тоже большое несчастие». Таков был вывод из поездки в Монтре.

Однажды, услышав от Н. М. Сатина, мужа сестры Натальи Алексеевны, что Огарев как будто бы сжег его письма, Герцен написал: «Это скверно, лучше бы сжег дюйм мизинца на левой руке у меня. Наши письма — важнейший документ развития, в них время от времени отражаются все модуляции, отзываются все впечатления на душу, ну, как можно жечь такие вещи?» Как не хватало

этих писем автору «Былого и дум»! Мемуар продолжал разрастаться, он далеко уже вышел и за пределы семейной драмы, воспоминаний о детстве, ссылке. Мелькнула и революционная Франция 1848 года. Но Герцен не очень задержался здесь на описании событий, они были подробно изложены в его «Письмах из Франции и Италии». В мемуар властно входило время, которое «воспитывало» героев. От главы к главе оно заявляло о себе все более громко. Герцен создавал свой мемуар шестнадцать лет вплоть до весны 1868 года. «Былое и думы» писались не по порядку глав. Каждая глава подолгу вынашивалась («год обдумывал»), потом возникали варианты («сто раз переписывал»), и каждая глава пропускалась «сквозь кровь и слезы».

При жизни Герцен опубликовал все главы, которые считал возможным обнародовать. Они печатались в альманахе «Полярная звезда», а ряд глав впервые появился и в «Колоколе». Отдельное издание «Былого и дум» начал готовить еще в 1860 году. Первые два тома мемуаров вышли в 1861 году. Затем последовал третий том, составившийся из произведений Герцена, написанных в 30—40-х годах, но тематически примыкающих к «Былому и думам». Последний, четвертый том Герцен издал уже в Женеве в 1866 году. Он собирался опубликовать и пятый и шестой тома мемуаров, для них у него были уже написаны главы, но сделать этого не успел. После смерти Герцена «Былое и думы» переиздавались не раз, однако полностью они вышли только в составе Полного собрания сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке, уже после Октябрьской революции.

Заголовки и подзаголовки «Былого и дум» наводят на мысль, что это не мемуары, а историческая хроника. В них присутствуют или события эпохи, или их участники — люди. В первых четырех частях — и «Пожар Москвы», и «Сунгуровское дело», «Славянофилы и панславизм», «Смерть Александра I и 14 декабря». Внутри заголовков — «Граф Аракчеев и...», «М. Ф. Орлов», «В. Гюго», «Ледрю-Роллен», «Роберт Оуэн»... Книга густо населена людьми, оставившими тот или иной след на путях и перепутьях истории.

Впоследствии А. М. Горький скажет: Герцен «представляет собою целую область, страну, изумительно богатую мыслями», «Былое и думы» бесспорно центр, столи-

ца этой богатейшей державы. «Меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц», — признавался Герцен еще в романе «Кто виноват?». Интерес к человеческой личности был органичен для Герцена и стоял в тесной связи с общими его мыслями о переустройстве всего человеческого общества на новых началах. Для него было несомненным, что «грядущая революция должна начать не только с вечного вопроса собственности и гражданского устройства, а с нравственного человека».

Прочтя «Что делать?» Чернышевского, Герцен не был удовлетворен художественным уровнем романа, но очень рекомендовал дочери ознакомиться с ним. Новая этика человеческих отношений, которую проповедовал Чернышевский в «Что делать?», для Герцена перекрывала с лихвой все несовершенства формы. Так и должно было быть. Еще Белинский когда-то замечал, что Герцен принадлежит к тому типу писателей, у которых «мысль всегда впереди», для них «важен не предмет, а смысл предмета, — и их вдохновение вспыхивает только для того, чтобы через верное представление предмета сделать в глазах всех очевидным и осязательным смысл его». Белинский назвал Герцена «поэтом гуманности». «У тебя, — писал он — как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной... талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, так сказать, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре». Точно так ощущал и сам Герцен. В 1865 году он писал Огареву: «Гуманность... основа моего характера; оттого-то все не гуманное меня раздражает больше преступного. Украдь у меня кошелек, я подосадую — и баста, а начни вора при мне пытать — я за него лягу костьми». Присущая натуре его гуманность подкреплялась выношенными убеждениями — все это, вместе взятое, давало опору для жизни, определяло этику его поведения по отношению к дальним и ближним — и в частности к семье, которая то убывала, то снова расширялась.

Неизменно близким человеком для Герцена был Огарев и оставался таковым, в какие сложные ситуации ни ставила бы их жизнь. Тата писала уже после смерти отца, что Огарев был «единственным в самом деле интимным другом папаши, который жил почти что безразлучно с ним последние 15 лет и от которого ничего не скрывалось».

Огарев, как и Герцен, не склонен был считать частную жизнь чем-то отъединенным от общей жизни, и гуманность была ему присуща в столь же сильной степени, как и Герцену. Этика отношений и для него была тем столпом, на котором он строил свою жизнь. Он надеялся увидеть уже сейчас в своей семье, куда входили и Герцен и его дети, малую ячейку того будущего всечеловеческого братства, ради приближения которого он работал всю жизнь.

Однако случилось иначе. После смерти «маленьких», умерших от дифтерита, Наталья Алексеевна еще более ожесточилась. Болезненная недоверчивость, мнительность, мрачность наводили порой близких на мысль о сумасшествии.

В мае 1865 года Тата вместе с Ольгой и Мейзенбуг приехали в Женеву, чтоб поселиться здесь с отцом. Тут же был и Огарев. Два года назад, обдумывая возможный переезд в Женеву, Герцен писал Натали: «Я еду... чтобы двинуть общее и частное, взять вас всех — тебя, детей...» Однако переговоры с Натали оказались нервными и добавили Герцену волнений ко всем тем дрязгам, которые и без того свалились на него в Женеве. «Коренная мысль у тебя ясна до того, что разве слепой не прочел бы ее, — писал Наталье Алексеевне Огарев. — Коренная мысль: «Выгони Тату и тогда я с Лизой приеду в дом твой». И еще один постоянный мотив определил Огарев в ее письмах: «Он (Герцен. — *В. П.*) в Женеве живет для своего брата (то есть для него, Огарева. — *В. П.*), а во Флоренцию едет для своих детей и ничего будто бы не делает только для тебя...»

Близкие с огорчением наблюдали, как под давлением невзгод и у Герцена менялся характер. Тата относила это за счет женевских дрязг и трудных переговоров с Натали. На счет общего положения дел относил растущую раздражительность Герцена и Огарев. И все же на первый план ставил отношения с Тучковой, в них видя первопричину беды. Он даже предпринял попытку воздействовать одновременно на него и на нее. 5 мая 1866 года Огарев писал Герцену: «Я с глубоким горем смотрю на возрастание твоей раздражительности... Мне кажется, что твоей раздражительностью ты много теряешь влияния кругом себя».

Тучковой он написал 2 ноября длинное письмо, в котором каждая строчка выведена кровью сердца. По-

шлость, которой окутала Тучкова все их отношения, мыслившиеся так высоко и чисто, была непереносима. И более всего — ее роль злой мачехи по отношению к детям своей прежде столь чтимой подруги. Недоброе чувство к этим детям ей словно застилало глаза. Она мстительно старалась отдалить Лизу от сводных сестер и брата, искусно пользуясь «секретом» — Лиза считалась дочерью Огарева и называла Герцена «дядей». Тучкова терроризировала Герцена, угрожая ему, что увезет Лизу в Россию, хорошо зная, как болезненно переживал он образовавшуюся разобщенность семьи.

«Мы слишком тесно были связаны в жизни», — писал Огарев. И, воскрешая в памяти прошлое, «глубокие любящие воспоминания», он пытался пробиться к ее сердцу — во имя того хорошего, что в ней было, ради нее самой, ради детей и Герцена. Сам он уже нашел свою «тихую пристань» в лице Мери Сэтерленд. Но это само по себе не могло быть причиной «разрыва» между Тучковой и Огаревым, как не был поводом для их «разрыва» брак Тучковой с Герценом, поскольку под разрывом понималось нарушение душевной близости.

Имея в виду всю сложную семейную коллизию, Огарев писал: «Это ужасно пошло! Неужто ты думаешь, что я сколько-нибудь забочусь об том — обвинит ли меня публика в духе кн. Мещерской или не обвинит? Мне это совершенно равнодушно. Что мне неравнодушно, это то — станешь ли ты сама как нравственное существо или станешь как злое, падшее существо. Последнего я не могу вынести, потому что мне это больно...»

Дальнейшая часть письма — это мольба о возрождении к жизни, — к жизни, которую единственно он считал разумной, возможной для них всех: «Что мне нужно — это твое нравственное восстановление, потому что я по воспоминанию чувствую себя тебе близким. Скорбью о смерти детей ты для меня не восстановляешься, ибо человек, который может носить черное платье и действовать со злобой, для меня падающий человек, — я в его скорбь или любовь не верю, а вижу только мелкое, презренное самолюбие, равное ревности и зависти. Но когда я знаю, что этот человек еще способен взойти в свою совесть и регабилитироваться, то я готов стать на колени и просить его: «Опомнись!» Это я теперь и делаю. А если ты подумаешь, что *таким* оторваньем Лизы от ее семьи ты или ее испортишь и сделаешь злою, или она поймет,

в чем дело, и взглянет на тебя с презрением, — то ты еще глубже должна войти в себя и опомниться! Да! я становлюсь на колени и умоляю тебя: «Опомнись!» Вот все, что я могу сказать! Ради памяти умерших детей, которая должна быть *чиста,* ради жизни Лизы, которая должна быть *чиста,* — я умоляю тебя: «Опомнись!»...

О том, как был прав Огарев, беспокоясь о судьбе Лизы, показали дальнейшие события. Тяжелая наследственность, воспитание матери — все в конечном итоге привело ее к гибели. Она покончила с собой через пять лет после смерти Герцена. «Хорошо, что мертвые не знают, что делается с оставшимися» — эти строки из письма Тучковой справедливы, как справедливы и многие ее суждения. К сожалению, слова ее слишком часто расходились с делом, и слишком многое виделось ей в «фантастическом» свете.

Огарев пытался урезонить Наталью Алексеевну с помощью ее сестры и мужа сестры — Сатиных. «Каким образом она не видит, что разгром в целой семье произвела и производит она, и каким образом у нее не является ни на минуту сознания и раскаяния — этого я не понимаю», — писал он им. Он считал, что «дело так ясно», что готов был на суд позвать всех ее родственников — и отца, и Сатиных. Отказался он и сжечь ее письма, хотя она его об этом просила. Огарев не менее, чем Герцен, придавал значение живому человеческому документу. Он понимал значение его для потомков. Сложный жизненный опыт его и Герцена, который должен был, по их мысли, помочь будущему поколению прокладывать новые пути, включал для них и личную жизнь. Поколение шестидесятников потвердило справедливость этой мысли.

Вольная русская типография обосновалась в Женеве. Новое место — новые заботы. Правда, теперь с переездом они приобретали несколько иной характер. «Заведовать морально — буду я, голландской сажей — Чернецкий, Касаткин — associé», то есть компаньоном. Так писал Герцен Огареву еще 12 января 1865 года, когда только определилось, что совместное дело с «молодой эмиграцией» не сладилось. На Касаткина Герцен предполагал возложить экономику издательского процесса, так же как на Чернецкого — само производство. Типография должна была определиться как акционерное предприятие, она и начала работать на этих началах с осени 1865 года.

Виктор Иванович Касаткин, член «Земли и воли», страстный библиофил, имел немалый типографский опыт. Он деятельно участвовал в работе и лондонской и бернской типографий. Людвиг Чернецкий бессменно заведовал ВРТ со дня ее основания. Герцен считал, что они в силах вести все необходимые организационно-хозяйственные дела. За собою он оставлял идейное руководство. Он не хотел быть привязанным к Женеве, где отношения с эмиграцией складывались так нелегко.

Были выпущены акции в 200 франков. Учредителями общества стали, кроме Герцена и Огарева, Касаткин, Чернецкий, Долгоруков, Лугинин. Предполагалось, что общество на паях оживит деятельность типографии. Однако акции расходились с трудом. Предприятие не окупало расходов. Требовались какие-то дополнительные усилия, и 1 января 1866 года в «Колоколе» появилось объявление, что «типография снабжена новыми шрифтами и может ручаться не только за точное и красивое выполнение, но и за сравнительную дешевизну заказов». Речь шла о польском, сербском, французском, английском шрифтах. Вольная русская типография становилась интернациональной и, главное, превращалась в коммерческое предприятие. От этого, впрочем, в положении дел серьезных улучшений не воспоследовало.

Письма Герцена этих лет полны грусти: ВРТ, лишенная живых связей с родиной, неминуемо шла к своему логическому концу. «Дела типографии идут очень дурно — она вся снова упала на мои плечи» — это из письма от апреля 1866 года. В середине года Герцен передал типографию в собственность Чернецкому. Однако продолжал и субсидировать ее, и заботиться о ее судьбе. «Плохо идут дела... и я не придумаю, что сделать», — писал он в январе следующего, 1867 года Тхоржевскому. И тогда же Огареву: «...Дела типографии идут плохо. Пора и ее сдать в архив. Подумай об этом...» И в следующем, 1868 году: «...Вся печать «Колокола» и «Полярной звезды» на моих плечах — а я не Раппо», — писал он Огареву, имея в виду известного силача.

ВРТ, основанная как политическое предприятие, ведомая людьми, имевшими ясно выраженные политические цели, не могла стать коммерческим предприятием. Не мог стать коммерсантом и Чернецкий, польский революционер, который рассматривал свою работу по заведованию типографией как «обязанность человека, любящего свою родину и желающего принесть ей лепту скромного и убогого труда». Так писал он Герцену в октябре 1865 года — в первый женевский год. Положение типографии усложнялось еще и тем, что в 1866 году в Женеве появилась еще одна русская типография, открытая М. К. Элпидиным. Все более мелел и Общий фонд, поскольку «молодые эмигранты» создали свой собственный фонд — кассу взаимопомощи.

В 1869 году типография Чернецкого уже не имела вовсе заказов. Пришлось распустить рабочих — оставили одного наборщика.

В феврале 1867 года Герцен во Флоренции встретился с Ге. Памятью этой встречи остался портрет Герцена — одно из последних его живописных изображений. Портрет очень нравился Тате. 23 февраля она сообщала Огареву: «Живописец Ге сделал отличный портрет папаши... Как только он высохнет, я возьмусь за копию...»

У Таты рано обнаружился художественный талант. Более всего она тяготела к портрету. Собираясь послать дочь в Италию, Герцен прежде направил ее в Брюссель, к знаменитому бельгийскому художнику Галле. И в ноябре 1862 года Огарев, глубоко привязанный к девочке, сообщал Каншерову, жившему в Италии: «Вот вам новость: Тата, которую ждем из Брюсселя, училась там живописи под руководством Gallait (первого художника), живопись — ее специальность».

Портрет Герцена работы Ге нравился не только Тате, высоко оценили его художественные достоинства Стасов и Мясоедов. Но мнение дочери подтверждает близость портрета Ге к оригиналу.

Ге оставил и словесный портрет Герцена — каким он увидел его в том нелегком для него 1867 году. «Несмотря на то, что у меня был его фотографический портрет... — пишет Ге в своих воспоминаниях, — впечатление при встрече было новое, полное, живое. Небольшого роста, плотный, с прекрасной головой, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад без пробора; живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век; нос широкий, русский, как он сам называл, с двумя резкими чертами по бокам, рот, скрытый усами и короткой бородой. Голос резкий, энергичный, речь блестящая, полная остроумия».

Ге вспоминал, что они в тот первый вечер долго го-

ворили, и чувствовалось, что ему хорошо тут и легко и он рад встретить «простых русских людей». Острый глаз художника подметил верно. Во Флоренции, вдали от Женевы с ее дрязгами, рядом с детьми, в кругу соотечественников ему дышалось легче. Здесь улегалась понемногу и его раздражительность, хотя один из существенных ее источников — развивающийся диабет — и оставался при нем.

Женева его давила — всей той враждебностью, равнодушием в лучшем случае, которыми его окружала «молодая эмиграция».

Последняя часть «Былого и дум», отрывки из которой Герцен печатал в 1867—1869 годах, — сплошное мелькание городов. Женева — Ницца — Флоренция — Венеция — Виши — Цюрих — Брюссель — Париж. Это только самые основные вехи его странствий. «Еду сегодня вечером в Фрибург», «В Берне, разумеется, был прежде Фрибурга», «Фогт требует Карлсбада», «В Женеве буду 15 или 16», «В воскресенье или понедельник я еду в Виши. Осмотревшись там... заеду в Лион» — это из писем Огареву с середины августа до середины сентября 1868 года.

В предместье Женевы, где посетил Герцена Белоголовый осенью 1865 года, Герцену ненадолго, в пределах всего нескольких месяцев, а может быть, недель, удалось наконец собрать почти всю семью. Однако, в сущности, лишь только затем, чтобы снова убедиться, что «общее житье» невозможно.

Внешне, впрочем, все как будто бы обстояло благополучно, и Тучкова пишет об этой новой, кратковременной резиденции вполне идиллически: «Весной 1865 года из Ниццы мы переехали прямо на дачу близ Женевы. Дача эта называлась Châtean de Boissière и была нанята для нас, по поручению Герцена, одним соотечественником, г-ном Касаткиным, который жил тут же с семейством во флигеле». Дом представлял собою «старинный швейцарский замок с террасами во всех этажах. Внизу были кухня и службы, в первом этаже — большая столовая, гостиная и кабинет, где Герцен писал; из широкого коридора был вход в просторную комнату, занимаемую Огаревым», который в апреле 1865 года все же простился с Лондоном. «Наверху были комнаты для всех нас, т. е. для меня с дочерью, для Натальи Герцен и для Мейзенбуг с Ольгой. Последние приехали из Италии в непродолжительном времени после нашего приезда».

Вскоре, однако, все разъехались в разные стороны. Наталья Алексеевна отправилась в Монтре, забрав с собою Лизу, Мейзенбут уехала с Ольгой в Италию, Огарев перебрался на окраину Женевы, в Lancy, Герцен с Татой — на квартиру на Quai du Mont Blanc. Позже уехала и Тата во Флоренцию. «...И вся наша жизнь, как бусы, у которых шнурок порван, рассыпалась». Старшие дети — Ольга, Тата, Александр обосновались во Флоренции, здесь была и Мальвида Мейзенбуг. Наталья Алексеевна из Монтре перебралась в Ниццу. С нею была и Лиза. Огарев оставался в Женеве. Там же и типография.

Так образовались для Герцена несколько центров притяжения, которые заставляли его постоянно курсировать, даже если бы на то и не было иных причин. К тому же в большой распыленной семье то и дело что-то происходило, что выбивало из колеи или, по крайней мере, выводило из душевного равновесия, а главное требовало срочного приезда.

В 1868 году Огарев сломал ногу. Телеграмма о несчастье пришла в Ниццу, где Герцен жил в это время у Натальи Алексеевны. Стали собирать его в дорогу. Позднее он признавался, что, увидев на перроне в Женеве Тхоржевского, которым и была послана телеграмма, не решился спросить у него, жив ли Огарев.

Огарев сломал ногу, бродя по отдаленным улицам Женевы. Когда пришел в себя, стал звать на помощь. Никто не отзывался. Оказалось потом, что он лежал на лугу против больницы для умалишенных и прохожие приняли его за сумасшедшего. Видя, что помощи ждать неоткуда, он разрезал ножом сапог и, закурив трубку, пролежал чуть ли не до утра, пока знакомый итальянский врач, проходивший мимо, не откликнулся на его зов.

А в декабре заболела оспой Тата — в Ницце, куда приехала по просьбе Герцена. За нею в более легкой форме переболели Натали и Лиза. Когда Татина болезнь только-только как будто перешла кризисную точку, Герцен писал Рейхель: «С вчерашнего дня поворот к подыханью... Rocca (жена повара Герцена, ходившая за больной. — *В. П.*), берег моря — и Тата в постели без слов — она не могла говорить от прыщей во рту. Так и пахнуло 1852 годом». Болезнями и вошли в новый, 1869 год.

Ими его и закончили. 29 октября Герцен, находив-

шийся в это время в Париже, получил из Флоренции от сына телеграмму, в которой тот извещал его о тяжелом нервном заболевании Таты. Герцен кинулся во Флоренцию и застал дочь в полубреду. Он увез ее в Специю, к морю, в тишину, и тут «отласкал» Тату от «черной болезни». В декабре Герцен сообщал Тургеневу: «Она еще не совсем пришла в нормальное положение — но страхи прошли, и возвратился кроткий и по временам светлый взгляд. Однако, добавлял он, с восстановлением памяти развилась у нее грусть, мрачное настроение... Сама она писала в том же декабре Огареву: «Вчера был день твоего рождения, милый, дорогой мой Ага, я думала о тебе, хотела тебе писать, но не удалось, голова моя не вела себя хорошо. Ты себе представить не можешь, какая у меня путаница иногда в мозгу». Вспоминая об отступившей болезни, она рассказывала: «Представь себе, что я сама себя потеряла; я искала себя во всех веках и столетиях, во всех элементах; словом, я была всем на свете, начиная с газов и эфира, я была огонь, вода, свет, гранит, хаос, всевозможные религии... По минутам я очень страдала — сперва за других; всех мучили, а потом принялись за меня; сколько раз меня убивали, не перечтешь!..» Боль за другого и была первопричиной самой болезни. Слова эти симптоматичны. Еще два года назад Герцен и его семья познакомились во Флоренции со слепым музыкантом. Звали его Пенизи, он был из Сицилии. Тогда же под свежим впечатлением от нового знакомства Герцен написал Тучковой: «...Он композит, играет превосходно на фортепиано и поет. Говорит, сверх своего языка — совсем свободно — по-французски, по-немецки и по-английски — пишет (т. е. диктует) стихи и статьи, знает все на свете: естественные науки, историю и пр. Я еще такого чуда не видывал».

Пенизи признался Тате в любви и сделал ей предложение. А получив отказ, нервно заболел. Врач, его лечащий, просил Тату не прерывать с Пенизи знакомства, пока он не оправится от потрясения. Герцен же боялся, что нервы дочери не выдержат всей этой ситуации, и настаивал на немедленном разрыве. Тату мучила эта необходимость причинить боль человеку, который и без того несчастен уже оттого, что слеп. 6 октября она обо всем этом писала Огареву, с которым ей говорилось легче, чем с отцом. С ним она свободно обсуждала все семейные дела, будучи уверена в его преданности и не боясь, как

с отцом, неосторожным словом вызвать раздражение. Огарев к тому же вообще по характеру был мягче — это давало повод Герцену упрекать друга в отсутствии воли.

Тата писала Огареву: «...При виде его (Пенизи. — *В. П.*) страданий, при мысли последствий у меня просто кружилась голова — у меня не хватало энергии и действовать решительно, я чувствовала, что слишком уступаю и, наконец, написала папаше, чтоб он мне помог. Он понял, что я решилась на то, что меня, в сущности, пугает, когда я в состоянии спокойно обдумать. Что это за характер! бедный, несчастный человек! По-моему, надо мало-помалу кончить это письменно, а не сразу, как желает папаша, — не надобно забывать, что он *больной*, что надобно поступать осторожно. Уговори папашу...»

Прошло двадцать дней всего после этого письма — и Герцен ехал во Флоренцию спасать дочь... 2 декабря 1869 года, как бы подводя итог пережитым волнениям, Герцен сообщал Огареву: «Дело *поконченным* считать нельзя — в будущее я и не смотрю». В личном плане будущее представлялось ему безрадостным. «...Я имел в Тату последнюю *веру*, основанную на симпатии, на сходстве ее с покойницей (психически) — веру имел, а вести не умел по внутреннему безобразию прошлых годов. Ну и эта вера обломилась».

Дело «поконченным» нельзя было считать потому, что, хотя в состоянии Таты и наступило заметное улучшение, все же это улучшение не казалось прочным. Она легко впадала в слезливость, «в мрачное расположение, идущее иногда до сбивчивых понятий и слов». Герцен видел один выход — постараться отвлечь ее, развлечь. Все сводилось к тому, что лучше бы ехать в Париж. «...Нет в мире места, которое больше может доставить интересов, как Париж...» Возвращаться в Женеву с больной Татой, в Женеву, которая была и сама по себе связана со многими неприятными воспоминаниями, Герцен не хотел. По аналогичным причинам не годилась и Ницца, тем менее Флоренция. «Громадность» Парижа, казалось, все «смягчит».

И они прибыли в Париж 19 декабря 1869 года.

Месяцем ранее Герцен писал Огареву, что ему вот уже 57 лет, а он до сих пор «не пристал еще к скале как улитка». Однако он уже давно подумывал о том, чтобы сменить Женеву, которая так и не стала его домом, на нечто более приемлемое и для себя и для дела. В марте

в письме Г. Н. Вырубову (русскому публицисту, с которым Герцен познакомился еще в Париже, называл его человеком, который «съел свое сердце») он сообщал, что собирается отправиться к лету на рекогносцировку в Брюссель. Столица Бельгии была в ту пору одним из крупнейших революционных центров в Европе.

Герцен прибыл в Брюссель 2 июля, а 7 августа сообщал Огареву, что получил накануне повестку явиться в министерство юстиции, в управление общественной безопасности. «Говорили, говорили — зачем, к чему, будет ли «Колокол» издаваться в Брюсселе — и что другое. Буду ли я писать в журналах, а кончили, что просто жить». Сыну Герцен написал кратко, что его приглашал местный начальник тайной полиции и «был очень рад, что я не намерен ничего в Брюсселе печатать».

18 августа Герцен покинул Брюссель, чтобы вновь появиться здесь 29 августа. 4 сентября Герцен в письме из Брюсселя сообщил Огареву свой вывод от рекогносцировки: «Печатать, кроме Женевы и Лондона, нигде нельзя. Куды мы склоним голову на зиму — я и не придумаю, скорее всего в Париже. Оттуда также вытурят — как отсюда, если захотят, но там теперь гораздо интереснее. В Лондон ехать следует в крайности. Полгода пройдет в переговорах...» Стало быть, и дела тоже складывались так, что следовало бы на данный момент всему другому предпочесть Париж, где становилось, как чувствовал Герцен, «гораздо интереснее...»

Когда выздоровление Таты наметилось, но не стало фактом и все еще казалось, что кругом «черно», Герцен признавался Огареву, осмысливая предшествующий опыт жизни: «Мы сложились разрушителями, наше дело было полоть и ломать, для этого отрицать и иронизировать — ну и теперь, после пятнадцати, двадцати ударов, мы видим, что мы ничего *не создали,* ничего не воспитали...» Так думалось ему в горькие минуты. В светлые он оценивал их деятельность иначе. «Мы принадлежим, и ты и я, — говорил он, — к числу старых пионеров, «утренних сеятелей», вышедших лет сорок тому назад, чтобы вспахать почву, по которой промчалась дикая николаевская охота на людей, уничтожая все — плоды и зародыши. Семена, унаследованные небольшой кучкой наших друзей и нами самими от наших великих предшественников по труду, мы бросили в новые борозды и *ничто*

не погибло». Обращенный всеми своими помыслами и надеждами к России, русскому народу, Герцен в эти последние годы не перестает живо интересоваться и политической жизнью Европы. И особенно рабочим движением, так оживившимся в 60-е годы.

Париж привлекал снова внимание Герцена потому, что он ощущал, предугадывал новое развитие здесь революционного дела. Об этом свидетельствует Петр Дмитриевич Боборыкин, известный русский беллетрист, журналист, одно время издатель журнала «Библиотека для чтения». Он был единственным русским корреспондентом на III конгрессе I Интернационала в Брюсселе в 1868 году. Герцен интересовался отчетами Боборыкина. Петр Дмитриевич так характеризовал обстановку, в которую Герцен окунулся сразу же по приезде в Париж: «Тогдашний Париж уже сбрасывал с себя иго Бонапартова режима, оппозиция в палате поднимала голову, происходили и уличные демонстрации...» Он же свидетельствует и о бодром, боевом настроении Герцена в те парижские дни: «Все это волновало Герцена, точно молодого политического бойца». «Он ходил всюду, где проявлялось брожение». Герцен ощущал, что «бродим на вулкане», и советовал Огареву не пропускать ни одного номера парижских газет — «события несутся вихрем...».

Не прошел для Герцена незамеченным и следующий конгресс — Базельский. 23 сентября 1869 года он пишет Огареву: «Я больше верю, чем когда-нибудь, в успех именно этих социальных сходок...» В некрологе по случаю смерти Герцена газета женевской секции Интернационала писала, что Герцен жертвовал книги в библиотеку этой секции.

Между тем Огарев и Бакунин увлеклись Нечаевым. Герцен впервые встретился с Нечаевым в мае 1869 года и с первого взгляда проникся к нему антипатией. Герцену в нем виделось что-то «суровое и дикое». И тщетно Огарев пытался объяснить, что «юноша-мужичок» Нечаев ничем не хуже, чем, например, бурмистры, с которыми им приходилось иметь дело в российских имениях. Иметь общее дело с бурмистром — такая перспектива Герцена нисколько не прельщала. Да он и не доверял ему. Пытался предостеречь от опрометчивых решений и Огарев пытался объяснить, что «юноша-мужичок» Нечаевым в России стоит тайное общество. К тому же и Бакунин энергично подталкивал его к союзу с Нечаевым.

Тому хотелось привлечь к делу и Герцена — нужно было его имя и деньги; в руках Герцена и Огарева оставался бахметевский фонд. Под нажимом Огарева Герцен отдал половину фонда, не умея противостоять доводу Огарева: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Однако от альянса с Нечаевым решительно уклонился.

Нечаев отправился в Россию, но в начале нового года появился снова в Париже — за новыми деньгами. Герцен не был намерен передать Нечаеву оставшуюся половину бахметевского фонда. Свидание их, однако, не состоялось, к великому удовольствию Герцена.

Последние годы жизни Герцена, если судить по его письмам, разрозненным дневниковым записям, — тяжелейшие годы для человека, привыкшего всю жизнь быть в кипении мысли, общественных столкновений, бурном людском потоке и вдруг оставшемся в одиночестве на каком-то необитаемом острове.

А между тем, если обратиться к свидетельствам современников, к тому, что за это время Герцен написал, станет ясно, он ни на мгновение не изменил своей жизненной походке, не остановился, не отошел от жизни. Напротив, в 1867—1869 годах Герцен по-прежнему полон сил, не притупилась его ирония, он так же деятелен, как и ранее.

Оптимизм и жизнестойкость Герцена просто поразительны. Его любимое детище — «Колокол» приостановлен изданием на полгода. Приостановлен не кем-нибудь, а самими издателями, и не только потому, что журнал перестал приносить какой-нибудь доход, а прежде всего потому, что упал его тираж, упало его влияние. Но и в этом Герцен видит не что иное, как «награду», — «Колокол» выполнил свою миссию. Он воспитал целое поколение новых людей, демократов-разночинцев. Они пошли дальше, своей дорогой, и *мы меньше нужны*». «Воспитанники» стоят уже на собственных ногах, и в этом заслуга «Колокола» и его издателей. Они теперь уверены, что «идея не погибнет».

В последний год существования «Коколола» Герцен опубликовал ряд статей, которые свидетельствовали о том, что их автор по-прежнему в силу своих возможностей следит за социальными явлениями и сдвигами в жизни России. А следить стало значительно труднее, ведь почти иссяк поток писем с родины. В начале 1868 года Герцен публикует большую статью «Пролегомена» — «Общее введение» — она как бы служила своего рода предисловием к французскому изданию «Колокола». Снова, пытаясь обосновать свою идею о том, что капитализм — это не более чем ошибка истории, ошибка Запада, от которой нужно отвратить Россию, Герцен тем не менее обращает внимание на то, что в России появился зародыш нового движения, главной фигурой которого стал «работник-крестьянин». Русский интеллигент, который в прошлом был оторван от народа, не знал его и у которого «имелось лишь одно оружие — ученье, лишь одно утешение — ирония», теперь теснее связывается с народом, несет в его гущу свое ученье. Герцен с удовлетворением говорит об организации *«воскресных школ и ассоциаций работников и работниц»*. Интеллигенция «встречается с народом на почве социальных и аграрных вопросов».

В статьях «Еще раз Базаров» (1868), «Ответ г. Г. Вырубову» (1869) Герцен еще и еще раз подчеркивает, что он и Чернышевский — отцы нигилизма. И что его поколение завещало разночинцам именно *«нигилизм»*. Нигилизм, который он понимал как науку и сомнение, исследование вместо веры. Нигилизм не только все рушит, отрицает — «разрушение, проповедуемое нашими реалистами, всецело направлено к утверждению...». Чего? Нового общества, новых людей, новых человеческих отношений, новой этики, нового искусства. Герцен не фантазирует, не пытается, подобно социалистам-утопистам, выученикам школы Сен-Симона и Фурье, нарисовать заманчивые картины этого будущего. Его построят новые люди в соответствии с точными выводами науки, науки об обществе, на основе законов его развития.

Как ни велики были Дон-Кихоты прошлого, но они держались за старые идеи — в этом была их трагедия. Нигилисты, в герценовском переосмыслении этого понятия, не голые отрицатели всего, созданного до них: они отрицают именно отжившие идеи. Но их сила не в самом по себе отрицании, а в создании нового — поэтому за ними и будущее.

Дальнейшая эволюция взглядов Герцена нашла свое отражение в его фактически последней работе «Письма к старому товарищу».

С января по осень 1869 года Александр Иванович работает над письмами «К старому товарищу». Письма эти адресовались Бакунину. В первоначальной редакции они назывались «Между старичками». «Полемика с Бакуниным идет своим чередом, «идет война» — это из писем Герцена той поры.

Письма «К старому товарищу», а их Герцен успел набросать всего четыре, были именно набросками, в которых, правда, многое автор прописал. Но осенью 1869 года Герцен далеко не завершил редактирование и отделку писем. Найденный в так называемой «Пражской коллекции» Герцена и Огарева автограф содержал около ста его поправок, которые не вошли в первую, уже посмертную публикацию. К первоначальной рукописи приложено немало и вставок, но без обозначения, в каких именно местах они должны быть сделаны. Значит, Герцен собирался эти письма опубликовать и, вероятно, отдельным изданием.

Письма эти создавались с участием Огарева, в спорах с ним. Бакунин также читал рукопись герценовских писем. В ходе этих дискуссий вырабатывались и различные их редакции. Дискуссии еще далеко не были завершены, когда в мае 1869 года Бакунин опубликовал брошюру «Постановка революционного вопроса». Это был уже призыв не к бунту, а просто к открытому разбою. Брошюра Бакунина получила резкую отповедь со стороны Маркса. Бакунин создал внутри международного товарищества рабочих так называемый «Альянс социалистической демократии» с целью подчинить своим анархистским принципам международный Интернационал. Маркс и Энгельс в большой работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих» расценили эти происки Бакунина как попытку деклассированных элементов «проникнуть в него (товарищество рабочих. — *В. П.*) и создать внутри него тайные организации, усилия которых будут направляться не против буржуазии и существующих правительств, а против самого Интернационала».

Письма «К старому товарищу» еще не были разрывом дружбы, это был новый этап духовного роста самого Герцена. В письмах отразились его прозрения, его новое понимание возможных перспектив борьбы, его отказ от тех «истин», которые выдвигал за таковые Бакунин. Отразились и прежние колебания. В своей статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин, как известно, дал исчерпывающую характеристику этой работы Герцена. Ленин писал: «У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: «Письма к старому товарищу», Бакунину, написанные за год до смерти Герцена, в 1869 году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». Но все же таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал «*собирать полки*» пролетариата, объединять *«мир рабочий»*, «покидающий мир пользующихся без работы»!».

Когда Герцен писал свои письма «К старому товарищу», он имел возможность опереться на материалы Брюссельского конгресса I Интернационала, заседавшего в 1868 году. Для Герцена бакунинская тактика была неприемлема, как и неприемлемым стало его понимание роли и назначения революционера. Герцен пишет Бакунину, что их разногласия касаются не «начал» и теорий, что дело «в разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала». Он напомнил Бакунину, что время, прошедшее с 1848 года, многое позволило осмыслить, дать оценку возможностей и перспектив дальнейшей революционной борьбы. «Наше время, — пишет Герцен, — именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось — мы на авось не пойдем». Не следует повторять ошибки 1848 года, идти на баррикады без знамени. «Насилием и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи...» Насилие может только разрушать или, в лучшем случае, «расчищать место». Но нужно думать о том, что же на этом

месте должно быть построено. «Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной».

И вновь Герцен обращается к мысли о преобразующей роли науки. И, может быть, впервые он придает такое значение вопросам экономическим. «Экономические вопросы подлежат математическим законам», а экономические перевороты имеют «необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы».

Герцен говорит, что прежде, чем кому-то угрожать, нужно на досуге провести огромную работу. Он пишет Бакунину во втором письме: «Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разно стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти». Революционная теория ныне не может оставаться привилегией «аристократов науки». «...Новые люди снова должны идти с боем против препятствий, они пойдут, *зная, куда идут, зная, что ломают и что сеют».* Иными словами, революционной стихии толпы, за которую так ратовал Бакунин, Герцен противопоставляет сознательную борьбу широких народных масс. И они не только ломают, они сохранят «достойное спасения», «творчество разных времен», лучшее из культурного наследия прошлого.

В письме втором Герцен говорит и о рабочем движении, Международной ассоциации рабочих. «Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных. составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства».

Бакунин государство отрицал вообще, он требовал его «распущения». Герцен в письмах так и не сформулировал своего понимания сущности государства. Классовый характер государства он до конца не осознал. Герцен говорит, что «государство — форма *преходящая».* Но вопреки Бакунину он считает, что такая форма организации

власти еще не отмерла. Ведь в ходе борьбы возникает и «народное государство». Правда, Герцен говорит о нем очень неопределенно. Надо думать, что этот вопрос автор писем еще собирается уточнить, додумать. Но этому помешала смерть.

«Письма к старому товарищу» были изданы в год смерти Герцена, в 1870 году, в «Сборнике посмертных статей». А в 1899 году Толстой пишет Черткову: «...Я только что перечел «Письма к старому товарищу» и восхищался ими и читал всем вслух». Толстой во многом был склонен считать Герцена своим единомышленником. Он отвергал революционные идеи Герцена, но находил, что у него были религиозные поиски, а посему, «думается, что он был бы теперь с нами». Конечно, Толстой ошибался искренне и с искренней любовью к Герцену.

Этот январский день 1870 года был поначалу днем обычным. За завтраком доложили, что пришел Иван Сергеевич Тургенев. После восстания в Польше, после того, как Тургенев давал в 1864 году показания в сенатской комиссии относительно своих отношений с Герценом, между Герценом и Тургеневым произошел разрыв. Приход Тургенева был неприятен Герцену. Но он этого не показал и вел обычный оживленный разговор.

Уходя, Тургенев спросил, бывает ли Герцен по вечерам дома.

— Всегда, — ответил Герцен.

На том и разошлись.

Вечером, когда все разбрелись по своим комнатам, Герцен сказал Наталье Алексеевне:

— Мне что-то нехорошо, все колет бок.

Ночь прошла беспокойно. Наталья Алексеевна не раз заходила к Герцену, он не спал, жаловался, что и бок и ноги ломит нестерпимо. Потом начался жар и бред. Утром вызвали телеграммой знаменитого доктора Шарко. Он приехал в одиннадцать часов и выслушал больного. Хрипов в легких не обнаружил, но, сказав, что в первые дни болезни выслушивание мало дает, сделал назначение. Поставили банки. На следующий день стало очевидным — воспаление в левом легком. Шарко так прямо и сказал это при Герцене. Наталья Алексеевна содрогнулась: Герцен всегда говорил, что умрет либо от удара, либо от воспаления легких. Но он казался спокойным. 18 января как будто бы наступило улучшение. В этот день Герцен своей

рукой приписал к письму Таты несколько слов Огареву. Это был его последний автограф. Воспаление легких, осложненное диабетом, стало быстро прогрессировать. Созвали консилиум, однако ему уже ничего не могло помочь...

Накануне рокового дня Герцен услышал, как «проходила по их улице военная музыка, — пишет Татьяна Пассек со слов Тучковой-Огаревой. — Александр очень любил ее. Он улыбнулся и бил такт рукой по руке Натальи Алексеевны. Она едва удерживала слезы». Военная музыка, вполне вероятно, напомнила ему о далекой, но такой близкой и милой сердцу России, и его последние слова, сказанные не в беспамятстве (потом Герцен остаток часов жизни бредил) были: «Отчего бы не ехать нам в Россию?»

21 января Герцена не стало. В тот же день Тургенев прислал телеграмму, прося Тату известить его о состоянии здоровья отца. Спрашивал, приехал ли брат. Александр, вызванный слишком поздно, не застал отца в живых и поспел лишь на похороны.

У дома усопшего как символ стоял в ожидании выноса тела 80-летний декабрист, ученый, автор знаменитой книги «Россия и русские» Николай Иванович Тургенев. Похороны были назначены на одиннадцать часов. Но полиция дала указание вынести гроб раньше, опасаясь скопища людей. Часы не отзвонили еще одиннадцати, как катафалк тронулся. Он двигался с такой быстротой, что, по свидетельству очевидцев, «большинство, спохватившись, вынуждено было бежать за катафалком. Многие рассчитывали на обычные промедления и не попали к положенным одиннадцати часам». Так 25 января писалось в парижских газетах. Как бы то ни было, но за гробом, хотя и не было пышной церемонии, шли 100—150 рабочих. Гроб временно поставили на кладбище Пер-Лашез, затем семья отвезла его в Ниццу. Там, на холме, в старинном кипарисовом парке, рядом с могилой Натальи Александровны, Герцена и похоронили.

Герцен не дожил до Парижской коммуны немногим более года.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. И. ГЕРЦЕНА

1812, 25 марта — В Москве, в семье помещика И. А. Яковлева родился сын Александр, нареченный Герценом. Наполеоновская армия занимает Москву. И. А. Яковлев принимает поручение Наполеона доставить письмо императору Александру I. Семья Яковлевых живет в селах Глебовском и Новоселье. Через год возвращается в Москву.

1825, 14 декабря — Восстание в Петербурге.

1826 — Знакомство Александра Герцена с Николаем Огаревым.

1827, лето — Герцен и Огарев на Воробьевых горах дают клятву продолжить дело декабристов.

1829—1833 — Годы учебы на физико-математическом отделении Московского университета. Герцен — «ученик», а потом и член Московского общества испытателей природы. Знакомство с Н. Сазоновым, Н. Сатиным, Н. Кетчером, А. Савичем, В. Пассеком. Работа над статьей «О месте человека в природе». Оканчивает университет, утвержден кандидатом отделения физико-математических наук Московского университета.

1834, 9 июля — Арестован Н. П. Огарев. *21 июля* — Арест А. И. Герцена. Допросы в следственной комиссии. Пишет рассказ «Первая встреча» и повесть «Легенда».

1835—1836 — Приговорен к ссылке в город Пермь. Знакомство в Перми с ссыльным поляком П. Цехановичем. Перевод в Вятку. Знакомство в Вятке с семейством Эрнов, П. Медведевой, А. Витбергом. Начало переписки с Натальей Александровной Захарьиной. Работа над повестями «Легенда», «Вторая встреча». Статья «Гофман» опубликована в журнале «Телескоп» за подписью «Искандер». «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.

1837 — Работа над статьей «I Maestri», повестью «О себе». Пребывание наследника престола в Вятке, знакомство с Жуковским.

1838 — Переведен во Владимир и *2 января* приезжает к новому месту ссылки. Герцен дважды побывал в Москве, виделся с Натальей Захарьиной. *8 мая* похищает Наталью Александровну. *9 мая* — венчание А. И. Герцена и Н. А. Захарьиной во Владимире. Работа над повестью «Записки одного молодого человека».

1839, 13 июня — Родился сын Александр. С Герцена снят полицейский надзор. Приезд в Москву. Знакомство с В. П. Боткиным, И. П. Галаховым. Поездка в Петербург. Знакомство с Т. Н. Грановским.

1840 — Герцены покидают Владимир, живут в Москве. Встреча с П. Я. Чаадаевым, знакомство с А. С. Хомяковым. Переезд в Петербург. Служба в министерстве внутренних дел. Дружба с В. Г. Белинским. Публикация начала «Записок одного молодого человека» под заглавием «Из записок одного молодого человека».

1841 — Герцен едет в Новгород в новую ссылку. Служба в должности советника губернского правления. Встречи с Огаревым, Сатиным, Белинским. «Еще из записок одного молодого человека».

1842—1843 — Выход в отставку. Герцены переезжают в Москву. Публикация в журнале «Отечественные записки» статей «Дилетантизм в науке». Дискуссии со славянофилами. Начало публичных лекций Т. Н. Грановского.
1844 — Работа над циклом статей «Письма об изучении природы». Разрыв со славянофилами.
1845—1846 — Публикация в «Отечественных записках» статей из цикла «Письма об изучении природы», повести «Кто виноват?». Встречи и споры в кругу западников на даче в Соколове. Написаны повести «Сорока-воровка», «Записки доктора Крупова» — будут опубликованы в «Современнике» после отъезда Герцена за границу. С Герцена снят полицейский надзор.
1847 — Отъезд Герценов за границу. Встречи в Париже с П. Анненковым, В. Белинским, М. Бакуниным, И. Тургеневым, К. Фогтом. Знакомство с семьей Г. Гервега. «Письма из Avenue Marigny». Путешествие по Италии, участие в римских манифестациях. «Письма с via del Corso».

1848, февраль — Революция во Франции. Герцены уезжают в Париж. *23—25 июня* — Восстание рабочих Парижа. Начало слежки за Герценом. Работа над статьями, которые составят книгу «С того берега».
1849—1850 — Герцен решает остаться за границей. Продолжение работы над статьями для будущей книги «С того берега». Бегство Герцена из Парижа в Женеву, встречи с Дж. Фази, Г. Струве. Участие в газете П.-Ж. Прудона. Знакомство с Дж. Мацңини. Начало публикации на немецком языке книги «С того берега». Работа над статьями «Русский народ и социализм», «О развитии революционных идей в России». Возвращение в Париж. Издание на немецком языке нескольких статей из цикла «Письма из Франции и Италии». Герцен уезжает в Ниццу. Знакомство с В. Энгельсоном.
1851 — Гибель матери и сына Герцена на пароходе. Разрыв с Гервегами.
1852 — 2 мая — Смерть Натальи Александровны Герцен. Год скитаний. Генуя, Лугано, Люцерн, Париж. Герцен поселяется в Лондоне. Начало работы над мемуарами «Былое и думы». Встречи с С. Ворцелем, Л. Кошутом, А.-О. Ледрю-Ролленом, М. Мейзенбуг.
1853—1856 — Основание Герценом Вольной русской типографии. Листовка «Юрьев день!». Крымская война. Публикация глав «Тюрьма и ссылка» из «Былого и дум» и книги «С того берега» на русском языке. Основание альманаха «Полярная звезда». Приезд в Лондон Н. Огарева и Н. Тучковой-Огаревой.
1857 — Основание «Колокола».
1858 — Налаживание связей с Россией. Встречи с Б. Чичериным.
1859—1861 — Складывание «революционной ситуации» в России. Полемика Герцена с журналом «Современник». Герцена посещают М. Михайлов, Н. Шелгунов. Пребывание Н. Чернышевского в Лондоне и споры с Герценом. Крестьянская реформа в России. Статьи и прокламации Герцена и Огарева в ответ на реформу. Л. Толстой в гостях у Герцена. Герцен и Огарев участвуют в создании тайного общества «Земля и воля» — организации заграничного пропагандистского центра складывающегося общества.
1862 — Создание в России тайного общества «Земля и воля». Арест Н. Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича. Герцена посещают В. Ковалевский, Н. Рубинштейн, В. Стасов, Ф. Достоевский. Полемика с И. Тургеневым — «Концы и начала». Герцен и Огарев участвуют в подготовке восстания в Польше.
1863—1864 — Герцен выступает со статьями в поддержку восстания в Польше. Сокращение тиража «Колокола». В Женеве Герцен ведет переговоры с русской «молодой эмиграцией». Статья «В вечность грядущему 1863 году». Полемика с Ю. Самариным — «Письма к противнику». Встречи с Д. Гарибальди.
1865—1869 — Женевский съезд эмигрантов. Герцен покидает Лондон, переезжает в Женеву и переводит туда Вольную русскую типографию. Вышел последний номер «Колокола» на русском языке. Герцен разрывает связи с русской «молодой эмиграцией». Публикация заключительных глав «Былого и дум». «Пролегомена», «Еще раз Базаров». Поездки Герцена по Европе. Герцен в Женеве, Ницце, Флоренции, Венеции, Брюсселе. Встречи с С. Нечаевым, передача ему части «бахметевского фонда». Герцен поселяется в Париже. Работа над циклом писем «К старому товарищу». Издание «Колокола» на французском языке.
1870, 21 января — Герцен скончался от воспаления легких. Временно похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез. Затем тело его перенесено в Ниццу.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28—33, 35.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 1, 2, 5, 6, 19, 21, 23, 25.
Герцен А. И. Собрание сочинений. В 30-ти томах. М., 1954—1965.
Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной. В 7-ми томах. Т. VII. Спб., 1905.
Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960.
П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. Т. I. Спб., 1892.
Анциферов Н. П. А. И. Герцен, 1812—1870. Сб. М., 1946.
Базилева З. П. «Колокол» Герцена (1857—1867). М., 1949.
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. В 13-ти томах. Т. 9, 10, 11, 12.
Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Спб., 1901.
Бельчиков Н. Ф. Зарубежные издания А. И. Герцена. Библиографическое описание. 1850—1869. М., 1973.
Белявская И. М. А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX века. М., 1954.

Боборыкин П. Д. А. И. Герцен. — «Русская мысль», 1907, № 11.
Боборыкин П. Д. За полвека. (Мои воспоминания). М.—Л., 1929.
Бушуев С. К. Исторические взгляды А. И. Герцена. Ученые записки МГУ. Вып. 156, 1952.
Веселовский А. Н. Герцен-писатель. М., 1909.
Ветринский Ч. (Чешихин В. Е.). Герцен. Спб., 1908.
Володин. А. И. Герцен. М., 1970.
Вырубов Г. Революционные воспоминания. — «Вестник Европы», 1913, № 1.
Ге Н. Н. Встречи. — «Северный вестник», 1894, № 3.
Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956.
Герцен, Огарев и их окружение. Рукописи, переписка и документы. Редакция Б. П. Козьмина. М., 1940.
Гиллельсон М. И., Дрыжакова Е. Н., Перкаль М. К. А. И. Герцен. Семинарий. М.—Л., 1965.
Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. М., 1957.
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. II. М.—Л., 1930.
Державин Н. С. А. И. Герцен. Литературно-художественное наследие. М.—Л., 1947.
Дмитриев С. Славянофилы и славянофильство. (Из истории русской общественной мысли середины XIX в.). — «Историк-марксист», 1941, № 1.
Западники 40-х годов. Сост. Ф. Ф. Нелидов. М., 1910.
«Звенья». Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв. Вып. I—IX.
Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах. — «Исторический вестник», 1890, № 4.
Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961.
«Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная русская типография. 1857—1867. Лондон — Женева. Факсим. издание в 11 вып. М., 1962.
Ланский Л. Семейная драма Герцена. — «Вопросы литературы», 1978, № 3.
Ланский Л. Из переписки Герцена и о Герцене. — «Вопросы литературы», 1975, № 4.
Лемке М. К. Тайное общество братьев Критских. — «Былое», № 6, 1906.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. Т. I, II. М., 1974, 1976.
Линков Я. И. Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и тайное общество «Земля и воля» 1860-х годов. М., 1964.
Литературное наследство. Т. 39—40, 41—42, 61, 62, 63, 64, 67.
Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830—1850 годы. М., 1978.
Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.—Л., 1951.
Мейзенбуг М. Воспоминания идеалистки. М.—Л., 1933.
Милюков А. Литературные встречи и знакомства. Спб, 1890.
Нечкина М. В. «Земля и воля» 1860-х годов. — «История СССР», 1957, № 1.
Нечкина М. В. Конспиративная тема в «Былом и думах» А. И. Герцена. — Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1963.
Нович И. С. Духовная драма Герцена. М., 1937.
Огарев Н. П. Избранные произведения. Т. 1, 2. М., 1956.
Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена. М., 1909.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.
Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1956.
Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 1, 2. М., 1963.
Перкаль М. К. Герцен в Петербурге. Л., 1971.
Пирумова Н. И. Исторические взгляды А. И. Герцена. М., 1956.
Пирумова Н. И. А. И. Герцен. Жизнь и деятельность. М., 1962.
Плеханов Г. В. А. И. Герцен. Сб. статей. М., 1924.
Проблемы изучения Герцена. М., 1963.
Путинцев В. А. Герцен-писатель. М., 1963.
Путинцев В. А. Герцен в Москве и в Подмосковье. М., 1963.
Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910.
Пятковский А. Л. Две встречи с А. И. Герценом. — «Наблюдатель», 1900, № 2, 3, 4.
Ранние славянофилы. М., 1910.
Русские Пропилеи. Изд. Сабашниковых. Т. I—IV.
Смирнов В. Д. А. И. Герцен. Его жизнь и литературная деятельность. Биографическая бибиотека Ф. Павленко. Спб., 1898.
Соболев В. А. А. И. Герцен в вятской ссылке. Киров, 1962.
Соллогуб В. А. Воспоминания. М.—Л., 1931.
Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959.
Хинкулов Л. Ф. История одной поездки. — «Советская Украина», 1960, № 2, 21.
Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.—П., 1923.
Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. Спб., 1901.
Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966.
Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1973.
Эльсберг Я. Е. Герцен. Жизнь и творчество. М., 1963.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 5639

Вадим Александрович Прокофьев

ГЕРЦЕН

Заведующий редакцией **С. Лыкошин**
Редактор **Г. Померанцева**
Художник **Ю. Арндт**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **Г. Василева, Т. Контиевская**

Сдано в набор 14.01.87. Подписано в печать 25.05.87. А01070. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 21+ +1,68 вкл. Усл. кр.-отт. 22,91. Учетно-изд. л. 24,1. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.). Цена 1 р. 80 к. Заказ 2609.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.